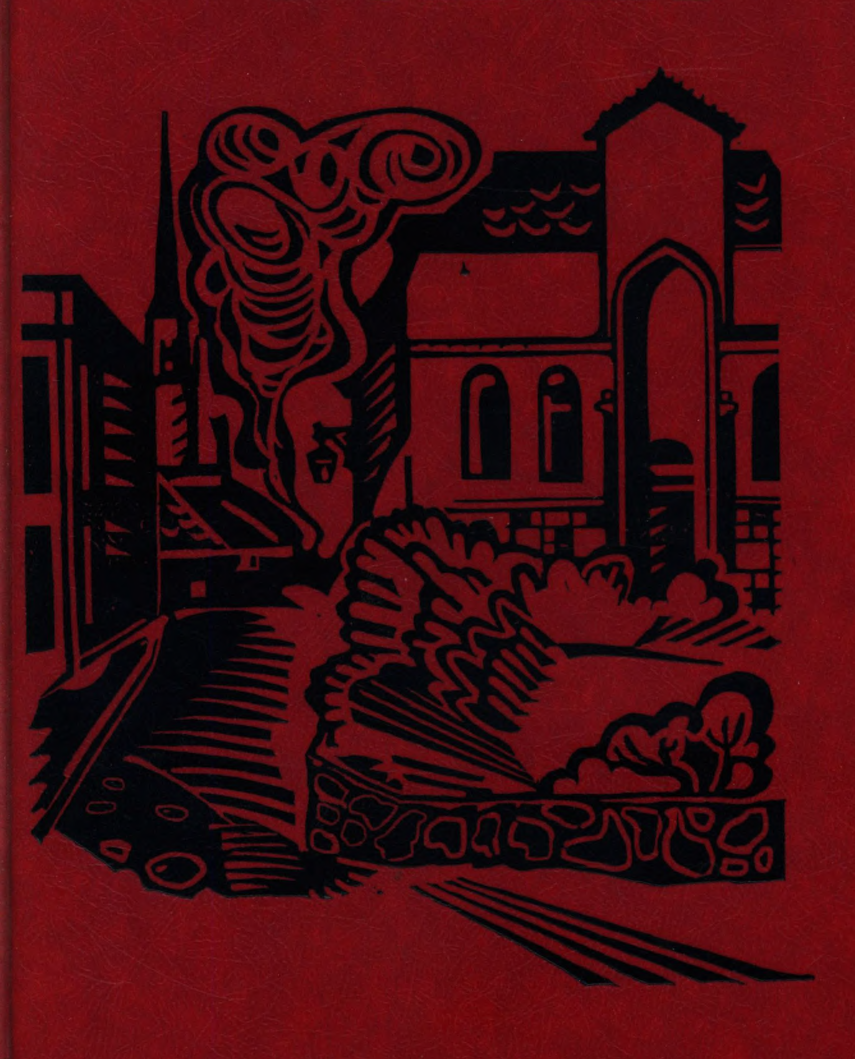
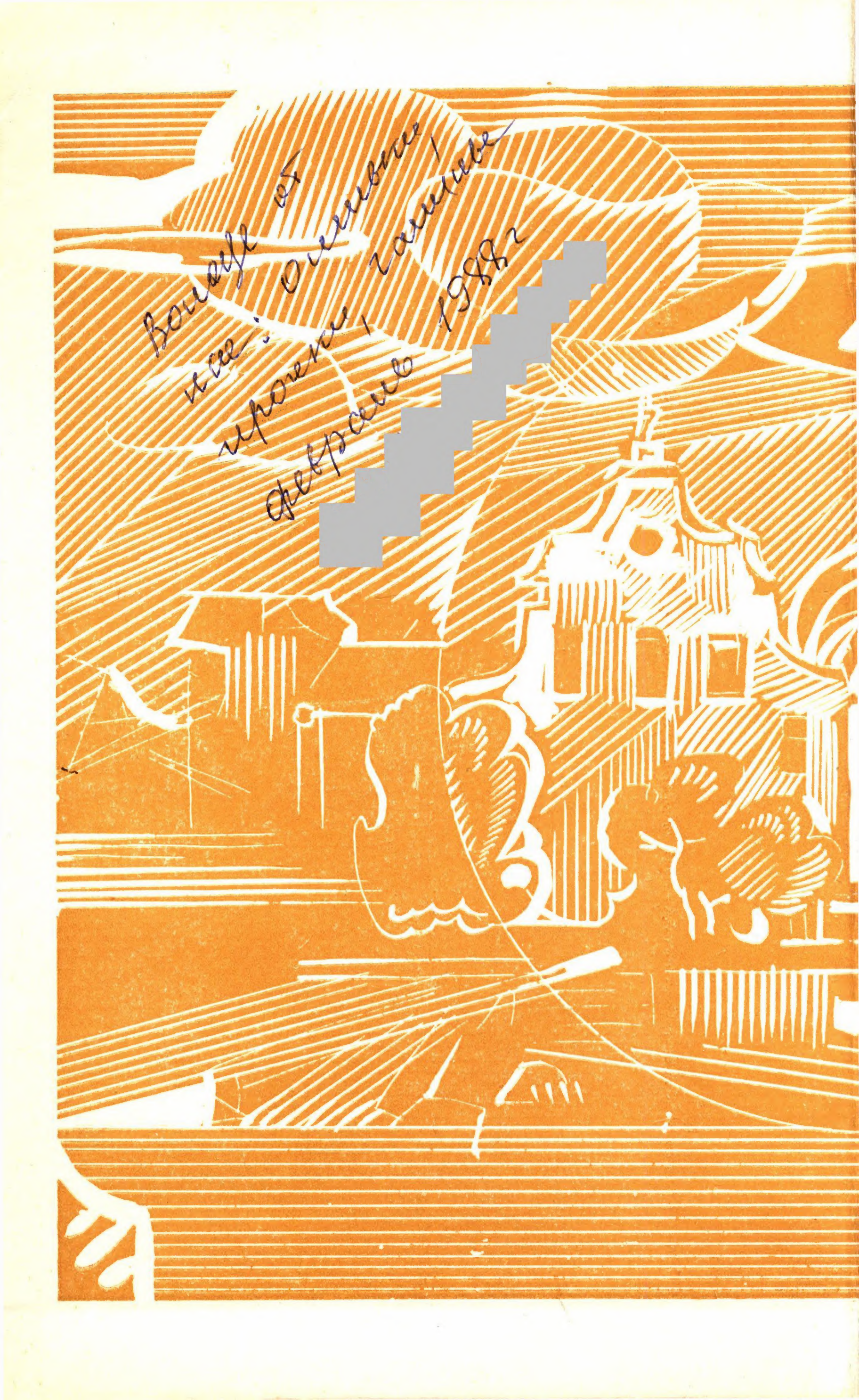
В КОНЦЕ ВОЙНЫ




Володе от
нас: Оленьки,
Ирочки,
февраль 1988г



В КОНЦЕ ВОЙНЫ

СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ

Перевод с венгерского В. Походуна

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

ББК 84.4Вн
В11

В $\frac{4702140100-205}{068(02)-87}$ 156-87

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Более четырех десятилетий прошло со времени окончания второй мировой войны, а военная тема по-прежнему занимает в мировой литературе значительное место. Довольно широко отражена эта тема и в произведениях венгерских прозаиков.

Сборник предлагаемых читателю повестей посвящен в основном последнему периоду войны, когда судьба ее была уже решена, а враг повсеместно отступал под ударами советских войск. Известно, что хортистский режим, перед тем как пристегнуть Венгрию к гитлеровской колеснице и втянуть ее в бессмысленную, преступную войну против советского народа, в течение двух десятилетий путем жесточайшего террора душил все мыслящее, прогрессивное. Венгерскому солдату интересы режима, интересы власть имущих всегда были чужды, и защищать их с оружием в руках он не рвался. Особенно же увеличилось число недовольных с приходом к власти нилашистов. Под влиянием Коммунистической партии Венгрии, загнанной в подполье белым террором, все больше венгров — рабочих, крестьян, представителей интеллигенции — выступало за прекращение войны, за выход из гитлеровской коалиции, за восстановление суверенитета страны.

Противников фашизма в Венгрии к этому времени насчитывалось довольно много, и проявляли они свой протест по-разному: одни — активно, другие — пассивно, но, так или иначе, это был протест. И представленные в сборнике произведения современных венгерских писателей, на наш взгляд, очень правдиво рассказывают об этом периоде жизни венгерского народа..

Имя крупного венгерского романиста Гезы Мольнара хорошо знакомо нашему читателю по таким произведениям, как «Марта» и «Одичавшие годы». В настоящий сборник включены две повести этого автора. На первый взгляд они совершенно самостоятельны, однако после внимательного прочтения становится очевидной их тесная внутренняя связь. В них автор не только убедительно показывает, что старая, хортистская армия и новая, Народная армия отличаются по самой сути своей, но и прослеживает эволюцию венгерского солдата — от забитого, бесправного исполнителя чужой и чуждой ему воли (герои повести «В конце войны») до сознательного защитника народной республики (молодые офицеры из повести «В конце войны и после...»).

Писатель и публицист Арпад Тири в повести «Вероника» сумел всесторонне раскрыть внутренний мир своего героя — уже немолодого крестьянина-призывника Петера Киша, сбежавшего с фронта и вернувшегося в родное село. В собственном доме Киш и встречается с русскими солдатами, которые на поверку оказываются вовсе не такими, какими рисовала их нацистская

и нилашистская пропаганда. Образы русских солдат Тири выписывает с большой симпатией, подчеркивая их искренность, простоту, гуманизм. Полной противоположностью им предстают солдаты гитлеровской армии, так называемые друзья-союзники, которые вначале обесчестили любимую жену Петера — Веронику, а в финале убили ее.

Имре Добози советскому читателю вряд ли нужно представлять: его книги не раз издавались на русском языке. Известный писатель, видный общественный деятель, большой друг Советского Союза, недавно ушедший из жизни, Добози оставил заметный след в венгерской литературе. А впрочем, он сам являлся живой историей.

В 1944 году, будучи офицером хортистской армии, он добровольно перешел на сторону Советской Армии и в конце того же года возглавил роту венгров, решивших сражаться против гитлеровцев и их венгерских приспешников. Это и была та самая мятежная рота, которую разыскивают, чтобы влиться в ее ряды, герои включенной в сборник повести Добози.

Завершает сборник полная лиризма и юмора повесть Дьердя Шоша «Перед рассветом». Ранее Шош был известен как автор веселых, остроумных пьес, поставленных на радио и телевидении, теперь он предстает перед читателями как превосходный рассказчик. С неподражаемым юмором описывает он злоключения своего героя — рядового Андраша Чеке, денщика старшего лейтенанта Ковача, труса и самодура. Однако, когда речь заходит об «опорах» хортистского режима — офицерах и унтерах, юмор у автора сменяется разящим сарказмом. Заканчивается повествование поистине символической сценой: солдаты отказываются расстреливать своего однополчанина и, обратив в позорное бегство командира роты, идут навстречу русским, чтобы сложить оружие.

Удивительно схожи составившие сборник повести столь разных по манере письма авторов. И сходство это не ограничивается сюжетными линиями, проникновением во внутренний мир героев. Оно — в умении выразить ту великую правду, ради которой берется за перо настоящий писатель. Не грешат авторы повестей против правды и тогда, когда сознательно прибегают к некоторой недосказанности. Этим приемом они лишь подчеркивают свое доверие к читателю, к его воображению и интеллекту, заставляя воспринимать свои произведения более активно. И думается, перевернув последнюю страницу сборника, читатель поверит, что герои представленных в нем повестей, пройдя через выпавшие на их долю испытания, нашли свое место в жизни новой, социалистической Венгрии.

ГЕЗА МОЛЬНАР

В КОНЦЕ ВОЙНЫ

Повесть

1

Разгорался ясный летний день. Солнце щедро одаривало землю своими теплыми лучами.

Накануне Бела изрядно выпил с друзьями и сейчас проснулся с тяжелой от спертого воздуха головой. Из комнаты, в которой он спал вместе с родителями, ему захотелось выйти во двор, на улицу, в мягкую прохладу сияющего утра. Но его ждало разочарование — оказавшись на улице, он сразу попал в жаркие объятия солнца и знойного южного ветра.

На углу, перед остановкой, призывный вид корчмы пробудил в нем жгучую жажду. Бела зашел внутрь, заказал большой бокал вина с содовой и, опрокинув в себя ледяной кисловатый напиток, почувствовал, как возвращается к жизни.

Рельсы делали в этом месте резкий поворот, и, когда трамвай притормозил, Бела ловко вскочил на подножку последнего вагона — теперь не нужно было продираться сквозь толпу ожидающих, даже сесть удалось. Он извлек из заднего кармана брюк бульварный роман в зеленом переплете и читал, не поднимая головы, до самой площади Борарош. Клари частенько упрекала его за пристрастие к подобному чтиву, а он, посмеиваясь, отвечал, что таким образом хоть на полчаса отвлекается от окружающей мерзости.

Быстрым шагом он прошел под мостом, не отводя глаз от величественной красоты горы Геллерт, возвышавшейся над зеркальной гладью Дуная. Он вырос среди маленьких серых домишек на заросших бурьяном улицах окраины, поэтому неудивительно, что открывшаяся панорама так восхитила его. Бела на минуту остановился и сразу почувствовал знойное прикосновение солнца к затылку, по-

смотрел в безоблачную высь, подумал, что бомбежки не избежать, и прибавил шагу, чтобы Датнер не опередил его на своем спортивном велосипеде.

Сегодня ему повезло — Датнер добирался трамваем, и к его приходу Бела уже намыливал стены в квартире на улице Лоньаи.

— Ночью спустило заднее колесо, — объяснил Датнер причину своей задержки, быстро переоделся и вскоре уже стучал рядом с Белой, заделывая гипсом дыры и неровности в стене.

Закончили они одновременно. Датнер пошел на кухню варить клейстер, а Бела принялся белить подсобные помещения.

К полудню ветер усилился, отполировав небо до ослепительной голубизны.

— Черт подери, стоит такая жара, словно на улице июль, а не конец августа, — сокрушенно произнес Бела, вытирая вспотевший лоб.

— Солнце да ветер — это то, что нам нужно! — возразил Датнер. — Маляр лучшего желать не может — стены сохнут моментально. Если поднажмем, глядишь, к вечеру квартира будет готова.

Бела молча посмотрел на мастера, а процеживая гашеную известь, с укоризной подумал: «Ты готов из меня все соки выжать, лишь бы побыстрее сохли стены, а на то, что сквозняк пробирает до костей, тебе наплевать!»

В действительности его раздражение не было криком души — волей-неволей приходилось признать, что работать кистью Датнер умел не хуже, чем языком, потому и был столь требователен к подмастерьям. Правда, и темп он задавал такой, что сердце готово было выпрыгнуть из груди.

Датнер был невысок ростом, но крепок и жилист; торс имел — как у воздушного акробата, тонкую талию, непропорционально широкие плечи, рельефную мускулатуру и нигде ни грамма лишнего жира. Он запросто поднимался на третий этаж с шестипудовым мешком венской побелки, а в молодые годы мог на спор промчаться на велосипеде между идущими навстречу друг другу трамваями. Его узкое, худое лицо украшали модные, тщательно закрученные усики с торчащими кончиками, набриллиантиненные волосы волнились после завивки, а одевался он с вызывающей, как считал Бела, элегантностью. После женитьбы и рождения ребенка он бросил свои рискованные фокусы, но если бывал в хорошем настрое-

нии, то и теперь делал стойку на руках на верхней ступеньке стремянки.

Бела поначалу считал, что у Датнера железное здоровье, но позже убедился, что его мучают почки, да и с желудком у него не все в порядке: его частенько пучило, а иной раз он просто корчился от боли.

Несмотря на провинциальную элегантность и пользующуюся спросом слащавую угодливость, Датнер успеха у женщин не имел. Если, приступив к работе на новом месте, он замечал на горизонте привлекательную служанку, горничную или повариху, то, набрав полную грудь воздуха, немедля бросался в атаку и начинал нести околесицу, но смелости повалить кого-нибудь из них у него не хватало: он боялся уронить свой авторитет в глазах хозяев квартиры, которые, узнав о его проделках, могли в другой раз не доверить ему ремонт. Датнер же считал, что мелкому ремесленнику необходимо иметь много постоянных заказчиков. Поэтому дальше обыкновенной лести и пустых комплиментов он никогда не заходил, в решающий момент пасовал, а потом успокаивал себя тем, что на стороне ему ничего такого не нужно, поскольку жена всегда рядом. Но именно в этом и таилась основная загвоздка: его жена, хотя и родила ребенка, была абсолютно безразлична к наслаждениям в постели и никак не могла взять в толк, почему мужчины так сходят по ним с ума. Датнер полагал, что в жеманстве жены есть доля истины, ведь если рассуждать здраво, то плоть она плоть и есть, и в чем, собственно, разница между свежей говядиной и женскими прелестями?

Бела всегда весело смеялся над этим:

— Бросьте, господин Датнер, вы не хуже меня знаете, что женщина не просто кусок плоти, а нечто иное. Вон какое у нее красивое, нежное тело, а когда в интимной обстановке заглядываешь ей в лицо, ласкаешь грудь и слышишь волнующие вздохи — разве это не приятно? Я не говорю уже о любви. Никто не станет утверждать, что любовь — это пустой звук, да и вы, господин Датнер, были не раз влюблены. Помните, как вы чуть не помешались из-за той девчонки, а все потому, что женщина совсем не похожа на мужчину. А по-вашему выходит, что и мужчина кусок плоти. Тогда какой же смысл в отношениях между полами, если оба суть одно и то же?

Датнер лукаво улыбался:

— Видите ли, Бела, нет худа без добра. Ведь моей

жене и других мужчин не нужно — значит, я могу быть совершенно спокоен относительно ее верности.

На сей раз Бела ничего не ответил и продолжал белить потолок, но про себя подумал: «А что произойдет, если вдруг встретится мужчина, с которым ей понравится? Начнется, допустим, с духовной близости, а потом она отдастся ему и получит удовольствие. Может, как раз этого ей и не хватает?»

Он вспомнил круглое, улыбающееся лицо госпожи Датнер, ее коротко остриженные, тонкие, светлые волосы, пышное тело и вновь ощутил на себе ее пытливый, цепкий взгляд. Как-то вечером он зашел к Датнеру поговорить, и у него сложилось впечатление, что хозяйка запросто, без лишнего жеманства легла бы с ним в постель. Но, возможно, все это плод его разыгравшейся фантазии, ведь они с тех пор больше ни разу не виделись. Да и зачем?

Они жили на одной улице, но Датнеры считались старожилами, поскольку переселились сюда еще в те времена, когда кучу лачуг, сколоченных из ржавых жестяных коробок и старых ящиков, называли «выселками». Это была ничейная земля, дальняя городская окраина, где выброшенные на улицу пролетарии и безнадежно падшие многодетные пьяницы хоть как-то могли сводить концы с концами. Датнер тоже вышел из самых низов, сдал экзамен на звание мастера и получил патент мелкого ремесленника. Между тем поселок менял свой облик: проложили улицы, засыпали их шлаком и песком, а на месте лачуг построили маленькие домики из саманного и силикатного кирпича, окруженные крошечными садиками.

Обзаведясь семьей, Датнер купил в конце улицы дом с аккуратно оштукатуренными стенами и двумя окошками, а велосипед стал использовать только как транспортное средство. Он внимательно следил за происходящим в округе и знал, что Белу Газда родители отдали в обучение к маляру. Парень уже два года как расплатился за «науку», а тут еще к началу сезона у Датнера скопилось столько заказов, что одному никак не управиться. И он быстро договорился с Белой, которому донельзя осточертел ворчливый, придирчивый и ужасно прижимистый мастер.

Бела уже пять лет, если считать и годы обучения, работал маляром. Доводилось ему сталкиваться с самыми разными людьми, болтать о всякой ерунде. Монотонно, почти автоматически двигая кистью во время покраски

мебели, дверных косяков или оконных рам, они нередко предавались красочным воспоминаниям. Естественно, прежде всего речь заходила о женщинах, о любовных победах над служанками или горничными. Получалось, что любой из подмастерьев быстро добивался расположения прислуги, а поварихи за полученное удовольствие непременно расплачивались вкусными обедами. Иногда упоминались фабричные ученицы и ткачихи, которые позволяли прижать себя к стене или повалить на траву где-нибудь на пустыре.

Бела слушал интригующие истории молча, понимая, что в основном это плод фантазии, своего рода утешение стареющих подмастерьев, живущих с морщинистыми, расплывшимися, неряшливыми женами. Он уже убедился, что поварихи, как правило, замкнуты, осторожны, что у каждой из них непременно есть железнодорожник или деревенский родственник, навещающий ее по субботам, что все они собирают приданое и вынашивают далеко идущие планы, что служанки, как одна, помешаны на униформе и вздыхают по пожарным или офицерам, если только втайне не обожают молодого хозяина. Маляров вроде него они ни в грош не ставили, и если позволяли шалости, то мелкие, никогда не заходя дальше объятий, мечтали о возвышенной любви, хотели поскорее выйти замуж и безумно боялись забеременеть.

Беле на них было наплевать. Если он хотел женщину, то не раздумывая отправлялся в бордель, выбирал себе девочку пофигуристее и получал от нее то, что хотел. Он находил такую связь, приправленную парой поцелуев, порцией ласки и обязательным: «Приходи, красавчик, еще, мне с тобой понравилось», наиболее удобной. Бела понимал, что слова эти — обычное, затасканное приглашение проституток, поскольку они этим жили и стремились обзавестись постоянными клиентами. Вообще, проститутке не полагалось получать наслаждение, его за свои деньги должен был получать посетитель, а ей предоставлялось право любить альфонса, который отбирал заработанные ею деньги и периодически ее бил, — все это было известно, и тем не менее женские ласки приятно согревали убогую, крошечную комнату и видавшую виды постель.

Заводить роман с серьезной девушкой не хотелось. Некоторые его друзья уже попались на этом: соблазнив какую-нибудь крошку, они в конце концов вынуждены были жениться, появлялся ребенок, а с ним прихо-

дили хлопоты и беспросветная нужда. Нет, он будет умнее!

Первой, с кем он довольно долго встречался, стала Клари. Вместе с ней он пережил первую бомбежку...

В тот день Датнер отправил его получить с заказчиков за работу. Деньги уже лежали в кармане, но Бела не спешил назад, в Буду, где шеф занимался покраской кованой железной ограды на одной вилле, а болтался по центру, глазея на витрины.

Неожиданно из репродуктора, расположенного прямо над головой, на крыше женской гимназии, душераздирающе завыла сирена. Началась паника, люди бестолково метались в разных направлениях. Белу тоже охватил страх, он бросился бежать, думая только об одном: нужно выбраться из этого района как можно быстрее, ведь здесь и мост через Дунай, и полотно железной дороги, а на противоположной стороне — частокол заводских труб. Нужно было поскорее переправиться к маленьким домикам с садиками — там безопаснее.

Только у кафедрального собора он заметил, что улицы и площади опустели, а из подворотен выглядывают инструкторы противовоздушной обороны в железных касках. На проезжей части оставались лишь он да какая-то девушка с черными как смоль волосами, мчавшаяся куда-то сломя голову. Кто-то выскочил на мостовую и, пытаясь скрыть собственный испуг, зло заорал на них:

— Проваливайте отсюда, черт бы вас подрал! Не слышите, что ли, воздушной тревоги?

Оба резко остановились и, задыхаясь, глотали открытым ртом воздух. Бела с большим трудом выдавил:

— Так мы и разыскиваем убежище!

— Сюда вы войти не сможете — подвал заполнен до отказа, — проворчал инструктор и захлопнул ворота.

— Пойдемте, — предложил Бела девушке, — посмотрим в следующем.

Но и там их не впустили.

По соседству стоял большой многоэтажный дом, но все жильцы укрылись в его подвале, надеясь на прочные бетонные стены, и теперь там яблоку негде было упасть.

Небо в тот день было таким же чистым и ясным, как сегодня. Дело происходило в апреле, в страстную пятницу, а солнце палило, словно на дворе стоял май или июнь. Бела огляделся и вдруг заметил, какая тишина воцарилась вокруг. Ни людских голосов, ни трамвайного перезвона, ни птичьего пения — все замерло.

— Господи, что же делать? — обратился он к девушке. ища поддержки.

Неожиданно они увидели, что напротив, у входа в убежище, стоит пожилой усатый человек в каске и машет им рукой. Они рванулись туда — старик захлопнул тяжелую дверь и задвинул засов.

— Подвал полон, но здесь все же безопаснее, чем наверху, — объяснил он, дружески им улыбаясь. — Я был такой же молодой, когда началась прошлая война, и воевал в Добердо, где итальянцы бомбили каждый божий день, только вот невесты рядом не было, а то, пожалуй, полегче пришлось бы.

Бела посмотрел на незнакомку и ничего не сказал, та тоже промолчала.

Гул самолетов возник так же внезапно, как чуть раньше вой сирены. Он усилился, превратившись в невыносимый, заполнивший все вокруг рев, от которого дребезжали оконные стекла. Залаяли зенитные пушки, загрохотали «бофорсы», высоко в небе рвались снаряды, а гул авиационных двигателей все нарастал.

— Боже, сколько же их? — оцепенело прикидывал Бела. — Несколько сот? Эти «либерейторы» способны стереть Будапешт с лица земли.

Голова раскалывалась от беспрерывных разрывов, дом содрогался, будто от толчков землетрясения, с потолка обваливалась штукатурка, сыпалась побелка. Девушка прижалась измученным лицом к стене и закрыла ладонями уши. Позже, когда Бела пытался восстанавливать в памяти эту сцену, ему казалось, что она в тот момент кричала, но он не был в этом уверен, поскольку все заглушал сплошной грохот.

Старик-инструктор, поведавший об ужасах Добердо, бросился на землю и на четвереньках заполз под лестницу. Здесь, у двери, стояло еще несколько человек, которых он также впустил в последний момент. Обезумев от страха, они сбились в кучу и орали от ужаса.

Бела прислонился к стене рядом с девушкой, взял ее за руку, пытаясь немного облегчить страдания, а может, ему самому требовалась опора — он был уверен, что через несколько секунд дом рухнет и погребет всех.

Позже, когда прозвучал отбой, они, пошатываясь, выбрались из укрытия. Вокруг лежали развалины. Будучи не в силах произнести хотя бы слово, они с девушкой медленно брели по улице. В большой многоэтажный дом, куда их не впустили, угодила бомба — она долетела

до подвала, пробив встретившиеся на пути перекрытия. С тротуара были видны лежавшие вповалку тела, которые казались разбросанными тряпичными куклами.

На другом берегу Дуная, над лесом чепельских труб по обе стороны дороги, ведущей в Пешт, где были сконцентрированы военные заводы, стояла сплошная дымовая завеса. Что-то горело, возможно нефтеперегонный завод. Длинные языки пламени, словно гейзеры, то и дело прорывались сквозь клубы черного дыма и море искр, а здесь, на окраинах, оседала сажа. Бела отметил про себя, что вокруг такая мертвая тишина, как после сирены перед началом бомбежки. Слышалось лишь журчание воды, доносившееся откуда-то издалека, может, из воронки от взрыва. Посреди проезжей части высоко фонтанировала мощная струя, и солнце играло ее радужными брызгами.

— Мне необходимо домой — выяснить, не случилось ли чего с родителями, — заволновалась девушка.

Улица находилась неподалеку от дома Белы. По дороге они оба потихоньку приходили в себя. Руины теперь не попадались на их пути, и окружающее приняло привычный вид.

С тех пор ему довелось пережить не один воздушный налет, но привыкнуть к вою сирен и ужасному свисту падающих бомб он так и не смог. Правда, у него выработалась бдительность, и теперь он запросто эриентировался в загадочных объявлениях радио. «Крокодил gross[1] ...Внимание Калоча, Байа...» — неслось из репродуктора, и сразу становилось ясно, что авиационные соединения угрожают столице. Но такие обрывы трансляции, полные неопределенности минуты ожидания действовали на нервы, а от воя сирены каждый раз подводило желудок. Некоторое спокойствие приходило только в прохладе бомбоубежища: центральные дворцовые кварталы и район будайских вилл не подвергались налетам. Оружие и военная техника ковались руками пролетариев, поэтому после многочисленных жертв первой бомбежки рабочие в массовом порядке стали переселяться с окраин города в провинцию. Бела очень скоро смекнул, что центр, где проживали сильные мира сего и где им с Датнером приходилось трудиться, гораздо безопаснее рабочих кварталов.

Если они вдвоем брались за дело, времени на болтовню не оставалось — нажимали вовсю. Датнер производил накат в комнате, а Бела украшал стены кухни большими

[1] Большой *(нем.)*.

красными грибами и голландскими ветряными мельницами — накладывал на высохшую побелку шаблон из плотной бумаги и наносил краску короткой жесткой кисточкой. Работа была нехитрая, так что в голову лезла всякая всячина. Частенько вспоминался и первый день войны...

Бела был тогда учеником и вместе с другими подмастерьями стоял посередине двора-колодца пештского доходного дома. Кто-то из жителей выставил в окно радиоприемник, и оттуда на всю округу разносились военные марши. Потом вдруг все смолкло, и люди, столпившиеся в ожидании сообщений среди потрескавшихся стен, стали с волнением вслушиваться в звенящую от напряжения тишину. Наконец диктор торжественно объявил:

— «Сегодня войска нашего великого союзника, имперского канцлера Адольфа Гитлера перешли границу...»

Белу охватило ликование: война началась! Теперь, когда государства накинулись друг на друга, все смешается и перевернется. Грядут великие перемены, а это сулит новые возможности, необозримые перспективы...

Он всегда мечтал о приключениях, но жизнь судила иначе. Школьные годы пролетели уныло и скучно, а по окончании последних летних каникул отец отдал его в ученики. Привыкал он тяжело, но позднее полюбил свою профессию и с удовольствием наблюдал, как грязная, закопченная квартира преображалась. Ему нравился смолистый запах различных лаков, среди маляров попадалось немало интересных рассказчиков — в общем, с такой жизнью можно было смириться. Только вот романтики в ней не хватало, не хватало того разнообразия, которое включало кинофильмы, книги и все остальное, что в его представлении было неотъемлемой частью жизни обитателей будайских дворцов: бьющее через край благополучие, отдых у моря, путешествия вокруг света, поездки на автомобиле, прогулки верхом... Все это казалось совершенно недосягаемым, поскольку зарплата не позволяла удовлетворить ни одного из его желаний. Жестокая реальность возвращала полет фантазии на землю, к приземистым пыльным домикам городской окраины. Правда, оставалась одна надежда: сдать квалификационный экзамен и открыть собственную мастерскую — вот тогда он превзойдет своего отца, который всю жизнь протрубил на уйпештской мебельной фабрике.

Война вносила существенные коррективы. Пришло время перелистать пожелтевшие страницы истории, а ее

новые страницы запестрят сражениями, героями, подвигами.

Мастер, увидев его, посетовал:

— Что скажешь, желторотый? Эти идиоты собираются поджечь весь мир!

Бела тогда не понял, кто такие идиоты, почему они идиоты и что значит «поджечь мир». Мастер продолжал брюзжать:

— Помяни мое слово — скоро всему конец! Кто станет белить или красить квартиру? Кто пойдет на такой риск? Когда запахнет порохом, деньги начинают вкладывать в золото да персидские ковры. Нет, лавочку придется прикрыть, это точно!

Но предсказания мастера не сбылись.

Война разразилась, затянулась, и конца ей не было видно. К Венгрии вновь присоединили Словакию и Трансильванию, а затем и она напала на Советский Союз. Ввели карточную систему, на фронт нескончаемым потоком шли военные эшелоны, но все это не повлияло на привычное течение жизни. Бела, к своему немалому удивлению, отмечал, что люди, как и раньше, следили за чистотой и порядком, ремонтировали свои жилища. Хотя некоторые товары пропали, другие отпускали только по карточкам, все быстро приспособились к военной обстановке. Позже, когда пожар мировой войны разгорелся вовсю, Бела стал все чаще задумываться о реальной жизни и жажда приключений незаметно утратила свою притягательную силу. Он предчувствовал, что будущее не сулит ничего хорошего.

С войны стали возвращаться искалеченные родственники, и их рассказы о фронте в корне отличались от сообщений радио и кадров кинохроники. Но внешне все выглядело так, будто окружающих это не касалось.

Белу больше всего поразила упрямая жизнестойкость, благодаря которой город постоянно возрождался, словно феникс, несмотря на ужасы войны. После воздушных налетов убитых увозили, раненых отправляли в госпиталь, а уцелевшие тут же начинали торговать, делать покупки, заказывать новые наряды. В кондитерские валом валили любители сладкого, поглощавшие в огромных количествах пирожные и мороженое, в затемненных кабачках скрипачи-цыгане от усердия едва не обрывали струны. Датнер тоже спешил — приближался конец сезона, а у него было еще полно заказов.

Как назвать эту жажду жизни? Животным инстинктом или стремлением в предчувствии смерти осушить до дна чашу жизни, памятуя: «В прожитом дне — целая жизнь, в поцелуе — целый мир»? Или теплящейся в каждом человеке уверенностью, что он-то выкарабкается, он-то уцелеет? И действительно, почему именно он должен погибнуть во время бомбежки или пропасть на фронте? Жизнь, которая дается человеку только один раз, казалась безграничной и вечной, и, наверное, именно в этом заключалась истинная мудрость огромной реки под названием жизнь, складывающейся из множества коротеньких, но единственных судеб...

Дальше этого вывода Бела в своих размышлениях продвинуться не мог, здесь требовалось абстрактное мышление Берти Пюшки, студента философского факультета, под влиянием которого он и задавался подобными вопросами...

После обеда жара не спала. По-прежнему нещадно палило солнце, дул знойный ветер, но воздушного налета не было — очевидно, эскадрильи бомбардировщиков рыскали в иных уголках Европы. Стены сохли быстро. Датнер накатывал рисунок — в этой работе равных ему не было: с дьявольской ловкостью он спускался по стремянке, а валик в это время ровно, будто по отвесу, катился по стене сверху вниз. А Бела под самым потолком проводил линию бордюра; обладая необходимым для этого чутьем и терпением, он тремя-четырьмя различными цветами запросто наносил такое украшение. Торопиться особенно не пришлось: пока темнело, квартира была готова.

— Приходите утром пораньше, — распорядился Датнер, — и начинайте шпаклевать стены, а я зайду на склад Крайера за лаком.

Бела посмотрел на него и, поколебавшись, все-таки спросил:

— Может, сначала сделать грунтовку?

Датнер отмахнулся:

— Вот еще, не хватало терять целый день!

Юноша кивнул, но остался при своем мнении. Года два назад даже представить было невозможно, чтобы шпаклевку клали поверх старой, затвердевшей краски. Сперва полагалось положить грунтовку, потом прошпаклевать, зачистить стены шкуркой, покрыть тонким слоем краски, а поверх — густым слоем лака. Отказавшись от грунтовки, Датнер экономил время и материалы и выиг-

рывал день. Такая работа напоминала чайный суррогат «Планта» или искусственный лен, которым заменяли тонковолокнистый хлопок. Все это тоже была война, богатство стало хрупким, призрачным — одна бомба могла бесследно уничтожить труды целых поколений, а люди с еще большим упорством стремились плодиться и наживаться.

Когда, умывшись и переодевшись, Бела отправился домой, окончательно стемнело. Датнер решил сходить в Буду — обговорить детали очередной работы.

В трамвае при тусклом, дрожащем свете затемненных ламп Бела вздремнул и проснулся перед своей остановкой. «Да, немало сверхурочных на этой неделе», — размышлял он, зевая, по дороге к дому. Вечер стоял безлунный, но здесь каждый камень был ему известен с детских лет, поэтому он добрался бы домой даже с закрытыми глазами.

— Ты опять припозднился, сынок, — с беспокойством посмотрела на него мать.

Бела нежно погладил ее по щеке:

— Никак нельзя было бросить незаконченную квартиру. Хотели доделать, поэтому и задержались, — объяснил он и добавил: — Насижусь дома, как зачастят дожди да выпадет снег.

Он устало опустился на стул, потянулся — за день так намахался тяжелой кистью, так напрыгался по стремянке, что не осталось никаких сил. Пока мать разогревала ужин, он косился на отца, парившего больные узловатые ноги и читавшего газету. Взгляд Белы машинально скользил по его изрезанному морщинами, осунувшемуся лицу, редким седым волосам, аккуратным тонким усикам. От всей его фигуры веяло какой-то солидностью, спокойствием и покорностью. Отца, так же как библейского плотника, звали Йожефом, и по натуре он был таким же сдержанным и терпеливым. Глядя на старика, Бела невольно представил свое будущее. Господи, неужели и он станет парить натруженные ноги и коллекционировать дешевые романы? Он посмотрел на плотную бумагу затемнения, тщательно закрывавшую все щели на окнах. «Проклятая война!» — подумал он и вновь вспомнил то мгновение, когда, стоя во дворе доходного дома, в торжественном предчувствии важных событий, увлекательных приключений и больших перемен слушал сообщение по радио. Но за истекшие годы так ничего и не произошло. Его достоянием, как и прежде,

оставались малярная кисть да стремянка, зато с продуктами становилось все хуже, а тем, что на столе иной раз появлялись колбаса и сало, семья была обязана упрямству отца, считавшего нормальное питание самым важным и потому не жалевшего на него денег.

Их жизнь постепенно наполнилась страхом — воздушные налеты не давали покоя даже ночью, и частенько осовевшие, толком еще не проснувшиеся они мчались в бомбоубежище.

Мать принесла фасолевый суп и лапшу с маком — любимые блюда сына, но на сей раз он не пришел от них в восторг. Изголодавшись по мясному, он вылавливал в бульоне кружочки колбасы и кусочки поджаренного сала.

Мать присела рядом.

— Нельзя же есть все время мясное, — тихо произнесла она.

— Да и колбасы на каждый день не напасешься! — добавил Бела уныло, продолжая хлебать жидкий суп.

Сегодня вечером он хотел лечь пораньше — с ребятами виделся вчера, свидание с Клари только в субботу, а чем еще займешься в этом погруженном во мрак городе? В кино он уже опоздал — последний сеанс начинался в восемь. Можно, правда, почитать: на днях Берти Пюшки с восторженными отзывами вручил ему роман Стейнбека «Мыши и люди» — книга лежала на радиоприемнике. Бела снисходительно хмыкнул: чудак этот Берти, если полагает, что смертельно уставшему, едва добравшемуся до дома работяге достанет сил окунуться в мир героев книги.

Неожиданно раздалась трель электрического звонка — кто-то решительно и нетерпеливо давил и давил на кнопку.

Отец отложил газету:

— Сходи-ка, Белушка, погляди, что там за незваный гость. — Потом повернулся к жене и напомнил: — Мать, вода в тазике совсем остыла.

Сидя на велосипеде, уперевшись одной ногой о землю, у ворот ожидал молодой почтальон.

— Бела Газда, родился 10 июня 1925 года, имя матери Эстер Кевеш, правильно? — затараторил он, словно куда-то ужасно спешил.

— Данные сходятся, — подтвердил Бела.

— Я принес вам повестку! Распишитесь вот здесь! —

Почтальон включил карманный фонарь, осветил синим светом бумагу и протянул чернильный карандаш.

Бела взял повестку. Несмотря на кромешную темень, отчетливо видел благодушную улыбку почтальона, словно он доставил какую-то радостную весть. А может, он и впрямь был счастлив, отрывая своими звонками людей от ужина и вручая им повестки?

— Вы знаете свой долг, не так ли? — поинтересовался он. — Вам надлежит немедленно отправляться на сборный пункт!

Бела промолчал, захлопнул ворота и вернулся в дом.

— Почтальон вручил мне повестку, — сообщил он и положил желтый листок на стол.

Мать как раз выливала в таз горячую воду. От неожиданности она выронила чугунок и, не пытаясь даже поднять его, оторопело уставилась на сына. Отец оторвался от чтения, и, как показалось Беле, глаза его засветились радостью.

— Слышь, мать, сын-то наш солдатом стал! — произнес он с пафосом. В его пустых, бездушных глазах вспыхнуло любопытство. — Ну и куда тебя отправляют?

Бела посмотрел на бумагу:

— Село Пирок в области Боршод. Первый раз слышу.

— На вокзале подскажут, — махнул рукой старик.

Юноша задумчиво почесал в затылке:

— Здесь вот сказано, что мне следует отправляться сейчас же, а еще отдельно допечатано, чтобы захватил зимние вещи и одеяло. Сухой паек на три дня — это понятно, но зачем солдату теплая гражданская одежда? Что же это за армия? Или мы и воевать станем в гражданском?

Мрачно уставившись перед собой, мать запричитала:

— Господи, забирают моего сыночка! Ой, убьют моего единственного сыночка! Ой, разрази господь всех врагов! Ой, сбереги, боже, моего мальчика!

— Ну чего ты разойкалась? Слезами горю не поможешь, — успокаивал ее муж. — Воинская служба еще никому не вредила. И я был на фронте в прошлую войну, вон даже малярию в плену подцепил, и то ничего, как видишь. Напрасно ты убиваешься, приказ есть приказ, и ничего тут не попишешь. Если не явится, куда положено, завтра же заберут жандармы.

— Легко вам говорить! Все-то вы знаете, во всем разбираетесь! — удрученно произнес Бела.

Отец, не повышая голоса, поинтересовался:

— Не станешь же ты увиливать от исполнения гражданского долга? С тех пор как сотворен мир, постоянно шли войны, а здоровых мужчин забирали в армию. — Он ненадолго умолк, а потом продолжал бесцветным голосом: — Видел я войну. Думаешь, не знаю, что это такое? Повсюду убитые, калеки, сироты, вдовы, беспросветная нужда и мрак, да только возмущаться бесполезно, все равно ничего не добьешься! Повидал я недовольных крикунов, но всех их потом измордовали в кровь жандармы, поотбивали им в участке почки и сгноили по тюрьмам. Вот так-то! Да и вообще, раз враги напали на родину, ее нужно защищать! Если бы, скажем, кто-нибудь попробовал отобрать у меня дом, разве я не взялся бы за топор? Ну а если речь идет о такой святыне, как родина, какой может быть разговор?

— Чтоб тебе пусто было, старый ты осел, — прикрикнула на него жена, — родного сына готов отправить на эту бойню!

— Говорю же, ничего тут не поделаешь, — отмахнулся старик, — глянь-ка лучше, есть ли у нас сало, колбаса, жир? Может, еще чего найдешь парню в дорогу!

Бела с неприязнью посмотрел на отца:

— Да вы, никак, рады? Вон как гордо сказали: «Слышь, мать, сын-то наш солдатом стал»! — упрекнул он старика.

— А как же не радоваться, что у меня нормальный, здоровый ребенок, а не какой-нибудь никчемный доходяга, — рассудил с непоколебимым спокойствием отец. — В солдаты кого попало не возьмут. А потом, от смерти нигде не спрячешься: упадет, скажем, завтра бомба на дом, и конец, так что на фронт отправляются не смерти искать, а воевать!

— Да вам все нипочем!

— Так и есть, сынок! Простые люди вроде нас ничего в жизни изменить не могут и всегда поступают так, как им прикажут, будь то на заводе или в армии. Так уж заведено...

— Ну ладно, хватит, это я и сам знаю, хоть и помоложе вас.

Бела проглотил горечь обиды и подумал, что сегодня они, возможно, последний вечер коротают с отцом.

— Во всяком случае, сейчас я никуда не поеду — пока соберусь, будет полночь, а в такой час куда же отправляться? Ни трамваев, ни такси. Потом нужно попрощаться, — размышлял он вслух, затем повернулся к отцу: —

Послушайте, папа, как попарите ноги, сходите к Датнеру и расскажите ему, что произошло, а то утром он будет меня ждать. Мою зарплату за эту неделю пусть он вам сразу же выплатит.

— Бедняга Датнер, — посочувствовал старик, — где ему теперь взять другого помощника?

— Вы за него не беспокойтесь. Сезон скоро закончится, а до тех пор Датнер и один справится, — возразил Бела и вышел.

Скорым шагом он пересек железнодорожную насыпь и направился к Клари. Бела надеялся, что ему повезет и он застанет девушку дома. Неожиданно в голову пришла мысль, что, окажись она сейчас у кого-нибудь из подруг или родственников, они, может, больше никогда не увидятся.

Шагая по безлюдным улицам, он вспомнил, что еще ни разу не бывал у Клари. Когда после той памятной бомбежки он провожал ее домой, девушка, протянув руку, попрощалась с ним у ворот.

— Подождите еще чуточку. Видите, дом цел. Здесь совсем не бомбили. Не уходите, пожалуйста, — упрашивал он ее. — Я хочу вам что-то сказать. Знаете, я ведь вас уже видел. Мы нередко ездили в одном трамвае, случалось, всю дорогу стояли рядом.

— Действительно, — соглашаясь, кивнула девушка.— Теперь и я вас вспомнила.

— Ну, раз мы так необычно встретились, — воспользовался случаем Бела, — было бы неразумно разойтись в разные стороны, словно мы незнакомы...

Девушка смерила его взглядом с ног до головы, будто увидела впервые, и от этого испытующего взгляда Беле стало не по себе. Может, не нужно было ей этого говорить или надо было сказать как-то иначе? По сути дела, он ничего не знал об этой девушке, не знал, кто она и чем занимается, а без этого как же заводить знакомство и назначать встречу? В то же время он помнил, что они вместе избежали верной смерти. В памяти опять всплыло бомбоубежище в многоэтажном доме и лежавшие повсюду трупы. Значит, если бы они не пробежали дальше, если бы их впустили... Да они, можно сказать, заново на свет родились, и теперь их жизни крепко связаны...

Молчание затягивалось.

— Ну, хорошо, — согласилась наконец девушка, — увидимся в воскресенье, в пять, у собора.

Беле надолго запомнилась эта сцена. Девушка вела себя естественно, совсем не кокетничала: «Неужели? Что-то не припоминаю, хотя все может быть. Во всяком случае, я вас в трамвае не замечала...» Очевидно, она обращала на него внимание и раньше, и он был ей симпатичен, раз она согласилась прийти на свидание.

Они встречались пять месяцев, оба были влюблены, но у Белы до сих пор не исчезло ощущение, что он ничего не знает о девушке.

В принципе они уже все друг другу рассказали. Бела поведал ей, как стал маляром: не было желания учиться дальше, вот и решил пойти после четырех классов начальной школы в подмастерья. Это верный хлеб. Пока на земле живут люди, будут нужны и маляры. Вот кончится война, он сдаст квалификационный экзамен и откроет свое дело — он не дурак, чтобы гнуть спину на других. Рассказал он и об отце, которому не хватило мужества стать на собственные ноги, потому он и застрял на уйпештской мебельной фабрике. За всю жизнь ничего, кроме «Фриш Уйшаг» [1], не прочитал, а интересует его лишь две вещи на свете — обжорство да вечерние ванны для ног. Мать совсем другая. Выросшая в бедной крестьянской семье, она — сама доброта и за сына готова жизнь отдать.

Рассказал он Клари и о своих друзьях: о Берти Пюшки, который, окончив школу, пошел в гимназию, а потом поступил на философский факультет университета; о Банди Мадарасе — токаре-металлисте и Отто Мадарасе — технике-чертежнике. Они, четверо, держатся вместе и даже сейчас встречаются каждую неделю. Берти Пюшки — прирожденный педагог, он сплачивает их и воплощает в их четверке духовное начало, беспрерывно ораторствует и спорит, проповедуя истинный гуманизм. Братья Мадарас слушают Берти с недоверием, без конца на него наскакивают, потому что состоят в социал-демократической партии и посещают собрания профсоюза металлистов. Самого Белу политика не интересует, у него своя точка зрения на жизнь: дали бы возможность спокойно жить и работать. Он обычно не вмешивается в споры друзей, лишь посмеивается над ними, его дело сторона, но дружба — дело святое. А Берти — беспокойная душа, он постоянно раскапывает литературные новинки, а потом за-

---

[1] Газета «Последние новости». — *Прим. ред.*

ставляет всех читать эти книги, достает билеты в театр. Например, не так давно они посмотрели в театре Мадач «Гамлета».

Потом слово взяла Клари. Она рассказала, что училась на продавца мужской и женской галантереи, теперь уже зарабатывает. Хозяйка — очень порядочная пожилая вдова, имеет магазинчик на бульваре Ференца, но частенько хворает, и тогда Клари приходится выполнять обязанности кассира — тетушка Магди полностью ей доверяет. Работа ей нравится, по ту сторону прилавка всегда новые лица: сколько людей — столько судеб, а покупатели с удовольствием с ней беседуют, делятся своими радостями и горестями. Ее отец — переплетчик, у него есть небольшая мастерская и лавочка проката книг. Собственно, то и другое размещается рядом, поскольку все книги, которые он дает читать, переплетены им самим. Но он, естественно, берет заказы и со стороны. Обе сестры портнихи — мастера женского платья, работают в центральных салонах мод, соседи называют их не иначе как «тремя розочками», потому что они похожи друг на друга — все темноволосые, да и фигуры у них почти одинаковые, правда, Юли старше ее на восемь, а Марти на шесть лет.

И Бела представил себе этакое респектабельное семейство, проживающее в уютном, хорошо обставленном доме. Папаша управляется в мастерской и лавочке, а мамаша наверняка пытается подражать нарядным светским дамам. Однако поближе познакомиться с семьей Клари он так и не сумел: девушка ни разу не пригласила его в дом и даже не позволяла провожать до ворот. Он не мог понять, чем вызвано ее странное поведение, а расспрашивать не позволяло самолюбие. «Если ей так хочется, мне-то что! — думал он, но в глубине души сознавал, что это его немного задевает. — Может, Клари стесняется меня, считает, что я не достоин быть представлен столь благородному семейству? Тогда зачем она со мной встречается? И как объяснить ее страстные, откровенные поцелуи?»

И сама Клари казалась ему сплошной загадкой. Ей уже исполнилось восемнадцать. В этом возрасте девушки обычно стремятся привязать к себе своих кавалеров, прогуливаются с ними по улице на глазах у всего честного народа под руку, чтобы лишний раз подчеркнуть свои отношения. Клари же неизменно назначала свидания где-нибудь в центре и не позволяла провожать ее до дома даже поздно вечером. Почему? Может, у нее на примете

более серьезная партия — какой-нибудь преуспевающий лысый господин, который уже попросил ее руки?

Удивляла и ее элегантность. Клари всегда одевалась с иголочки, носила только модные, прекрасно сшитые платья. Откуда же у нее средства?

Бела не любил ломать над чем бы то ни было голову. «Ну что ж, пусть все остается так, как есть,— решил он,— Клари мне не жена и даже не невеста». Он не спешил влезать в этот хомут, его устраивало существующее положение, и он продолжал встречаться с девушкой, не обременяя себя какими бы то ни было обязательствами.

Однако он столкнулся и с другими странностями. Человек ведь не из дерева, верно? Но когда во время страстных объятий и поцелуев он пытался осторожно и ласково погладить ее грудь или талию, а потом добраться до более интимных мест, Клари всякий раз грубо отталкивала его:

— Ты что? За кого ты меня принимаешь? Я не думала, что ты такой! Как тебе не стыдно?!

Бела никак не мог разобраться в ситуации. Клари — взрослая, самостоятельная, образованная девушка, с детства проводила все свободное время в книжной лавке отца, много читала и наверняка знала, что любовь духовная неотделима от любви телесной. А вдруг ей не нужен секс? Да нет, не в средние же века они живут! Такого не может быть! И потом, если девушка любит парня, она должна позволять ему все, даже если ей самой этого не очень хочется. Да и чего она ждет? Идет война, падают бомбы, никто не знает, доживет ли до завтрашнего дня, поэтому и надо наслаждаться каждой минутой жизни.

А если Клари никогда не была близка с мужчиной? Да неужто такую красавицу никто до сих пор не замечал и никто не делал попыток овладеть ею? Как же, так он в это и поверил!

Бела тоже не вчера на свет родился. Он пережил уже несколько любовных историй, а не только к проституткам наведывался. Рано или поздно ему отдавались все девчонки, с которыми он знакомился на танцах. Конечно, эти отношения не были серьезными. После нескольких встреч девчонка ему надоедала и, расставшись с ней, он в очередной раз успокаивал себя тем, что это не его идеал. По правде говоря, девушки за него тоже не очень-то цеплялись — очевидно, чувствовали, что для брака он еще не дозрел. Несколько месяцев его обхаживала моло-

дая замужняя женщина, но это было не более чем приключение, доставлявшее удовольствие обоим.

Никто из тех, с кем ему до сих пор доводилось встречаться, не шел ни в какое сравнение с Клари. Ради нее стоило заказывать новые костюмы, с ней можно было гордо прогуливаться по набережной — ее разглядывали, вслед ей оборачивались. Сознавая это, Бела воспринимал их отношения с некоторой прохладцей — не хотелось заходить слишком далеко, в конце концов, кто знает, как все сложится. Но сейчас, приближаясь к дому Клари, Бела нащупал в кармане повестку, и эта бумажка, напомнив ему о жестокой реальности, с новой силой всколыхнула в нем чувства, напомнила об опасностях войны, о грохоте артиллерийской канонады, о множестве изуродованных тел на полях сражений, где люди, такие же, господи, люди, как он, уничтожают друг друга и где скоро предстоит оказаться ему. Только теперь он осознал, что и его подхватил смерч войны, что всемирная кровавая бойня вскоре поглотит и его.

Во время ремонта квартиры где-нибудь в центре города у него не оставалось времени для раздумий о положении на фронтах, но полученная повестка сразу подвела черту под всей его предшествующей жизнью — так отрывистая дробь оркестрового барабана знаменует конец очередного опуса симфонии.

Кнопку звонка отыскать не удалось. Тогда он нажал ручку, и расшатанная калитка легко отворилась. Волнуясь, он осторожно продвигался через двор, опасаясь, что из темноты вот-вот бросится на него злой пес, но кругом было тихо. Слева возвышалась темная глыба соседнего дома. Бела присмотрелся и заметил тусклую полоску света, пробивавшуюся наружу из-под бумажного затемнения на окне.

Возле кухонной двери он остановился — изнутри доносились голоса. Женщина постарше вдруг закричала:

— Юли, брось ты наконец эту дурацкую книгу и поди вынеси грязную воду! Сидят себе и смотрят, как мать надрывается над корытом!

Ей ответил спокойный мелодичный голос:

— Хватит, мама, кричать, сказала бы раньше, я бы помогла! Не одна ты работала целый день. И вообще, я же просила не затевать стирку в девять вечера.

Крик сменился старческим брюзжанием:

— «Не затевать, не затевать»! А в чем, интересно, ты будешь завтра щеголять перед хозяином? Ведь столько

женщин вокруг, и одна лучше другой. А замуж вам надо выходить? Или так и собираетесь сидеть всю жизнь в старых девах у меня на шее? Три девки, господи, за что ж такое наказание!

У Белы мелькнула мысль, что старуха сейчас, пожалуй, выдаст такое, чего ему лучше не знать, поэтому он не стал дальше слушать и постучал.

В доме сделалось тихо, потом хозяйка попросила:

— Юли, погаси свет!

Дверь приоткрылась, и из темноты вырвались клубы пара, пропитанные запахом мыла.

Юли прищурилась и, ухмыляясь, принялась разглядывать Белу.

— Кто вы? — поинтересовалась она. — Что вам угодно?

— Мне нужна Клари. Зовут меня Бела Газда. Извините за беспокойство, но мне необходимо срочно ее видеть. Дело не терпит отлагательств.

Юли пригласила юношу в дом:

— Что ж, входите, нечего топтаться у порога. — Потом захлопнула дверь и щелкнула выключателем.

У корыта стояла расплывшаяся, рано постаревшая женщина в мокром платье.

— Что вам нужно от Клари? — враждебно спросила она неприятным высоким голосом, а потом как бы невзначай обронила, намыливая комбинацию: — С Клари вам поговорить не удастся. Нет ее дома и не будет.

Юли неожиданно рассмеялась:

— Да брось ты, мама, это же ее кавалер. Клари о нем рассказывала, я его узнала. — И она повернулась к Беле: — Присаживайтесь, вон там табурет.

У Юли была смуглая, как у креолки, кожа, чуть выступающие скулы, миндалевидные глаза, крепкие мясистые губы, темные волосы, спадающие на плечи, как у Клеопатры, под стареньким халатом угадывалась безупречная фигура. Несмотря на сходство с младшей сестрой, ее красота казалась более зрелой, более женственной.

Хозяйка сердито терла мылом комбинацию, периодически окуная ее в воду и вновь растирая на стенке корыта.

— Прийти в десять вечера в дом, где одни девки! — ворчала она.

— Клари, поди сюда! — крикнула в комнату Юли. — Бела пришел!

Парень огляделся. Обшарпанный, с выбоинами, кирпичный пол, потемневшие от пара стены, старенький кухонный шкаф, болтающаяся на проводе тусклая голая лампочка. Безрадостная, убогая обстановка.

Дверь из комнаты приоткрылась, и вошла Клари. Сейчас и она была иной — выцветший, застиранный халатик и растоптанные тапочки лишили ее неизменной элегантности, которая так импонировала юноше. Она приблизилась и, почувствовав недоброе, настороженно посмотрела на Белу.

— Мне принесли повестку, — тихо сообщил он. — Утром отправляюсь. Вот и зашел попрощаться.

— Подожди, я сейчас, только накину что-нибудь.

Через некоторое время за спиной у юноши скрипнула дверь, которую он даже не заметил. В кухню вошел забавный, маленький, неряшливо одетый человечек с большой лысиной и кривыми ногами. Он дружелюбно протянул Беле руку:

— Добро пожаловать, сынок. Я — Енё Рожош, отец Кларики. Чувствуй себя как дома, друзья моих детей — мои друзья!

Через приоткрытую дверь Бела разглядел в переплетной мастерской механический пресс, находившиеся в работе книги, с переплета которых до самой земли свисала длинная тонкая тесьма, кастрюльку с клеем, а чуть выше, на некрашеных деревянных полках, рядком стояли книги, сдававшиеся в прокат.

Маленький человечек придал лицу торжественное выражение и прокашлялся.

— Я думаю, — произнес он хрипловатым густым басом, — раз молодой человек отправляется на фронт и зашел к дочери попрощаться, за это непременно следует выпить.

Неожиданное появление отца привело домочадцев в шоковое состояние. Раньше других опомнилась хозяйка и истерически завопила:

— Убирайся назад в свою конуру, пьяная свинья! Тебя никто не звал! Ты и так уже налакался!

— Мать, не вмешивайся, — невозмутимо парировал старик, — обычай есть обычай: если кто-то из членов семьи уходит на фронт, за это полагается чокнуться.

— Насколько мне известно, из нашей семьи никто на фронт не уходит! — кричала жена. — Хоть бы тебя забрали, чтобы не позорил нас перед всеми.

— Папа, этот парень пришел к Клари, и я не думаю, что он захочет с тобой выпить, — рассудила Юли. — Возвращайся-ка ты к себе и укладывайся спать.

Старик беспомощно озирался, ища поддержки.

— Так, значит, ничего не получится. Жаль, — смирился он с неудачей и, выпятив каким-то едва уловимым движением нижнюю губу, неожиданно накрыл ею кончик носа. Затем губа поползла еще выше, почти до самых бровей, и закрыла пол-лица. Сияющими от восторга глазами он наблюдал, какое это производит впечатление, потом вернул губу на место и низким, осипшим от пьянства голосом похвастал: — Это что! У меня в запасе есть фокусы похлеще. Ими я обычно развлекаю приятелей, а один раз даже господина полицейского пристава рассмешил.

Хозяйка от возмущения не находила слов, а Юли натянуто улыбалась.

— Ехал я как-то в трамвае с использованным талончиком... — продолжал осмелевший человечек. — Хитрость здесь заключается в том, чтобы аккуратно заклеить дырочки от компостера. Дело это непростое, но у меня получается, и за десять лет я не заплатил за проезд и ломаного гроша. Так вот, попался раз дотошный кондуктор, посмотрел на свет мой талончик и разоблачил этот трюк. Пришлось отсидеть восемь дней, да и то потому, что меньше господин полицейский пристав дать не мог. Кстати, именно он назвал меня «резиновой губой». Так это прозвище за мной и таскается, как хвост за ослом. Замечательный человек был этот пристав, скажу я вам, добрая душа, и шутку понимал...

— Попридержи наконец свой проклятый язык и убирайся отсюда! — завопила жена.

В этот момент появилась Клари, одетая в светлый клетчатый костюм. Лицо ее было бледным и печальным.

Мать назойливо жужжала:

— Не задерживайся, возвращайся поскорее — молодым девушкам вечером полагается сидеть дома!..

Они долго бродили по затаившимся улицам.

2

За письменным столом сидел в расстегнутом кителе очкастый капрал и с презрением смотрел на вошедшего парня.

Бела отдал честь, вскинув резким движением руку к козырьку, звонко щелкнул каблуками и отрапортовал:

— Господин капрал, разрешите доложить, гонвед Бела Газда прибыл для прохождения службы!

Капрал закурил, пустив дым, и, одарив Белу добродушной улыбкой, принялся покровительственно поучать:

— Ты, сынок, пока лишь вонючая гражданская вошь, а не гонвед! Думаешь, если почтальон принес тебе этот кусок туалетной бумаги, так ты уж и солдатом стал, да? Вот когда пройдешь курс молодого бойца и примешь присягу, когда будешь кровью мочиться да наложишь пару раз в штаны, тогда и произноси святые слова «венгерский гонвед»!

Бела много слышал об армейской грубости, знал, что лучше всего в таких случаях помалкивать, но этот капрал отчитал его так беззлобно, что он отважился спросить:

— Разрешите уточнить: как же тогда докладывать? Маляр Бела Газда прибыл для прохождения службы, так, что ли?

Капрал покопался в картотеке и, не взглянув на него, зарычал:

— Открывать рот будешь, когда спросят, понял? Теперь объясняю: пока ты всего лишь паршивый допризывник, рекрут, и заруби это себе на носу. — С этими словами он извлек одну из карточек, что-то на ней записал, а затем занялся повесткой: не торопясь накорябал пару строк, шлепнул две печати и протянул назад Беле: — Теперь, сынок, шагай на вокзал. Узнаешь, как добраться до Эгерсилаша, и первым же поездом отправляйся. Там разыщешь резервную роту связи 13-й егерской бригады. Ясно?

Бела вновь браво щелкнул каблуками и отчеканил:

— Так точно, господин капрал! Допризывник Бела Газда, прошу разрешения удалиться!

Капрал удивленно уставился на него, словно видел перед собой барана.

— Что? Допризывник? — взвыл он. — Гонвед, которого армия приняла в свои ряды, которому венгерское государство отправило повестку, называет себя презренным словом «допризывник»? Да, повидал я идиотов на своем веку, но такого — не доводилось! Проваливай отсюда, а то дам такого пинка под зад, что улетишь к самой станции!

Бела козырнул, неуклюже развернулся и вышел из ворот приземистого здания начальной школы.

— Иди ты со своими солдафонскими шуточками... — пробормотал он и направился к вокзалу.

К вечеру он прибыл в Эгерсилаш и быстро покончил с формальностями в канцелярии роты, размещавшейся в сельской управе.

Усталый, он сидел во дворе, устроившись на своем сундучке, и дремал, согреваемый теплом уходящего дня. В его ушах все еще звучал мерный перестук колес, ассоциировавшийся в сознании с медленной поступью приближающейся темноты. В поезде он забился в угол и молча глядел в окно. О будущем решил не думать, да и прошлое ворошить не хотелось. Он знал, что все это бессмысленно: начиная с момента призыва завтрашний день становился непредсказуемым и планировать что-либо было просто глупо — теперь он всецело зависел от чужой воли и мог полагаться только на себя, на свою находчивость и удачу, которая его пока что не подводила. Родительский дом, недобрые предчувствия, испуг матери, безучастное благодушие заботящегося лишь о собственном покое отца, его равнодушное «И ничего тут не попишешь» — все это осталось где-то далеко, превратилось в неясное, бесполезное воспоминание. А искренняя, внимательная любовь Клари, ее горячие поцелуи — чем они теперь помогут? Разве что разбередят душу да навеют тоску, ведь отсюда назад дороги нет.

Бела принялся разглядывать людей. В большинстве своем это были немолодые крестьяне, напоминавшие стариков, среди них выделялись лишь парни его возраста, одетые по-городскому. Внимание Белы привлек невысокий молодой человек с крупным лицом, которого будто только что оторвали от материнской юбки. С энтузиазмом, не омрачаемым никакими сомнениями, он вещал:

— Нам должны выдать такие симпатичные шапочки с эдельвейсом на отвороте, а то какие же мы егеря?

Кто-то рядом презрительно заметил:

— Слышь, приятель, тебе бы языком воевать, а то, как танк увидишь, первым деру дашь!

Бела покачал головой и посмотрел на говорившего. Облокотившись на изгородь, скрестив руки на груди, рядом с толстяком стоял симпатичный голубоглазый, русоголовый парень. Характерная сочность его речи показалась Беле знакомой.

— У егерей подготовка гораздо основательнее, чем у других, у них от нагрузок пупок развязывается, — продолжал сосед. — Чему радуется этот идиот?

Немного погодя появились капралы и ефрейторы. Они разбили всех на взводы и отделения, а потом распределили по избам. Бела попал в одно отделение с блондином.

Сгущались сумерки. По дороге, поднимая золотистое облачко пыли, возвращалось деревенское стадо. Пастухи доставали колодезным журавлем воду, чтобы напоить скот. «Привычная картина мирной жизни», — подумал Бела, вышагивая в строю.

Капрал Сабо, худой, остриженный наголо, с чуть прищуренными глазами и озабоченным лицом, на котором ничего нельзя было прочесть, подвел их к аккуратной избе. В дверях сразу появилась молодая хозяйка и, испепелив взглядом, набросилась на них:

— Я тут одна, пока муж на фронте, мучаюсь с детьми, со стариками да со скотиной, а они еще пригнали на мою голову постояльцев! Ведите их куда хотите — домов в деревне много! Не хватало мне за ними убирать, да чтобы добро у нас порастащили! Да кто ж это прислал их, чтоб ему пусто было!

— Если ваш муж на фронте, — спокойно произнес капрал, — так вы должны знать, как несладко живется солдату, и помогать нам!

Молодая женщина с трудом уняла злость, повернулась и, направляясь в дом, обронила с порога:

— Ладно, пусть устраиваются в хлеву!

Капрал вновь вызвал хозяйку и, повысив голос, отчитал:

— Солдат — не скотина, ему не место среди свиней! Выделите нормальную комнату, где мои люди могли бы разместиться!

Женщина заворчала:

— Вы же видите, как у нас тесно. Все комнаты заставлены так, что иголку некуда положить. Где уж тут принять столько человек?

Капрал остался непреклонен:

— Выделите нам поскорее помещение или я прикажу освободить самую большую комнату и пошлю за жандармами!

В конце концов хозяйка сдалась и проводила солдат в дальнюю комнату, служившую кладовкой, в которой держали всякий хлам. Здесь стояли тяжелый сундук,

старый стол, швейная машинка под покрывалом и мешки с зерном. Капрал распорядился все вещи вынести, но швейную машинку по слезной просьбе хозяйки оставили на месте.

Затем капрал повернулся к солдатам и приказал:

— Принесите-ка соломы из стога и расстелите ее по полу так, чтобы получился правильный прямоугольник. Вход не загораживать. На ужин ешьте привезенный с собой холодный паек. Да за порядком следите как положено! Не дай бог, увижу солому в других комнатах! С хозяевами обращайтесь вежливо, если пожалуются — пеняйте на себя! Отбой в девять, подъем в шесть, построение в семь во дворе управы. Вопросы есть? — Он козырнул и попрощался: — Спокойной ночи, солдаты!

Кто-то скомандовал:

— Отделение, смирно!

Все вскочили и стояли замерев, пока капрал не вышел.

Стемнело. Устраиваясь на ночлег, они то и дело спотыкались и суетливо перебивали друг друга:

— Свечки, случаем, ни у кого нет?

— Надо попросить у хозяев керосинку.

— У этих? У них зимой снегу не выпросишь.

Бела узнал неповторимый говор молодого блондина:

— Пошли, ребята, принесем соломы, пока ночь не наступила! Каждый захватит по большой охапке, а потом разбросаем ее по полу и перекусим...

Кто-то грустно добавил:

— Если есть что...

— У кого нет — пусть лапу сосет, — парировал светловолосый.

Ночь была безлунная, но от света звезд на улице было светлее, чем в комнате. В конце длинного крестьянского подворья, возле амбара, они обнаружили большой стог соломы, но вил не оказалось — очевидно, хозяева их припрятали. Пришлось дергать руками, но слежавшаяся солома не поддавалась. Наконец кто-то наткнулся у стены амбара на лестницу, влез на стог, скинул с него брезент и начал сбрасывать солому сверху.

На ощупь, чертыхаясь и без конца наталкиваясь друг на друга, они расстелили солому. Потом завесили окно и, усевшись на импровизированную постель, стали закусывать при свете неизвестно откуда появившегося

свечного огарка. Все порядочно устали, поэтому болтать не хотелось.

Начали укладываться. Бела тоже разделся, натянул старенькую рубашку вместо пижамы и укутался в толстый фланелевый плед. Он успел подумать о том, что сегодня первое сентября и что теперь месяцы полетят так, что не заметишь, и вскоре глубоко заснул.

Утром Белу разбудил блондин. Тряся его за плечо, он повторял:

— Вставай, вставай скорее! Все уже собрались!

Бела влез в брюки, схватил полотенце и мыло и побежал к колодцу. Как раз в этот момент из коровника выходила молодая хозяйка. В руках она несла ведро с приятно пахнувшим парным молоком. Она сразу напустилась на Белу:

— Эй, что это вы задумали? А ну-ка отойдите от поилки, а то потом лошадь не станет из нее пить.

Пришлось набрать полный рот воды и, выпуская ее тонкой струйкой в ладони, промыть глаза после сна, как это делают крестьяне в глухих деревнях.

В комнате шла уборка. Солому уложили прямоугольником и тщательно подмели, памятуя наказ капрала.

Светловолосый парень протянул Беле руку:

— Давай знакомиться. Меня зовут Фери Лештьян, родом я из Торнакереса, а по профессии сапожник.

Бела удивленно посмотрел на него:

— Из Торнакереса, говоришь? Так у меня мать оттуда, и сам я в детстве каждое лето проводил там у деда — Яноша Палфаи. Это отец матери.

— Как же, знаю! — обрадовался Фери. — Дотошный, надо сказать, старикан. Сапоги он обычно заказывает у моего родителя, но всегда критикует, выражает недовольство, хотя отец выполняет работу только по высшему разряду.

— Тогда мы должны были встречаться раньше, — задумчиво констатировал Бела.

— Мне тоже показалось, что я тебя где-то видел, — подтвердил Лештьян и перешел на шепот: — Слушай, Бела, раз уж нас свела судьба, давай держаться вместе. Сам убедишься: вдвоем лучше, чем одному. Идет?

— Порядок, приятель!

Только сейчас он сообразил, откуда ему знакома манера речи и интонации Фери. Ну, конечно, так говорят в Торнакересе, именно так говорил и его дед.

Во дворе управы повар черпал котелком из большого котла, служившего раньше для варки варенья, крепкий черный кофе и разливал его по кружкам толпившимся солдатам роты. Отделение Белы, все девять человек, недоуменно переглянулись. Ефрейтор, командир взвода, подошел к ним и поинтересовался:

— А вы почему без посуды?

Один из деревенских, тот, что постарше, ответил за всех:

— Так ведь никто не сказал, что будет завтрак!

Это услышал капрал и приблизился к ним:

— Черт бы вас подрал, вы что, глухие? Я же предупреждал с вечера, что ужина не будет, а утром приходить с котелками!

Ефрейтор снисходительно улыбнулся:

— А ну, ребята, давай бегом назад! Одна нога здесь, другая там!

Когда вернулись с котелками, кофе почти весь выпили.

— Капрал ни о чем не предупреждал нас, правда? — вполголоса поинтересовался Бела.

— Конечно не предупреждал, — пробормотал Фери. — Но ты лучше попридержи язык, не то хуже будет. Знаю я их сволочную породу! Вот посмотришь, мы с ним еще натерпимся.

После завтрака унтер-офицеры энергично, по-военному взялись за новобранцев. «Становись», «Равняйсь», «Эй вы, старый болван, чего топчетесь, словно отбившаяся от стада овца?» — слышалось отовсюду, а затем новобранцы с песней строем прошли по деревне.

Шагать пришлось по пыльной, ухабистой дороге из укатанного щебня. По обеим ее сторонам тянулась глубокая, заросшая травой канава, а сразу за ней стояли ограды домов. Бела с интересом разглядывал эту неказистую, раскинувшуюся в долине деревушку со странным названием Эгерсилаш. Он гадал, как долго они здесь пробудут и чем станут заниматься. Охваченный щемящей тоской, он сознавал, что до всего происходящего ему нет никакого дела, и, будь его воля, сейчас же отправился бы назад, в прежнюю жизнь. Он на минуту представил себе теплую постель, яркий солнечный свет в пустых квартирах, выцветшие стены, неровности которых он любил поглаживать, прежде чем заделать гипсом. Он готов был бежать куда угодно, в любой крупный город, в суету настоящих казарм, где солдаты оде-

ты в форму и имеют оружие, как это положено, но понимал, что все его волнения напрасны, жизнь его теперь регламентирована и выбора у него нет.

Да и времени на раздумья оставалось немного. Как только миновали последние подворья, ефрейторы вновь взялись за новобранцев. То и дело раздавались отрывистые слова команд:

— Руки на бедра! Ходьбу на согнутых ногах — начинай! Прыжками вперед вверх на холм — марш!

Многие не выдерживали, падали среди валунов и сосен и разбивали себе носы. И тогда слышалось:

— Встать! Продолжать прыжки, бездельники! Я вам посачкую, разгильдяи!

Одолев высоту, Бела почувствовал, что ноги налились свинцом и совершенно его не держат, но резкие слова команд не давали ни минуты передышки:

— Бегом — марш! Раз-два, раз-два!

И они, пошатываясь, хватая ртом воздух, спотыкаясь о кочки, беспорядочно бегали по кругу.

Позже капрал собрал всех в круг, встал в центре и принялся ораторствовать:

— Рота связи 13-й егерской бригады сражается на фронте. Если они погибнут или отойдут на переформирование, их место займете вы. Вам, вероятно, придется воевать в скалистых ущельях Карпат или Высоких Татр, в условиях, которые вам и во сне не снились. Возможно, не раз придется висеть над пропастью, протягивая связь, или, попав под лавину, сутками сидеть по горло в снегу, а потом пробираться на лыжах к своим. Если сорветесь в бездну или, поскользнувшись, упадете, то никто вас никогда не отыщет, так и замерзнете там. Поэтому вы должны благодарить бога, что проходите курс молодого бойца здесь, среди этих холмов. Считайте, что находитесь на курорте, и цените эту благодать.

Фери Лештьян презрительно произнес:

— Брехня...

Бела недоуменно посмотрел на него: ведь капрал наверняка говорил правду.

Настал черед строевой подготовки. Ефрейтор назначил командиром их отделения Дьюси Кальмара, и Бела поначалу пожалел, что не его. Но позже выяснилось, что этот парень из Кишпешта был младшим инструктором на курсах допризывников, и ефрейтор, очевидно, об этом знал. Вот выбор и пал на Кальмара.

Потом последовали групповые упражнения. Опять «Равняйсь!», «Смирно!», «Напра-во!», «Нале-во!», «Кругом!» — все то, чем их изводили на занятиях по начальной военной подготовке в течение многих лет, что успело набить оскомину. Бела успокаивал себя тем, что это все-таки лучше, чем болтаться на страховочной веревке в Высоких Татрах над бездонной пропастью или торчать на передовой под непрестанным обстрелом и бомбежками.

Во время перекура они с Фери отошли в сторону и Бела поинтересовался:

— С чего ты взял, что все это брехня? Разве капрал не прав?

Фери вспыхнул:

— Да врет все твой капрал! Мой брат тоже был егерем и много рассказывал. Для начала их нормально экипировали и выдали им окантованные горные ботинки с железными шипами на подошве, кормили как летчиков или танкистов — по высшему разряду, а кроме того, отбирали преимущественно спортсменов или, по крайней мере, здоровых, крепких ребят, способных вынести нагрузки. Ну а теперь погляди на нашу убогую роту. Неужели мы похожи на подразделение егерей?

Фери сплюнул и продолжал:

— Плакать хочется, когда смотришь на этих ослабевших от постоянного недоедания несчастных, на этих босоногих голодранцев, которые, вероятно, и алфавита-то не знают. Всю жизнь их пинает, кто хочет, и делает с ними, что хочет, а они лишь глупо улыбаются. Для таких счастье получить даже плохонькие башмаки и солдатскую форму. За это, прикажи им господин капрал, они готовы родную мать повесить! Нет, такие годятся на все, но не в егеря.

Скоро выяснилось, что именно с этими босоногими больше всего хлопот. Многим из них было за сорок, на первую мировую войну они не попали, из допризывного возраста вышли, со сборов их регулярно выкидывали, и вот теперь они оказались беспомощными, словно малые дети. По команде «Налево» поворачивались направо, команду «Кругом» выполняли через правое плечо. Во всех отделениях было один-два таких, которые все путали, и остальные, ругаясь и проклиная все на свете, вынуждены были из-за них каждый раз начинать все сызнова. Бела поначалу жалел этих смущавшихся пожилых

людей, но в конце концов перестал обращать на них внимание — хватало своих забот.

Дни проходили однообразно, некоторое оживление вызвала лишь замена котла для варки варенья настоящей полевой кухней.

Бела часто задумывался об этой странной солдатской жизни, протекавшей здесь, в Эгерсилаше, и не раз делился своими соображениями с Фери Лештьяном.

Капрал обычно строил роту после завтрака и объявлял приказ господина лейтенанта на день. Но где этот лейтенант, как попадают сюда его распоряжения? И потом, что это за рота, где нет ни унтер-офицеров, ни фельдфебелей, ни старшин, а тремя взводами командуют два ефрейтора да капрал? И почему, наконец, им не выдают форму и заставляют торчать в этой забытой богом деревушке?

Фери только смеялся да плечами пожимал:

— Видишь ли, скорее всего, никто толком ничего не знает или одни требуют одного, а другие — другого. Где-нибудь в Пеште в генштабе состряпали приказ сформировать такое-то количество резервных рот ввиду потерь на фронте, а где взять на всех амуницию, когда и на передовой не хватает ни оружия, ни боеприпасов, ни одежды? Да и потом, война-то вон сколько уже длится — страшно подумать! Гитлер напал на Советский Союз в сорок первом, через три дня и мы в войну вступили, а сейчас сентябрь сорок четвертого. Считай, четвертый год солдаты гниют в окопах. Русские уже к Карпатам подошли. И ты думаешь, среди кадровых генералов и полковников нет таких, которые понимают, что война проиграна? Наверняка нашлись и такие, которые не хотят посылать венгерских парней на бойню, вот и тянут время. А может, просто собрали с горем пополам эту роту, а что делать с ней—не знают. Во всяком случае, для нас это лучше, чем фронт...

Стояла теплая солнечная осень.

Солдаты отделений потихоньку привыкли друг к другу, перезнакомились, подружились; сложились и более тесные группки по два-три человека. К Беле и Фери примкнул цыган Элемер Шаркади, скрипач, и Дьюси Кальмар, командир отделения. Дьюси до армии работал на текстильной фабрике, в цехе первичной обработки хлопка, поэтому его образ мыслей, манера поведения были понятны Беле. Элемер принадлежал к высшему цыганскому сословию и в этой жестокой обстанов-

ке инстинктивно тянулся к горожанам. Это был крупный медлительный мужчина с бесконечно добрыми карими глазами на гладко выбритом лице. Он захватил с собой темно-синюю праздничную пару и дорогую скрипку. Он следил за руками и по вечерам тщательно мазал их кремом. Его не нужно было долго уговаривать, чтобы он достал свой инструмент и сыграл. Шаркади считал себя музыкантом, его ансамбль играл в солидных столичных ресторанах, выступал по радио, выезжал на гастроли за границу. Когда они с Белой оставались вдвоем, Элемер рассказывал ему о светских дамах, которые, пленившись обворожительным голосом цыганской скрипки, самозабвенно отдавались ее владельцу в завешенных тяжелыми шторами номерах гостиниц, потому что музыке неведомы условности и она беспрепятственно проникает в восприимчивые души, независимо от общественного положения слушателей и слушательниц.

Время шло, а установить контакт с хозяевами дома по-прежнему не удавалось. Они ни разу не предложили солдатам ни стакана молока, ни тарелки супа. Той однообразной скудной пищи, что готовили на полевой кухне, не хватало, но даже самые последние босяки в отделении считали ниже своего достоинства попрошайничать. И все ревностно следили за порядком, чтобы хозяева не могли их упрекнуть за грязь.

С течением времени они сдружились со своим ефрейтором. Этому молодому добродушному парню из Салонты не вскружили голову нашитые на воротник звездочки. Он никого не наказывал просто так, по-человечески относился к солдатам и, кроме того, пользовался авторитетом у унтер-офицеров, поскольку провел десять месяцев на фронте.

С ефрейтором им здорово повезло, но, как оказалось, радость их была недолгой. Однажды он собрал взвод на вершине холма и понуро сообщил:

— Ну вот, ребята, завтра опять ухожу на фронт!

Потрясенные услышанным, они молчали и сочувственно смотрели на ефрейтора — каждый знал, что уходили на фронт многие, а возвращались единицы.

Фери Лештьян первым нарушил тишину:

— Для нас это тоже горе. Свела судьба с порядочным человеком, а теперь не известно, кого пришлют. От всего сердца желаем вам, господин ефрейтор, выжить. Храни вас господь! Оставайтесь всегда таким же справедливым. Мы вас никогда не забудем.

Вечером, после ужина, к ним заглянул кто-то из соседнего отделения и сообщил, что ефрейтор приглашает всех в корчму распить бутылочку-другую винца.

Элемер сразу вытащил свою скрипку. Вместе с ним отправились Бела, Фери и Дьюси. За столом в корчме сидело несколько человек из двух других отделений. Моментально появилась новая бутылка красного вина, заплакала скрипка Шаркади, а вскоре полились по залу и слова грустной песни. Потом вино заказывали еще много раз.

Пробило девять, когда в соответствии с распорядком они обязаны были находиться в своем подразделении, но об этом старались не думать — все понимали, что завтра может настать и их черед. Корчмарь запер двери изнутри, и веселье продолжалось. Все, включая ефрейтора, перешли на «ты». Хмелея от выпитого, они все ниже склоняли головы и, обнявшись, думали о собственной судьбе и с проникновенной грустью пели солдатскую песню времен первой мировой войны:

...Где-то вдали от тебя,
Там, где никто не скорбит,
Мне умереть предстоит...

Только теперь у них появилось чувство локтя, вера в дружескую поддержку и сознание ответственности, а мысли о прихотливости человеческих судеб, в частности об уходящем на фронт ефрейторе, заставили почти физически ощутить, что такое война и что их ждет в будущем.

Вероятно, они остались бы в корчме до утра, но в полночь корчмарь всех выпроводил. Взявшись за руки, четверо солдат молча, дабы не нарушать покоя деревни, брели по главной улице. Осторожно отворили они калитку, на цыпочках прошли через двор и проскользнули к месту ночлега...

Неприятности начались на рассвете. Дьюси Кальмару стало плохо, и, как он ни старался зажимать рот рукой, пока выскочил во двор, все покрывало швейной машинки, пол в комнате, сени и порог были испачканы. После подъема он отправился к молодой хозяйке за ведром и тряпкой, но та, словно фурия, проклиная все на свете, помчалась за капралом.

Тогда они всем отделением попытались замести следы. Дьюси вытирал портянкой пол, Бела у колодца отмывал покрывало, а Фери и остальные наводили поря-

док в помещении, чтобы самый придирчивый глаз не обнаружил ни пылинки, ни перышка.

Вскоре скрипнули ворота и в дом решительным шагом вошел капрал. Уперев руки в бедра, он остановился в дверях и спросил тихим, но не предвещавшим ничего хорошего голосом:

— Я вас предупреждал, чтобы вели себя достойно? Не вмешайся я тогда, спали бы в хлеву или в амбаре. А вы что? Где пропадали вчера после отбоя, а? И что за свинарник здесь устроили? Марш на двор, мерзавцы! — И он отвел их к стогу.

«Теперь все отделение будет страдать из-за Дьюси Кальмара, — думал Бела. — Прав оказался Фери: капрал только и ждал подходящего момента, чтобы покуражиться». Немного успокаивало лишь то, что расправу он собирался учинить не на виду у хозяев дома.

Капрал упругим шагом попятился назад и скомандовал:

— Ложись! Встать! Ложись! Встать!

Темп постепенно возрастал. Парни вразнобой падали на землю. Потом последовали бег, отжимания и, наконец, прыжки на корточках.

Это была обычная утренняя зарядка, к которой за две истекшие недели они успели привыкнуть, но сейчас не выдерживали. Бела даже не подозревал, что такими элементарными упражнениями можно измотать человека до предела. Когда в очередной, одному богу известно который раз капрал скомандовал: «Бегом — марш!» — Элемер Шаркади, тяжело дыша, просто переступил заплетающимися ногами, а во время прыжков присел, тут же свалился лицом вниз и разбил нос. Он пытался встать и страшно вращал налившимися кровью глазами, но мышцы его не слушались и он, вытянувшись во весь рост, так и остался лежать на земле.

Бела чувствовал, что у него отнимаются ноги, и, задыхаясь, жадно, с присвистом глотал воздух. Фери Лештьян, который прыгал рядом, пытаясь подбодрить его, цедил сквозь зубы:

— Держись, браток! Не дадим этой сволочи посмеяться над нами...

Солдаты валились один за другим. На ногах оставались лишь Бела, Фери да еще двое щуплых босяков — кто бы мог предположить, что в этих хиляках столько упорства?

К счастью, капралу нужно было спешить — его призывали дела.

— Остальное получите позже, на холмах, — пообещал он и добавил: — Котелки оставить дома — завтрак для вас отменяется.

Ворота за ним захлопнулись, и отделение, пошатываясь, направилось к дому. Только сейчас они заметили, что молодая хозяйка с ситом в руках крутится во дворе. Наверняка все это время она наслаждалась их мучениями — не зря на ее лице блуждала злорадная улыбка.

Фери остановился возле нее:

— Если бы у меня под рукой оказался топор, я бы не задумываясь размозжил вам голову. А теперь бегите жаловаться капралу, только учтите, я все стану отрицать, а ребята клятвенно подтвердят, что не слышали ни слова.

Хозяйка с искаженным от злобы лицом поспешно ретировалась в дом.

На вершине холма взвод взял в оборот какой-то незнакомый ефрейтор. Потирая руки, он заносчиво зубоскалил:

— Так, ребята, сейчас вы увидите, что ожидает тех, кто нарушает приказы, кто после отбоя самовольно покидает расположение подразделения, пьянствует в корчме до полуночи, а потом блюет, как свинья. Ну, где это знаменитое отделение? Выходи сюда!

Новый ефрейтор был здоровенный, упитанный, в ладно сидящей форме и начищенных до блеска горных ботинках. Бела думал, что на гражданке этот детина, скорее всего, был ноль без палочки, мальчишкой на побегушках, который беспрекословно выполнял распоряжения хозяина, а здесь в его руках судьбы людей, поскольку на ворот ему нашили картофельный цветок.

Только они отдышались после капральской зарядки, только собрались с силами, как весь цирк начинался снова. Они стояли в центре круга, а ефрейтор все разглагольствовал. Бела печально озирался по сторонам — такая красота вокруг: в нежно-голубом небе приветливо светит солнце, пригревая скалы, величественные ели, поля, покрытые изумрудными шелковистыми всходами. Остальные солдаты сидели по-турецки на земле и равнодушно наблюдали за происходящим, их лица абсолютно ничего не выражали: ни сочувствия, ни сострадания, ни злорадства. За первые две недели их довели до пол-

ного отупения, и теперь они были безучастны ко всему, что не касалось непосредственно их самих.

Капрал издалека следил за развитием событий, и ефрейтор стремился доказать, что знает свое дело.

— Сейчас вы по-пластунски спуститесь к подножию холма, а потом таким же образом подниметесь, и не вздумайте отрывать от земли локти или ноги, — проговорил он с сатанинской улыбкой. — На все даю десять минут! Время засеку по секундомеру! Ясно?

Было очевидно, что приказ ефрейтора невыполним. Проделать весь путь за десять минут было невозможно даже бегом. И в этом таилась перспектива новых тщательно продуманных издевательств.

Как раз в этот момент на вершине холма появился отъезжающий на фронт ефрейтор. Он подошел к капралу и стал ему что-то энергично доказывать. Наконец капрал пожал плечами, кивнул и, махнув рукой, подозвал к себе их нового командира. Немного погодя ефрейтор вернулся и гордо, словно принес сенсационную новость, сообщил:

— На этот раз вам повезло. Скажите спасибо вон ему.

А отважный ефрейтор, вызволивший их из беды, уже торопливо спускался по склону холма. Времени у него, вероятно, было в обрез, и тем не менее он выкроил пару минут, чтобы выручить их...

Вскоре эта странная армейская жизнь сделалась привычной и дни полетели еще быстрее. Очевидно, монотонность и однообразие приводили к тому, что начали распространяться самые нелепые слухи. Например, что завтра в Эгере их экипируют и сразу отправят на фронт. Чуть позже кто-то узнал из «надежного» источника, что их отправят в Карпаты строить фортификационные сооружения. Другие утверждали, что вся рота отбывает здесь трудовую повинность.

Фери лишь смеялся:

— Ну да, только почему-то никому не дали даже несчастной рукоятки от лопаты...

В конце месяца на фронт отозвали и капрала. На сей раз не было ни прощания, ни пирушки в корчме и Элемер не доставал своей скрипки.

Из первоначального состава унтер-офицеров постепенно никого не осталось, их место заняли другие. Привыкли ребята и к своему здоровенному ефрейтору. Выяснилось, что он вовсе не такой злой и жестокий, каким

показался им в день знакомства, а обыкновенный трепач, фанфарон и любитель шумных компаний, без умолку похваляющийся своими победами на женском фронте. Однажды во время перекура он с мельчайшими подробностями принялся описывать, как в один из приездов к родственникам в деревню к нему в комнату вошла двоюродная сестра, красавица из благородной семьи, и легла в его постель, стянув с себя розовые трусики, и они, мол, провели прекрасную ночь, а на утро девушка незаметно удалилась.

Фери Лештьян с откровенной дерзостью посмотрел на командира:

— Знаете, что я вам скажу, господин ефрейтор, раз эта девица добровольно зашла в вашу комнату и провела там ночь, то никакая она не барышня, а обыкновенная потаскуха!

Ефрейтор расплылся в самодовольной улыбке и пропустил это замечание мимо ушей...

Неожиданно все переменилось. Забегали по деревне унтер-офицеры, раздались отрывистые слова команд — рота сворачивалась. И спустя полчаса солдаты с вещевыми мешками за плечами и сундучками в руках под звуки бравой песни покинули Эгерсилаш.

Погрузился в тишину и дом, в котором квартировало отделение, из-за закрытых ворот не доносилось ни шороха. Зловредная молодая хозяйка путалась у них под ногами до последней минуты, все ругалась и кричала:

— Снесите солому в стог! Поставьте мебель на место!

Но шумела она напрасно — времени на сборы дали так мало, что постояльцы едва успели сложить свои вещи. Когда отделение построилось во дворе, Фери Лештьян подошел к хозяйке:

— Если бы у меня под рукой оказался топор, я бы вновь не задумываясь размозжил тебе голову, стерва ты этакая!

К ней подскочил Элемер Шаркади и протараторил проклятие, уходящее корнями в глубины цыганского быта:

— Чтоб у тебя глаза повылазили, как цыплята из яиц!

Женщина, окаменев от ярости, уставилась на них, будучи не в силах что-либо произнести...

На станции их ожидал состав для перевозки скота.

Солдат роты распределили по вагонам, и поезд тронулся, если верить слухам, в Микохазу.

Познания в области географии у Белы ограничивались начальной школой, поэтому карту страны он представлял довольно смутно. Он ориентировался по сторонам света и достаточно хорошо знал наряду с Пештом южную часть комитета Абауйторна, Торнакерес, деревни под Серенчем. Они с дедом часто проезжали по этим местам на телеге, направляясь на базар или по делам в Абауйсанто. Но о маленькой деревушке под названием Микохаза, расположенной где-то у Шаторальяуйхей, он не имел ни малейшего представления, впрочем, как и о ведущей к ней из Эгерсилаша дороге, а карты ни у кого в роте не нашлось. Переполненные вагоны двигались в неизвестность.

Погода стояла хорошая, поэтому путешествие через леса и холмы, долины и горы этой части страны могло оказаться приятным, если бы не постоянные заботы о пропитании да ночные неудобства. На три дня им выдали по буханке черного хлеба и по полкило затвердевшего мармелада. На завтрак, обед и ужин приходилось есть одно и то же — черный хлеб с нарезанными дольками мармелада. На второй день Бела уже с отвращением смотрел на приторный мармелад — кусок не лез в горло, но голод в конце концов вынудил его немного поесть.

Спальных мест в вагонах не было, а чтобы вместилось побольше народу, слева и справа от двери к стенам вагона прибили дощатые нары.

Днем время летело незаметно. Паровоз пыхтел, посапывая, и состав неторопливо катился мимо неубранных полей кукурузы, молодых тополиных рощиц, ухоженных виноградников. Солдаты сидели в дверных проемах, свесив ноги, и глазели на сменявшиеся пейзажи и на неизменное голубое небо, наслаждаясь нежарким теплом осеннего солнца. Дьюси Кальмар играл на губной гармошке, а остальные, вспоминая о доме, распевали грустные песни.

К вечеру становилось прохладнее, двери вагона задвигали и начинали устраиваться на ночлег — кто прямо на грязном полу, кто под потолком на нарах.

Бела проводил ночи, привалившись головой к стене вагона, а спиной к сундучку, упираясь каблуками в пол, — оказалось, что и в таком положении можно спать. Он укрывался пледом, но сон подолгу не приходил —

дышать в вагоне было нечем, а дверь открывать не разрешалось, поскольку многие спали без одеял. Вот и приходилось вдыхать тяжелый, застойный воздух, пропитанный запахом грязных человеческих тел.

Порой поезд часами простаивал на станциях. Тогда солдаты ходили за водой, бесцельно слонялись между вагонами. Здесь Бела впервые увидел командира роты. Сразу за паровозом, в голове состава, находился мягкий вагон. Проходя как-то мимо, Бела заметил облокотившегося о стол офицера, который смотрел на перрон. Бела молодцевато козырнул, лейтенант тоже поднес руку к фуражке, гордо глядя куда-то вдаль. Говорили, что до войны он учительствовал в начальных классах где-то в предгорьях Карпат.

Чем дальше продвигались на север, тем прохладнее становилось. Солдаты мерзли даже в закрытых вагонах. На остановках некоторые забирались на паровоз и устраивались между горячими трубами, чтобы хоть немного согреться.

За долгие часы переезда Бела нередко вспоминал Клари. Он писал ей из Эгерсилаша, но после занятий и тренировок оставалось не так много времени, да и усталость сказывалась. Клари отвечала регулярно. Оба заполняли страницы писем знакомым для всех разделенных друг от друга расстоянием влюбленных текстом: часто думаю о тебе, безумно скучаю, береги себя, я не переживу, если с тобой что-нибудь случится, верь, мы всегда будем вместе. Они считали эти чувства сугубо личными и были уверены, что до них никто ничего подобного не испытывал...

В их последний вечер говорила в основном Клари. Она рассказала о своей жизни подробнее, с той откровенностью, какой ожидала и от него в ответ на свои вопросы, впрочем, он и не собирался ничего скрывать.

— Теперь ты сам видишь, как мы живем, и, надеюсь, понимаешь, почему я тебя не приглашала в дом, как это заведено. Кто бы ни ухаживал за мной, матери никто не нравился, и она старалась поскорее отвадить его от дома. Видел ты и отца, и теперь можешь представить, каково ему приходится с матерью. Ему нужно лишь немного тепла и покоя, а от нее доброго слова не дождешься — бесконечные окрики, ругань, недовольство, и все из-за бедности и лишений. Вот он и начал пить, чтобы хоть немного забыться. Ему просто не хватает сил посмотреть действительности в лицо, оказать сопротив-

ление маминому деспотизму, но ты бы знал, какой он трудолюбивый! Бывало, ночи напролет засиживался в своей крошечной мастерской, переплетая книги. А как он любит художественную литературу! Одной мне известно, как глубоко знает он Бальзака, Золя, Миксата, Йокаи. Это он привил мне вкус к настоящей литературе. Ты встретился с опустившимся клоуном, а я и сейчас вижу в нем прежнего отца, который никогда меня пальцем не трогал, не кричал, не обижал, а всегда оставался спокойным и уравновешенным.

Бела поколебался и спросил:

— А что же мать? Если раньше в семье все было хорошо, что же ее не устраивало?

— Не знаю, — пожала плечами Клари. — Вероятно, наша презренная жизнь. Видишь ли, в прошлом мать убирала и стирала в богатых домах, видела хорошо обставленные квартиры и модно одетых состоятельных людей. Постепенно у нее укоренилась навязчивая идея — выдать дочерей за выходцев из этого благополучного мира. Раз уж ей бог не дал, так пусть хоть ее детям улыбнется удача. Мать считает, что три очаровательные дочери — это целое состояние, если им правильно распорядиться. Вся улица зовет нас не иначе как «красавицы Рожаш». Старшие сестры работают в салоне мод, шьют платья себе и мне. Остатки ткани им уступают недорого, подклад они сами экономят, да и... А впрочем, кто его знает. Когда я получаю от них новое платье, то часто задумываюсь, действительно ли оно сшито из остатков или владелец салона расплатился с ними таким образом за оказанную любезность. Не знаю. У них своя жизнь: они развлекаются, ходят на танцы, иной раз возвращаются домой за полночь на автомобиле. Говорят, что их подвез господин бухгалтер или господин приказчик, а мать счастлива — считает, пусть, мол, все на улице знают, какие кавалеры ухаживают за ее дочерями. Дело в том, что Юли уже двадцать шесть лет, Марти двадцать четыре, а приданого у них нет. Годы идут, а они все сидят в девицах. Кому, скажи на милость, нужна в наши дни невеста без приданого? Разве что таким парням, как ты, у которых все богатство — руки да голова.

Они шли, тесно прижавшись друг к другу. Клари сжала его руку:

— Только не думай, я это не про нас, ведь наша любовь бескорыстна, правда? Если бы не тот воздуш-

ный налет, мы бы, наверное, никогда и не встретились... Меня устраивают наши отношения такие, как они есть, без всяких там задних мыслей...

Бела долго слушал и наконец сказал:

— Видишь ли, Клари, завтра я уйду в армию, и никому не известно, что со мной станется. Да и с тобой здесь, в Пеште, всякое может случиться. А твоя семья меня совершенно не интересует. Я тоже вырос не среди аристократов, хотя в нашей семье порядка побольше. Мой отец, старый Йожеф, работает столяром на мебельной фабрике, а мать выросла в бедной крестьянской семье. Все, что у них есть, родители нажили собственным трудом и о богатстве не мечтают. Впрочем, и мои и твои родители обыкновенные рабочие — какое уж тут богатство! Все мы живем здесь, на окраине, и существенной разницы между нами нет...

Когда Бела вернулся домой, отец уже достал с чердака свой старый армейский сундучок, в котором лежали котелок, фляжка, складные столовые приборы — все это столь необходимое солдату имущество он сохранил еще с прошлой войны, и сейчас оно пригодилось. Тем временем мать тоже собрала все, что нужно: теплое белье, зимнее пальто, покрывало, имевшееся в доме сало, колбасу, полную кружку жира и буханку хлеба — сухой паек на три дня, и сложила во вместительный старомодный отцовский рюкзак.

Клари обещала прийти к шести утра на остановку, чтобы проводить его на вокзал. Бела внутренне приготовился, что девушка не придет, поскольку мать наверняка ее не отпустит. «Сказочных принцев лучше искать не среди маляров», — подумал он с грустью. Поэтому его сердце забилось сильнее, когда в предрассветной мгле он увидел знакомый белый плащ.

В трамвае по дороге на вокзал они не разговаривали, а молча стояли, тесно прижавшись друг к другу. Клари изредка поднимала на него полные печали большие карие глаза...

И теперь, сидя в вагоне для перевозки скота, Бела снова и снова вспоминал минуты прощания под монотонный стук колес...

Перрон заполонило море народа. Здесь толпились уходившие на фронт и в армию, возвращавшиеся из увольнения и отпуска солдаты, отправлявшиеся отбывать трудовую повинность рабочие, заплаканные родственники отъезжающих. Состав дернулся, и поезд стал наби-

рать скорость. Бела стоял у открытого окна и смотрел на девушку. В белом плаще с поднятым воротником, с рассыпавшимися по плечам пышными черными волосами, она казалась фантастически красивой...

В разлуке его чувство к Клари окрепло, стало более серьезным. Теперь Бела ругал себя за то, что недостаточно любил Клари, не уделял ей должного внимания, не посвящал больше времени такой чистой, благородной девушке. Разве можно желать лучшего парню вроде него, если он надумает жениться?

Но при воспоминаниях о семье Клари им овладевало неприятное, тяжелое чувство. Он словно воочию видел перед собой неряшливую хозяйку и пьяного, паясничающего владельца «резиновой губы». Господи, что это за люди? И почему Клари так держится за них, так их защищает? Конечно, это ее родители, тем не менее... Хотя, наверное, это лучше, справедливее, чем отрекаться от своих родителей. И потом, он ведь ухаживает не за ее семьей. Если они поженятся, то устроят свою жизнь по собственному усмотрению.

Казалось, что Микохаза расположена где-то на краю света, но они все-таки добрались до нее. Рота вошла в деревню, когда небо было затянуто серыми тучами и шел проливной дождь. При размещении на сей раз споров не возникло: отделение устроилось в просторном амбаре, находившемся в конце длинного сада. Дверь выходила в сторону поля, так что с владельцами дома они не встречались. В деревне кроме них стояли и другие подразделения, но все, за исключением унтер-офицеров, ходили в гражданском.

Под уныло накрапывающим дождем полевую кухню установили в центре села под навесом. Во время завтрака, обеда и ужина здесь постоянно царила неразбериха, потому что каждый взвод пытался оттеснить остальных и пробиться вперед, поскольку по мере убывания пищи в котлах уменьшались и порции. Однажды один из унтеров, которому надоел этот беспорядок, приказал роте лечь. Так, с котелками в руках, солдаты и плюхнулись в грязь, а командир взвода ругался и упрямо командовал:

— Ложись! Встать! Ложись! Я вас приучу к порядку, мерзавцы! Ложись! Встать!

Все перепачкались по уши, но урок унтера возымел действие — теперь все разошлись по местам, терпеливо ожидая своей очереди и не создавая давки. К сча-

стью, после обеда солдатам полагалось личное время и они смогли обсушиться и почиститься.

О горестях армейской жизни Бела родителям не писал. Он знал, что отец на это только снисходительно улыбнется, махнет рукой и скажет: «Ерунда, вот когда в Ишонзоне по нас били из тяжелых минометов или в качестве наказания нас привязывали к койкам в казармах, тогда да... Я уж не говорю о том, как расстреливали каждого десятого... Ты о таком небось и не слыхал. Весной восемнадцатого одна рота отказалась идти в атаку и полковник приказал казнить каждого десятого из личного состава. Построили полк, один из фельдфебелей прошел перед провинившейся ротой, вслух считая людей и выкрикивая каждому десятому: «Выйти из строя!» А потом их расстреляли на глазах у всей части. Вот так-то! А ты говоришь, «армия»! Ты еще не знаешь, что это такое...»

«Да уж, не знаю...» — со злостью вспомнил Бела слова отца и думал о том, что все в мире относительно. Здесь, в армии, на солдата со всех сторон сыплются оскорбления («У солдата не должно быть самолюбия», — возразил бы на это старый Йожеф). Солдаты находятся безраздельно во власти никчемных людишек, которых на гражданке никто бы не заметил, но здесь форма и звездочки в петлицах возвышают их над толпой, заставляют солдат трепетать перед ними. Подумаешь — привязали к койкам! Да за какой-нибудь час физической подготовки можно довести новобранца до полного изнеможения. Для этого требуется лишь знание нескольких команд: «Упор лежа — принять! Отжимания — начинай! Раз-два! Раз-два!» Достаточно десяток раз повторить команды, со скучающим видом прохаживаясь вдоль взвода, как новобранцы, дрожа от напряжения, упадут в полном изнеможении в грязь. А затем следует команда «Встать!» — и снова лицом в грязь. И так до бесконечности. Уже через пару недель человек забывает, что раньше где-нибудь на пустыре непременно съездил бы по физиономии тому, кто посмел бы нехорошо обругать его, а здесь господа ефрейторы, фельдфебели и унтеры на каждом шагу обзывают дураком, ругают на чем свет стоит...

Дождь прекратился, но налетевший из-за Карпат холодный осенний ветер нагнал свинцовых туч. Роту вывели в поле и приказали рыть глубокие противотанковые рвы. «Влетит танк в такую ловушку и уже не вы-

берется», — объясняли некоторые умники. Но толком никто ничего не знал, а когда спрашивали у унтер-офицеров, те грубо огрызались:

— Вам-то что? Лопаты есть — вот и копайте! Остальное не вашего ума дело...

Другие подразделения тоже находились здесь и, растянувшись в длинную цепь, безостановочно копали. Бела на секунду представил, какой прекрасной целью они окажутся, налети самолеты противника. Вокруг — ни деревца, ни кустика, только голая равнина, окаймленная по горизонту голубыми горами.

Так и протекала их жизнь в этой маленькой тыловой деревушке. На дорогах беспрестанно скрипели крестьянские телеги — хозяева ездили пахать, почтальон разносил письма, ночной сторож гремел своей колотушкой, оповещая, что пришло время спускать собак, слышались пересуды о пропаже бурого теленка у вдовы Яноша Нодя, но о событиях в стране никто ничего не знал. Газеты в деревню не приходили, радиоприемника ни в одном доме не было, а возможности поговорить с людьми попросту не представлялось.

Командира их роты — учителя из Закарпатья с мечтательной улыбкой — отправили на фронт, но и это выяснилось лишь тогда, когда утренний рапорт унтера вышел принимать незнакомый лейтенант. Это был атлетически сложенный мужчина с волевым, немного скуластым лицом, в его глазах светились упрямство и дерзость, поговаривали (о каждом новом человеке любят посплетничать, черпая информацию неизвестно из каких источников), что ему за тридцать — по возрасту уже следовало быть капитаном, — но званием его обошли, хотя он закончил военное училище, отсюда, мол, и горечь во взгляде.

Новый командир нечасто появлялся на занятиях. Он любил проводить время в Шаторальяуйхей, развлекаясь в казино с другими офицерами, хотя в деревне у него была квартира: ему выделили светелку в доме зажиточного крестьянина. Как утверждал Дьюси Кальмар, хозяева были страшно польщены, что у них поселился кадровый лейтенант, устроили ему райскую жизнь и глазами, полными умиления, наблюдали, как он тискает по углам их дочку, невесту на выданье. Скорее всего, это была болтовня, ведь толком никто ничего не знал.

Как-то вечером, после отбоя, ветер донес отголоски

страшного грохота, словно где-то вдалеке собиралась хорошая летняя гроза.

— Ребята, слышите — гром! — радостно воскликнул кто-то. — Если к утру пойдет дождь, мы опять будем грязные как свиньи.

Фери Лештьян энергично запротестовал:

— Это не гром, приятель, это канонада! И сюда уже доносится артиллерийская стрельба!

Они лежали в амбаре, на соломе, и в темноте прислушивались к орудийным раскатам, которые то усиливались, то ослабевали.

Начиная с того дня далекий грозный гул стал постоянным спутником их жизни. Все понимали: фронт приближается, но вслух об этом не говорили.

Жизнь деревни не менялась. По утрам, как обычно, под звуки пастушьего рожка из ворот выгоняли скот. Потом женщины доили коров, а мужчины, какие еще оставались в деревне, занимались своими делами: запрягали подводы, усаживались на козлы и, невозмутимо потягивая длинные трубки, отправлялись в поле. В полдень по традиции били в колокол, а вечером звонили к вечерне. Создавалось впечатление неподвижности, застывшей навечно патриархальности. И Бела думал, что, даже если по этим местам прокатится война, крестьяне на следующий же день вернутся к своим делам: хозяйки утром подоят коров, а их мужья уберут из хлева навоз — и нет такой силы, которая смогла бы поломать этот сложившийся в течение столетий уклад деревенской жизни.

Вновь задождило. Деревня постепенно превращалась в непроходимое болото. Холодный ветер неистово раскачивал деревья. Теперь противотанковые рвы копали под дождем. Солдаты по-прежнему были одеты в гражданское, а в отделении Белы двое щуплых батраков с тонкими усиками и редеющими волосами все еще месили грязь босыми ногами. С их лиц не сходила застенчивая улыбка, будто это они были виноваты в своей нищете. И никому не было до них дела — у каждого хватало собственных забот.

В просторном амбаре постоянно гулял ветер. В роте все больше народу капляло и сморкалось. Питание ухудшилось настолько, что, по существу, съедобным оставался только хлеб. Беле однажды дали наряд на кухню, и он увидел, из чего готовят обед. В большой котел полевой кухни заливали воду, бросали пару килограммов

зеленого перца, солили, добавляли одну-две ложки жира, немного красного молотого перца — и «гуляш» готов.

Унтер-офицеры обычно усаживались поодаль, под навесом, и за обе щеки уплетали поджарку из вырезки, по кусочку которой доставалось каждому.

А дождь лил не переставая, струйками стекая по телу.

— Так мы все до одного здесь и загнемся! — удрученно бурчал Бела.

— Брось, как намокнем, так и просохнем, эка невидаль! — успокаивал его Фери.

Но мрачные мысли не покидали Белу.

— Хороши егеря, нечего сказать! — произнес он с кривой ухмылкой. — Если русские пойдут, лопатами будем обороняться, что ли?

Ночью еще было терпимо: забирались поглубже в солому, согревались и крепко засыпали, но днем мерзли, голодали и мечтали только о том, чтобы все это поскорее кончилось.

В деревню прибыла рабочая рота, состоявшая из таких же гражданских, как они, только командовали ими юнкера из офицерского училища. Одеты эти парни были с иголочки: в теплые суконные френчи и брюки, невысокие саперные сапоги, а в дождь укрывались плащ-палатками защитного цвета. По ночам они охраняли роту, вооружившись карабинами с примкнутыми штыками. Юнкера, видно, чувствовали себя заправскими офицерами, старательно готовились к будущей службе. Их не смущала ни доносившаяся артиллерийская канонада, ни приближающийся фронт. Эти безусые парни ничего не замечали и вели себя так, словно находились на учениях.

Рабочую роту поместили в длинную конюшню какого-то депортированного еврея, арендовавшего до войны в деревне поместье. Как-то утром унтер отправил Белу с конвертом к командиру юнкеров.

— Господин лейтенант ждет ответа. Пусть они с вами его и передадут. Ясно? Тогда действуйте! Бегом!

Находясь в пределах видимости, Бела бежал, но в деревне перешел на шаг.

Дожидаясь ответа, он перекинулся парой слов с одним из рабочих, который, как выяснилось, тоже был из Будапешта.

— Что это за рабочая рота? — поинтересовался юно-

ша. — Ни шестиконечных звезд, ни желтых нарукавных повязок.

— Да среди нас нет ни одного еврея, — объяснил рабочий. — Все мы с машиностроительного завода Ланга. До последнего времени выполняли военные заказы, и потому нас не трогали. Но недавно военный комендант завода снял с меня броню за то, что до войны я был профоргом в цехе.

Бела сунул ему в руку пачку сигарет, и рабочий быстро спрятал ее в карман. Взглядом, скорее напоминавшим взгляд загнанного зверя, чем человека, он окинул двор, придвинулся к Беле и, торопливо глотая слова, продолжал:

— Кормят нас один раз в день. Спим в конюшне на навозе — совершенно запаршивели.

— Так долго не протянешь, — посочувствовал Бела и убежденно добавил: — Надо бежать!

Собеседник безнадежно махнул рукой:

— Бежать отсюда? Куда? В какую сторону? — и вдруг бросился в кусты — на лестнице веранды появился юнкер с ответом в конверте.

После этого разговора мысль о побеге крепко засела в голове у Белы. А чего, собственно, он ищет в этой забытой богом захудалой деревушке? Не жизнь, а сплошные издевательства и страдания, не хватает подцепить какую-нибудь заразу и мучиться потом. Еще в Будапеште, во время долгих и страстных споров с друзьями, он убедился, что немцы, а вместе с ними и венгры, эту войну проиграли. И правы были братья Мадарас, утверждая, что Советский Союз победит. Они слушали по радио Москву и Лондон и рассказывали ужасные вещи об эсэсовцах и концентрационных лагерях. Бела был убежден, что оба они большевики, иначе откуда бы они взяли листовки партии мира и Венгерского национального фронта, которые передавали из рук в руки в доме у Берти Пюшки, а потом сжигали в пепельнице. Но Бела не хотел впутываться в опасные дела, да и все эти разговоры о советском строе, о коммунизме казались ему абстрактными. По духу ему был ближе Берти Пюшки, который мечтал увидеть независимой венгерскую нацию после «этой ужасной для ее истории бури». Берти соглашался с тем, что на сей раз страну втянули в войну немцы, что Гитлер — мерзавец, поскольку в своей «Майн Кампф» написал, будто венгры недостойны национального суверенитета, а их государство — цыганский табор.

А распространяемые швабами карты, на которых Задунайский край и область Бачка изображались как составные части великого рейха? А варварское уничтожение евреев и некоторые другие уроки недавней истории? Этого было вполне достаточно, чтобы возненавидеть германские орды, но вовсе не означало, что теперь нужно бросаться в объятия другой великой державы.

Что касается Советов, то в данном случае, как утверждал Берти, речь шла о необычайно любопытном историческом эксперименте — построении общества, основанного на столь привлекательных принципах социализма, но результаты эксперимента были еще не ясны. Как бы там ни было, Советский Союз — великая держава, гигантская по размерам, и кто знает, оставят ли русские среди такого смешения народов чуждых им по языку венгров, если вздумают вдруг объединиться с окружающими славянскими государствами? Или венгры останутся одни среди накатывающихся волн славянской и германской культур? В этом месте Берти захлестывали эмоции и он начинал говорить горячо, с пафосом. Что могут предпринять в таких условиях венгры, кроме как попытаться сохранить независимость? Значит, сегодня важнейшая задача для них выжить и сохранить единство нации. В существующей обстановке для венгров это единственно разумная альтернатива неизбежной гибели.

Бела представлял ситуацию примерно так же, как ее описывал увлеченный Берти. Сам он, как правило, не вмешивался в споры, а сидел и слушал с многозначительной улыбкой, поэтому и Берти, и братья Мадарас с полным основанием полагали, что он разделяет их мысли. Бела не сомневался в правоте братьев, но в то же время не раз думал, что жизнь-то у человека одна. Пусть ему до сих пор везло, удалось спастись даже в ту страшную бомбежку, но надеяться на случай, плыть по течению и дальше навстречу фронту и смерти нельзя ни в коем случае.

Детство и юность, проведенные в Пеште, возникавшие из глубин памяти, казались ему теперь светлым пятном. До чего же беззаботной и спокойной была его прежняя жизнь! Нужно бежать назад! Братья Мадарас наверняка помогут достать фальшивые документы, под вымышленным именем можно снять квартиру, наняться в помощники к другому маляру, отрастить усы, заказать очки с простыми стеклами, перекрасить волосы, выработ-

тать небрежную походку — и все. Да тогда его и родная мать не узнает! Нет, в такой массе народа, в таком городе, как Пешт, затеряться нетрудно. Весь этот цирк продлится недолго, придут русские, и начнется новая жизнь.

Значит, необходимо ехать домой, в Пешт. Но как? Ведь все документы отобрали, а взамен даже солдатских книжек не выдали. Кроме того, поезд до Микохазы тащился три дня. Железную дорогу бомбят, станции забиты жандармами и военными патрулями, в вагонах постоянно проверяют документы. Прямо западня какая-то. Нет, отсюда не убежишь!

Вечером в амбаре, забираясь поглубже в солому, Фери Лештьян, прежде чем заснуть, поинтересовался:

— А ты знаешь, что мы находимся неподалеку от Торнакереса? Отец в прошлом частенько отправлялся на сельские ярмарки продавать сапоги, так что мы с ним поездили по этим местам. Если двигаться напрямик через горы в сторону Хутака, то за полдня можно добраться домой. Неужели не дадут увольнительную на пару дней? Вот обрадовались бы родители! Да и твои близкие небось тоже. Уж там мы поели бы и колбасы, и сала, и окорока! Я полагаю, нас должны отпустить в увольнение...

Однако их надеждам не суждено было сбыться. Унтер-офицер, с которым они пробовали договориться, еще и отчитал их:

— Да вы с ума сошли! Если вам дать увольнительные, то и другие запросят. Так что же, распустить всю роту? А если половина не вернется, то как вас прикажете собирать?

Через несколько дней, перед отбоем, когда поблизости никого не было, Бела отозвал Фери в сторонку и предложил:

— Давай сбежим. Здесь мы рано или поздно протянем ноги. В любой момент могут обуть, одеть и отправить на фронт. А в Торнакересе у меня живут дед, дядя. Спрячемся где-нибудь на чердаке, пока фронт не приблизится.

Фери некоторое время молчал:

— Знаешь, я и сам над этим думал. Ясное дело, из этой вонючей дыры надо удирать — тут вопросов нет. Но в Торнакерес ни в коем случае идти нельзя. Я там родился, вырос, и меня сразу начнут искать именно там, а заодно и тебя. А потом, ты хорошо знаешь своих родст-

венников? Чего доброго, перепугаются до смерти и станут отсылать тебя друг к другу, а жандармы не дремлют, следят за малейшими передвижениями в деревне. Нет, этот вариант отпадает. Это верная смерть.

Он сделал несколько шагов. Бела молча следовал за ним.

— Я один раз уже попробовал, хватит, — продолжал Фери. — Работал я тогда в каменоломне и однажды ударил мастера, который нас обсчитывал: понимаешь, прикарманивал понемногу у каждого из зарплаты. Только вернулся я домой, как явились жандармы. Выпрыгнул я через заднее окно и садами подался в лес. Три недели скрывался. Можешь представить, каково мне было. Иногда ночью крадучись пробирался в деревню за хлебом, за салом. Хорошо, рабочие осмелели и рассказали главному инженеру о проделках мастера. Тот провел расследование и забрал назад свое заявление. В то время в деревне среди жандармов был один порядочный, он и сообщил отцу, что все устроилось и мне можно возвращаться домой. Остальным же до меня не было дела, пусть бы даже сдох в лесу.

Бела вынужден был признать, что Фери прав.

Позже, уже перед сном, зарывшись в солому, Бела умышленно громко, чтобы слышали остальные, произнес:

— У командира всюду есть доносчики. Ты думаешь, о нас с тобой ему не докладывают?

...Времена года сменялись в этих местах не так, как в городе. Октябрь налетел холодными, пронизывающими ветрами, и к утру лужи покрывались коркой льда.

Даже почта приходила в это захолустье с перебоями. Дьюси Кальмар просил прислать ему зимнее пальто и теплые вещи: его призывали в конце августа, вот он и ушел из дома в легком плаще и полуботинках. Судя по письмам родителей, пальто было отправлено по почте, да, вероятно, где-то затерялось.

— Понравилось небось какому-нибудь проходимцу, — ругался Дьюси. — Пальто хорошее, из натуральной верблюжьей шерсти, на ватине — в таком даже сибирские морозы не страшны. Что же теперь, черт возьми, делать? Ума не приложу...

Как-то к вечеру, продрогнув до костей, он совершенно потерял голову и, когда после ужина отделение вернулось в амбар, разбушевался:

— Я заставлю их меня комиссовать! В детстве я перенес воспаление легких, так что достаточно небольшой простуды, и болезнь возобновится, — упрямо повторял он.

Потом разделся по пояс, принес из колодца ведро воды, облился и, не вытираясь, устроился посреди двора на пронизывающем ветру. Его пытались отговорить, но безуспешно.

— Если признают воспаление легких, меня непременно демобилизуют, — настаивал он на своем.

Вскоре у него поднялась температура и начался страшный кашель. Он обратился к командиру роты, а лейтенант направил его в соседнюю деревню к фельдшеру. Тот посмотрел у Дьюси язык и выдал коробочку аспирина. Дьюси кашлял, лицо его пылало от высокой температуры, его лихорадило.

— Господин доктор, разрешите доложить, у меня воспаление легких, — в отчаянии твердил он, не попадая зуб на зуб.

Фельдшер разглядывал красотку, которая в это время как раз проходила мимо окон.

— Подумаешь, воспаление легких! Это ерунда, дружок, — проговорил он, рассеянно постукивая пальцами по стеклу. — Парень ты крепкий, на свежем воздухе быстро поправишься.

Дьюси разрешили отлежаться один день в амбаре, но потом обязали жить по общему распорядку. На него особо не обращали внимания, поскольку кашляли и чихали в роте многие.

Микохазу они покинули так же неожиданно и спешно, как и Эгерсилаш. Пришел приказ, их разместили по вагонам, и эшелон тронулся. Куда, зачем — этого никто не знал.

На сей раз эшелон двигался побыстрее: за два дня они проехали через Шаторальяуйхей, Серенч, Мишкольц, пока не выгрузились в Бодвасилаше. И здесь произошло чудо — рота получила ботинки. Гуськом, один за другим солдаты проходили мимо склада, из открытых дверей которого каждому бросали по паре башмаков. Их тут же примеряли. Кому-то они оказались малы, кому-то велики, и тут же начался круговой обмен, как это принято в армии.

На следующий день прошел слух, будто в Будапеште случилось нечто непредвиденное. Кто-то даже слышал по радио приказ господина регента, согласно которому Венгрия выходила из войны и заключала мир с русскими.

Время было послеобеденное, и люди нерешительно топтались возле полевой кухни. Унтер-офицеры же словно сквозь землю провалились, и получить точную информацию было не у кого.

Фери отозвал Белу в сторону.

— Вот и пришло наше время, — сказал он убежденно. — Лейтенант и унтер-офицеры наверняка будут тянуть резину и выдумывать всякую ерунду, чтобы уберечь роту от развала, а мы тем временем сбежим. Как стемнеет, пойдем на станцию, а оттуда вперед, на Будапешт! Там от нас будет больше пользы, чем в Торнакересе.

К вечеру унтер-офицеры забегали по деревне. Поползли новые слухи: Хорти свергнут, власть перешла к Салаши, и теперь в стране хозяйничают нилашисты.

Перед наступлением темноты унтер-офицер выстроил роту и приказал присягнуть на верность Ференцу Салаши. Личный состав глухо бормотал текст присяги, а Бела и Фери стояли рядом с закрытыми ртами и слушали.

В подавленном настроении возвращались они в отведенное отделению помещение. На сей раз амбар был чисто выметен и абсолютно пуст: на плотно утрамбованном земляном полу не оказалось ни одной соломинки. Не нашлось и стога сена во дворе. Но рядом в небольших, сбитых из планок стожарах, под черепичной крышей, сушился недавно скошенный клевер. Люди по шею закопались в душистую траву, но согреться по-настоящему не смогли, лишь взопрели.

Бела с Фери прогуливались по двору.

— Путешествие на поезде в Пешт накрылось, — констатировал Бела. — Дьюси Кальмар рассказывал, что на станции патрули проводят облавы в поисках дезертиров. Так что мы с тобой не доехали бы даже до Мишкольца.

Фери удрученно шагал рядом.

— Не могу поверить, — не выдержал он наконец, — чтобы в стране не нашлось ни одной дивизии, которая осталась бы верна регенту. То, что нилашисты захватили радио, еще ничего не значит. Их же все ненавидят, даже в селах за ними шли только подонки. Дело кончится гражданской войной, вот посмотришь. Может, бои уже начались, а мы торчим тут, как... Нет, наше место в Пеште! Время сейчас смутное, за нами особенно не следят, так что сегодня в полночь и отправимся, а? Через горы Бюк и Матра мы за несколько дней доберемся до Пешта.

Белу захватила перспектива вновь оказаться в родном городе.

— Не знаю, как все обернется, но могу поручиться: у друзей мы будем в безопасности! — заверил он приятеля.

Они решили прилечь, чтобы набраться сил перед дальней дорогой. Колючий ветер насквозь продувал их ненадежное убежище. На небе ярко светила луна, сверкали холодным светом звезды. Сон не приходил. Чем больше думал Бела о предстоящей дороге, тем беспокойнее становилось у него на душе. Пешком через Бюк и Матру? Шагать без карты, без компаса по местности, где полно жандармских патрулей, где каждый лесник является агентом охранки, — это ли не самоубийство!

Фери тихонько похрапывал во сне, но ровно в полночь проснулся, выбрался из клевера и потряс Белу за плечо.

— Я не сплю, — прошептал тот. — Давай сделаем вид, что отлучились по нужде. Я хочу тебе что-то сказать.

Они отошли за стену амбара, где их никто не мог услышать. Бела высказал свои сомнения и объяснил, почему их план неосуществим. Фери понуро молчал.

— Видишь ли, ты, наверное, прав, — сказал он после некоторого раздумья, — но я чувствую: сейчас как раз такой момент, когда мы должны что-то предпринять. Неужели так и будем осторожничать и сидеть сложа руки вместо того, чтобы действовать? Если не рисковать, то никогда ничего не добьешься! Разве не так?

Бела остался непреклонен, и они опять забрались в клевер. Мучаясь от холода, ребята ворочались, охали, звали во сне мать или тихонько причитали.

Наутро, чтобы умыться, пришлось разбивать лед в ушате топором. После завтрака всю роту построили у склада и выдали каждому солдатскую шапку, китель, брюки и кусок темного хозяйственного мыла. Затем всех отвели за село, на берег извилистой мелководной речушки, и приказали выстирать только что полученную засаленную форму и шапку.

На противоположном берегу находились невысокие, поросшие реденьким леском холмы, а за ними, словно сторожевые башни, высились горы. Откуда-то издалека, петляя меж ними, спускалась к переправе дорога. Неожиданно на ней появились повозки, рядом с которыми брели, с трудом переставляя после тяжелого пути через горы ноги, солдаты. Дьюси Кальмар не удержался и

спросил у унтера с забинтованной рукой на перевязи, который шагал с краю:

— Где вас ранило, господин унтер?

— Там, в Карпатах! — прозвучало в ответ.

Остальные тоже бросили стирку и сгрудились возле раненого. Дьюси угостил его сигаретой и поинтересовался:

— А русских видели?

— Конечно видел! Когда началось наступление, они так быстро прорвали линию фронта, что мы едва успели ноги унести. Вот во время бегства меня и зацепило, — сообщил унтер, улыбаясь, и выпустил дым. — Все они сытые, здоровые, крепкие парни, и у каждого пистолет-пулемет с дисковым магазином. По сравнению с ними немцы просто одичавшая свора псов. Фронт покатился, и одному богу известно, где он теперь остановится.

Унтер отвечал с естественной непосредственностью и непонятным оптимизмом, потом кивнул на прощание и заспешил вдогонку за своим подразделением.

Бела задумчиво посмотрел ему вслед. То же самое утверждали в Будапеште и братья Мадарас. Но тогда об этом говорили, заперевшись в комнате Берти Пюшки, поскольку хвалить русских и хулить немцев вслух при посторонних было небезопасно. Выходит, теперь к таким разговорам на фронте относились иначе.

К вечеру полил дождь и унтер-офицеры отправили всех по местам расквартирования. Люди разбрелись по деревне поболтать, поделиться новостями, а унтер-офицеры засели в корчме и вскоре прислали за Шаркади, который, захватив скрипку, безропотно отправился их развлекать. Фери тоже куда-то исчез, так что Бела остался один.

Не зная, куда себя деть, он решил познакомиться с хозяевами. Подойдя к дому, постучал и вошел в сени. Из комнаты выглянула женщина и внимательно посмотрела на него. Бела объяснил:

— Вот, захотелось немного поговорить... если не возражаете...

— Заходите, пожалуйста, — пригласила женщина, — хоть немного погреетесь, а я тем временем похлопочу по хозяйству.

В комнате было тепло, пахло плохо горевшими дровами. Женщина, стоя у окна, штопала дыры, проделанные мышами в мучных мешках, которые горкой лежали рядом с ней.

Бела опустился на большой сундук, привалился к стене, сладко потянулся и только тогда заметил, что в углу на корточках сидит широкоплечий крестьянский парень лет восемнадцати и, не спуская глаз, смотрит на женщину, которая, латая мешки, охотно рассказывала о своей жизни:

— Мужа два года как забрали в армию. Все хозяйство осталось на мне. Одной приходится управляться: в селе-то старики да еще такие вот безусые юнцы, как Янчи. На их плечи и легла вся мужская работа. Хорошо его матери, а мне, горемычной, и в помощники нанять некого. Оно и солдатам не позавидуешь, порой обращаются с ними как с собаками: все время они на холоде, под дождем, в грязи... А сами откуда будете? Небось из Пешта, да? Сразу видно, потому что горожане иначе одеваются, иначе двигаются, иначе говорят — все делают иначе, чем невежды деревенские...

Речь ее текла неудержимым потоком. Бела едва успевал поддакивать, постоянно думая, как было бы хорошо, если бы она отрезала ему сала с хлебом или налила молока, в общем, чем-нибудь угостила, хотя если каждого солдата, который заходит в дом, сажать за стол, так у самих ни куска не останется.

Парень за все время не проронил ни слова, сидел не шелохнувшись и пожирал горящими глазами солдатку. Потом поднялся и вышел, не скрывая самодовольной улыбки.

— Этот тоже хорош, — пожаловалась хозяйка, провожая его взглядом, — как только выдается свободная минута, приходит сюда и глазеет, как баран на новые ворота. Знаю я, чего он хочет! Обрюхатит, а мне потом что делать? Как я посмотрю мужу в глаза, когда он вернется? Даже если все обойдется, ведь не забеременела же я от мужа, все равно начнут потом чесать языками по деревне. Правда, у нас сейчас столько посторонних, да и наших многих позабирали, так что у каждого хватает своих забот...

Хозяйка подхватила в охапку зачиненные мешки и понесла их в кладовку. Вернулась она с новой партией.

Пока она ходила, Бела рассмотрел ее внимательнее. Это была крепкая, хорошо сложенная, высокая женщина, лет тридцати, с темными волосами. Бела заметил, как колышется на ее бедрах юбка, то и дело ударяя подолом по голым ногам, как шлепают по пяткам расшитые домашние тапочки. Во всем облике этой женщины ощуща-

лась здоровая чувственность, и, приударь он за ней, вероятно, быстро добился бы успеха: мог бы спать в доме под теплой периной, хорошо питаться. Да и ее бы такая связь устраивала больше всего: солдат сегодня пришел, завтра ушел, и никто ничего не узнает.

И вдруг он понял, что хозяйка лгала, говоря о безусом юнце. Ведь Беле довольно долго пришлось ожидать в сенях, пока она выглянула. Наверняка, когда он постучал, они целовались в комнате или уже начали раздеваться, а потом быстро все расставили по местам, чтобы вошедший ничего не заподозрил. Хотя в доме при открытых дверях она вряд ли потеряла бы голову среди бела дня, парень, скорее всего, ходит по ночам. С каким невозмутимым спокойствием собственника восседал он в углу! Бела вновь представил его торжествующую улыбку и лишний раз утвердился в своих подозрениях.

Женщина заняла прежнее место и, болтая без умолку, снова принялась штопать мешки. А Бела мысленно был далеко: он стоял с Клари на вокзале и чувствовал на себе взгляд ее больших грустных глаз. Потом она осталась в толпе в расстегнутом белом плаще с поднятым воротником и сдержанно махала рукой ему на прощание, пока поезд не отошел и все окружающее: люди, перрон, огромный застекленный дебаркадер, уличные фонари, путевые стрелки — не растаяло вдали. А стук вагонных колес все учащался...

Письма от девушки приходили регулярно — с тех пор как расстались, они стали дороже друг другу.

От этих воспоминаний вдруг пропало желание ломать комедию ради жирного куска и теплой постели. Он еще посидел немного, потом попрощался и направился к амбару.

Утром их вновь посадили в вагоны. На этот раз унтер-офицеры открыто сообщили, что роту отправляют в Эгер для получения оружия. Объезжая изуродованный бомбежками центральный вокзал Мишкольца, их эшелон тащился по ответвлению железной дороги вдоль реки Шаё.

Все воскресенье они проторчали в Путноке — состав загнали в тупик, паровоз попыхтел напоследок и бросил их на станции незнакомого города. Лейтенант уехал в Эгер, а унтер-офицеры, как обычно бывало в таких случаях, исчезли в неизвестном направлении.

Бела бесцельно бродил среди вагонов. С безоблачного неба светило холодное осеннее солнце. Бела задумался:

такая беспросветная тоска как будто охватывала его и раньше. Ну конечно, так было в воскресные вечера в детстве. Старый Йожеф укладывался спать, мать мыла посуду, а он слонялся по двору. Где-то трещал радиоприемник, приятели ушли кто в кино, кто с родителями к родственникам, и заняться было совершенно нечем...

К Беле подошел Шаркади:

— Пойдем выпьем по стаканчику вина, а то что-то тяжело на сердце.

Они долго расхаживали по булыжным мостовым среди убогих домишек старинного городка. Вокруг стояла мертвая тишина. Наконец им повезло: вблизи главной площади они отыскали открытую корчму (все попадавшиеся до сих пор на их пути питейные заведения по непонятным причинам были закрыты). Шаркади заказал бутылку красного вина, и они не спеша его потягивали. Глаза цыгана затуманились. С трудом сдерживая волнение, он заговорил:

— Ты бы знал, какая у меня семья — жена, детишки! У меня такая замечательная жена, дай ей бог крепкого здоровья! А детишки... Эх, ты бы видел! Старшему девять лет. Он уже играет на скрипке, я сам учу его. Талант, ничего не скажешь, подрастет — обставит отца. — Он посмотрел вдаль и, запинаясь, продолжал: — Боюсь я за них. Ночью мне приснился плохой сон: будто бы пришла к нам мать белить стены и все белит, белит. Когда мне раньше снилась побелка, обязательно в семье кто-нибудь умирал.

Случилась со мной в молодости история. Сейчас я тебе расскажу. Ухаживал я за одной девушкой, отец ее был второй скрипкой в нашем ансамбле, но руководил им в то время еще не я, хотя был достаточно известен. Намерения у меня были самые серьезные, но совершенно случайно я узнал, что меня хотят надуть: у барышни той была весьма сомнительная репутация. Так что предстоящую свадьбу я расстроил. Тогда к нам явилась мать этой девицы, противная старая хрычовка, и разразилась проклятиями: пусть не рожает моя жена, пусть разобьет меня паралич, как только захочется женщину. Так вот, во сне пришла вроде бы моя мать, а когда она повернулась, то оказалось, что это та самая старая ведьма.

Цыган вновь наполнил стаканы, и они выпили.

— Понимаешь, — сокрушался Шаркади, — музыкант — свободный человек. Скрипка, как волшебная палочка, открывает любую дверь. У меня было немало женщин,

но жену, детей я ни на кого никогда не променяю! А проклятия эти вреда мне пока не причиняли, но теперь эта карга пришла белить стены...

Бела обнял Шаркади и дружески похлопал по плечу:

— Это же только сон. Понимаешь, Элемер, сон. Если бы ты не спал, ничего бы и не увидел — это же старая истина! Ну а проклятия... Жена же родила тебе четверых здоровых ребятишек. А потом, беда может настичь человека и без проклятий. Так что выбрось все из головы, Элемер, и не тревожься понапрасну. Если повезет, мы переживем эту войну, а дальше перед тобой откроются все дороги и станешь ты таким же великим музыкантом, как Имре Мадьяри! Глядишь, и в Америку поедешь на гастроли...

Шаркади постепенно успокоился и с благодарностью посмотрел на Белу.

В Эгере роту разместили в двухэтажном доме, находившемся неподалеку от центра. Это было современное, хорошо оштукатуренное здание без всякой мебели, а тонкий слой соломы, покрывавший паркетный пол, указывал, что здесь и прежде останавливались воинские подразделения. Кому принадлежал этот дом и куда делись владельцы — никто не знал, да никого это, вероятно, и не интересовало, за исключением Белы. Но он ничего не смог выяснить, да и как это сделаешь, если не оставалось ни минуты свободного времени. После бесконечных скитаний по холодным амбарам и сараям, по непролазной грязи деревень они наконец-то попали в теплый кирпичный дом с лепным потолком и застекленными окнами. Плохо было одно — имелось лишь два отхожих места, и стояли эти деревянные, украшенные замысловатой резьбой будочки в дальнем конце ухоженного сада. После подъема к каждой из них выстраивалась длинная очередь. Бела предположил, что в доме могли жить две семьи: одна — на первом, а другая — на втором этаже, и всего вместе с прислугой жильцов могло быть не больше двенадцати. Разве кто-нибудь из строивших это здание предполагал, что здесь разместится целая рота?

Командир взвода, в котором служил Бела, отбыл, не попрощавшись, и оставалось только догадываться, что его отправили на фронт. Взамен прислали маленького щуплого ефрейтора, который носил усики, как у Гитлера, и ругался с неповторимым хайдушагским смаком. В момент представления он нетвердо держался на ногах, кричал и бегал, а после отбоя, уже совершенно пьяный, решил на-

вестить личный состав. К счастью, у кого-то нашлась бутылка вина, которую его попросили принять в качестве подарка. Ефрейтор поудобнее устроился возле них и, предлагая время от времени кому-нибудь хлебнуть, не торопясь уговорил всю бутылку, после чего с миром удалился. И вообще, пьянчуга-ефрейтор докучал им недолго.

На следующее утро всех экипировали и вооружили, окончательно и бесповоротно превратив в солдат. Командовать ротой поставили фельдфебеля из сверхсрочников, от которого невозможно было ничего скрыть. Сразу же улучшилось питание, он быстро привел в чувство обленившихся унтер-офицеров, потребовав дисциплины, порядка и добросовестного несения службы, запретил издевательства и настаивал на гуманном отношении к новобранцам. Лейтенант по-прежнему обитал на недосягаемых высотах. Лишь изредка он появлялся на утреннем рапорте или инспектировал роту, а потом садился на мотоцикл и уезжал.

Несколько дней рота упражнялась в стрельбе, а затем, как-то к вечеру, ее построили в походную колонну и она в угрожающих багряных лучах заходящего солнца выступила на марш. Впереди шагал унтер-офицер. По его приказу в такт стуку ботинок пошатывающиеся от тяжести карабинов и прочей амуниции солдаты подхватили марш егерей:

Кружит снег среди горных вершин,
Ветер хлещет поземкой в лицо.
Храбрый гонвед на страже один,
Враг коварный сжимает кольцо...

Фельдфебель продвигался рядом, по тротуару, и внимательно следил за порядком. Неожиданно налетел холодный, пронизывающий ветер, но теперь он уже был не страшен солдатам — на каждом было надето теплое белье, форма из толстого сукна и шинель.

Часа через три рота остановилась на ночлег в каком-то селе. Отделение Белы разместилось в школе. Фельдфебель, указывая рукой на скамьи, предупредил:

— Укладывайтесь, ребята, побыстрее — спать вам придется недолго.

На улице еще стояла кромешная тьма, когда он разбудил солдат:

— Вот вам письменные приказы: идите по избам реквизировать лошадей и телеги! Крестьянина нужно брать тепленьким, пока он безмятежно спит, а то пронюхает о предстоящей реквизиции и уведет лошадей к свату в со-

седнюю деревню или в горы. Тогда ищи-свищи ветра в поле. Не поддавайтесь на уговоры, и пусть вас не смущают слезы и причитания. Глядите, чтобы к построению подводы были, ясно?

Задача была не из приятных. Бела с Дьюси Кальмаром отправились по дороге, круто взбиравшейся вверх. Через какое-то время командир отделения задохнулся от сильного кашля и остановился.

— У меня уже и по утрам бывает температура, — грустно сообщил он, — кровью харкаю. Но здесь скорее ноги протянешь, чем комиссуешься.

Бела подумал, что Дьюси сам довел себя до такого состояния, но говорить об этом было неудобно.

— Ты обязательно поправишься, вот увидишь, — успокоил он Кальмара. — Только не сдавайся, и все будет хорошо!

Им долго пришлось стучать в ворота, пока хозяин вышел на крыльцо и недоверчиво оглядел незваных гостей.

— Именем закона открывайте! — кричал Бела не допускавшим возражений голосом, будто заправский унтерофицер.

Их впустили, и Бела сунул под нос хозяину бумагу:

— У нас приказ — мы забираем у вас двух лошадей и телегу. Распишитесь вот здесь и оставьте этот документ себе вместо расписки!

Крестьянин покрутил бумагу в руках и удрученно сказал:

— Этим не вспашешь. Лошадей у меня всего две, если заберете, с голоду помрем. Идите реквизируйте у тех, кто побогаче!

— Сейчас такое время, что всем приходится чем-то жертвовать, — вступил в разговор Дьюла. — А список нам дал староста, с ним и разговаривайте.

Хозяин вошел в конюшню, надел на лошадей сбрую и вывел их.

— Эту темно-серую только недавно стал приучать к упряжке. Осторожнее, пожалуйста, не загоните ее, — попросил он.

Из дома выскочила жена крестьянина и, сообразив, в чем дело, расплакалась и стала проклинать войну. На Белу это не подействовало, но сейчас он впервые почувствовал преимущества военного перед штатским.

— Радуйтесь, что мы вашему мужу повестку не принесли, — сказал он сухо. — Лучше уж лошадей заберем, чем хозяина.

Крестьянин пробовал успокоить жену. В деревне не первый раз проводилась реквизиция, и он понимал, что сопротивляться бесполезно. Внутренне он, вероятно, был к этому готов, потому и реагировал так спокойно. Он распахнул ворота, солдаты сели на облучок, Бела взял кнут, натянул вожжи, и подвода покатилась со двора. И Беле представилось, что он в Торнакересе, у деда, где они вот так же утром отправлялись пахать или в лес за дровами.

Светало, и дома и улицы постепенно обретали свои привычные очертания. Рота уже строилась на школьном дворе, а амуницию и вооружение: карабины, подсумки, ранцы, поясные ремни — солдаты укладывали на телеги.

— Полевая кухня выехала заранее в ту деревню, где будем обедать, — порадовал их фельдфебель. — Это приказ господина лейтенанта! Ничего с вами не случится — один разок поголодаете!

Колонна двинулась, но куда и зачем — это никто не знал. Судя по дорожным знакам, за день проходили в среднем по двадцать пять — тридцать километров. В ясную погоду по солнцу удалось установить, что движутся они на запад. В деревни, отводившиеся для ночлега, всегда входили вечером, и тут нередко выяснялось, что повара запоздали с заправкой и фасолевый суп будет готов только к десяти часам. Тогда, ругаясь от огорчения, залезали на чердаки, падали прямо в форме на сено и засыпали.

Им везло: дни, как по заказу, стояли погожие. Изредка видели своего лейтенанта — обычно он стоял на обочине и придирчиво осматривал подразделение, а немного погодя проносился мимо колонны на мотоцикле и потом дожидался на месте очередного ночлега.

Когда проходили мимо неубранных виноградников или садов, фельдфебель назначал привалы где-нибудь рядом. Чтобы не нарушать порядка на государственных шоссе, продвигались по второстепенным дорогам, через разбросанные по склонам гор и холмов деревеньки. Но и здесь порой происходила путаница, если попадались отходившие с фронта части. Мощные гусеничные бронетранспортеры и грузовики немцев загоняли людей на поля, размокшие от зачастивших вновь дождей. Случалось, рядом шли самые различные части и подразделения: личный состав немецкой эскадрильи с белыми чайками в петлицах (интересно, куда подевались их самолеты?), безоружные словацкие солдаты в пилотках с медным гербом в виде двух крестов и офицеры, восседавшие на лошадях

во главе колонн. И все эти люди различных национальностей понуро и молчаливо брели на запад. Дальше встретился длинный ряд повозок, запряженных буйволами. Медленно плетущихся животных подгоняли, то и дело хлопая длинными кнутами, немецкие солдаты крестьянской наружности.

К вечеру добрались до места. Куда ни бросишь взгляд, везде виноградники, поэтому вино здесь продавали на каждом углу. В доме, отведенном отделению Белы, пожилая женщина отмеряла вино эмалированной кружкой прямо из ведра:

— Пейте, пейте на здоровье! Если не вы, так русские придут и выпьют! — подзадоривала она солдат.

На ужин строились в прекрасном настроении. Фельдфебель объявил, что в селе они проведут два дня и смогут наконец отдохнуть, что выходить за его пределы строго запрещается, что нарушителей будут расстреливать на месте как дезертиров, а потом добавил:

— И с вином поаккуратнее! Кто напьется — узнает у меня, почем фунт лиха!

Утром, после раздачи кофе, роту построили для объявления приказа. Фельдфебель как раз собирался отдавать рапорт лейтенанту, когда из строя, пошатываясь, вышел Дьюси Кальмар и направился к командиру, будто хотел что-то сказать. Он зажимал рот рукой, но сквозь пальцы сочились алые струйки крови, и, как он ни старался ее сдержать, весь китель был уже в крови. Не дойдя до командира, он согнулся, схватился за грудь, а кровь уже хлынула изо рта струей. Кальмар упал сначала на колени, потом на землю, а кровь все лилась и лилась, образуя вокруг огромную лужу.

— Врача! Врача! Скорее! — рявкнул на фельдфебеля лейтенант.

Пока тот прибыл, Дьюси скончался от потери крови.

— Легочное кровотечение... — констатировал доктор. — Даже если бы я оказался здесь, помочь ему был бы не в силах...

Дьюси похоронили в тот же день на сельском кладбище. Бела, ожесточась, написал Клари письмо, пересказав надгробную речь лейтенанта, в которой Дьюси Кальмар был назван образцом стойкости и мужества, примером сознательного, дисциплинированного бойца, светлая память о чьей жизни, отданной за родину, навечно останется в сердцах его товарищей. «Мои руки невольно сжались в кулаки, а к горлу подкатил комок, когда, стоя

у могилы, я вспомнил о пачке аспирина и словах фельдшера: «Парень ты крепкий, на свежем воздухе быстро поправишься», — писал Бела. — Лейтенант каждый день укладывается в теплую перину, а мы зачастую спим в стоге сырого клевера, дрожим в холодных амбарах от пронизывающего ветра. Унтер-офицеры уплетают мясо, а мы то не получаем завтрака, то не получаем ужина, и это так же естественно, как постоянно накрапывающий дождь. Многие даже в середине октября ходили босиком, когда за ночь намерзал такой лед в кадушке, что приходилось рубить его топором...

Защита родины... Но кого я должен защищать? Какое мне дело до этих бессердечных, жестоких офицеров, до этих подонков и самодуров, называемых унтер-офицерами?..»

На утренней перекличке выяснилось, что двое из их взвода отсутствуют. Ими оказались те самые босяки без роду, без племени.

Лейтенант встал перед строем, его желчное скуластое лицо выражало непреклонную решимость.

— Похоже, от безделья в роте ослабла дисциплина! — рявкнул он что было сил. — Дезертиры далеко не уйдут, жандармы свое дело знают: они обязательно их схватят и расстреляют на месте. Но беда в том, что в наши ряды проникли предатели. И это в тот момент, когда необходима железная дисциплина!

«Железная дисциплина! — подумал Бела с сарказмом. — Этот мерзавец считает, что мы в казарме. Когда все вокруг перевернулось, повсюду царят хаос и паника, этому подавай железную дисциплину...» И вдруг он с удивлением услышал, что лейтенант называет его фамилию.

Бела, как полагалось по уставу, вышел из строя и только тогда заметил в руках у лейтенанта свое письмо, отправленное вчера по почте.

— Повернись лицом к строю! — гаркнул лейтенант и, повысив голос, продолжал: — Этот тип, не достойный называться венгерским солдатом, написал в Пешт письмо, в котором клевещет на армию, поносит офицерский корпус и подстрекает население тыла выступать против войны! — Лейтенант потряс конвертом: — Вот это письмо, оно — доказательство его вины! В Эршекуйваре рядовой Бела Газда предстанет перед трибуналом, а до тех пор пусть идет с полной выкладкой! — Он немного помолчал, а потом голосом, похожим на клекот кречета, прокри-

чал: — Ференц Лештьян, выйти из строя! Вот еще один голубок! Недобитый коммунист! Кукушонок в гнезде! Он надеялся, что сможет незаметно затеряться в наших рядах!

Лештьян повернулся к лейтенанту:

— Господин лейтенант, разрешите доложить! Никакой я не коммунист, а честный венгерский солдат и патриот своей родины!

— Перечить старшим по званию?! Ну, погоди! Был твой отец председателем директории во время коммуны или нет? Отвечай!

— Разрешите доложить, я не могу отвечать за своего отца, — спокойно парировал Лештьян.

— Молчать! Всю вашу семейку называют в деревне красными Лештьянами!

— Разрешите доложить, я писем не писал и никакой коммунистической пропаганды не вел! Спросите кого угодно!

— Тебе не отвертеться, Лештьян, придет и твой черед! Дружка твоего мы разоблачили, не зря я наблюдал за ним с первой минуты! Красный тянется к красному! Солдаты, видите, никому не избежать своей участи! В этот ответственный момент мы все проникнуты чувством святого долга защиты отечества...

Лейтенант еще какое-то время ораторствовал, потом, приказав фельдфебелю не спускать глаз с двух мерзавцев, сел на мотоцикл и укатил.

Фельдфебель подошел к Беле и зашипел ему в лицо:

— Зачем, спрашивается, нужно было писать это дурацкое письмо, идиот? — Потом посмотрел на Лештьяна: — А ты лучше попридержи язык! — А затем громко, так, чтобы слышали окружающие, закричал на них: — Глаза бы мои вас не видели, убирайтесь вон!

Колонна продолжала свой путь. В одном из взводов шагал Бела с полной походной выкладкой: на плече — карабин, на спине — ранец, на ремне — подсумок, а в руке — солдатский сундучок. После первых десяти километров он уже едва переставлял ноги, но вспомнил, что на фронте солдаты одолевают за день и по сорок километров, стиснул зубы и зашагал дальше. Элемер Шаркади потянулся из-за спины Белы к ручке сундука и шепотом предложил:

— Давай помогу! Ты отдохни немного, а я пока понесу!

Сразу стало легче, но требовалось соблюдать осторожность, чтобы не заметил фельдфебель, который время от времени прохаживался вдоль колонны, проверяя, не отстал ли кто. В один из таких обходов фельдфебель, как считал Бела, заметил, что сундучок в руках у Фери Лештьяна, но, ничего не сказав, прошел дальше.

На привале они устроились покурить в высокой траве на берегу ручейка, и тут Лештьян задумчиво произнес:

— Никак не возьму в толк, откуда этот лейтенант знает про отца? Он ведь правду сказал. Но как он узнал, чем занимался старик во время коммуны?

Теперь, когда командир пытался изолировать Белу от остальных, заставив идти с полной выкладкой, его дружба с Фери вновь окрепла. Правда, до разрыва дело никогда не доходило, но после нилашистского путча и отказа Белы бежать отношения между ними стали более прохладными, они как-то отдалились друг от друга, хотя вслух не было произнесено ни одного слова. Теперь они как бы вновь осознали, что рассчитывать больше не на кого, и общая беда опять их сплотила.

Бела давным-давно позабыл карту страны, которую они изучали в школе, но, судя по направлению движения, дорога, извивавшаяся среди безымянных деревушек, вела в Словакию, а значит, и до Дуная уже рукой подать. Бела полагал, что Пешт непременно окажется на их пути, и твердо решил воспользоваться случаем и заглянуть к родителям и любимой.

Порой он очень тосковал по Клари. А когда у него бывало плохое настроение, он размышлял о том, что его жизнь, как и жизнь любого другого солдата, находится во власти слепого случая, и начинал сожалеть, что не успел сблизиться с девушкой, не настоял на интимных отношениях, которые в их возрасте вполне естественны. Он частенько вспоминал черные миндалевидные глаза Клари, стройную фигурку и с горечью думал, что все это достанется другому, если он не вернется с этой гнусной войны. Об этом однажды говорил Берти Пюшки, когда они рассуждали о смысле жизни. Так вот Берти утверждал, что все во Вселенной образует замкнутый круг, а мироздание можно представить в виде сооружения, построенного из отдельных блоков, в которых таятся богатые возможности, что и человеческую жизнь с младенчества до старости и смерти следует рассматривать как совокупность событий, которые дано пережить людям.

Важнейшая роль в данном процессе отводится любви, поскольку она неразрывно связана с таинством зарождения новой жизни, суть же этого чувства влечение одного человеческого существа к другому, поиск наиболее подходящего партнера. Накопившийся в этой области опыт за многие миллионы лет превратился в инстинкт. Чего, кажется, проще: парню нравится девушка или девушка дарит своим вниманием кого-то из парней, но в этом случае, так же как в процессе движения Вселенной, происходит много непредвиденного и бесчисленное множество индивидуумов остаются непонятыми, не находят взаимности и не достигают гармонического единства, характерного для мироздания в целом. Их желания остаются нереализованными, а их разбитые сердца можно сравнить разве что с камнями, оседающими на дне жизненной реки, которые с течением времени превращаются в песок и, разложившись на кристаллы и соли, становятся питательной средой для безудержно стремящегося вдаль потока. На этом зиждется мироздание: материя вновь и вновь организуется, опираясь на опыт предшествующих формаций.

Бела прекрасно сознавал, что его жизнь может легко оборваться до срока, остаться как бы незавершенной, а его любовь к Клари для самой девушки послужит основой для нового чувства.

Берти утверждал, что неповторимые в своем совершенстве формы бытия основываются на всеобщих законах неравенства, мол, именно поэтому некоторые жизни кажутся как бы непрожитыми, если к ним подходить с традиционными мерками. Взять, к примеру, судьбу Петёфи, Рембо или Ади, хотя по значимости их творчество не уступит творчеству Гёте, дожившему, как известно, до преклонного возраста. Отсюда следует, что все живое на земле должно рационально использовать каждую отведенную ему минуту, получать от жизни максимум удовольствий и наслаждения.

Припоминая теперь рассуждения Берти, Бела особенно болезненно воспринимал обман, уготованный ему обстоятельствами: поддавшись уговорам Клари, он лишился чего-то очень важного, а их отношения так и остались неразвившимися, не подарили им радости физической близости.

Примечательно, что, когда Берти излагал свои соображения в отдельном кабинете небольшого ресторанчика, служившего местом их постоянных встреч, Бела, слушая

друга, даже в мыслях не допускал для себя ничего подобного, свою жизнь представлял полнокровной и целостной от первого до последнего вздоха, этаким прямым и ровным шоссе.

Мысли о несостоявшейся жизни начали беспокоить после угроз лейтенанта отдать его под трибунал. Страшно напуганный предстоящим, он шагал теперь в строю с полной выкладкой и по мере приближения к Дунаю все больше и больше поддавался панике. Видимо, именно поэтому в памяти и всплыли рассуждения Берти.

Достигнув Ваца, они разместились в пустующей казарме. Несколько незнакомых солдат, служивших здесь когда-то и непонятно зачем оставленных, бесцельно слонялись по двору. Но и они не могли сообщить ничего нового.

Пол в больших спальных помещениях был устлан гнилой соломой, и, укладываясь спать после отбоя, Бела с тяжелым чувством вспомнил завшивевшую рабочую роту. Он долго ворочался, пытаясь заснуть, и вдруг понял, что рота не зайдет в Пешт, а проведет пару дней в этой нетопленой казарме с разбитыми окнами и двинется дальше на запад вдоль Дуная, обходя город с севера.

А что, если попробовать добраться до столицы поездом? Чтобы обернуться туда и обратно, потребуется максимум полдня. Охраны у ворот нет, так что выйти можно беспрепятственно. Карабин, подсумок и все остальное при нем, поэтому можно спокойно выдать себя за идущего на фронт или возвращающегося из отпуска солдата. И потом, почему именно у него должны проверить документы? Он представил, как обрадуются родители, Клари. Чуть позже, правда, мелькнула мысль, что в любой момент роту могут поднять по тревоге и приказать выступить, так что предположение, будто она задержится в Ваце на пару дней...

Так и случилось. Утром колонна построилась и двинулась дальше вдоль Дуная. Над ними по-прежнему нависали тяжелые свинцовые тучи, но звуков артиллерийской канонады, сопровождавших их на протяжении всего пути, теперь не было слышно, хотя, может, их заглушал рев моторов: по дороге нескончаемым потоком откатывались назад механизированные немецкие части. Двигавшиеся перед грузовиками мотоциклисты в касках и прорезиненных плащах решительно сгоняли всех с проезжей части. Рота с большим трудом тащилась по грязи, телеги вязли по самые оси, поэтому, как только представ-

лялась возможность, солдаты старались вновь выбраться на дорогу.

По разбитому машинами, ухабистому, затопленному грязевой жижей шоссе рота подходила к Парканю, когда у подводы, на которой перевозили поклажу отделения Белы, отвалилось колесо. Фери Лештьян побежал за фельдфебелем. Тот подошел и, увидев, что произошло, отрывисто и четко приказал:

— Быстро поднимайте телегу и заводите ее вон в тот двор! Ну, что рты пораскрывали? Быстрее!

Фельдфебель оказался прав — следовало торопиться, так как движение застопорилось и на шоссе образовалась пробка, а немецкие «тигры» и «фердинанды» были способны все смести на своем пути.

Кто-то спрыгнул с подводы и распахнул ворота. Телегу закатили во двор, выпрягли лошадей, отвели в сторону и привязали к одиноко стоявшему дереву.

Фельдфебель подозвал к себе Белу и Фери:

— Вы двое останетесь сторожить груз. Здесь, под брезентом, архив роты, ящики с боеприпасами и оружие. Я пришлю за вами другую телегу из Эршекуйвара. Переложите все на нее и доставите в целости и сохранности. Ясно?

Рота ушла, и они остались одни. Неожиданно фельдфебель вернулся и, подхватив их под руки потащил за дом к большому амбару. Остановившись и глядя прямо перед собой, он тихо, как бы рассуждая вслух, заговорил:

— Тебя, Газда, ждет в Эршекуйваре трибунал, а ты, Лештьян, проклятый коммунист, так что и твоя песенка спета, как сказал господин лейтенант. Ну а теперь подумайте, как должен поступить в подобной ситуации честный венгерский солдат-патриот. — Он отпустил их руки и как бы между прочим добавил: — Может, пройдет дня два-три, прежде чем удастся прислать за вами телегу. Запомните: Балаж Пинцеши, Эршекуйвар, улица Зирц, дом 3. — Он со скучающим видом посмотрел на небо и еще раз повторил: — Балаж Пинцеши, Эршекуйвар, улица Зирц, 3.

Бела и Фери проводили его до ворот, но фельдфебель больше ничего не добавил: вышел на улицу и побежал догонять роту.

В доме жили две женщины, мужья которых воевали на фронте, да хромавший на левую ногу мужчина. Солдат они встретили не враждебно, но и особой радости не выказали. Под ночлег им отвели небольшую, стоявшую

рядом с домом летнюю кухню, в которой нашлись деревянная лавка с набитым соломой матрацем и старенький шезлонг. Плиту отсюда давно вынесли, так что обогреваться было нечем. На первый взгляд это побеленное помещение с каменным полом, застекленными окнами и плотно закрывающейся дверью выглядело вполне прилично, и лишь ночью выяснилось, что в нем так же холодно, как и в других помещениях, где им приходилось ночевать.

В ноябре темнеет быстро, и хозяева закрылись в доме рано. А Бела и Фери зашли в летнюю кухню и, забравшись под одеяло, устроились на ночлег. Спали одетыми, но все равно мерзли. Пришлось укрыться шинелями, но и это не помогло — за стенами кухни свистел ветер, капли дождя монотонно стучали по крыше и в помещении становилось все холоднее. «И все-таки здесь лучше, чем в сарае или амбаре, — думал Бела. — Но что будет завтра, послезавтра? А что ждет нас в Эршекуйваре?» Будущее не предвещало ничего хорошего.

Фери Лештьян закурил и при очередной затяжке, когда огонек сигареты осветил его лицо, спросил:

— Ты не задумывался, почему именно нас двоих оставил фельдфебель охранять телегу?

— Да нет! У меня из головы не идет этот трибунал,— ответил Бела.

— Вот о том-то и речь! — подхватил Фери. — Ты вспомни, он ведь нам никогда не досаждал, даже после этой истории с письмом. Он ругал тебя за то, что ты его написал, а не за содержание. Это разные вещи. А знаешь, какую ответственность он взял на себя, оставив здесь, в Паркане, именно тех двух предателей, за которыми господин лейтенант приказал особенно внимательно следить? Ты не задумывался над этим?

— Не пойму, куда ты клонишь. Неужели допускаешь, что фельдфебель подталкивает нас к бегству? — недоуменно спросил Бела.

— Так оно и есть, — рассеял его сомнения Фери. — Чем дальше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь. Помнишь, я говорил, что не представляю, откуда нашему лейтенанту стало известно, чем занимался мой отец во время коммуны? Он ведь действительно был председателем директории и до января текущего года каждую неделю являлся в жандармерию за очередной оплеухой, чтобы, не дай бог, не забыл, какое преступление совершил в девятнадцатом. Представляешь, каждую неделю

он отправлялся в участок, где его избивали. И так все двадцать пять лет. Жандармы даже ночью не оставляли нас в покое, врывались в дом и переворачивали все вверх дном, разыскивая посторонних или запрещенную литературу. А священник не раз намекал в своих проповедях, что яблоко от яблони недалеко падает. По имени он меня не называл, но все понимали, о ком идет речь. Жизнь в этой деревушке стала для меня невыносимой, и я отправился в Озд, на металлургический завод. Так священник написал письмо директору и через неделю меня выставили. Вспомнил я об этом вот почему: как-то во время привала присел я отдохнуть под грушей, где никого не было. И вдруг подходит ко мне Копаш — знаешь, такой высокий, очкастый парень, наш ротный писарь, — и говорит: мол, еще в августе, когда нас только призвали, деревенский священник прислал письмо на имя командования, в котором предал меня анафеме. Вот так я и стал проклятым коммунистом в глазах лейтенанта. Он, конечно, сразу заметил, что мы дружим, и окружил нас доносчиками. Ну а ты своим письмом дал ему такой козырь, что он в два счета сотрет нас в порошок.

— Да, что и говорить, — вздохнул Бела. — Но кто мог предположить, что письма, отправленные по почте, вскрывают и прочитывают?

— Бела, нельзя же быть таким наивным! Кругом война, цензура свирепствует, а ты... Для лейтенанта это не составило большого труда: заехал на почту и попросил откладывать твои и мои письма. Но я всегда писал одно и то же: «Дорогие мама и папа, у меня все в порядке. Служба идет хорошо» — и так далее...

На некоторое время оба замолчали — каждый думал о своем. Наконец Бела не выдержал:

— Свинство все это! Если поразмыслить, в том письме все до последней буквы правда. По справедливости под трибунал нужно отдать лейтенанта: ведь Дьюси Кальмар умер по его вине.

— Брось ты эти глупости! Сейчас нужно думать о том, как выпутаться из передряги, в которую мы попали! Нужно искать выход!

— Дело дрянь, — удрученно произнес Бела, глядя прямо перед собой. — Даже подумать страшно: неужели на моем примере хотят припугнуть остальных?

— Очень может быть, — поддержал его Фери. — Из состава роты уже пропало девять человек. Как только подходим к населенному пункту, где проживает кто-

нибудь из солдат, так он исчезает, а потом прячется где-нибудь на винокурне, на чердаке или в погребе и ждет приближения фронта. Так что сейчас самое время кого-нибудь расстрелять для острастки. Только вот не знаю, кто из нас будет первым. Если, конечно, мы предоставим им такую возможность.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Бела, хотя прекрасно понимал, о чем говорит Фери. О бегстве они беседовали не впервые, но, пока не попали в переплет, эта тема не казалась такой актуальной. Поэтому сейчас Бела слушал друга с большим интересом, ожидая, что он предложит конкретный план.

— Давай рассмотрим факты, — предложил Фери. — Отправиться на подводе в Эршекуйвар равносильно самоубийству. Это отпадает, так? Остается одно — бежать. Вопрос лишь в том, куда бежать.

— Видишь ли, в подобной ситуации человек обычно думает о доме, — подсказал Бела и тоже закурил. Он был взволнован, его вновь охватила щемящая тоска по Клари. — А я с августа не виделся с родителями, с невестой...

Огонек сигареты над матрацем вспыхнул ярче, предупреждая, что Фери собирается возразить, — вспыхивавшие по очереди огоньки как бы сигнализировали, кто берет слово.

— Ну конечно, о доме! Это самое худшее — бежать домой, ведь там станут искать прежде всего. И как ты доберешься до Пешта? Ни солдатской книжки, ни увольнительной, а Пешт далеко! Нет, рисковать жизнью, полагаясь на удачу, глупо.

— Согласен, дело это не простое, но должно же нам в конце концов повезти, — настаивал на своем Бела. — Прыгнем на подножку товарняка либо здесь, либо в Эстергоме — оттуда тоже идут поезда в Пешт — и доедем. Господи, да не может быть, чтобы мы не добрались, а там... Пешт — как джунгли, там затеряешься, словно иголка в стогу сена.

— Что-то мне все это не нравится, — произнес немного погодя Фери. — Выходит, мы будем просто спасать свою шкуру! Будем удирать, будто зайцы от своры борзых, а поймают — растерзают?

Бела понимал, что Фери прав, но по сравнению с Эршекуйваром и грозящим трибуналом Пешт давал хоть какую-то надежду. Как бы подводя черту под спором, Бела спросил:

— Ты можешь предложить что-нибудь получше? Если так, я внимательно слушаю.

— Видишь ли, я кое-что придумал. Этот план созрел у меня давно. Кажется, он лучше других. — Фери сделал паузу, и в тишине стали отчетливо слышны завывания ветра и монотонная дробь дождя. — Дело в том, что моя мать словачка и я довольно сносно объясняюсь по-словацки. Днем я поговорил с местными и узнал, что вблизи Эршекуйвара, в горах, действуют словацкие партизаны. Вот я и предлагаю: как приедет телега, добраться на ней на законном основании до города, а там потихоньку смыться. Дальше можешь положиться на меня: со словаками я договорюсь. Уйдем к партизанам и оба спасемся. Мне кажется, здесь нет никакого риска. Жандармам нас ни в жизнь не поймать, а у партизан мы будем в полной безопасности.

Бела скривился: он был не в восторге от этого предложения. В голове стучало одно: «Пешт, Пешт, Пешт». Очень хотелось увидеть Клари, ощутить тепло родительского дома. В то же время приходилось признать, что план Фери гораздо реалистичнее и проще — риск заключался лишь в том, чтобы добраться от Эршекуйвара до партизан. Но и здесь опасность была минимальной, поскольку идти предстояло узкими тропами через крутые овраги и густые леса, где поймать кого-нибудь практически невозможно. Наконец он выдавил из себя без особого энтузиазма:

— Похоже, ты прав, но нужно еще раз все как следует взвесить.

Завтрак, с которого они начали новый день, опять состоял из вареной лапши и слегка подслащенного кофе из цикория. Оставляя их стеречь имущество отделения, фельдфебель распорядился выдать им мешок лапши, килограмм консервированного кофе и банку фруктового мармелада, и больше ничего: ни жира, ни масла, ни соли. Хозяева разрешили пользоваться их плитой для приготовления пищи, но не предложили ни картошки, ни сала, ни хлеба. Вот и приходилось с утра до вечера есть несоленую лапшу.

Время тянулось медленно. Если прекращался дождь, они болтались возле телеги или, стоя у ворот, разглядывали бредущих по дороге солдат, чье отступление напоминало великое переселение народов. Войска отводили с приближающегося фронта, тыловые службы подтягивались из глубины страны — и вся эта гигантская маши-

на войны днем и ночью непрерывным потоком катилась в сторону Вены.

Фери прослышал, что где-то в поле стоят зенитчики. Он взвалил на плечо мешок с провизией и отправился ее менять или договориться, чтобы их поставили на довольствие на эти два дня вынужденного ожидания — уж очень им хотелось чего-нибудь мясного.

Бела в одиночестве слонялся по двору. Дождь прекратился, но холодный, несущий дыхание близкой зимы ветер гнал тяжелые серые тучи и с неистовой силой налетал на деревья.

На дороге показалась необычная колонна. Впереди в широких коротких сапогах шагал немецкий солдат, с безразличным видом переступая через лужи, а за ним, едва переставляя ноги, плелись человек сто. Бела никогда не видел людей, одетых в такие ужасные лохмотья, исхудавших настолько, что остались лишь кожа да кости. У многих тела были покрыты коростой и нарывами. Одни шагали по подернутым ледком лужам прямо босиком, у других ноги были укутаны в дерюгу, попадались даже обутые в куски кожи, оставшиеся от сапог или ботинок. Одежда у всех износилась до такой степени, что ткань просвечивала. Это были русские военнопленные. Бела узнал их по характерным солдатским пилоткам, чудом кое на ком сохранившимся, но большинство обмотали головы каким-то тряпьем, а некоторые шли с непокрытыми головами.

Колонна двигалась молча. Бела, потрясенный этой картиной, всматривался в лица пленных и читал в их глазах то упрямую решимость, то презрительную ненависть, то тупое безразличие, то покорное смирение, то мрачную безнадежность. «О господи, до чего же довели этих людей, — думал он. — Как жестоко с ними обращались! И кормили ли? Ведь посмотришь — скелеты. Но какая-то невидимая сила заставляет их упрямо идти вперед. Сволочи! Проклятые швабы!»

Впервые он почувствовал такую острую ненависть к немцам. Эта война лишь теперь открыла ему свое настоящее, отвратительное лицо. В кармане шинели у него лежала пачка сигарет, он нащупал ее и хотел было бросить пленным, как вдруг совсем рядом один из них споткнулся и упал на колени.

Сопровождавший колонну еще один пожилой солдат вермахта, грузный, широкоплечий, на котором китель

буквально трещал по швам, скинул с плеча карабин и направился к упавшему.

Все это произошло с такой невероятной быстротой, что Бела оцепенел от ужаса: ему не верилось, что можно вот так запросто застрелить человека.

Товарищи подхватили ослабевшего военнопленного под руки и понесли, поддерживая за талию. Одновременно десятки костлявых кулаков вскинулись на охранника, по толпе пробежал ропот возмущения. Немец мотнул головой, забросил карабин за плечо и вернулся на тротуар. А военнопленные пошли дальше, подгоняемые порывами злобно завывающего ветра.

Бела вошел в дом и, усевшись, долго смотрел прямо перед собой.

— Проклятые швабы! Сволочи! — долго повторял он, будучи не в силах успокоиться.

Неожиданно ему пришла в голову мысль, что, окажись он на месте русских, с ним обращались бы точно так же. Теперь он понял, что Фери прав: нужно идти к партизанам.

Фери вскоре вернулся. Ему не повезло — у зенитчиков в палатке лежали такие же мешки с лапшой, как у них, и на довольствие поставить их зенитчики отказались из-за скудости запасов.

Устроившись в летней кухне, солдаты закурили.

— Знаешь, я решил идти с тобой, — нарушил молчание Бела. — Ты прав, у нас один путь — к партизанам.

Фери внимательно посмотрел на друга и понял: за время его отсутствия произошло что-то важное. Бела не мог дольше сдерживаться и взволнованно заговорил:

— Представь себе, старик, человека можно просто пристрелить и столкнуть в канаву, как приблудного пса! Никак не могу в это поверить! Совсем недавно мимо дома прошли военнопленные. Ты бы видел, как вскинули они свои костлявые кулаки, угрожая немецкому охраннику. И он отступил, хотя был вооружен. А сигареты так и остались у меня в кармане...

Фери с неожиданной яростью накинулся на него:

— Никак не могу тебя понять, Бела! Порой ты бываешь наивным и неосторожным, как ребенок! Ты до сих пор не понял, что идет война? Что вопрос идет о жизни и смерти? Военнопленные — это военнопленные. Эти гады уничтожают их так же, как евреев и поляков, а ты получил бы прикладом по зубам за свою доброту. Могли бы и вовсе пристрелить... Рисковать жизнью из-за пачки

сигарет! Лучше отправляйся в горы и там геройствуй с оружием в руках!

Бела проворочался всю ночь. В темноте реальность предстала перед ним во всей своей откровенной жестокости. «Это же безумие — идти в горы к партизанам! — думал он. — Скоро зима. А потом, я же собрался бежать от войны. Так зачем мне все это?»

Он представил себя среди заснеженных горных вершин. Отовсюду слышится треск очередей немецких пулеметов, разрывы мин, свист осколков, а он лежит в сугробе с автоматом в руках. Те, кому удалось вырваться из кольца, ушли дальше вверх, к заоблачным высям, а остальных немцы повесили. У партизан нет никаких прав, они воюют на свой страх и риск, и если доведется погибнуть, то никто не узнает, как это произошло... Но если они отправятся в Эршекуйвар, то их или расстреляют, или пошлют на бойню.

Он застонал и повернулся на другой бок. И вновь неотвратимо встал вопрос: какое ему, собственно, дело до всего этого? Он вспомнил, как вернулся с работы домой, поужинал, поговорил с отцом, который парил натруженные ноги, как планировал утром следующего дня отправиться на улицу Лоньян и приступить к лакировке, когда неожиданно позвонил почтальон и вручил ему желтый листок плотной бумаги, а теперь — либо трибунал в Эршекуйваре, либо партизанский отряд в горах. И все из-за нескольких злых, но правдивых строк, написанных Клари, из-за какого-то несчастного письма! А может, все началось гораздо раньше, когда Фери предложил: «Знаешь, приятель, давай держаться вместе». Если бы не дружба с Фери, никто не стал бы за ним следить.

Вот и лейтенант ясно дал понять, что в случившемся виноват Фери, что это его следует благодарить. Но почему Фери не предупредил его о том, что письма подвергаются цензуре? У самого-то хватило ума не писать ничего такого. Но он должен был подумать и о друге, раз все их семейство у властей на подозрении...

И дело не в том, что Фери коммунист, ведь братья Мадарас тоже члены нелегальной партии. Просто, если люди дружат, они должны уважать друг друга. Конечно, у Фери своя дорога, но почему он хочет заставить и его идти по ней? Нехорошо это.

С лавки доносилось спокойное, ровное дыхание Фери, и Бела в который раз за истекшие месяцы подумал о том, как этот парень добр, как он всегда стремится по-

мочь, выручить из беды. Поэтому было бы несправедливо упрекать его. Нет, здесь что-то не так. Сюда бы Берти Пюшки с его философским складом ума, он бы докопался до истины, доказал бы, что вся эта война — сплошной обман и мерзость, а Бела стал жертвой этого обмана, поскольку попытался рассказать правду. Пусть только в письме к Клари...

Наутро прибыла телега из Эршекуйвара. Пригнал ее Элемер Шаркади. Оба приятеля были рады его видеть: они обнимали товарища, хлопали его по плечу.

— Ребята, у меня такая новость! — взволнованно начал Элемер. — Представляете, фельдфебель исчез. Добрались мы до Эршекуйвара, а его уж и след простыл. Кругом неразбериха, паника, унтер-офицеры так и снуют. Наконец расположились на какой-то площади и стали дожидаться лейтенанта. Можете себе представить, как он взбесился. Когда посылал меня, приказал сесть с заряженным оружием сзади. Честно говоря, я не надеялся застать вас здесь. — Большие, карие, с поволокой глаза Шаркади светились беспокойством. — Как хотите, ребята, но лейтенант этот ненормальный. И, по-моему, он жаждет крови.

— А ты почему не удрал? — поинтересовался Фери.

— Эх, если б я мог! — вздохнул расчувствовавшийся Шаркади. — У меня семья, дети... Случись что, как они без меня?

Втроем они быстро перегрузили весь скарб на новую телегу. Можно было трогаться. Бела взял Фери за руку:

— Давай отойдем, я хочу тебе что-то сказать.

Фери посмотрел ему в глаза и с насмешкой в голосе спросил:

— Ну что, опять передумал?

Бела решил не замечать насмешки:

— Я прекрасно понимаю, что для тебя это самое лучшее решение, это твой путь. Ну а у меня свой путь, понимаешь? — И с этими словами он протянул руку приятелю.

Лицо Фери стало непроницаемым, он посмотрел на Белу пристально и холодно, но, поколебавшись, пожал протянутую руку.

— А знаешь, — произнес он немного погодя, — дерьмо ты, Бела!

Фери прыгнул на подводу, уселся на козлы рядом с Шаркади, и они выехали из ворот. А Бела так и остался стоять посередине двора.

3

Бела остановился у калитки, не решаясь войти. Это была минута его триумфа — он добрался!

Время близилось к обеду, и осеннее солнце щедро озаряло своими лучами тихую воскресную улицу. Бела повернулся и, прищурив глаза, взглянул на солнце — теплая волна радости прокатилась по всему телу. Он чувствовал себя как матрос, укрывшийся в тихой гавани от морской бури. «Получилось... Я оказался прав... Вышло по-моему», — повторял он про себя. Здесь он в безопасности, ведь это родные места, где ему знаком каждый камешек.

Он уже держался за расшатанную ручку калитки, но не открывал ее. Взгляд его скользнул по опущенным, изъеденным ржавчиной жалюзи книжной лавочки. Старенький дом с отваливающейся штукатуркой, скрытое за ветхой оградой бедное подворье — эти дорогие символы детства вновь воскресили в нем впечатления, накопившиеся за истекшие сутки...

Как только затих скрип телеги и он остался один, подступила щемящая тоска. Лишь теперь Бела осознал, что у него нет конкретного плана действий. Решение не ходить с Фери в горы к словацким партизанам пришло довольно быстро, естественно. Теперь предстояло как-то пробираться в Пешт, но именно это решение и не хотело обретать конкретных форм. До сих пор охранной грамотой для него служила военная форма, но, как только он отказался сесть на облучок возле Элемера Шаркади, она стала таить в себе смертельную опасность. Без солдатской книжки, без удостоверения его в любую минуту могли задержать патруль или полевая жандармерия. Теперь уже не скажешь, что охраняешь телегу, груженную боеприпасами, и дожидаешься, когда за вами приедут из Эршекуйвара. Присутствие же Фери Лештьяна служило ему дополнительной поддержкой, придавало уверенности.

Ужасно взволнованный, он некоторое время стоял во дворе, опасаясь выглянуть на улицу. Потом забился в кухню и стал размышлять, поглядывая на часы. Как медленно тянулись минуты! Страх постепенно исчез, и до Белы наконец дошло, что в дальнейшем надо рассчитывать только на себя. Конечно, придется идти на риск, но терять ему нечего — в Эршекуйваре его ждал трибунал, и можно было с полным основанием утверждать, что, по-

сле того как дезертировал фельдфебель, разъяренный, жаждущий мести лейтенант непременно добился бы для него расстрела. А добраться к партизанам, воевать — это не лучший способ страхования жизни. Тогда чего ждать?

На смену отчаянию и растерянности пришли отвага и решимость — качества, приобретенные им еще в детстве, которое прошло на городской окраине среди таких же сорванцов, как он сам. Унижения и издевательства, которым он подвергался в последнее время, пробудили в нем дерзость и хладнокровие, приучили безучастно наблюдать за страданиями других. После смерти Дьюси Кальмара он понял: в армии никого не интересует, что происходит с Белой Газда.

«Документы проверяют не у всех. Лишь робкий и пугливый вызывает подозрение, поэтому нужно действовать смело и напористо», — подумал он.

Рассмотрев все возможные варианты, он пришел к выводу, чго необходимо пробраться в Эстергом и там сесть на поезд до Пешта. Если повезет... Ему должно повезти!

Он обменял свою форму на гражданскую одежду, переправился по большому мосту в Эстергом, купил билет до императорских бань и поехал.

В купе напротив него сидела нарядно одетая супружеская пара средних лет. Разложив на камчатной салфетке жареного гуся, они завтракали. Под аккуратными усиками мужчины быстро исчезали жадно откусываемые куски. Его густые каштановые волосы хранили следы недавней завивки, гладко выбритое лицо лоснилось, жилетка трещала на заплывшем жиром теле, воротник рубашки едва сходился на толстой шее, а на коротких волосатых пальцах, ловко орудовавших перочинным ножом, блестел тяжелый перстень с черным камнем. Жена, толстенькая особа в белом свитере из ангорской шерсти, с толстым золотым браслетом на руке и увесистой, оттягивающей шею золотой цепью, на которой висел красный рубин размером с орех, была под стать мужу.

Бела лишь краем глаза посматривал на них — не хотелось показать, что он голоден и его мутит от одного вида мяса. Поглощая гуся, спутники горячо восхваляли «новый порядок»: дескать, давно пора гнать всех на фронт, дескать, в Европе должны проживать только истинные арийцы и Гитлер как нельзя кстати решил покончить с бардаком внутри страны и согнал всех евреев в гетто, дескать, теперь христиане вздохнут свободно.

Бела отвернулся и, сделав вид, будто ничего не слышит, стал разглядывать мелькавшие за окном пейзажи. «Чтоб вы сдохли вместе со своей гусятиной! — негодовал он. — Чего же ты не идешь на фронт? Уселся небось, дрянь такая, в лавке репрессированного бедолаги-еврея и в ус не дуешь. Ничтожество, вошь окопная, пушки грохочут под самым носом, а ты, как идиот, все еще разглагольствуешь о «новом порядке»...»

Бела старался сдерживать эмоции, чтобы не вызвать подозрений, но давалось это ему с трудом. Спрыгнув наконец на своей остановке с поезда, он облегченно вздохнул.

При виде упавших в воду арок взорванного моста Маргит он вздрогнул, но расспрашивать окружающих о случившемся побоялся — Клари позже расскажет. На площадке 44-го трамвая он оказался рядом с эсэсовцем: они держались за один поручень. «А что, если он попросит у меня документы? — мелькнуло в голове у Белы. — Нужно бы слезть... Но вдруг он что-нибудь заподозрит? Нет, лучше ехать дальше». Он заставил себя успокоиться и остался рядом с эсэсовцем — тот дружески улыбнулся и приветливо заметил:

— Das ist ein schöne Stadt [1].

Бела взглянул на рухнувший в воду мост Маргит и согласно кивнул:

— Ja, ja... [2]

На улице Ёллеи он вздохнул с облегчением — вагон приближался к окраине. Когда добрались до площади, где-то совсем близко послышались разрывы. Вожатый резко остановил трамвай, вышел и сообщил, что дальше не поедет, поскольку рельсы разбомбило.

Пришлось идти пешком. Навстречу, к центру города, двигался поток беженцев.

— Откуда? — поинтересовался Бела у пожилой женщины.

— Вечеш эвакуируют, — ответила она и заспешила дальше.

«Значит, фронт уже близко. Через пару дней русские будут здесь. Вот это радость! Еще немного терпения — и все кончится».

Он шел по пустынным улицам и с удивлением смотрел на заколоченные досками окна полуразрушенных домов;

---

[1] Это очень красивый город *(нем.)*.

[2] Да, да... *(нем.)*

прохожие почти не встречались, и Бела, не скрывая любопытства, как бы заново открывал знакомые места. Он уехал отсюда чуть больше двух месяцев назад, но как все изменилось!

Он надавил на ручку калитки и вошел во двор. Постучал в дверь и сразу почему-то подумал, что хозяйка, вероятно, опять стирает, склонившись над корытом, и попытается его выпроводить, но донесшийся из глубины дома голос Клари заставил отбросить все сомнения.

В кухне, кроме Клари, никого не оказалось. Девушка стояла у плиты и заваривала чай. Она медленно повернулась и зажала рот рукой, а спустя мгновение бросилась любимому на шею и крепко прижала его к себе:

— Я знала, знала, что ты придешь... Сердце мне подсказывало... — шептала она. — Подожди на улице: мать только заснула после ночной смены. Я лишь накину что-нибудь и сейчас же к тебе выйду.

Бела предложил погулять, но Клари напомнила ему об осторожности:

— На улице живет масса нилашистов. Повыползали, будто крысы из нор, и ходят теперь гоголем. Всех здоровых мужчин забрали на фронт, поэтому твое появление сразу бросится в глаза.

Бела едва скрыл разочарование.

— Ты права, следует быть осторожнее, — пробубнил он. — Приходи к нам после обеда, там и поговорим спокойно. Если повезет, то никто не узнает, что я вернулся. Спрячусь где-нибудь на чердаке или в подвале и преспокойненько пережду оставшиеся дни.

Направляясь домой, он из соображений безопасности старался обходить жилые кварталы. Уже целый месяц, как свергли Хорти и власть перешла к нилашистам. Он все это время был на марше и о последствиях переворота ничего не знал. Со слов Клари понял: теперь это не тот город, что два месяца назад.

На своей улице он, к счастью, ни с кем не встретился и быстро прошмыгнул в дом. Мать от радости была сама не своя, все гладила Белу по голове, целовала и ласково приговаривала:

— Сыночек мой вернулся!

На лице отца тоже светилась улыбка:

— Ну что, демобилизовался?

Бела сел к столу и, повернувшись к матери, попросил:

— Мама, дайте мне перекусить, а то от голода совсем живот подвело. Хорошо бы чего-нибудь мясного...

Мать принесла кастрюлю с застывшими в белом жиру свиными ножками, отрезала хлеба, положила перед сыном нож и вилку. Бела жадно набросился на еду, глотая большие куски прямо со шкуркой. Отец сидел напротив и разглядывал его.

— Так, значит, демобилизовался, да? — поинтересовался он вновь.

— Нет, сбежал! — коротко бросил Бела, продолжая есть.

У отца вытянулось от изумления лицо.

— То есть ты — дезертир?

— Вроде бы так, — сказал Бела и вызывающе посмотрел на старика: — Вы что же, не рады, что я вернулся домой?

— Да что ты, конечно рад!

Старик встал, развернул газету, которую держал в руке, и протянул ее сыну. На первой странице большими буквами было набрано предупреждение: «За укрывательство дезертиров — смерть!»

— Вот так-то, — добавил старик. — Я не за себя, а за твою мать беспокоюсь. На прошлой неделе расстреляли сына Хайдара. Он тоже сбежал, но во время обыска его нашли, выволокли во двор и пристрелили, как собаку.

Бела продолжал молча поглощать мясо. Отец стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, с трудом подбирал слова:

— В армии ты бы продержался. Я ведь тоже был солдатом, оттрубил три года в плену и цел, как видишь!

— Вы уже об этом рассказывали, — бросил Бела. Постепенно им овладела злость, и он отложил вилку. — Вы даже не представляете, что творится в армии! Я вынужден был бежать, иначе меня ждал трибунал! Или, по-вашему, было бы лучше, если бы меня там расстреляли? — Теперь он уже кричал, не сдерживаясь: — Плен? Видел я, как обращаются с пленными! У меня на глазах немцы гнали русских военнопленных, так что не надо мне об этом рассказывать!

Отец сел на стул, стараясь сохранить спокойствие, поинтересовался:

— Что ты натворил? В чем тебя обвинили?

— Лейтенант прочитал одно из моих писем, где была чистая правда, и обвинил меня в измене родине.

— Ты не знал, что солдату следует помалкивать? — смерил его враждебным взглядом отец. — А теперь сам попал в беду и на нас ее хочешь накликать!

Бела вернулся к трапезе, в голове у него теснились мрачные мысли: «Зачем, спрашивается, было спешить домой, если родной отец так встречает? Ссылается на мать, но, очевидно, боится за собственную шкуру. Какой уж тут закон семьи — один за всех и все за одного!»

Он продолжал машинально жевать и пытался спокойно взвесить ситуацию. Прежде всего следовало договориться со стариком. И после долгой паузы он произнес:

— Папа, вы не очень рискуете: люди из Вечеша бегут, русские совсем близко, пока меня кинутся искать, пока передадут приказ в Пешт, а оттуда сюда, за это время... Если уж немцев гонят от самого Сталинграда, то у Вечеша вряд ли они остановятся! По дороге домой меня никто не видел. Заберусь на чердак, и даже соседи не узнают, что я дома.

— Молод ты еще, сынок, неопытен, — вздохнул отец. — Когда немцы начинали войну, обещали разгромить Россию за две недели, и очень многие поверили в это. А теперь видишь, как оно вышло? Ты говоришь, русские завтра будут здесь. А немцы и нилашисты клянутся, что не пустят их в Будапешт, и намекают на какое-то новое «чудо-оружие». Кто знает, как все обернется? Я в жизни такое повидал, что и во сне не приснится. В одном уверен твердо: крикуны и выскочки всегда рано или поздно раскаиваются.

— Ну, хорошо, что же мне теперь делать?

Старик пришел в замешательство:

— Не знаю, но если речь идет только о письме... Может, тебя просто припугнули этим трибуналом? А представь, тебя найдут здесь, тогда и мы все погибнем... Правда, жандармы расстреляли только сына Хайдара, а родителей не тронули... Произошло это на прошлой неделе, когда о таких случаях еще не сообщали в газетах.

— Короче говоря, вы хотите, чтобы я поскорее ушел из дома?

При этих словах отец встал и растерянно всплеснул руками. Выглядел он очень подавленным и несчастным.

— Не знаю, сынок! Этот дом и твой дом, и я вовсе не собираюсь выгонять тебя, но, как мне кажется, оставаясь в солдатах, ты был бы в большей безопасности...

После обеда отец отправился к одному из своих родственников, а мать занялась делами на кухне. И тут появилась Клари.

— Послушай, дорогая, — тихо заговорил Бела, чтобы мать не слышала его, — я попал в очень трудное положение. Отец очень разволновался, просто трясется от страха, поэтому дома оставаться я не могу. Кого-то неподалеку отсюда расстреляли, да и в газетах все время пишут о казнях... И мне будет спокойнее, если я спрячусь не дома, а где-нибудь в другом месте. Ведь если меня начнут разыскивать, то в первую очередь придут сюда. В этом старик совершенно прав. Посоветуй, что мне делать? Как поступить?

Клари внимательно выслушала Белу, а затем по его предложению отправилась к Берти Пюшки, чтобы объяснить ему создавшееся положение и попросить приютить Белу на несколько дней. Берти наверняка не откажет, если он, конечно, жив и дома, а то ведь и его за это время могли призвать в армию. А когда она вернется, они еще раз все обсудят.

Клари выполнила поручение довольно быстро, а когда она вернулась, они вышли в сад, благо к тому времени уже стемнело. Разговаривали шепотом, прислонившись к стене сарайчика.

— Берти ждет тебя, — сообщила Клари. — Он сказал, что ты можешь пожить у них несколько дней в задней комнате. О питании они позаботятся, так что тебе не о чем беспокоиться.

— В таком случае я скажу родителям, что возвращаюсь в часть: мол, я понял, что отец совершенно прав, и тому подобное...

Старик удивился, но при внимательном взгляде было нетрудно заметить, что он с облегчением прощается с сыном. А мать начала плакать и причитать, и вскоре плач перешел в такие рыдания, что Беле с трудом удалось ее успокоить. Клари нежно обняла старушку за плечи и стала шептать ей на ухо всякие утешительные слова, а сама невольно подумала, что она бы сразу успокоилась, узнав, что ее сын никуда не поедет, а будет скрываться неподалеку...

Соблюдая осторожность, они зашагали по темным улицам, прислушиваясь к треску автоматов, доносившемуся с заметно приблизившейся передовой, вглядываясь в небо на горизонте, время от времени освещаемое светом ракет. Клари шла впереди, останавливаясь на каждом пе-

рекрестке, чтобы осмотреться. Так, пробираясь по маленьким улочкам, они благополучно дошли до дома Берти.

Отец Берти Пюшки водил трамваи. Умер он рано, и жена его, мать Берти, получала скромную пенсию, на которую они жили с сыном в маленьком домике, еле сводя концы с концами. Бела мог чувствовать себя у них в полной безопасности.

Клари сразу заспешила домой: ей нужно было пройти чуть ли не через весь город, а ходить по нему в столь поздний час было далеко не безопасно. Бела проводил девушку до калитки и, крепко целуя, почувствовал, как его охватило такое страстное желание, какого он никогда раньше не испытывал. Правда, раньше Клари всегда держала себя в руках и никогда не позволяла переходить дозволенных границ. На этот же раз она не противилась ласкам Белы и разрешала целовать себя в губы. А он склонил голову на ее плечо и, тяжело дыша, зашептал:

— Кларика, дорогая, я люблю тебя теперь совсем по-другому... Прошло всего два месяца, а я уже не могу жить без тебя. Разлука сделала свое дело: моя любовь разгорелась еще сильнее. Я даже не могу толком объяснить, что за чувство овладело мной, но мне кажется, что сейчас только ты да я на всем свете... Дорогая моя, любимая, если бы ты только знала, как я тебя люблю!..

— Я твоя, и больше ничья, — просто сказала девушка.

В этот момент где-то близко послышались шаги и Клари быстро пошла по улице, а Бела бесшумно проскользнул в дом.

Это расставание болью отозвалось и в душе Клари. Пока они были далеко друг от друга, все в родном доме казалось ей каким-то ненадежным, шатким. Город бомбили, снаряды рвались прямо на улицах, а когда наступало недолгое затишье, по ним сновали вооруженные нилашисты и грабили еще не разграбленные лавки и магазины. Опьяненные властью, они бесчинствовали, проводили массовые аресты и уводили людей поодиночке и группами неизвестно куда. Исчезали хорошие знакомые, друзья. В голову Клари все чаще и чаще приходила назойливая мысль, что не сегодня завтра и она может стать жертвой бомбежки или ее разорвет на куски шальной снаряд и тогда она уже никогда не увидит Белу. И хотя здравый смысл и свойственный молодости оптимизм и отрицали столь мрачную перспективу, мысли о смерти,

как и слова модной тогда песенки: «В прожитом дне — целая жизнь, в поцелуе — целый мир...», невольно западали в сознание. Возможно, этому способствовало и то, что у нее изменилось отношение к любви: она вдруг ясно осознала, что легкомысленным увлечениям пришел конец, и теперь страстно желала только одного — навсегда связать свою жизнь с Белой. Она не хотела думать о том, что это ее решение будет в штыки встречено матерью, которая считала: с Белой дочь не будет счастлива. Все это Клари сейчас не интересовало, так как ее властно тянуло к Беле, которому она уже не смогла бы отказать ни в чем. Более того, у нее было такое чувство, что ради этого парня она не пожалела бы даже собственной жизни.

Бела же, вернувшись в дом, поужинал вместе с тетушкой Пюшки — выпил стакан чая с лепешкой, натертой чесноком. В доме было хорошо натоплено — железная печка, стоявшая в задней комнате, раскалилась докрасна. После скитаний по холодным амбарам, сараям да летним кухням Бела наслаждался долгожданным теплом.

Перед сном к нему зашел Берти.

— Я знал, что ты настоящий друг, — растроганно произнес Бела. — Я понимаю, чем ты рискуешь, скрывая меня, и никогда этого не забуду, — продолжал он. — Знаешь, у меня такое предчувствие, что долго я здесь не пробуду: русские уже освободили Вечеш, автоматные очереди раздаются совсем рядом, через день-два...

Берти же, сцепив руки в замок и уставившись неподвижным взглядом в пол, думал: «Если бы так оно и было! К сожалению, все это может длиться не два дня...»

Бела с удивлением посмотрел на друга и продолжал:

— Неужели и ты веришь этим вракам о фашистском «чудо-оружии»? В северных районах русские успешно продвигаются вперед. Я своими глазами видел, как гитлеровцы драпают от них целыми дивизиями. Если бы у фашистов на самом деле было это «чудо-оружие», они бы его обязательно применили!

— Не в этом дело, — нервно махнул рукой Берти. — Остается фактом, что гитлеровцы все еще оккупируют громадную территорию. В их распоряжении множество военных заводов, источников сырья. Мадарасы регулярно слушают Лондонское радио и рассказывают, что английская авиация разбомбила в Норвегии завод, на котором фашисты готовили так называемую тяжелую воду!

— А что это такое — «тяжелая вода»? — заинтересовался Бела, впервые услышав это выражение.

— Точно я и сам не знаю, но это что-то такое, без чего невозможно создать «чудо-оружие». Это имеет какое-то отношение к расщеплению атома, что в свою очередь позволит создать сверхмощное оружие. Вот этот завод и разбомбили в самый последний момент английские самолеты. А если вспомнить о ракетах «Фау-2»... Гитлер сейчас настолько уверен в себе, как будто у него в запасе и еще кое-что имеется. Но речь не об этом. — С этими словами Берти встал и заходил взад-вперед по комнате, а потом продолжал: — Гитлеровцы утверждают, что превратят Будапешт в неприступную крепость и будут оборонять каждый дом. В таком случае осада столицы затянется на несколько месяцев. Вспомни-ка Сталинград! А германское командование утверждает, что превратит Будапешт в Сталинград для русских и именно здесь произойдет поворот в войне. Это, конечно, глупости, такого быть не может... Ни один здравомыслящий человек в это не поверит. Но осада может затянуться, вот поэтому я и говорю, что нам нужно быть готовым ко всему...

Бела растерялся: все складывалось совсем не так, как он предполагал. Находиться в осажденном городе, будучи дезертиром... Он долго молчал, а потом сказал:

— Я ни в коей мере не хочу тебя обременять. Мы с Клари что-нибудь придумаем. Я ведь могу спрятаться в подвале какого-нибудь разрушенного дома...

— Дурак ты! — оборвал его Берти. — Не раздражай меня своей болтовней. Пока я дома, ты отсюда никуда не уйдешь, и давай не будем больше возвращаться к этой теме. Уж мама о нас позаботится.

Они еще долго разговаривали. Берти расспрашивал друга о фронтовых впечатлениях и внимательно слушал все, что ему рассказывал Бела.

— Любая армия в конце концов разваливается, если у нее нет соответствующего вооружения, обмундирования, снаряжения, а в штабе царит хаос, — проговорил Бела, прежде чем лечь спать.

В ту ночь он впервые за долгое время спал на белой простыне, под головой у него лежала подушка, а накрывался он теплым пуховым одеялом.

Он так крепко уснул, что утром пробудился лишь от толчков, которыми, давясь от смеха, награждал его Берти:

— Эй, соня, вставай! Пора за дело — у нас уйма работы!

— Работы?! — с изумлением уставился на друга Бела.

— Да-да, представь себе. Я составил список книг, которые мы с тобой должны будем прочитать за время нашего вынужденного заточения. Тем самым мы ликвидируем брешь в нашем образовании. Вот он, этот список! Читать будем строго по плану. Ты, дружище, возьмешься за трехтомник Ласло Немета «Революция качества», а когда закончишь, для отдыха прочтешь «Семья Тибо».

— Боже мой! — простонал Бела. — Не много ли ты хочешь от бедного маляра?

— Я хочу приобщить тебя к образованным людям, — несколько театрально заявил Берти. — Когда кончится война, родится новая, демократическая нация, в которой не будет места сословным привилегиям. И вряд ли тебе представится еще раз такая возможность, чтобы спокойно прочесть эти толстые книги. В моем списке ты найдешь и «Волшебную гору» Манна, и другие книги, но ты не бойся.

— Ты так говоришь, будто и я решил стать философом, — возразил Бела. — Но если даже у меня за спиной вырастут крылья, как у ангела, то и тогда мне уготована стремянка да малярные кисти.

— Но представь себе, как будет здорово, если ты, рабочий, появишься в клубе среди интеллигентов и непринужденно вступишь в дискуссию по какому-нибудь литературному вопросу.

— И зачем только мне это? — пробормотал Бела, широко зевая, и неохотно поднялся с постели.

Педагогические планы Берти его нисколько не воодушевили, ведь он думал, что все это время они будут бездельничать, курить, разговаривать о девушках, играть в шахматы, а порой и в карты. Но главное желание Белы заключалось в том, чтобы наконец-то как следует выспаться. Он был готов спать днем и ночью, лишь бы навсегда позабыть о долгих, утомительных маршах, немного расслабиться и привести в порядок нервы, а тут на тебе — образовывайся! Однако делать нечего: он дезертир, которого радушно приняли в этом доме, следовательно, надо изобразить, что он доволен предложением Берти.

Когда они вышли в кухню, тетушка Пюшки уже хлопотала у плиты. Бела сел к столу завтракать. И в этот момент зазвенел звонок. Берти вскочил со своего места

и, сделав Беле знак, чтобы он укрылся в комнате, пошел открывать дверь.

Бела затаился, невольно думая о том, что это могут быть полевые жандармы, которые ищут дезертиров. И тут же мысленно начал успокаивать себя: какая разница, где его убьют — в Эршекуйваре или здесь?

Через несколько минут Берти вернулся в дом и о чем-то заговорил с матерью. Бела немного подождал, а затем вышел из своего убежища. Берти стоял на середине кухни и нервно размахивал какой-то бумажкой. Это была призывная повестка, в которой сообщалось, что вольноопределяющийся гонвед Берталан Пюшки обязан немедленно явиться в казарму Андраши.

— Ты понимаешь, что это значит?! — воскликнул Берти.

— Чего же тут не понять? Теперь нам обоим, если мы не хотим, чтобы нас схватили, надо побыстрее отсюда сматываться.

— Мы останемся! — выкрикнул Берти. — Мы вправе здесь остаться! Ты можешь представить, что я пойду в армию? Ты бежишь из армии, а я должен добровольно идти в нее? Идти, чтобы стать пушечным мясом? В казарме Андраши таких, как я, быстро переоденут в военную форму, сунут в руки фаустпатрон, и отправляйся в окопы стрелять по танкам! Ну, нет! Это тебе не старая Венгрия, дружище, и я не собираюсь жертвовать собственной жизнью ради кучки мерзавцев, которые борются за власть! Вдвоем мы с тобой больше добьемся, чем каждый в отдельности. Теперь у нас, Бела, одна судьба.

— Так-то оно так, но куда мы пойдем? — беспомощно спросил Бела.

— Я знаю, что нам делать, — успокоил его Берти. — Но чего мы тянем, ведь ты еще не завтракал.

Пока Бела ел, Берти рассказал ему, что братья Мадарас уже две недели как скрываются. Оба они работали на авиационном заводе в Сигетсентмиклоше. Когда начались бомбардировки, все оборудование погрузили на автомобили и вместе с рабочими и инженерами вывезли в Германию. В суматохе Банди и Отто соскочили с грузовика и вернулись домой, а потом укрылись у своего старшего брата, Лаци Мадараса, унтер-офицера-сверхсрочника, который возил какого-то важного полковника из генштаба. Братья считали, что на квартире у Лаци они будут в полной безопасности. И Берти назвал адрес, по которому их можно найти.

— Как только стемнеет, мы пойдем по этому адресу, — заявил он.

— А что они скажут, увидев меня? — растерялся Бела.

— Ничего не скажут. Братья Мадарас — мои друзья, а значит, и твои тоже. Какая разница, если вместо трех дезертиров в квартире будут скрываться четыре.

Как только стемнело, они вышли из дома. Идти в Буду пешком было намного опаснее, чем ехать на трамвае,— так считала Клари, которая по-прежнему ходила в магазин-салон, хотя хозяйка часто болела. Пока Клари шла пешком до проспекта Ференца, где можно было сесть на трамвай, кого она только ни встречала: вооруженных нилашистов с повязками на рукавах, полевых жандармов с блестящими бляхами на груди, эсэсовцев и всякого рода патрулей, которые охотились как за военными, так и за гражданскими, устраивая всевозможные облавы.

Каждый день Клари становилась очевидицей чего-нибудь ужасного, и эти картины запечатлевались в ее памяти до следующего дня, когда происходило что-то не менее ужасное. И это не говоря об артиллерийском обстреле города, который почти не прекращался, и о душераздирающем завывании сирен ПВО. По мостовой время от времени грохотали танки, проходили колонны вооруженных солдат; немецкие грузовики останавливались перед закрытыми магазинами, и гитлеровцы, сорвав жалюзи или же выломав двери, начинали их грабить прямо среди бела дня. Но перед булочными по-прежнему выстраивались очереди за хлебом, ходили, звеня, трамваи — короче говоря, миллионы людей даже в этом хаосе пытались жить в привычном ритме.

Мать Клари работала на текстильной фабрике в ночную смену. У обеих сестер было полно работы в салоне, так как новые хозяева страны, являвшиеся ярыми поборниками «нового порядка» и верившие в его скорую окончательную победу, а также те, кто впервые дорвался до доходного дела или до крупной торговли и быстро разбогател, с завидной жадностью заказывали себе и близким новые туалеты.

Своими соображениями Клари поделилась с Белой, пока они дожидались наступления темноты. Беле стало как-то не по себе: хорошее настроение, в котором он пребывал, подходя к воротам дома Клари, улетучилось. Да и немудрено. Отец выставил его из дома, Берти Пюшки получил повестку с призывного пункта, а военное поло-

жение и вид столицы свидетельствовали о том, что быстро все это не кончится. Готовясь дезертировать из армии, Бела представлял Будапешт таким, каким он был в августе, и верил, что легко затеряется в миллионном городе, а в действительности попал в центр жестокого террора и изощренной охоты на людей. Удирая от военного трибунала, он оказался в городе, где на улицах и во дворе безо всякого суда и следствия расстреливали сотни людей. В этом хаосе человек мог стать жертвой слепого случая.

Бела и Берти решили, что лучше всего дойти пешком до улицы Хатар, а там сесть на трамвай. Однако девушка настояла на том, что дойдет до перекрестка одна и внимательно осмотрится.

Они шли по тропинке, вьющейся между деревьями, стараясь не задерживаться на открытых местах.

— Хорошо, что ты нашел Клари, — сказал Берти. — Она девушка смелая, трезвомыслящая, без нее нам бы трудно пришлось. Она у нас все равно как разведчица.

Бела, у которого от одного вида разрушений испортилось настроение, долго молчал, а потом проговорил:

— Клари, конечно, смелая девушка, однако не надо преувеличивать ее заслуг: ей ничего не грозит, документы-то у нее в полном порядке.

Берти хотел было что-то сказать, но в это время подошла Клари.

— Все трамваи, которые ходят по улице Хатар, останавливают патрули и проверяют у пассажиров документы.

— Выходит, как только мы там появимся, сразу окажемся в западне, — сказал Берти, видимо, сожалея, что продуманный ими план действий осуществить не удастся.

Они долго шли лесом, пока не попали на улицу Губачи. Стоять на остановке им не пришлось: вскоре подошел трамвай, на котором они благополучно добрались до Буды.

Квартира сверхсрочника Лаци Мадараса располагалась на четвертом этаже, ее окна выходили на Вармезе. На звонок дверь открыла немного заспанная молодая женщина в халатике и домашних туфлях. С Берти она поздоровалась как со старым знакомым, но с удивлением посмотрела на Белу и Клари.

Берти начал было объяснять, кто это такие, но женщина перебила его:

— Входите, пожалуйста, всем места хватит.

Банди и Отто Мадарас, сидя на краю кровати, о чем-то спорили с тремя другими мужчинами, находившимися в комнате. Никто из них не встал, они лишь кивнули пришедшим в знак приветствия. Пепельница была полна окурков, а в комнате плавал густой табачный дым.

— Располагайтесь, — предложил Отто, обращаясь к пришедшим. — Рожи даст вам чего-нибудь поесть.

Клари попрощалась, пообещав прийти вечером. Когда шаги девушки смолкли в коридоре, Бела с облегчением вздохнул: теперь можно было подумать и о себе.

Рожи провела их в кухню, где угостила чаем с хлебом и сливовым вареньем. Бела отрезал тоненький кусочек сала, но оно оказалось старым и невкусным, да и аппетита у него не было. Берти же похвалил варенье из сливы, сваренное в деревне, и поинтересовался, как поживают сестры Рожи. Из разговора Бела понял, что они невесты Банди и Отто, иначе говоря, трое братьев Мадарас ухаживали за тремя родными сестрами, двое из которых заблаговременно уехали в Альшонемеди, к матери. Вполне вероятно, что линия фронта уже прокатилась через то село и они живут уже на освобожденной территории.

— Повезло им, что вовремя додумались уехать из города. А вот мы никуда не сможем уехать из-за службы Лаци, — заметила Рожи. — Хорошо еще, что он успел отвезти к матери все ценные вещи, как только в городе начались бомбежки. Сейчас в квартире лишь самое необходимое. На столько людей едва ли постелей хватит, но ничего, как-нибудь устроимся.

В этот момент раздались три коротких звонка — так по договоренности мог звонить кто-то из своих. Рожи пошла открывать и, впустив кого-то, сразу же провела в комнату к братьям Мадарас.

— Ну и толчея здесь! — проговорил Бела спустя некоторое время, когда Рожи выпроводила пришедших — судя по голосам, их было несколько, — а затем добавил: — Мне кажется, на многое тут рассчитывать не приходится.

— А ты чего ожидал — торжественной встречи с оркестром и ротой почетного караула? — Берти пожал плечами: — Ты же сам видел, что наше бегство из армии не явилось ни для Банди, ни для Отто сенсацией, как мы с тобой полагали. Они совершили подобный шаг раньше нас и уже привыкли к своему положению.

— Более того, они тут что-то затевают, — поддержал Бела.

Берти ничего не ответил и, поднявшись, предложил:

— Пошли к ребятам, неудобно как-то околачиваться на кухне.

Хотя Бела знал, что хозяин квартиры, унтер-офицер Ласло Мадарас, возит какого-то важного полковника из генштаба, а следовательно, его квартира вне всяких подозрений, он отнюдь не чувствовал себя здесь в безопасности. Этому способствовало и то обстоятельство, что комнаты носили на себе отпечаток чего-то временного. Голые стены, свисающая с потолка электрическая лампочка без абажура, незаправленные кровати — все это создавало впечатление, что обитатели жилища должны куда-то переселиться.

А действительно, кто знает, что с ними станет завтра? Сидят они в этой квартире, словно пойманные птицы в клетке, и не знают даже, что творится в городе. И как долго все это будет продолжаться?

Какой же он дурак, что поддался на уговоры! Сидел бы себе дома, на чердаке или в подвале. Что бы там ни случилось, а родной отец его бы не выдал. Да и русские уже в Вечеше, считай, совсем рядом. Сам Будапешт они, быть может, и не сразу возьмут, но их район находится на окраине и будет освобожден не сегодня завтра.

В комнате, куда вошли Бела и Берти, остались только Банди, Отто и незнакомый молодой мужчина, который поздоровался с ними за руку, но не представился.

— Садитесь, ребята, это и вас касается, — сказал Отто. — Подвигайте поближе стулья.

— Откуда ты знаешь, что это их касается? Берти всегда был пацифистом, а Бела до сих пор ни слова не произнес. Может, они только убежища ищут и не собираются соваться в рискованное дело? — резко проговорил Банди.

Берти от удивления вытаращил глаза и, повернувшись к Банди, сказал:

— О моем пацифизме мы чуть позже поговорим, но нам действительно следует знать, о чем идет речь.

Незнакомый мужчина закурил и, чуть подавшись вперед, заговорил:

— Мы хотим организовать Сопротивление, подготовить всеобщее восстание. Мы и в армии развернули работу: поддерживаем связь с кое-какими подразделениями, с офицерами и унтер-офицерами, которые хотят сра-

жаться против гитлеровцев и нилашистов. В городе скрывается несколько тысяч солдат-дезертиров, которые умеют обращаться с оружием и хотят бороться, а не сидеть сложа руки и ждать, пока их поймают во время очередной облавы и расстреляют. Мы, разумеется, рассчитываем и на местное население, которое ненавидит и фашистов, и нилашистов, так как сыто по горло их зверствами. Возмущено оно и тем, что фашисты и нилашисты собираются защищать Будапешт, ведь в этом случае советская артиллерия, авиация и танки от столицы камня на камне не оставят, а собственным домом, как известно, никому не хочется рисковать. Вот почему у нас нет другого выхода, как поднять против фашистов и нилашистов всенародное восстание и тем самым помочь войскам Советской Армии. Время для этого настало. Мы должны спасти Будапешт. Если столица окажется в наших руках, тогда мы и всю страну сможем склонить на нашу сторону. В этом случае мы спасем честь и будущее нации.

Незнакомец говорил быстро и просто, без показного пафоса, так, как будто беседовал об этом не впервые. На губах у него блуждала еле заметная улыбка, и он переводил свой взгляд с Белы на Берти и обратно.

И Бела пристально разглядывал незнакомца. У него были темные, близко посаженные глаза, смуглая, как у креола, кожа и небольшие усики. На нем был хороший костюм с галстуком, и по внешнему виду трудно было определить, кто он такой. Он скорее походил на чиновника, чем на переодетого в цивильное платье офицера.

— Вместе с Лаци вас сейчас пятеро, — продолжал незнакомец, — а этого вполне достаточно для организации небольшой, но боеспособной группы. Квартира эта надежная, что очень важно, тем более что из дома можно выйти через сад, оставшись незамеченным.

Он замолчал. Наступила тишина. Берти уставился в пол, и Банди с Отто посмотрели на Белу, будто ожидая от него ответа. Однако Бела по-прежнему считал, что говорить должен Берти. Он и раньше отвечал за двоих, подчеркивая, что сейчас самое главное — выжить. Не для того же они дезертировали из армии, чтобы погибнуть безвестными на улицах Буды в какой-то ночной стычке. Старый Йожеф недаром любил повторять: лучше быть живым трусом, чем дохлым львом. Да и Берти совсем недавно утверждал, что гитлеровцы все еще сильны: в одном Будапеште у них несколько дивизий. А что могут

сделать пять человек? Ну, убьют они фашиста или жандарма, а что изменится?

Берти встал, сделав несколько шагов, опять вроде бы задумался, а затем поднял голову и заговорил решительным голосом, в котором не было и тени сомнения:

— Мы много спорили о судьбах нашей родины, о будущем нации. Я лично твердо убежден, что война проиграна и потому мы обязаны сохранить себя для будущего, выжить, чтобы строить новую жизнь. Если мы погибнем, думал я, то кто же будет строить новую жизнь? Так я думал долгое время, а теперь у меня другое мнение. Я согласен с вами, что когда банда убийц роет могилу для всей нации, то залог ее будущего в борьбе. Мы с вами, друзья. Я говорю это от своего имени и от имени Белы, который дезертировал из части, чтобы не попасть под военный трибунал. Это настолько рискованный шаг, что он сам по себе является красноречивым ответом на ваш вопрос. Вероятно, вы сомневались во мне. Однако под влиянием изменившейся ситуации я вынужден был изменить свое мнение. Скажите, что нужно сделать, и мы сделаем это...

Незнакомый мужчина слушал Берти и кивал в знак согласия, а затем сказал:

— Хорошо, ребята, но вы должны действовать самостоятельно, так сказать, на собственный страх и риск.

Бела старался не выказать своего изумления. В душе он протестовал против решения Берти, но открыто заявить об этом не посмел, боясь, что его посчитают трусом. Да и бесполезно спорить с этими фанатиками. А убежище это действительно надежное, и им нужно дорожить.

— Мне бы хотелось выяснить две вещи, — начал Бела, чувствуя, что должен что-то сказать. — Вот ты сначала говорил о всенародном восстании, а потом о том, что мы должны действовать впятером. А как? Нужно оружие, с голыми руками на нилашистов не пойдешь.

— Подготовка к восстанию началась, — заявил Отто, — но и мы не должны сидеть сложа руки.

Незнакомец встал и, слегка потянувшись, как-то по-доброму улыбнулся:

— Разумеется, вы получите оружие, и документы тоже. Банди и Отто уже имеют по револьверу и нилашистские удостоверения, а завтра вечером и вы их получите.

Надев пальто из искусственной кожи и нахлобучив на голову охотничью шляпу, он зарядил револьвер и сунул его в карман.

— Документы у меня надежные, — пояснил он, — но если кто-нибудь попробует меня арестовать, то я и оружие могу в ход пустить. Ну, я пошел, а то путь у меня неблизкий.

Рожи пошла проводить незнакомца.

«Этот, видно, человек отчаянный, — подумал Бела, — живым в руки врагов не сдастся. А друзьям помогает... Теперь и нас ждет такая же судьба, другого пути нет. Завтра незнакомец принесет оружие, документы, и тогда и мы пойдем в огонь, откуда живыми не возвращаются. Спасет нас разве что чудо...»

Вскоре после ухода незнакомца в квартире появился ее хозяин. Лаци Мадарас в отличие от братьев, похожих на городских жителей, даже по внешнему виду смахивал на крестьянина — загорелое лицо, крупные сильные руки, в которых, казалось, он только что держал лопату.

— Здравствуйте, ребята, — по очереди обнял он Берти и Белу. — Моя квартира — ваша квартира, чувствуйте себя как дома. Рожика, я принес три банки консервов, поставь-ка их на стол.

— Все уже поужинали, — возразила жена, — а консервы еще пригодятся. — И она вынесла банки в кладовку.

— Все экономишь, — засмеялся Лаци. — Не бойся, завтра еще принесу: пока на складе есть продукты, мы голодать не будем.

Несколько позже они впятером уселись в комнате. Отто рассказал, что приходил связной от ребят из Зугло, обещал принести завтра оружие и документы для Берти и Белы. Ждать больше нечего, пора действовать.

Лаци согласно закивал и сказал:

— Ребята, у меня есть ручные гранаты, только забрать их можно будет через несколько дней. Я принесу вам военное обмундирование, вы переоденетесь, и тогда мы обделаем это дельце. Вот увидите!

От слов Лаци Бела почувствовал себя гораздо увереннее: такие, как он, слов на ветер не бросают, не то что Отто и Банди, которых, как пацанов, тянет к приключениям.

На следующий день Отто и Банди вышли в город на разведку. Вернулись они очень возбужденные, рассказали, что недалеко от Южного вокзала находится районный дом нилашистской партии, набитый вооруженными нилашистами. Справа от дома — пустырь, слева — обломки

разрушенного бомбежкой дома, так что можно с трех сторон обстрелять его, нанеся большой ущерб. Как только Берти и Бела получат оружие, а Лаци привезет гранаты, можно провести эту операцию.

До поздней ночи ребята прождали связного из Зугло, но он так и не пришел.

— Видно, что-то ему помешало, — недовольно проворчал Банди, ложась спать.

— Зачем сразу думать о самом худшем? — не согласился с ним Отто. — У них и без нас дел по горло.

— Не такой он человек, чтобы попусту трепаться,— стоял на своем Банди. — Может, его уже и в живых нет. А если его возьмут живым и заставят говорить, то нам не поздоровится.

— Ты совсем сдурел! — возмутился Отто. — Я уверен, что он еще придет, вот увидишь...

Однако связной не пришел ни завтра, ни послезавтра. Ребятам стало ясно, что он вообще не появится, а следовательно, никакой связи с организаторами восстания у них не будет. Бела же решил, что незнакомец или попал под бомбежку или погиб в перестрелке. Одно он знал твердо — незнакомец не выдал, иначе их давно бы арестовали.

И если всех исчезновение связного встревожило, Белу оно даже успокоило. Однако он понимал, что опасность еще не миновала, так как не сегодня завтра Лаци принесет обмундирование, ручные гранаты и тогда Отто и Банди ринутся в бой.

А пока они ждали, сами не зная чего, затевали жаркие споры, а порой даже переругивались друг с другом и лишь Бела старался сохранять нейтралитет и больше молчал.

— Мы вот тут бездельничаем, — начинал Отто, — а тысячи бежавших из хортистской армии солдат только того и ждут, что найдутся люди, которые объединят их и поведут в бой против фашистов и нилашистов. Не понимаю, почему партия не сделает этого? Нужно объявить войну за свободу. Разве не ясно, что население ненавидит гитлеровцев, презирает нилашистов, ненавидит эту войну...

— От пустых разговоров до дела — большая дистанция, — перебивал его Банди. — Болтать всегда легче, чем стоять перед строем карательного отряда. И ты, и я только и делаем, что болтаем. А партию не трогай! Вспомни, что случилось два года назад, сколько партий-

цев было уничтожено. Зря мы тогда примкнули к соцдемам, да и к профсоюзам тоже. А всех коммунистов арестовали и направили в штрафные роты...

— Ну, допустим, далеко не всех, — заметил Берти, — вы же остались. Я и сам порой думаю, что стоит выйти на улицу и развернуть знамена, как к нам примкнут массы людей. Объявить борьбу за свободу — это, конечно, здорово, но не следует забывать о том, что имеются и другие резервы. Ведь можно вооружить всех мужчин из гетто. Теперь уже ни для кого не секрет, что такое концлагеря и газовые камеры...

— Кто сейчас вспоминает о концлагерях, — махнул рукой Банди, — если людей убивают в их собственных домах? Кто-нибудь интересуется, что эсэсовцы делают с насильно увезенными на работы русскими? В то время, когда венгерский крестьянин спокойно копается на своем поле, а рабочий вкалывает на заводе, Гитлер обстреливает Лондон ракетами «Фау-2»...

Клари приходила к ребятам каждый день. Свободного времени у нее было много, так как хозяйка тяжело болела и магазин открывала только на час-другой. Правда, к старушке приехала с периферии младшая сестра, тоже больная старушка, и Клари приходилось садиться на трамвай и ехать к ним, чтобы постирать белье, сделать уборку и прочее. Потом она шла в магазин, поднимала жалюзи, чтобы не подумали, что магазин брошен хозяевами, и не разграбили его. А по дороге домой девушка обязательно заезжала к Беле, прихватив с собой то кусок сыра, то банку сардин, которые хозяйка давала для ее семьи.

Бела намеренно не посвящал девушку в свои планы, чтобы лишний раз не расстраивать.

На четвертые сутки их пребывания в квартире Лаци неожиданно вернулся с работы сам хозяин. Уходя из дома, он сказал, что придет только вечером, поэтому ребята с изумлением уставились на него.

— Что случилось?! — воскликнул кто-то из них.

Лаци смачно выругался и с раздражением бросил шапку на пол. Потом запустил в волосы руку — она заметно дрожала.

— Через час я вместе с полковником выезжаю в Вену. Кольцо вокруг Будапешта почти замкнулось, и старик пытается спасти свою шкуру. С большим трудом он отпустил меня на час, чтобы я заскочил домой и забрал Рожи.

От этого известия все словно онемели. Первым нарушил тревожную тишину Отто:

— Ни в коем случае не уезжай! Спрячься и ты!

— Куда? Старик сразу пошлет на розыски жандармов. Он неплохо относится ко мне, пока я ему служу, но если откажусь, то не задумываясь прикажет расстрелять. Квартира эта принадлежит мне, и прежде всего меня станут искать здесь. А тогда и вам всем конец.

— Нужно что-нибудь придумать, — проговорил Банди и, словно вспомнив что-то, добавил: — Мы с Отто выйдем из дома первыми, подождем вас в каких-нибудь развалинах. Полковника застрелим — в этом бедламе никто его искать не станет: подумают, что он уже в Вене и ты вместе с ним. Тогда все мы сможем спокойно находиться в твоей квартире, к тому же в нашем распоряжении будет военная автомашина.

— Застрелить старика, который был добр ко мне, как отец родной? — удивился Лаци. — При его поддержке я унтер-офицером стал, женился. Он помог мне и квартиру получить. Да я считал бы себя негодяем, если бы на такое решился. Нет, вы просто спятили, сами не понимаете, что несете!

— Уж такие мы есть! — захохотал Отто. — Стоит только кому-нибудь дать нам заплесневелый кусок хлеба, как мы начинаем смотреть на него как на благодетеля! — И, став серьезным, он продолжал: — Лаци, неужели ты не можешь сбежать? Ты же сам предложил нам эту квартиру, а мы все свои планы с ней увязали. Ты же обещал нам принести документы, достать гранаты. Если ты уедешь, нам тоже придется отсюда сматываться.

— Неужели ты не понимаешь, что мне некуда идти? — возразил ему Лаци. — Старик все равно найдет меня, так что выхода нет. — И, повернувшись к жене, закричал: — А ты чего уши развесила? Быстро собирай свои тряпки — ты едешь со мной!

Перед уходом Лаци предупредил:

— Здесь можно остаться до вечера. А утром, если придет дворник, а дверь ему откроет не Рожи, он сразу заподозрит что-то неладное. Ключ бросите через форточку в коридор. — Он по очереди обнял парней: — Не сердитесь на меня, иначе я поступить не могу. — На глазах у Лаци выступили слезы.

Стоявший перед домом «мерседес» подал сигнал. Лаци с женой ушли, и ребята остались одни.

4

Заснуть Бела не мог и потому с беспокойством прислушивался к звукам, доносившимся с улицы. Автоматные очереди раздавались совсем близко. Судя по ним, линия фронта находилась километрах в двух, не дальше. Но она проходила там и тогда, когда Бела прибыл из Парканя. Видимо, русским не удалось продвинуться вперед или они чего-то выжидали. Может, сосредоточивали войска, успешно продвигаясь на другом участке, в то время как здесь, в городе, их прихода с нетерпением и надеждой ожидали тысячи людей, которым грозила смерть.

Утром братья Мадарас позвали ребят в свою комнату. Бела сразу догадался, что они уже все обсудили и сейчас сообщат им о принятом решении.

Первым заговорил Отто, спокойно и рассудительно:

— Знаете, ребята, теперь сами решайте, что вам делать. Вместе нам оставаться нельзя. От участия в Сопротивлении вам придется отказаться, так как документы и оружие есть только у нас, но вдвоем и мы никуда не пойдем и ничего не сделаем. Мы хотели что-нибудь сделать, но не наша вина, что из этого ничего не вышло. Сегодня вечером мы покинем эту квартиру и разойдемся кто куда. Если останемся живы, встретимся после войны.

«Говорит он много, а все попусту», — подумал Бела, а вслух спросил:

— И куда же вы пойдете?

— К сестрам Рожи, — неохотно ответил Отто, — к нашим невестам. Попробуем перейти через линию фронта, благо документы у нас надежные. И пока останемся там, продуктов у нас на неделю.

Забрав продукты, братья попрощались и ушли.

Вечером, как обычно, пришла Клари. Выслушав Белу, она быстро приняла решение:

— Эту ночь проведешь у нас. Мама уйдет в ночную смену и вернется только утром. Днем побудешь в мастерской у отца — он тебя не выдаст. А мама, как приходит с работы, так сразу ложится спать, а проснувшись, идет в очередь за хлебом. К отцу в мастерскую она даже не заглядывает: не хочет его видеть.

— А Берти нельзя взять к вам? — спросил Бела, но друг энергично запротестовал, сказав, что сам о себе побеспокоится: поедет к двоюродному брату, который тоже скрывается от властей, вдвоем им будет веселее, даже если их сцапают.

— Ты, как я погляжу, не утерял чувства юмора, — заметил Бела.

— Не утерял, а мог бы и утерять, — ответил Берти,— так как мне кажется, что братья от нас попросту отделались.

— А мы, будь на их месте, разве поступили бы иначе? — спросил Бела, довольный тем, что все так обернулось.

— Может быть, но, наверное, они должны были сказать нам что-нибудь утешительное: мол, давайте держаться друг друга, что бы ни случилось. Например, найдем разрушенный дом и укроемся в его подвалах, наладим снабжение, а если встретим одиночку-нилашиста, прикончим его и завладеем его оружием... Ну, что-нибудь в этом роде... Или предложили бы вместе перейти через линию фронта..

— Нам только этого не хватало! — бросил Бела.

— Ну я сказал это так, для примера. Разве не понятно? Мы ведь все равно не пошли бы с ними: документов-то у нас нет. А так получилось, будто они нам сказали: «Ну, ребята, вы все равно околеете, а нам не до вас...»

— Оно и в самом деле так получилось, но что теперь об этом говорить, — повел плечами Бела.

Они стояли на улице, перед домом. С гор дул резкий осенний ветер. Пожав друг другу руки на прощание, они разошлись.

Бела взял Клари под руку, и они направились к остановке трамвая.

— Сейчас опять придется идти через весь город, только на сей раз из Буды в Пешт, а затем в пригород. Если и теперь все обойдется, то можно смело сказать, что мне здорово везет.

Клари сжала ему руку:

— Не бойся, все будет хорошо. Сегодня день какой-то спокойный, даже воздушных тревог не было.

На остановке «Улица Кен» в вагон трамвая вскочил какой-то мужчина и громко выкрикнул:

— На улице Хатар проверяют документы!

Кондуктор дал звонок, и вагон покатился. Мужчина соскочил с трамвая прямо на ходу, проехав совсем немного.

Бела и Клари сошли у оружейного завода и дальше пошли пешком через лес. Клари шла впереди, чтобы

убедиться в безопасности, а немного отстав от нее, шагал Бела.

Когда они проходили мимо домов, он хотел было пойти первым, но Клари задержала его, дернув за руку. Они прижались к стене дома и притаились, так как недалеко от них прошел парный патруль.

Когда топот солдат смолк вдалеке, Бела с облегчением вздохнул:

— Ну и везет же мне!

Когда они пришли к Клари, мать девушки уже ушла на работу, сестры ночевали у родственников, а отец еще не вернулся домой. Бела решил не упускать столь удобный случай и овладеть девушкой, но Клари оттолкнула его:

— Подожди, каждую минуту может вернуться отец! Наберись терпения!

Она провела его в мастерскую, принесла туда матрац и постелила постель:

— Ложись и спи, а я подожду отца в кухне.

Проснулся Бела ночью от того, что кто-то зажег спичку. В ее свете он увидел отца Клари, который закуривал сигарету.

Бела рывком сел и поздоровался:

— Здравствуйте, господин Рожаш. Не сердитесь, пожалуйста, что я тут расположился. Клари, наверное, уже рассказала вам, в каком положении я оказался.

Старик подошел к парню и, наклонившись, протянул руку. Рукопожатие у него получилось довольно слабым.

— Здравствуй, сынок. Чувствуй себя как дома. Кларика мне обо всем рассказала, не беспокойся... — Он уселся на топчане, распространяя вокруг себя запах палинки. — Ты не сердись, сынок, что я называю тебя на «ты». Но я считаю тебя уже членом нашей семьи, так что нечего манерничать. Хочешь закурить? У меня «Симфония» имеется — табачок что надо! Солдаты дали. Хороший народ эти солдаты!

Бела закурил, понимая, что спать больше не придется, — старику наверняка захочется поговорить.

— Я как увидел тебя, сразу понял, что ты войдешь в нашу семью, — снова заговорил старик. — Правда, дочка мне рассказывала, что у нее есть серьезный парень, но я сам нутром почувствовал, что так оно и есть. Когда женишься на моей дочке, будешь тоже называть меня на «ты». Правда, женишься?

— Обязательно женюсь, — пообещал Бела, — только

до того времени нужно дожить. Сейчас ведь это невозможно.

— Разумеется, после окончания войны, — закивал старик. — Для меня важно, что ты слово дал. Я люблю деловых и работящих. Сам я начинал с малого — работал простым переплетчиком, а теперь у меня своя мастерская. Я бы даже не поменялся с каким-нибудь чернильным червем, которого все называют господином советником. — В голосе старика сквозила гордость. Немного помолчав, он весело рассмеялся: — Не сердись, сынок...

«Черт бы его побрал! Неужели он так и будет болтать до самого утра?» — подумал Бела.

— У меня в заначке есть что выпить, — продолжал старик. — Знаешь, как хорошо, когда есть заначка? Давай немного выпьем! — Порывшись среди книжных полок, он протянул Беле плоскую бутылку: — Отпей пару глотков, сынок, и сразу почувствуешь себя увереннее. Это самый лучший поцелуй на свете, когда ты целуешь бутылку с палинкой.

Бела незаметно обтер горлышко бутылки, сделал большой глоток и почувствовал, что это очень крепкая сливовая палинка.

Старик пил не спеша, полоская палинкой горло.

— Я хочу передать мою Кларику в хорошие руки. В нашей семье она для меня самая дорогая. Я воспитал трех дочерей, и жена у меня есть, но только Клари относится ко мне с таким уважением, с каким подобает относиться к главе семьи. Конечно, я пью, но никто не знает, почему я пью... — Немного помолчав, он опять приложился к бутылке, забыв на сей раз предложить выпить Беле. — Я тебе сейчас кое-что расскажу, сынок, если уж ты войдешь в нашу семью. Сколько я ни работал, сколько ни зарабатывал, моей жене все было мало. Она тянулась к господам, мечтала о четырехкомнатной квартире в центре города, о вилле на озере Балатон, хотела посещать дорогие кафе на острове Маргит и лакомиться там кофе со взбитыми сливками — это при моих-то возможностях! Сколько раз я объяснял ей, что каждый человек должен оставаться на своем месте, но она этого не понимает. Я даже давал ей читать роман Бальзака «Утраченные иллюзии», чтобы она поняла, куда можно попасть с ее аппетитами. Подняться выше предназначенного тебе места можно лишь бесчестным путем. Но ее это нисколько не интересует. А книгу она просто забросила в угол. Потом начала вмешиваться в личную жизнь

дочерей, чтобы хоть они пробились наверх и стали счастливыми. И добилась: постепенно они превратились в проституток. Это я о двух старших говорю. Но мою дорогую Кларику ей испортить не удастся. Вот, собственно, почему я и хочу доверить ее тебе, чтобы ты берег ее и уважал...

Старик замолк. Бела тоже молчал. Где-то недалеко раздавались автоматные очереди, лаяли пушки, а время от времени даже рвались снаряды большого калибра.

— Пока я с вами, все будет в порядке... — продолжал, совсем опьянев, старик. — Меня сам начальник полиции уважает. Тебе бы, сынок, лучше снова переодеться в военное. Я бы тебя лично представил господину обер-лейтенанту, а он бы выдал тебе мундир. Знаешь, как хорошо было бы вам обоим: сидели бы себе в дежурке, а?

Бела молчал и думал о том, что старик, видно, совсем спятил.

— Послушайте теперь меня, господин Рожаш, — заговорил наконец он. — Вам лучше забыть, что я существую. Если я пойду в солдаты, то с кем же останется ваша дочь, вы, случайно, не знаете? Я ведь сбежал из армии не без помощи вашей дочери. Если меня схватят, то и Клари достанется, так что вам лучше помалкивать.

— Ты прав, безусловно, прав, — быстро согласился старик. — Я как-то забыл об этом. Ты ничего не бойся, я умею держать язык за зубами.

Наступила долгая пауза. Бела подошел к топчану, на котором лицом кверху лежал старик. Он крепко спал, как спят обычно мертвецки пьяные.

Утром все быстро уладилось: Клари сняла у знакомой старушки комнату в получасе ходьбы от дома. Тетушка Магди (так звали старушку) была крестной матерью Юли и любила сестер Рожаш, поэтому она, собственно, и согласилась сдать маленькую комнату Клари. Бела мог по ночам выходить во двор, не беспокоя хозяйку. В случае же облавы тетушка Магди могла показать разрешение, выданное Юли на проживание, объяснив, что сейчас квартирантка ушла на работу, а дверь заперла. Правда, надежда на то, что такое объяснение удовлетворит патрульных, была очень слабой. Если бы они взломали дверь и обнаружили Белу, то немедля вывели бы его во двор и там же расстреляли. Однако другого выбора у него не было и потому хотелось верить, что все обойдется. Клари же будет по вечерам навещать Белу и приносить еду, какую удастся взять дома или купить на «черном рынке»,

предварительно продав что-нибудь из своих украшений. В конце концов, отцу она может и прямо сказать, что носит продукты Беле. Ничего удивительного в этом нет: в городе полно дезертиров, во многих семьях кого-нибудь укрывают. А вот с матерью придется выдержать настоящий бой: она и слышать не желает о Беле, ибо мечтает о лучшей партии для своей дочери. О том, где скрывается Бела, знала только Юли, но на нее можно было положиться.

Белу заперли снаружи и ушли. Оставшись в одиночестве, он осмотрелся. В комнате был разостлан соломенный матрац, но имелась подушка и пуховое одеяло. «Хорошо, хоть по ночам мерзнуть не придется», — подумал Бела. В углу стоял старый шкаф, а рядом — табуретка с жестяным тазом, невзрачный столик, покрытый кружевной скатертью, на котором стояли кувшин с водой и стакан, и стул. В другом углу стояла холодная печка. В окно было вставлено всего лишь одно стекло, а ведь недалеко до холодов.

«Как бы плохо тут ни было, это все же намного лучше, чем сидеть в окопе или лежать на мерзлой земле, когда вокруг рвутся снаряды. Здесь же у меня имеется крыша над головой, регулярная еда, а самое главное — можно надеяться, что я в безопасности...»

Бела осторожно выглянул в окошко и увидел, как по улице шла толстая неопрятная женщина с ведром помоев для поросенка. Разве не странно, через несколько улиц отсюда проходит линия фронта, где каждую минуту, а то и секунду люди убивают друг друга, а здесь все идет своим чередом: носят помои свиньям, подметают веранду, поглядывая на свинцово-серое небо, откуда вот-вот пойдет снег, стоят в очереди за хлебом, пилят дрова для печки, ходят к соседям посплетничать, будто эта война не имеет к ним абсолютно никакого отношения?

Клари пришла только после восьми и сразу начала оправдываться, что раньше не могла вырваться. Она принесла лапшу в глиняном горшке, хлеб, немного жира, крохотный кусочек сала, чай для заварки и сахар. Пообещала, что попозже принесет чего-нибудь еще.

Бела в тот день не ел с самого утра, поэтому набросился на еду с жадностью. После ужина они, не зажигая света, легли в постель и долго целовались, а затем произошло то, что должно было произойти.

— Я очень счастлива, что смогла доставить тебе радость, — просто сказала девушка.

Потом они встречались каждый вечер и несколько часов проводили вместе, как будто уже были мужем и женой.

Время тянулось мучительно медленно. Клари принесла Беле несколько книг, сигареты и даже немного дров в рюкзаке, чтобы по вечерам он мог топить печь. Делать это днем было нельзя, так как дым выдал бы его. И Клари навещала Белу только по вечерам, когда ее никто не видел, и уходила до одиннадцати, пока не наступил комендантский час.

Внезапно боевые действия на этом участке фронта активизировались, хотя сама линия фронта оставалась на прежнем месте. Правда, над городом каждый день пролетали краснозвездные штурмовики-бомбардировщики, которые пикировали на пехоту и танки, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов и забрасывая небольшими бомбами. Сирены ПВО оповещали жителей об очередном налете, а затем на какое-то время наступала томительная тишина. Немецких истребителей уже не было видно в воздухе, и советские бомбардировщики спокойно летали над городом.

В один из рождественских вечеров Клари сообщила Беле, что советские войска замкнули кольцо окружения вокруг столицы, и успокаивающе добавила:

— Уже недолго осталось, дорогой, потерпи еще немного.

За последние дни девушка очень похудела, и Бела сказал ей:

— Ты побледнела и похудела... Может, ты недоедаешь?

— Пустяки, не обращай внимания! — отмахнулась Клари, умолчав о том, что свой ужин она теперь отдавала ему. А так как он на отсутствие аппетита не жаловался, то ей пришлось делиться с ним и завтраком и обедом.

Настроение у Белы было плохое, он явно нервничал: сказывалось, что он в течение нескольких недель был вынужден сидеть в крохотной комнатушке, лишь по ночам выходя во двор. Здесь он наблюдал за вспышками орудий, дышал колючим морозным воздухом, набирал полные ладони снега и растирал им лицо, шею и руки, но все это длилось недолго, потому что он боялся быть замеченным.

Иногда он думал о своих товарищах, прикидывая, удалось ли им пробраться к партизанам, а если удалось, то где они сейчас.

Однажды он задумался о том, что за жизнь будет после войны. Ну, разумеется, он женится на Клари и тем самым сдержит слово, ведь она была не только красавица, но и девушка, что для женитьбы немаловажно. Однако не стоит опережать события: уж если они нашли друг друга, то могут и подождать, пока он откроет свою мастерскую. А для этого придется денег подкопить, да и подучиться не мешает, потому что, когда женишься, не до того будет: пойдут дети, забот прибавится и однажды выяснится, что менять что-либо уже поздно.

Но все это были лишь мечты: и о повышении мастерства, и о собственной мастерской. Отец Клари говорил, что, как только сюда придут русские, они сразу наложат запрет на мелких ремесленников. Ну да ничего, если будет очень плохо, можно и уехать. Венгерских рабочих ценят за границей, особенно во Франции, не говоря об Америке, где прижилось довольно много венгров. Как-нибудь он проживет, сейчас самое важное — это уцелеть.

А если заглянуть вперед, в 1945 год? Что-то он принесет? Жизнь или смерть?

Нервы у Белы настолько расшатались, что он с трудом держал себя в руках. Временами его так и подмывало выломать дверь, выскочить на улицу и бежать неизвестно куда. Будь что будет, лишь бы не сидеть в четырех стенах.

Он ждал и ждал, а время тянулось так медленно. Вот и сегодня часы показывали начало девятого, а Клари все не шла. Белу мучил голод: еды, которую приносила Клари, ему явно не хватало. Но что она могла поделать, если город голодал, а на карточки почти ничего не выдавали.

Наконец появилась Клари. Оказалось, что у нее заболела мать и ей пришлось ждать, пока вернется Юли. Бела поел и немного успокоился. Клари была нежна к нему, гладила его по лицу, целовала, старалась как-то развеселить, но ей это не удалось.

Потом она собрала грязную посуду и попросила дать ей грязные рубашки и носки, которые обещала постирать, а завтра принести чистыми.

Надев пальто, Клари взяла в руки корзинку с бельем и посмотрела на часы:

— Боже мой, уже комендантский час наступил.

— Ты можешь переночевать здесь, а утром пойдешь домой, — предложил Бела.

— Об этом не может быть речи! — запротестовала девушка.

Бела не стал настаивать. Он погасил лампу и проводил Клари до калитки. Ночь была тихой и спокойной, на небе красовалась полная луна, в свете которой от предметов ложились на снег длинные тени. Выйдя на улицу, девушка остановилась, осмотрелась и прислушалась.

— Мне показалось, я слышала чьи-то голоса, — сказала она, но, немного выждав, сама себе возразила: — Нет, видно, почудилось. И все-таки лучше возвращайся: не дай бог, тебя заметят.

Они поцеловались, и девушка быстрым шагом пошла вперед, а Бела запер калитку и направился в дом.

В этот момент патрули повернули обратно и увидели, что кто-то идет.

— Стой! Стой! — крикнул старший патруля. — Стой, стрелять буду!

Клари так и обмерла: «Если меня сейчас схватят, то обнаружат рубашки и носки Белы...» Ее охватил страх, и она бросилась бежать.

Старший патруля не торопясь вскинул свой автомат и, прицелившись, выпустил длинную очередь.

ГЕЗА МОЛЬНАР



В КОНЦЕ ВОЙНЫ И ПОСЛЕ...

Повесть

Сейчас многие говорят, что военная тема им надоела и они не читают повестей и романов о войне. Я же не люблю саму войну и не думаю, чтобы кто-то здравомыслящий мог любить ее. Однако независимо от этого война не раз вторгалась в жизнь нашего поколения. Она и сейчас продолжается в нескольких «горячих» точках планеты. Поэтому может случиться, что будущие поколения назовут и наше время военным.

Вероятно, спустя десятилетия они будут думать о нас примерно то же, что мы думаем о страшных временах ацтеков. Но до того по земле может прокатиться не один военный ураган. Все это мы очень хорошо знаем и потому решительно выступаем за мир, против войны, но, когда родине угрожает опасность, мы надеваем каску, берем в руки винтовку и идем воевать. Идем, ясно сознавая, что наш долг отстоять ее независимость, сокрушив империалистического агрессора.

I

Земля уже погрузилась в темноту, а здесь, на высоте девяти тысяч метров, ярко светило солнце, заливая своим светом безоблачное небо. И только справа, над горами Матра, висели легкие молочно-розовые облака. Темнота, окутавшая землю, скрыла от взгляда пилота и уже начавшие желтеть пшеничные поля, и зеленые скатерти лесов, и город, и обсаженные деревьями дороги. Земля-матушка, дающая нам жизнь! Для нас, летчиков, земля и небо неразделимы. Земля и небо дают нам то, что мы называем жизнью.

Мы летим на МиГ-21 в боевом строю. Мы — это Петер Моравец, Роберт Шагоди и я, неразлучные друзья. Если когда-либо мы и бывали недовольны друг другом,

то, поднявшись в воздух, сразу же забывали обо всем. Летим мы клином: впереди — Моравец, справа — я, а слева — Шагоди. Летим на минимально допустимом удалении друг от друга. Достаточно малейшего неточного движения ручки управления — и можно врезаться в машину друга. Но об этом ни один из нас не думает. Мысли об опасности или катастрофе приходят лишь тогда, когда мы уже на земле, а в воздухе все внимание пилота сосредоточено на полете.

Кабина истребителя заполнена множеством приборов, тумблеров, кнопок. Перед глазами танцуют стрелки, а в ушах раздаются то сигналы радиомаяка, то короткие реплики Моравеца и Шагоди, с которыми я держу связь по радио.

Оглушительно ревет газовая турбина, и отделаться от этого рева можно только тогда, когда перешагнешь звуковой барьер. В полете все внимание летчика сосредоточено на приборах, и это золотое правило нельзя нарушать, так как глаза, уши и даже звезды могут подвести.

И все же пилот инстинктивно, автоматически, каким-то шестым чувством ощущает тягу двигателя. Если же двигатель отказал, остается стрелой лететь к земле или же постараться сманеврировать и во что бы то ни стало вновь запустить двигатель. Когда же это не удается, остается один-единственный выход — катапультироваться, если, конечно, позволяет высота...

О страхе мы не думаем, но где-то в подсознании у нас все же живет это чувство, которое подсказывает, что в принципе двигатель может отказать и тогда начнется борьба не на жизнь, а на смерть между машиной и человеком.

Пилот мгновенно чувствует остановку двигателя, и в эфир летят слова: «Я — Двадцать седьмой... Я — Двадцать седьмой... Отказал двигатель...» Услышав такое, радисты на КДП плотнее припадают к своим аппаратам, а пилоты, находящиеся в воздухе, настраиваются на волну терпящего бедствие самолета...

Трудно сказать почему, но летчики, как правило, не любят покидать свой самолет и катапультироваться. Не хотят они этого, видимо, вовсе не потому, что «миг» очень дорогая машина, стоящая несколько миллионов форинтов. Девять пилотов из десяти, попав в такую ситуацию, пытаются посадить машину на бетонную полосу аэродрома. Но из этих девяти только одному это удается, а иногда даже и одному не удается.

Когда пилоты в ожидании полетов сидят на аэродроме, играют в шахматы, шашки или слушают джазовую музыку из Монте-Карло, разговор у них нередко заходит о гидравлике, в случае отказа которой шасси не выпустишь, и тогда нужно сажать машину на брюхо или снова набирать высоту и катапультироваться. Но посадить газотурбинный «миг» на фюзеляж — дело очень сложное: машина может загореться и взорваться. И все же девять пилотов из десяти рискуют. Потому агент государственного страхования и не заключает с летчиками договоров на страхование жизни.

Когда какого-нибудь пилота снимают с самолета, для него это равносильно самой тяжелой операции. Для летчика возможность летать дороже всего.

...Вот уже и нас поглотила темнота. Мы летели на базу на дозвуковой скорости, летели спокойно, ведомые радиомаяком. Через тридцать секунд Моравец посадит свою машину на землю, за ним — я, а за мной — Шагоди.

Катастрофа обычно происходит тогда, когда ее никто не ждет. Я смотрел вниз, на землю. Справа виднелись огни города, а рядом с ним — подсвеченная взлетно-посадочная полоса аэродрома. Первым должен был сесть Моравец, а мне и Шагоди предстояло сделать еще по одному кругу.

Вот Моравец выпустил шасси, а мы, оставляя за собой след, обошли стороной своего ведущего. И вдруг машину Моравеца начало бросать из стороны в сторону. Я стал сближаться с ним, но в тот же миг услышал в своем мегафоне его голос:

— Назад! Не приближайся ко мне!..

Я отчетливо слышал голос Моравеца, однако в сторону не отвернул. Мы еще не вышли из полосы света, и краем крыла я почти касался машины друга. Я видел, как Петя как-то неестественно согнулся, как он выплевывал что-то изо рта.

— Петя! Петя! Что с тобой? Ты меня слышишь, Петя? Отвечай! Петя, отвечай!..

Моравец повернул голову в мою сторону и что-то сказал, однако до меня дошли только обрывки фразы:

— ...Так-то, дружище... Взошла луна, но она ущербная...

Между тем оранжевый диск луны стал серебряным, еще миг — и мы нырнули в темноту.

— Включай сигнальные огни!

Машина Шагоди летела где-то над нами. Я уже не видел Петиного лица. Видел только его силуэт. Я еще больше сблизился с машиной Пети, но сказать ему ничего не успел, потому что услышал в мегафоне строгий голос подполковника Черге:

— Пятнадцатый, вы меня слышите? Пятнадцатый, отвечайте, что случилось?

Наступила длинная пауза, после которой пилот с трудом выдавил из себя:

— Не знаю что... Кровь идет горлом...

— Кровь?

— Кровь горлом...

— Пятнадцатый, приказываю набрать высоту и катапультироваться!

И снова тишина, а затем:

— Я над городом, не могу...

— Пятнадцатый, вы слышите меня? Отвечайте! Приказываю набрать высоту и катапультироваться!

И снова мертвая тишина. Может быть, я больше никогда не услышу Петиного голоса.

— Пятнадцатый, наденьте кислородную маску и наберите высоту! Тридцать третий, немедленно садитесь! Посадку разрешаю!

— Я — Тридцать третий, вас понял, выполняю!

— Девятый, Девятый! Сделайте круг и садитесь! Как поняли? Прием!

— Я — Девятый, вас понял, выполняю!

Машина Шагоди мелькнула светлячком в аэродромных прожекторах. Я выпустил шасси и зашел на посадку. Еще несколько мгновений — и моя машина катилась по бетонной полосе. Я погасил скорость и, съехав с бетонки, остановил машину. Выскочил на траву. Меня тотчас окружили наши техники.

— Первым должен был сесть Моравец! Почему изменили порядок посадки? — донесся до меня голос старшего лейтенанта Барци.

Я бросил сигарету и сел на лесенку. Спичек у меня, разумеется, не было. Зажигалки тоже — не положено. Я был не в силах произнести ни слова: горло сдавил спазм, глаза приковала к себе посадочная полоса, а сердце будто сжала чья-то когтистая лапа.

И вдруг мимо меня пронесся «ястребок».

— Куда?! Куда тебя несет, идиот?! — заорал я как оглашенный, но меня, разумеется, никто не услышал. — Там нет бетонки, врежешься в забор!..

В мгновение ока истребитель скатился с бетонки на взлетное поле и, зарывшись носом в землю, развалился на части, словно игрушечный. А в следующий миг его уж объяло пламя.

С оглушительным воем к горящему самолету промчались пожарные машины и «скорая помощь». Я сорвался с места и побежал, не чуя под собой ног. Кто-то схватил меня за плечо. Я вырвался и помчался дальше, послав на ходу ко всем чертям того, кто пытался меня задержать.

— Назад! Товарищи, все назад! Сейчас начнут рваться боеприпасы! Назад!..

Вскоре пожарникам удалось погасить пламя. Я стоял возле обгоревших обломков самолета и рыдал, как ребенок. Слезы ручейками текли по моим грязным от копоти щекам. Меня держал Черге.

2

Старший лейтенант Пулаи вышел из палатки и заспанными глазами посмотрел в сторону аэродрома, окинув взглядом заснеженное летное поле. Потом стал смотреть на голые ветки деревьев, покрывшиеся за ночь инеем.

— Брр... Холодно, черт возьми. — Пулаи вздрогнул и застегнул куртку. Невольно вспомнил, что вчера вечером земля была окутана туманом, а сегодня ярко светило солнце и небо было чистое как стеклышко.

Поежившись от холода, офицер пошел к палатке. В голове носились обрывки событий вчерашнего дня. Перед входом в палатку Пулаи остановился и внимательно посмотрел на изуродованное воронками от бомб поле. В стороне торчал обгоревший остов «фрайзлера».

В полдень прилетел почтовый самолет. Никаких надежд получить письмо у Пулаи не было, но на фронте человек всегда надеется, что произойдет чудо и он получит из дому хотя бы открытку. Все окружили самолет. Капитан Хорански сломал печать на кожаном портфеле с почтой. В этот момент послышался гул самолетов противника. Они шли со стороны солнца. Все врассыпную побежали в близлежащий лесок, но было уже поздно: кругом рвались бомбы, трещали пулеметные очереди. Возле Пулаи тоже свистели пули. Он бросился в кусты, прижался к земле и начал царапать ногтями землю.

Позже, когда все стихло, он услышал крики товарищей и вылез из своего убежища. На опушке леса остано-

вился. На поле горел почтовый «фрайзлер». От него к небу поднимался столб черного дыма. Языки пламени жадно лизали машину.

Пулаи вспомнил, как ему не раз приходилось на своем стареньком УИ-52 перелетать через зону заградительного огня, когда пули прошивали обшивку самолета, но такого панического страха, как теперь, он никогда не испытывал. Прошел через всю войну, а теперь вот нервишки сдали.

Пулаи смотрел на горящий «фрайзлер» и думал, что Биркаш наверняка погиб в своей машине. Когда пилот подавал мешок с почтой, Пулаи видел, что он был привязан ремнями к сиденью.

Долгое время Пулаи презирал летчиков почтовых самолетов вместе с их старыми тихоходными машинами. Но позже стал завидовать им: на такой «керосинке» можно было летать низко над землей, чуть не задевая крыльями верхушки деревьев, чувствуя себя в безопасности. Такую машину, если забарахлит мотор, свободно можно посадить на любую дорогу.

Старший лейтенант с трудом сделал несколько шагов: ноги, казалось, налились свинцом. Совсем рядом жалобно стонало раненное пулями дерево.

«Надо бы уйти отсюда, пока не поздно», — промелькнула в голове у Пулаи мысль. И тут он почувствовал что-то неладное, пощупал штаны — они были мокрые.

— А я и не заметил, — проворчал Пулаи. — Я вообще ничего не заметил...

Он осмотрел себя. Вид у него был такой, будто он только что вылез из лужи.

Рядом с ним оказался унтер-офицер Кедеш.

— Здорово продырявило беднягу Биркаша. Если бы он не был привязан ремнями к сиденью, его еще больше продырявило бы. Каким же дураком бывает человек в некоторые моменты! Вот, например, я — сначала залез под самолет, а потом, сам не знаю как, оказался под деревьями.

Взгляд Чабы Кедеша остановился на брюках Пулаи.

— Я шлепнулся в какую-то лужу, — промямлил офицер.

В глазах Чабы появились озорные огоньки.

— Я тоже влез в какое-то дерьмо, господин старший лейтенант. И что интересно — запачкал одни только штаны.

Ругаясь на чем свет стоит, унтер-офицер пошел в

глубь леса к ручью, чтобы снять там запачканные штаны, а старший лейтенант направился в палатку, чтобы переодеться.

«Что-то принесет сегодняшний день? Гитлеровские самолеты давно базируются на аэродроме в Винер-Нойштадте, а мы все загораем в Папе. Дождемся, пока нас всех перебьют...» — думал Пулаи.

От палатки весь аэродром был виден как на ладони. Вчера Хорански говорил, что сегодня сюда пришлют целую рабочую роту, которая засыплет все воронки, и тогда снова можно будет летать. Хорански долго спорил с Варьяшем относительно того, какие самолеты их атаковали, божился, что это были «харрикейны», а Варьяш уверял, что русские штурмовики, хотя ни тот, ни другой ничего не видели, потому что самолеты заходили со стороны солнца. Все это было не столь важно. Важно было другое — в воздухе не появилось ни одного истребителя, о чем все трусливо помалкивали.

Пулаи прошелся по летному полю и увидел между воронками узкую длинную полоску ровного поля, с которого при желании можно было поднять в воздух машину. Уж если повезет, как везло до сих пор, то он долетит до самого Дебрецена... Самолет оставит на аэродроме, а сам подастся домой, к жене.

Пулаи сильно тосковал по дому. Ему казалось, что он уже осязает мягкие подушки, накрахмаленные белоснежные простыни, пуховое одеяло, вдыхает аромат кофе и хороших сигарет, любуется каждым движением жены...

А дочка Катя! Она залезет к нему на колени и обнимет за шею нежными ручонками. Уже больше двух месяцев он не получал от них никаких вестей.

Пулаи обо всем договорился с Кедешем. Если им разрешат лететь без прикрытия истребителей, он сегодня же попытается подняться в воздух. Машина у Пулаи, слава богу, в полной исправности.

Небо между тем стали заволакивать темные тучи. Может, хоть это помешает противнику совершить еще один налет на аэродром.

Перед обедом командир вызвал к себе всех офицеров. Выяснилось, что майор Варьяш тоже углядел спасительный коридор и уже отдал приказ заправить «юнкерс».

— Нам приказано доставить в Шопрон важного государственного деятеля. Хочу предупредить вас, господин старший лейтенант, что за пассажира вы отвечаете голо-

вой. — И майор показал на карте расположение аэродрома возле Шопрона, куда необходимо доставить важного гостя.

«Чтоб ты сдох!» — чертыхнулся про себя Пулаи, вытянувшись перед майором. Эта свинья, как называл он майора, даже в боевой обстановке считала для себя унизительным обращаться к подчиненным на «ты». Под Харьковом майор сбил два самолета, за что получил Железный крест. После этого он еще больше задрал нос.

— Все будет в порядке, господин майор, — осклабился в улыбке Пулаи.

Тот дружески похлопал старшего лейтенанта по плечу.

Русские в свою очередь сбили Варьяша под Воронежем. С горем пополам он посадил машину на брюхо, но при этом сильно пострадал — получил перелом позвоночника. Несколько месяцев он пролежал в гипсе, затем его демобилизовали, но вскоре снова призвали. Однако летать он уже не мог.

— Я знаю, на вас можно положиться, — проговорил Варьяш. — Я считаю вас одним из лучших... На сборы даю двадцать минут.

— Слушаюсь! — ответил Пулаи и отдал честь. Выйдя из палатки командира, он отозвал в сторонку Кедеша и сообщил ему: — Ну, дружище, летим в Дебрецен. Повезем какую-то важную птицу. Положи автомат под сиденье и осмотри как следует самолет.

— Вопрос теперь в том, кто будет радистом. — Кедеш задумался: — Неужели нам опять навяжут этого Лилингера? Ну и скотина же он...

— Ничего, автоматом и его можно утихомирить.

— Со стрелком хлопот не будет, — добавил Кедеш.

— Послушай-ка, унтер. Приказываю держать язык за зубами. Вот когда прилетим в Дебрецен, тогда можешь открыть рот... — И старший лейтенант выразительно улыбнулся, разрешив Кедешу идти.

Вскоре техники выкатили из-под деревьев «Юнкерс-52» и установили его на чудом уцелевшей полоске аэродромного поля. Экипаж выстроился у левого крыла. Через несколько минут на дороге, ведущей из леса, показался черный «мерседес», за ним — шестиколесный «ботонд», набитый нилашистами.

Едва «мерседес» остановился, из него проворно выскочил генерал в очках и, обогнав шофера, сам распахнул заднюю дверцу. Из машины вылез мужчина в черной

форме, стянутой портупеей. Нилашисты, ехавшие во второй машине, уже вышли из нее и окружили «мерседес».

— Брат, руководитель нации, майор Фридеш Варьяш покорнейше докладывает вам... — услышал Пулаи петушиный голос майора.

«Неужели сам Салаши?! — удивился он. — И с ним какой-то генерал... Может, сам Берегфи... Если они что-нибудь заметят, не быть нам в Дебрецене... Правда, у нас есть автомат...»

Подозвав к себе Кедеша, Пулаи шепнул ему:

— Как только наберем высоту, возьмешь их на мушку.

— Я вас не понимаю, господин старший лейтенант...— пробормотал тот.

Говорить дальше было нельзя, так как приехавшие приближались к самолету. Лицо Пулаи, побывавшего до этого во многих переделках, стало непроницаемым.

Сделав шаг вперед, старший лейтенант приложил руку к головному убору и громко доложил:

— Брат, руководитель нации, старший лейтенант Карой Пулаи покорнейше докладывает, что самолет к полету подготовлен. Жду ваших распоряжений!

Салаши остановился и окинул пронизывающим взглядом каждого члена экипажа. Ни один мускул не дрогнул на лице нилашистского главаря, но он вдруг резко обернулся к генералу и бросил:

— Мы поедем на машинах.

Сев в машину, нилашисты укатили, а Варьяш все топтался на месте и бормотал:

— Не понимаю, ничего не понимаю... Передумать в последний момент... Что произошло?

— Испугался самолета, господин майор, или вражеских истребителей. Каждый шаг государственного деятеля связан с большим риском... — пытался утешить майора Пулаи, который сам не знал, что и думать.

Что мог заметить Салаши по их лицам? Почему не сел в самолет? Неожиданно появился и так же неожиданно исчез. Не подумал бы этот дурак, Варьяш, что Салаши, как все одержимые, инстинктивно почувствовал опасность. Разумеется, майора больше всего беспокоило, как бы Салаши не посчитал ненадежными его или же его эскадрилью, которая существовала, собственно говоря, только на бумаге...

Днем из-за туч вдруг вынырнул советский самолет-разведчик, а когда зенитные батареи, стоявшие у Папы,

открыли по нему огонь, самолет скрылся за тучами. Все ломали голову над тем, что бы это могло значить. Уж не ждать ли нового налета советской авиации?

— Небось замышляют какую-нибудь пакость... Готов биться об заклад, что нам снова достанется... — ехидно заметил Кедеш.

Поговорив с майором, нилашисты вскоре уехали.

Майор Варьяш вызвал к себе Пулаи и сказал:

— Ночью полетите на Чепель. Частям в осажденном Будапеште необходимо оружие и боеприпасы.

— Я не понимаю вас, господин майор... — уставился на него Пулаи.

— Чего вы не понимаете?

— Всем хорошо известно, что Будапешт окружен русскими.

— Я, кажется, ясно сказал: есть возможность совершить посадку на Чепеле.

— Стоит ли рисковать?

Варьяш, разумеется, знал, что такая попытка равносильна самоубийству. Сами гитлеровцы на подобное не отваживались и сбрасывали боеприпасы и оружие на парашютах. К тому же ходили упорные слухи, что южная часть острова Чепель уже захвачена русскими, а аэродром они держат под артобстрелом. Если до Чепеля вообще удастся долететь: ведь у русских сильная противовоздушная оборона, много прожекторов, зенитных батарей. А на этой старой колымаге, да еще с грузом, сманеврировать невозможно. Оставалось сидеть в кабине и, обливаясь холодным потом, ждать, когда тебя собьют...

— Боеприпасы и оружие, сброшенные на парашютах, не всегда попадают в руки тех, кому предназначаются,— задумчиво проговорил майор. — Местные жители да партизаны... Положение в Будапеште очень серьезное...

В душе у Пулаи поднялась волна злости: рисковать собственными самолетами гитлеровцы не хотят, да и зачем им это делать, когда на свете есть кретины вроде Варьяша. Стоит только свистнуть, как он уже бежит выполнять их приказ... И тогда Пулаи решил, что настал подходящий момент, когда они могут лететь в Дебрецен.

— Это задание я не могу поручить никому другому,— продолжал объяснять Варьяш. — Выполнив его, немедленно полетите в Шопрон. Ваша машина передается люфтваффе. А мы здесь за ночь демонтируем аэродром. Мне трудно с вами расставаться, но ничего не поделаешь: приказ есть приказ.

«Ах ты, негодяй, бросаешь меня на верную гибель»,— выругался в душе Пулаи.

— Я представил вас к Железному кресту. Надеюсь, вы успеете получить столь высокую награду еще здесь, в Венгрии, — торжественно заявил майор.

«Мне только и не хватало твоих люфтваффе да Железного креста», — подумал Пулаи, а вслух сказал:

— Покорнейше благодарю вас, господин майор! Когда вылетать?

— Как только подвезут оружие и боеприпасы. С наступлением темноты вылетите отсюда, а с Чепеля — до рассвета.

— Слушаюсь, господин майор!

Варьяш достал бутылку коньяка, налил рюмки.

— Сколько лет вы служили у меня, господин старший лейтенант?

— Три года, господин майор, уже три года.

— Ну, тогда сервус!

— Сервус, господин майор!

— Это из каких же ты Пулаи? Знал я одну Пулаи, уж не родственник ли ты ей, случайно?

— Нет.

— Ага, понятно.

Когда Пулаи вышел из палатки командира, его снова охватил приступ злобы. Негодяй! На «ты» перешел! Нужно было, глядя ему в морду, высказать все, упомянув обо всех его подлостях. Все равно больше никто не взлетел бы на этом летающем гробу.

Если бы можно было намекнуть, что он не собирается лететь в Будапешт! Встретиться им вряд ли придется, разве что после войны...

И в ту же минуту Пулаи успокоил себя тем, что ни злость, ни месть сейчас ни к чему. Главное — он сможет перелететь в Дебрецен.

Начало смеркаться. Прибыли немецкие автомашины с грузом. Кедеш отправился руководить погрузкой, а Пулаи залез в спальный мешок немного подремать.

Йошка Шухайда, денщик Пулаи, разбудил его в три часа ночи, поставил перед ним чашку горячего кофе из цикория, принес пимы и парашют. С отвращением глотая черную жидкость, старший лейтенант искоса следил за движениями денщика:

— Ну говори, что тебе?

Шухайда замер по стойке «смирно»:

— Господин старший лейтенант, прошу вас, возьмите меня с собой!

— Куда? Ты что, не знаешь, что мы летим на Чепель? Собьют в два счета.

К Пулаи совсем недавно приставили этого парня, он его толком не знал и потому не собирался рисковать. Но Шухайда стоял, переминаясь с ноги на ногу, и боязливо улыбался:

— Неважно, господин старший лейтенант, только возьмите меня с собой.

— Вместе со штабом улетишь в Вену.

— Штабные уже улетели. Все улетели. На аэродроме никого, кроме нас, нет.

Пулаи вышел из палатки, посмотрел в темноту и увидел, как три темные фигуры выкатывают «юнкерс» на взлетную полосу. Кроме этих троих, никого не было.

— Возьмите, господин старший лейтенант, — подошел к Пулаи денщик.

— До Дебрецена посадок не будет.

Шухайда стоял рядом и скулил, как собачонка:

— А как со мной, господин старший лейтенант? Дома ждут меня...

— Лезь быстро в машину, сопляк!

— А палатку не заберем с собой?

— Заткни глотку!

Все пристегнули парашюты. В кабину пилота влезли Пулаи и Кедеш. Пристегнулись ремнями. Лопоухий Лилингер занял свое место у рации и, надев наушники, начал что-то выстукивать ключом. Шухайды нигде не было видно.

Пулаи запустил моторы. Самолет задрожал мелкой дрожью, заглушая все остальные звуки.

И только тогда Пулаи вспомнил, что не спросил, сел ли за свой пулемет стрелок. Вот он удивится, когда они сядут в Дебрецене...

Командир включил прожекторы. Они выхватили из ночи полоску земли, зажатую с двух сторон воронками от бомб. Полоска казалась невероятно узкой.

И все же они взлетели и взяли курс на восток. В кабине слабо светились приборы. Стрелка высотомера показывала шестьсот метров: значит, гор уже можно не опасаться.

Через двадцать минут полета Лилингер доложил:

— Чепель отозвался. Аэродром может нас принять, полоса будет освещена.

— Передай, что мы зайдем с северной стороны, — ответил Пулаи радисту.

Ночь оказалась светлой, и было хорошо видно, как перелетали Дунай. Нужно было поворачивать на север, а самолет все летел и летел на восток. Слева внизу виднелись артиллерийские вспышки: бой за Будапешт продолжался.

— Возьми-ка автомат в руки, — сказал командир Кедешу, сидевшему в кресле второго пилота.

Но было поздно: Лилингер уже стоял у них за спиной:

— Кедеш, не шевелись, стрелять буду!

Чаба замер на месте. Пулаи оглянулся и увидел нацеленный на него автомат Лилингера.

— Берите курс на Чепель, господин старший лейтенант! Мы уже пересекли оба рукава Дуная, а вы все держите на восток!

— Учти, вместе со мной сдохнешь, — огрызнулся Пулаи и наклонился над штурвалом.

— Ошибаетесь. Если не повернете обратно, я выстрелю в вас, а самолет поведет Кедеш.

— Шиш тебе в рыло! — выкрикнул тот, побелев от злости, но все еще не решаясь пошевелиться и достать автомат.

Несколько секунд все трое молчали. Был слышен лишь рев моторов. Командир направления полета не изменил.

— Ну?! — заорал Лилингер. — Тогда сдохнем все вместе!..

Эти секунды казались бесконечными. Пулаи ждал автоматной очереди, но ее почему-то не было. Вдруг он услышал какой-то шум и оглянулся.

Лилингер, уронив голову на грудь, сползал на пол, а над ним возвышался Шухайда с карабином, которым он только что ударил радиста по затылку.

— Поделом тебе, паршивый шваб! — бросил Шухайда и вырвал автомат из рук радиста.

— Вот мы и заново родились! — И Кедеш истерически захохотал.

Пулаи, оторвав одну руку от штурвала, притянул к себе денщика и сжал ему плечо.

— С этой тварью что делать? — спросил Шухайда.

— Оттащи в радиорубку и не спускай с него глаз!

Дверь за денщиком захлопнулась. Теперь командир мог полностью сосредоточиться на полете. Ни Пулаи, ни

Кедеш не произнесли ни слова, но оба прекрасно понимали, что им чертовски повезет, если они доберутся до Дебрецена. Русские в любой момент могут направить на их неуклюжего бегемота ночных истребителей, и тогда им конец. А если не это, то на дебреценском аэродроме... Пулаи вырос в тех краях, в Дебрецене стал летать, сначала на планерах, потом на самолетах, так что прекрасно знал там каждый бугор, каждую ложбинку и мог посадить машину вслепую. Вот только найдется ли свободная полоса? Не откроют ли русские по ним огня при заходе на посадку?..

Внизу промелькнули огоньки Сольнока. Было хорошо видно змейку Тисы, по которой обычно ориентировались. Через несколько минут позади остались Кишуйсаллаш, Карцаг, Пюшпёкладань.

Пулаи стал заходить на посадку, когда снова услышал за спиной голос Лилингера, только на сей раз он не требовал, не угрожал, а просил:

— Не выдавайте меня, господин старший лейтенант... Я ведь тоже венгр...

— Тварь ты подлая, а не венгр! — бросил Пулаи.

— У меня семья, детишки, господин старший лейтенант... Умоляю вас, не выдавайте...

— Пошел прочь, крыса, а то как садану...

Светила полная луна. Они летели уже над крышами домов.

Сели благополучно.

Когда советские солдаты подъехали к самолету на машинах, весь экипаж выстроился под крылом. Здесь же стоял и Лилингер, которого командир великодушно простил в последний момент.

Временное национальное правительство, находившееся в Дебрецене, наградило всех членов экипажа за переход на его сторону орденом Свободы.

3

Обнявшись с Шагоди и поддерживая друг друга, мы зашагали к зданию. Я с трудом приходил в себя. Я, Петя и Роби были друзьями. Такой неразлучной тройки в наших военно-воздушных силах больше не было.

Теперь Пети не стало, а его фотография попала на доску отважных. Мы остались вдвоем.

Мне впервые приходилось вот так неожиданно терять

близкого человека, и потому я не знал, что же теперь делать. Слезы снова и снова набегали на глаза. Я всхлипывал. А ведь до этого я даже не представлял, что мужчины могут плакать.

Бледный Роберт Шагоди шел рядом со мной и разговаривал сам с собой:

— Что же могло случиться с Петером? Такой здоровенный малый, у него и насморка-то никогда не было, и вдруг... Как же это так? — И, обратившись ко мне, добавил: — Ну, Пиштике... может, завтра вот так и я... Постарайся успокоиться, все равно уже ничего не изменишь... Когда мы шли в пилоты, знали, что... Кто-то всегда... Нужно только извлечь уроки из этого, если их можно извлечь...

Хорошо, что рядом со мной был Роби, который поддерживал меня за плечи. Мы с Петей всегда в трудную минуту искали у него поддержки и находили. Он умел подбодрить, дать толковый совет, одолжить денег. У него всегда находились нужные слова. Иногда они казались несколько грубоватыми, но зато были довольно убедительны.

— Ну ты, распустил нюни! Возьми себя в руки и будь мужчиной! Из армии все равно не уйдешь! Летать все равно не перестанешь! Вон зеленые юнцы что делают! Так неужели ты раскиснешь? Да в таком положении, наоборот, надо крепиться...

И он начинал объяснять, как нужно сажать машину в такой ситуации, подкрепляя свои слова жестами.

У Шагоди была особая склонность к летному делу, к математике, к аэродинамике, к русскому языку, как ни у кого из нас. Мы все прекрасно понимали, что он по своим знаниям на голову выше нас. Он был среди нас первым, но в то же время оставался таким простым и непосредственным, что не вызывал ни зависти, ни злобы. Обычно он был откровенным и несколько прямолинейным, но, стоило кому-нибудь из ребят попасть в беду, он сломя голову бросался на помощь.

Мы с Петером редко говорили о Шагоди, но он всегда был нашим вожаком и сам тяготел к нам.

Я был женат, Роби тоже, один только Петя сначала был холостяком, однако это нисколько не мешало нашей дружбе. В нашу тройку мы больше никого не допускали: нам и так было хорошо.

Когда мы шли к раздевалке, у меня вдруг мелькнула мысль: а что мы скажем Кате? И я почти физически

ощутил ту боль и те страдания, которые охватят женщину, как только ей скажут о смерти мужа. Мне даже стало как-то не по себе. Я просто-напросто испугался за нее. И тут же подумал о своей жене: «Как бы перенесла такое известие Марта? А мне самому как жить завтра?..»

После душа я немного пришел в себя. Смыв копоть и грязь, переоделся в чистое белье и уже хотел было идти домой, как зазвонил телефон. Звонил Черге: просил зайти к нему.

Когда я вошел, он сидел за своим письменным столом. Казалось, подполковник постарел на несколько лет. Показав мне на стул, он усталым движением руки разгладил складку на лице:

— Прошу тебя, помоги мне, пожалуйста. Ведь вы с майором Моравецем дружили... Ты наверняка не раз бывал у него дома, хорошо знаешь его жену. Я с ней знаком, но видел ее мельком. Будет лучше, если ты... А уж завтра и я навещу ее.

— Хорошо, товарищ подполковник, я попытаюсь.

Когда я плелся домой, в голову невольно пришла мысль: «В каждой смерти есть что-то странное, что пугает, отталкивает. Если в доме мертвец, собака начинает выть по хозяину, лошадь и та шарахается от трупа».

Сначала я решил поговорить с Мартой. Будет лучше, если к жене друга я пойду не один.

Подойдя к дому, позвонил. Дверь открыла Марта. Она бросилась на шею и так стиснула меня, что я чуть не задохнулся в ее объятиях. Я поцеловал ее, погладил по волосам:

— Знаешь?

Она понимающе кивнула и, вытирая слезы, пошла на кухню. Бросив фуражку и китель, я опустился в кресло.

В комнате был включен радиоприемник. И вдруг я услышал:

— Я — Двадцать пятый... Я — Двадцать пятый... Поднимитесь на высоту пятнадцать тысяч метров. Как поняли меня? Прием...

Я подошел к приемнику (это был старенький «Орион»), который работал на УКВ. Вот откуда моя жена все знает. Но как ей стала известна длина волны, на которой мы вели переговоры? Ведь она засекречена.

Марта вернулась из кухни, неся на подносике кусок холодной курицы и бокал апельсинового сока со льдом.

— Ты давно слушаешь такие передачи? — кивнул я в сторону радиоприемника.

— Давно. Точно не помню.

— А как ты узнаешь нужную длину волны?

— Это известно каждой женщине, у которой муж летчик. Но сначала я напала на нее совершенно случайно. А что, разве это плохо?

— Очень плохо: ведь об этом могут узнать и другие. Это, дорогая, не игрушка.

Марта села и устремила на меня взгляд, полный нежности, и в то же время в ее глазах застыла печаль: ей было искренне жаль Петю.

— Как ты думаешь, я смогла бы сидеть и ждать тебя, не зная, что с тобой? А тут включишь радио — и ты как будто рядом... Ведь ты, когда уходил из дому, обманул меня, сказал, что вы готовитесь к инспекторской проверке и сегодня в воздух подниматься не будете... А я сразу почувствовала, что ты просто хочешь успокоить меня.

— И тебе было легче?

— Да, легче. Я как будто была рядом с тобой.

Спорить с Мартой не имело смысла. Я-то думал, что по ночам, когда я выполняю ночные полеты, жена преспокойно спит, а она, оказывается, сидит у радио и слушает мои переговоры. Спать ложится только тогда, когда я уже на земле.

Голова у меня словно налилась свинцом. Все в ней перемешалось: сказывались последствия катастрофы.

Жены летчиков — это такие жены, которые отличаются от всех других...

Я твердо решил на следующий же день рассказать подполковнику Черге, как наши жены подслушивают по УКВ радиопереговоры, которые мы ведем в полете.

— А Катя... она тоже все знает? — спросил я жену.

— У Моравеца радиоприемник без УКВ. Когда у Пети бывали ночные полеты, она приходила ко мне.

«Странно, как наши жены боятся ночных полетов»,— подумал я, а вслух спросил:

— Сегодня она была у тебя?

— Сегодня — нет.

— Значит, она еще ничего не знает?

— Может, и не знает.

— Пойдешь со мной? Нужно как-то сообщить ей об этом.

— Пойду.

Такая уж у меня Марта: она не станет закатывать истерик, не потеряет головы, не станет рыдать, причи-

тая, что же с ней будет, если вдруг однажды такое случится со мной... Она хорошо знала, за кого выходила замуж, понимала, что такое быть женой летчика.

Мы шли по улице мимо серых, облезлых домов, которые состарились раньше времени. Вот и штукатурка кое-где облетела, потому что строили эти корпуса в начале пятидесятых годов, строили побыстрее, ведь именно в те годы страна вновь создавала военную авиацию и летчиков нужно было где-то расселить. Жили мы тогда в маленьких, неудобных комнатках. Весь район был похож на одну сплошную казарму.

— Я бы охотно отказался от такого визита, — сказал я и тяжело вздохнул.

Марта молча сжала мою руку и вытерла глаза. За всю дорогу мы не сказали больше ни единого слова.

Мы долго звонили — нам никто не открывал. В соседней квартире жил капитан Божоки, от жены которого мы узнали, что Катя утром куда-то уехала. Соседка встретила ее на остановке автобуса, в руках у нее был чемодан — возможно, она поехала проведать свою мать.

На следующее утро я снова зашел к Кате, но дома ее опять не оказалось. Не вернулась она ни вечером, ни на следующее утро. Никто не знал, куда она делась.

Подполковник Черге послал официальное письмо родителям Пети, а матери Кати дал телеграмму, в которой просил Катю немедленно прибыть на базу. Но Катя не откликнулась.

А мы, как раньше, ходили на дежурства. Только полеты, пока велось расследование причин катастрофы, были запрещены. Уж так бывает, что беда в одиночку не ходит: за первой катастрофой могла последовать вторая. Летчики были какие-то нервные, взбудораженные. «Доносчик», как называли мы регистрирующий прибор, находившийся в хвостовой части самолета, остался целехоньким и показывал, что пилот мог катапультироваться, а машина работала безукоризненно. Я своими глазами видел, как у Пети изо рта текла кровь. А подполковник Черге своими ушами слышал, как Петя отказался выполнить его приказ и катапультироваться. Петя не хотел, чтобы машина упала на город.

Нам сообщили, что летчик-истребитель первого класса майор Петер Моравец во время полета почувствовал себя плохо (у него, видимо, произошло кровоизлияние), в результате чего ударился о бетонную полосу, а само-

лет загорелся. От майора ничего не осталось. Часов или пуговиц и тех не нашли. Майор Петер Моравец канул в небытие. Специальная комиссия самым тщательным образом обследовала обломки сгоревшего самолета, а затем их собрали и увезли на грузовике. Однако исследование причин катастрофы все еще продолжалось.

Члены комиссии опросили всех, кто мог сообщить что-либо о Моравеце: порой опросы дают больше, чем показатели приборов.

Но мы, летчики, никак не могли привыкнуть к мысли, что Пети уже нет и никогда не будет с нами.

Казалось, он войдет сейчас и скажет:

— А знаете ли вы, что лучше рюмки коньяку?

Всем было хорошо известно, что он ответит, но мы молчали, а Шагоди недовольно бурчал:

— Ну уж говори, а то тебе не терпится.

Петя совал в рот сигарету и начинал искать в кармане спички. Не вынимая сигареты изо рта, бормотал:

— Вот что я вам скажу, друзья... Две рюмки коньяку намного лучше, чем одна. Так что вперед в корчму, где каждый выпьет по рюмке коньяку. Плачу я. — И он неподвижно смотрел перед собой, наслаждаясь нашим замешательством, а потом тихо продолжал: — Дело в том, друзья, что в мою холостяцкую квартиру вошла женщина. Представляете, моя медвежья берлога — и женщина...

Даже нам с Шагоди он не сказал, кто была его избранница. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что это Катя Пулаи.

Когда мы вышли из загса, я сказал Шагоди:

— Видишь, старик, наш друг не такой уж лопух. Смотри-ка, завладел Катей, правда окольным путем, но завладел.

Шагоди долго молчал, а потом произнес:

— Пусть они будут счастливы.

Я остановился и с удивлением спросил:

— А в чем, собственно говоря, дело?

— Видишь ли, если подходить к этому серьезно, то... Да ты и сам знаешь, что они не созданы друг для друга... Это небо и земля. Вообще-то, я этого не знаю. Катю я давно не видел... Считай, этак лет пятнадцать... Сейчас ей, поди, года тридцать три...

— Это хорошо, уже не девочка, — заметил я. — Хотя она и раньше была отнюдь не глупой и очень милой.

Шагоди почему-то мои слова вывели из себя, и он со злостью сказал:

— Послушай, мы что, будем корчить друг перед другом джентльменов или будем здраво смотреть на вещи? Катя действительно очень умная и эмоциональная женщина. Петя же — рубаха-парень. Я очень рад, что у меня два настоящих друга: ты и он. Плохого я ему не желаю, но, если бы он интересовался моим мнением, я бы постарался отговорить его от этого брака.

— От такого нельзя отговаривать, — отрезал я.

— Еще как можно! — заорал Шагоди. — Человек не имеет права сидеть сложа руки и смотреть, как его друг падает в пропасть! Да что я тебе объясняю, ты и сам хорошо знаешь, как он упрям...

— Так или иначе, но теперь уже ничего не изменишь.

Дальше мы шли молча, думая каждый о своем. Когда подошли к дому, в котором жил Шагоди, я спросил:

— А откуда ты так хорошо знаешь Катю? Откуда тебе известно, какой она стала?

У меня возникло подозрение, что между Шагоди и Катей что-то было. Знаком я с Роби был не первый год, но он никогда ничего не рассказывал о своих похождениях.

— Когда я ездил в Будапешт, — не задумываясь ответил Шагоди, — то всегда оставлял машину во дворе у Пулаи. Он здорово разбирался в них... Ты ведь знаешь, как Пулаи любил копаться в моторах... Между мною и Катей ничего не могло быть, так как в ту пору я ухаживал за Хеди. А Катя была влюблена в того самого парашютиста, который позднее разбился. Одним словом, жена Пулаи рассказывала мне о Кате абсолютно все, а иногда я и сам ее видел. Мы даже несколько раз сидели в кафе за чашечкой кофе — просто как друзья, болтали обо всем, что в голову придет... Правда, в последние годы я потерял ее из виду.

— С тех пор как Пулаи...

— Точно, точно, я нашел другое место для стоянки машины...

Вскоре после женитьбы Пети мы находились на дежурстве и сидели в комнате дежурных летчиков затянутые в скафандры и готовые в любой момент получить приказ, вскочить в джип и мчаться к своим «мигам», чтобы через несколько секунд свечой взмыть в осеннее дождливое небо. Сидели и, как всегда, сража-

лись в шахматы. Я еще тогда подумал, что, возможно, мы так и просидим до конца дежурства без дела, а потом пойдем домой и завалимся спать. И вот когда я об этом подумал, Шагоди, воспользовавшись моей растерянностью, ладьей взял у меня королеву. Я ударил по его ладье своей и снял ее. Меня взяло зло, что я так глупо начал проигрывать партию. Я утешал себя тем, что у меня преимущество в пешках и что я еще могу взять реванш.

Петя сидел рядом и, куря сигарету, следил за игрой.

Шагоди возьми да и спроси его:

— Ну, что ты нахмурился? Что стряслось?

— Жена не любит мою собаку. А мне кажется, что собака ее прямо-таки обожает.

Выиграв у меня партию, Шагоди отодвинул от себя шахматную доску и, сощурив глаза, пристально посмотрел на Петера:

— Из этого положения очень легко найти выход, дружище. Нужно отделаться от собаки, и чем быстрее, тем лучше.

Но Петя не хотел сдаваться:

— Неужели так трудно привыкнуть к песику? Если она не любит собак, то могла бы ради меня...

Это была довольно печальная история. Самсона — так звали собаку — Петя взял к себе, когда тот был крохотным щенком.

— Видишь ли, твоя Катя не хочет делить тебя ни с кем, даже с Самсоном. Это вполне нормальное явление. Собаки — благородные животные, но не все их любят. Есть же люди, которые терпеть не могут устриц.

— Глупости! — запротестовал Петя. — Как можно собаку сравнивать с какими-то устрицами?

— Дорогой, я лично люблю и устриц и собак. Но есть люди, которые, кажется, умрут, если их заставить проглотить устрицу...

— Но собаку ведь не нужно глотать, — не успокаивался Петя.

— Но ее тоже нужно принимать, а есть люди, которые их, собак этих, терпеть не могут. Тебе нужно расстаться с твоим псом.

— А куда я его дену? Отдать чужому человеку не могу.

Шагоди задумчиво провел по верхней губе ногтем большого пальца:

— Мы с тобой друзья. Так вот, я заберу твоего пса, да еще заплачу тебе за него.

Моравец был растроган:

— Роби, дорогой, ты даже не представляешь, какое доброе дело сделаешь... Я заплачу тебе...

Но Шагоди решительно запротестовал:

— Мы оба любим собак — и ты, и я. Я, разумеется, возьму собаку при условии, что заплачу тебе за нее.

В этот момент раздался сигнал боевой тревоги и Шагоди сорвал печать с синего конверта. В нем были указания, как следует действовать по сигналу боевой тревоги.

Джип стоял у порога. Все вскочили в него, так и не договорившись о Самсоне.

Кончилось это дело тем, что Петя даром отдал собаку Шагоди. Однако Самсон никак не привыкал к новому месту. Стоило кому-нибудь приоткрыть входную дверь, как пес выскакивал во двор и бежал сломя голову к Моравецу.

В конце концов Шагоди продал Самсона, а вместо него купил лайку, которая никого, кроме хозяина, не признавала. Жену Шагоди лайка с горем пополам терпела, а чужих и близко к себе не подпускала.

Время от времени кто-нибудь из нас обязательно вспоминал Петю: «А помнишь, когда...» Между тем комиссия продолжала расследовать причины катастрофы. Члены ее не давали покоя нашим врачам. Все интересовались, не болел ли Петя чем-нибудь, не замечал ли кто-нибудь за ним странностей.

Врачи показывали им медицинскую книжку Пети, в которую были занесены результаты всех медосмотров. В конце стояло заключение: «Здоров, к полетам допущен». Но разве можно было все предусмотреть на осмотрах? Теоретически можно, а практически нет. В полете у летчика может лопнуть какой-нибудь сосуд, и тогда произойдет то, что произошло с Петей.

4

В одном из укромных отсеков «юнкерса» Кедеш откармливал трех маленьких поросят. Пулаи знал об этом, но закрывал глаза. Этих поросят Кедеш выменял у одного цыгана за три пачки сигарет и две пачки табаку. Поросята на удивление быстро привыкли к гулу мото-

ров и трескотне пулеметов и росли не по дням, а по часам. Кедеш мечтал о том времени, когда кончится война и он сфотографируется на память вместе со своими поросятами. Кормил животных и ухаживал за ними Шухайда, у которого это получалось совсем неплохо.

Благополучно приземлившись на аэродроме в Дебрецене, экипаж торжественно отпраздновал свой переход на сторону Временного национального правительства, которое решало множество очень важных вопросов. Поэтому о старом «юнкерсе» временно забыли.

Две недели Пулаи слонялся без дела, а в середине февраля его обуяла такая тоска по дому, что он решил поехать в Будапешт.

Три поросенка были вызволены из необычного хлева и поделены. Один достался Шухайде, который, не долго думая, положил его в мешок и отправился в Хайдубагош навестить своих родных. По дороге Шухайда был задержан советским патрулем и доставлен для разбирательства в комендатуру, где добровольно подарил поросенка русскому повару. Тот умело зажарил его на обед. Не забыли и Шухайду. Ему подали здоровенный кусок жареного мяса, а установив личность, разрешили идти дальше.

В доме Шухайды по случаю его возвращения собралось полсела. Земляки, разинув рты, слушали «правдивый» его рассказ о том, как мужественно вел он себя на борту бомбардировщика и как торжественно их встречали на дебреценском аэродроме — была выстроена даже парадная рота.

Пулаи и Кедеш совершили замечательную сделку. Они предусмотрительно подарили своих поросят старшине-грузину, а когда рассказали этому замечательному парню о своих планах, тот проявил подлинное великодушие и отдал им старенький, искореженный гранатой «паккард», стоявший без дела во дворе, где он располагался со своими бравыми ребятами.

Пулаи и Кедеш трое суток возились с этой развалиной, но все же довели «паккард» до такого состояния, когда на нем можно было доехать до Будапешта, к тому времени полностью освобожденного советскими войсками. Друзья заранее запаслись русскими и венгерскими справками, которые им любезно выдали в советской комендатуре, и двинулись в путь.

Кедеш сошел в Кишпеште, а Пулаи проехал по всему Будапешту, минуя одну разрушенную улицу за дру-

гой, и добрался до площади Кальвина. В голове была одна-единственная мысль: «Жива ли жена и дочь? Не разбомбило ли их дом? Не сбежала ли, чего доброго, на Запад жена, поддавшись панике?»

Дом, в котором они жили, лежал в развалинах. Правда, каким-то чудом уцелела стена гостиной, и на ней висела картина в позолоченной раме, на которой был изображен осенний пейзаж с багряным закатом. Это была любимая картина Пулаи, а сейчас, в столь странной обстановке, она напомнила ему о времени, которое давным-давно миновало и которое уже невозможно вернуть...

Пулаи остолбенел. За долгие годы войны ему немало пришлось увидеть и пережить, но весь ее ужас он наиболее остро почувствовал именно в этот момент.

Из полуразрушенных ворот медленно вышла старушка в солдатских ботинках. Увидев Пулаи, она со слезами бросилась ему на шею:

— Карчи, дорогой мой!..

Это была Эдит, жена Пулаи. Оказалось, она с дочкой пряталась в убежище.

Пулаи не оставалось ничего другого, как начать жизнь сначала. От трехкомнатной квартиры, обставленной дорогой мебелью и устланной пушистыми коврами, не уцелело ничего. Но, к счастью, не только это составляло богатство семьи Пулаи, отец которого был известным торговцем кожей. В свое время он начал с малого, но постепенно разбогател настолько, что отдал сына учиться на инженера в политехнический институт, а сам не без оснований стал подумывать о небольшом кожевенном заводе с современным оборудованием. Сын унаследовал от своего родителя вкус к торговле и был не прочь пойти по его стопам. Война, как сначала казалось, нисколько не перечеркнула этих планов, а лишь отодвинула их осуществление на более позднее время.

Но на деле все обернулось иначе. Мастерская сгорела во время бомбардировки, склад с кожами разграбили. Отец не вынес этого и умер от разрыва сердца.

Служа в авиации, Карой Пулаи привык к опасностям и риску. Пристроив на время жену и дочку у Кедеша, он по договоренности с унтер-офицером стал спекулировать продуктами, благо «паккард» оказался на редкость выносливым и безотказно бегал даже по изуродованным войной дорогам. Они торговали салом, мукой, маслом, закупая их в селах и втридорога сбывая в

Будапеште. Правда, занятие это было небезопасным. А вскоре они пошли на большой риск, перевозя контрабандой пенициллин в Югославию, — границы были тогда еще открыты.

И вот во время очередной поездки в Сербию Пулаи вдруг вспомнил о стареньком «юнкерсе», который они посадили в Дебрецене, и решил обратиться к местным властям с предложением организовать доставку продуктов питания на этой развалине из Румынии.

Когда закончился период инфляции, у Пулаи снова была трехкомнатная квартира, но только не на площади Кальвина, а в лучшем районе, на набережной Дуная, с окнами, выходящими на разрушенный королевский дворец и Цепной мост.

Кедеш работал на железной дороге, а Пулаи как толкового инженера пригласили на комбинат «Маваг». Работать Пулаи умел и любил, так что приглашения сыпались со всех сторон.

Однажды летом — было это в воскресенье — к нему зашел Кедеш:

— Карой, дружище, возобновились полеты на спортивных самолетах... Не заняться ли и нам этим делом?

— Э-э, коллега, я уже целых два месяца являюсь инструктором, правда на общественных началах, на Будаёршском аэродроме...

На следующий день Пулаи устроил инструктором летного дела и своего друга Кедеша. Сделать это было не очень трудно, так как перед награжденным орденом Свободы в те времена все двери были открыты.

Работая в летном лагере, Кедеш был строг, но справедлив к курсантам и требовал от них неукоснительного выполнения всех установленных правил. Правда, порой он был грубоват, но курсанты не сердились на него, так как видели, что старается он для их же блага. Однако нашлись среди них и такие, кто считал методы Кедеша фашистскими и обращался с жалобами на него к старшему инструктору Пулаи, который, разумеется, обещал во всем разобраться.

— Ты, горячая голова, неужели не понимаешь, что в наше время уже нельзя действовать по старинке, — отчитывал он Кедеша несмотря на то, что относился к нему по-прежнему хорошо.

— Я, Карой, считаю, если мы будем любезничать с курсантами, обращаться с ними как с кисейными барышнями, то не сделаем из них хороших пилотов.

— Эти ребята летают на машинах, крылья которых держатся, можно сказать, на соплях, не забывай об этом. Мы, брат, живем в эпоху, когда каждый полет требует геройства. Через каких-нибудь десять лет все будут говорить об авиации наших дней, как мы говорим о полете Блерио через Ла-Манш. Сейчас ни одна отрасль техники не развивается так быстро, как авиация. Представь себе, англичане и американцы уже бороздят небо на безвинтовых, газотурбинных самолетах. Не нужно много ума, чтобы предвидеть, что теперь Венгрия встанет на новый путь — путь строительства социализма. Я на твоем месте давным-давно бы вступил в компартию и стал бы большим человеком.

— А почему не вступаешь ты, друг Карой? — осторожно спросил Кедеш, который был на два года старше Пулаи.

— Потому, коллега, что в моей голове мозг, а не куча старого ржавого железа, как в твоей. А еще потому, что я был господином, а не пролетарием. К тому же у меня есть диплом о высшем образовании, опять-таки — буржуазный диплом, и передо мной и без того будут заискивать, а ты отстанешь и пропадешь.

Кедеш долго молчал. Потом сказал:

— Я хотел бы попасть на курсы машинистов.

Пулаи смерил насмешливым взглядом своего начавшего уже лысеть друга:

— Я вижу, ты точишь зуб на машиниста электровоза. Что ж, хорошо, можешь подавать заявление, я помогу.

Кедеш не был карьеристом и потому осторожно шел к своей цели. Ему повезло: Густав Шагоди, сын которого увлекался планерным делом и потому хорошо знал Кедеша, оказался главным инспектором в управлении железных дорог и замолвил за Кедеша словечко. Пулаи тоже сдержал обещание, оказав другу помощь в физике, алгебре и электромеханике, и тот в конце концов благополучно сдал все экзамены и был зачислен в локомотивную бригаду. Однако и дальнейшее продвижение Кедеша по службе во многом зависело от старшего инспектора Шагоди. А когда два года спустя после сдачи экзаменов на аттестат зрелости сын Кедеша был зачислен на летные курсы по подготовке пилотов, счастливее Кедеша-отца, казалось, не было человека. А Роби Кедеш сразу завоевал симпатии своих товарищей.

...Группа курсантов, набранная летом тысяча девятьсот пятидесятого года, состояла из молодых парней, каждому из которых было не более двадцати лет, а все они только что окончили гимназию и получили аттестаты зрелости.

Ребята просыпались с рассветом. Выходя из палаток, подставляли лица свежему ветру, внимательно разглядывали небо, и, если оно было чистым и безоблачным, радости их не было предела.

Все они еще не видели настоящей жизни. Жили иллюзиями, мечтали о приключениях, героических подвигах и, разумеется, о любви. Все казалось им интересным и увлекательным. Они переживали, болели за результаты полетов, но настоящего страха, который сковывает душу и сжимает сердце, еще не познали. Любой из них садился в самолет, пристегивался к сиденью и, взявшись за штурвал, не отрывая взгляда от горизонта, взмывал в небо. Они, разумеется, знали, что иногда с самолетами что-то случалось, они падали на землю и разбивались. Как правило, разбивались и летчики. Однако ни один из них не думал, что подобное может случиться именно с ним. Высота, скорость полета, покорность самолета малейшему движению руки — все это наполняло их сердца радостью.

Сейчас вся группа сидела на траве и отдыхала.

— У нас есть еще двадцать минут, — сказал ребятам Кедеш, — и старший инструктор совершит для нас показательный полет. Первым полетит Моравец, за ним — Шагоди. Два круга над аэродромом, затем пролет над товарной железнодорожной станцией, машиностроительным заводом. Высота — триста метров, скорость — двести километров в час. Особое внимание обратить на взлет и посадку.

Моравец понимал, что последняя фраза относится в первую очередь к нему, а вернее, только к нему одному.

— Понятно, товарищ инструктор. Альфой и омегой каждого полета являются взлет и посадка, — ответил Шагоди.

Ребята с трудом сдерживали смех, так как знали, что сейчас инструктор воспользуется случаем и прочтет им нотацию. И не ошиблись.

— Альфой и омегой каждого полета является точное выполнение всех указаний командира. Большинство катастроф происходит при взлете и посадке. В воздухе и обезьяна может управлять машиной...

В этот момент техники выкатили из ангара новенький чешский учебный самолет. Старший инструктор Пулаи проворно залез в кабину, закрыл фонарь над головой и запустил двигатель. Через несколько секунд самолетик, подпрыгивая, побежал по полю, а затем оторвался от земли и стал набирать высоту.

— Вот это взлет! — восторженно закричал Кедеш. — Однако не вздумайте повторять — ничего не получится, только разобьетесь. На такое способен лишь инструктор!

Через несколько мгновений самолет свечой взмыл в высоту. Элегантно выполнив несколько фигур высшего пилотажа, он опять оказался над аэродромом.

— Старик тренируется перед соревнованиями, которые состоятся в Балатонфёльдваре двадцать девятого сентября, в День Народной армии, — пояснил курсантам Кедеш, когда самолет снова удалился от аэродрома.

Двадцать минут находился Пулаи в воздухе, показав за это время курсантам целый каскад головокружительных фигур высшего пилотажа.

— Фантастично! — воскликнул Моравец.

— Этот Старик умеет все, но только зачем так захлебываться от восторга? — несколько охладил друга Шагоди. — Любой летчик-истребитель выполнит все эти фигуры.

— Да, восторгаюсь! Ну и что? Сам Чаба сказал, что другого такого пилота по всей Венгрии не найдешь...

— За свои восторги тебе, Петя, когда-нибудь расплачиваться придется. За свою слепую доверчивость, я имею в виду.

Когда Пулаи сел, курсанты подбежали к самолету, окружили инструктора, шумно выражая свой восторг.

— Со временем все это будете выполнять и вы, — сказал Пулаи, снимая с себя парашют. — Для этого нужно пробыть в небе несколько тысяч часов, ну и немного удачи.

— Несколько тысяч часов, — почти по слогам повторял Моравец, когда друзья шли по полю к своим машинам.

— А сколько за годы войны налетал наш Старик? — спросил Пишта Денеш.

— Он тоже не сразу с этого начинал... — ответил Шагоди и добавил: — Послушай, Петя, попробуй убедить себя, что и ты способен на такое. Твоя слабость в

том и заключается, что ты заранее убедил себя в собственной беспомощности.

— Да отстань ты от меня наконец! Привязался! — бросил сквозь зубы Моравец. — Найди себе другое занятие...

— Небо ждет вас, друзья. По машинам! — раздалась команда Кедеша.

Моравец залез в кабину.

— Легче, нежнее, не прибавляй сразу много газа... — поучал Кедеш.

— Не беспокойся, все будет в порядке... — Моравец кисло улыбнулся и, словно школьник, стал повторять про себя, что и как должен делать.

Самолет побежал по полю и, оторвавшись от земли, взлетел. Кедеш, приложив к глазам ладони козырьком, наблюдал за полетом своего ученика.

Когда аэродром остался позади, Петя забыл обо всем на свете, целиком отдавшись радости полета. Он проверил показания всех приборов и повернул к товарной железнодорожной станции, затем сделал плавный разворот и, пролетев над заводом, возвратился к аэродрому.

Петя посмотрел вниз и, увидев узенькую полоску аэродрома, сам не зная почему, удивился, как можно посадить такую махину на эту полоску. И хотя он знал, что по мере снижения эта полоска превратится в нормальную взлетно-посадочную полосу, сердце так и замирало.

«Что это я распустился! — ругал он себя. — Все будет хорошо. — Но в голове назойливо стучала фраза: «Большинство катастроф происходит при взлете и посадке». На лбу выступил пот. Движения стали какими-то судорожными.

Он повел самолет на посадку. Навстречу, увеличиваясь в размерах, неслись тополя и аэродромные ангары. Вот под фюзеляжем самолета показалась бетонная полоса. Тут уж нужно ориентироваться не на приборы, а на собственную интуицию. Еще мгновение, и машину сильно тряхнуло — это колеса шасси коснулись земли и побежали по ней. Петя с облегчением вздохнул и стал притормаживать.

К самолету подбежал Пишта Денеш и помог Пете снять плексигласовый купол кабины.

Подойдя к инструктору и приложив руку к козырьку шлема, Петя доложил:

— Полетное задание выполнено!

— Выполнено, но как! — воскликнул инструктор. —

Если посадить на твое место обезьяну, она и то сделает лучше, чем ты... Эх, никогда из тебя толкового пилота не получится...

Следующим летел Шагоди. Он не спеша залез в машину. Кедеш, встав на крыло, проверял приборы.

— Все в порядке? — спросил он у Роби. — Радио работает?

— Все в порядке!

Шагоди поднял руку, и машина побежала по полю. Взмыла в высоту. Совершив полет по указанному треугольнику, Роби плавно посадил самолет.

Кедеш был доволен.

— Хорошо, курсант Шагоди. Просто великолепно! — похвалил парня инструктор.

Пишта Каллан повернулся к Денешу и сказал:

— Носится Старик с этим Шагоди. Я не хуже совершил посадку, но меня он ни разу не похвалил.

После полетов ребята окружили инструктора и попросили:

— Расскажите нам что-нибудь о полетах...

— Что я вам, всемирно известный летчик, что ли?

— Расскажите историю с почтовым голубем...

— Историю с почтовым голубем? Можно и рассказать... Было это так. В начале войны я летал на самолете СР-52. Биплан со звездообразным мотором, с открытой кабиной. Служил я тогда в Кечкемете, и был у меня почтовый голубь, совсем ручной: преспокойно клевал пшеницу прямо с ладони, по ночам спал у меня на одеяле, а когда горнист трубил «Подъем», тихонько клевал меня в мочку уха. Одним словом, привязались мы друг к другу. Однажды я взял его с собой в полет: ведь так высоко он сам никогда не залетал. Думал, наберу высоту и выброшу его, а уж голубь не заблудится — найдет дорогу домой. На высоте две тысячи метров вытащил я голубя из-за пазухи. «Ну, лети домой!» — сказал и выбросил его из самолета. И в тот же миг увидел, как от моего голубя перья полетели: трехлопастный воздушный винт гнал воздух с такой силой, что голубь оказался голым. «Вот дурень! — подумал я. — Был у меня голубь, а теперь не стало. Значит, не повезет на фронте...» А что же было потом? Вечером шел я с аэродрома в казарму по дорожке и увидел — лежит мой голубок, ни одного перышка на нем не осталось, кусок розового мяса...

Перед наступлением темноты инструкторов увезли на

джипе в город, а курсанты думали о том, что не так уж долго до осени, когда они предстанут перед приемной комиссией офицерского летного училища.

Когда парни подошли к остановке автобуса, Петр начал прощаться:

— Привет, ребята! Я не поеду, пешком пройдусь немного.

— Расстроился парень, — заметил Шагоди.

— Расстроишься, если тебя так пропесочит Кедеш. — посочувствовал Денеш.

— Не получается у него никак посадка.

И вдруг Шагоди наскоро попрощался со всеми и сказал:

— Я пойду с ним. — Он догнал друга и спросил: — Ну что, Петя?

— Ничего...

— Я же вижу, что ты расстроился.

Моравец долго шел молча, потом остановился и выпалил:

— Ты хороший парень, Роби... Не сердись, что я утром...

— Да брось ты, нашел что вспоминать. Я уж и забыл об этом!

— А что я могу сделать? Дома у нас неладно, вот у меня и валится все из рук...

— Глупости это, Петя. Не мучай ты себя!

— Когда я захожу на посадку, то мысленно вижу перед собой Кедеша, вижу, как он хватается за голову, а ребята хохочут. И я уже боюсь не земли, не бетонной полосы, а его самого, его замечаний...

— Послушай, Петя, я тебе сейчас кое-что объясню, а ты постарайся понять. Я считаю, ты сам себя боишься. Может, правда, и инструктор внушил тебе мысль, что ты никогда не научишься летать.

— Да, я часто задаю себе вопрос: есть у меня талант или нет?

— Вот в этом-то и загвоздка.

— Ты думаешь, со временем у меня все пойдет как надо? — уточнил Моравец и вдруг спросил: — Ты за кем сейчас ухаживаешь?

Шагоди недоуменно пожал плечами:

— Есть одна. Да ты ее не знаешь. А ты? Кто та девушка, с которой я тебя видел?

— Ее зовут Гизи.

— Значит, ты все еще ходишь с ней?

— Да не совсем, она не по мне.

— Ну вот видишь! Значит, я угадал. Откровенно говоря, только ты на меня не сердись, серенькая эта твоя Гизи. А та, другая, с которой я тебя как-то встретил? Ну говори, не стесняйся, мы же друзья.

— А что ты думаешь о Кате?

— О какой еще Кате?

— О дочери Пулаи.

— А почему ты решил спросить меня о ней?

— Да так просто...

Некоторое время они шли молча. Первым заговорил Шагоди:

— Ну раз ты спросил, да еще хочешь, чтобы я откровенно...

— Разумеется, откровенно, иначе нет никакого смысла...

— Сколько ей лет? Восемнадцать наверняка исполнилось, хотя полностью она еще не созрела. Правда, в ней есть что-то такое, что обращает на себя внимание. Но что именно, я и сам не пойму. Может, она и очень порядочная, а может, и нет... Да я ее мало знаю. По крайней мере, не больше тебя. Как-то она приходила на аэродром вместе с отцом — посмотрела на полеты, поболтала с ребятами... Но если она тебя так заинтересовала, я могу присмотреться к ней.

— Я в нее по уши влюблен. Или она станет моей, или я сдохну! — выпалил Моравец.

— Не собираюсь тебя отговаривать, но это будет зависеть и от самой Кати, а может, и от третьего лица...

— А-а, есть у нее один парашютист... Но он от нее скоро отвяжется, а если нет, то я помогу ему.

Шагоди обнял Петю за плечи и притянул к себе:

— Правильно, друг! Если у тебя будет такая же уверенность во время полета, ты далеко пойдешь.

— Будет. Не волнуйся, все у меня будет.

Шагоди стало весело. Он подпрыгнул и сорвал веточку акации. Взглянув на Петю, сказал:

— Тогда действуй!

Шагоди был рад, что ему удалось вдохнуть в Петю уверенность.

5

«Взошла луна, но она ущербная» — это были последние Петины слова, которые он сказал перед смертью. Я часто задумывался над ними.

«Ты прав, друг... Луна действительно взошла, но на ее диске не хватает куска... Не хватает тебя... Из нашей неразлучной тройки ушел человек. Может, ты об этом и хотел сказать, а может, ты имел в виду Катю, которой так не повезло».

Однако, сколько бы я ни думал над этими словами, они оставались для меня непонятными иероглифами, начертанными на камне, который кладут на могилу умершего.

Расследование причин катастрофы закончилось. Члены комиссии подписали протокол и разъехались. В заключении было написано: «Смерть пилота явилась результатом кровоизлияния...»

Бессонными ночами, лежа на кровати с открытыми глазами, я порой думал: «А что, если это и есть истинная причина? Ведь такое случается с людьми и на земле...»

В детстве в здании магистрата я однажды увидел старого налогового инспектора, которому вдруг стало плохо: лицо старика исказила гримаса, а изо рта пошла кровь. Он встал и, шатаясь, направился к двери, а кровь все лилась и лилась. Бедняга упал на пол, где тотчас образовалась лужица крови. Я никогда не думал, что из человека может вытечь столько крови. Когда пришел врач, старик был уже мертв. Правда, говорили, что налоговый инспектор был серьезно болен. Позже я как-то встретил на улице молодого человека, у которого горлом пошла кровь. «Так что никакой загадки тут нет», — убеждал я себя.

Комиссия еще работала, когда на базу приехала Пулаи, мать Кати, и сообщила, что у дочери сильное нервное потрясение и сейчас она находится в санатории. Ее спросили, что она может сказать о браке дочери с Петей. Она ответила, что особенно счастливым этот брак не был, но жили молодые неплохо.

Пулаи приехала на красном «таунусе», который вела сама. В тот же день она вернулась в Будапешт. На похороны она снова приехала на машине. На этот раз она привезла с собой дочь. Я стоял в почетном карауле и, как ни старался, не мог разглядеть Катиного лица, на которое была опущена темная вуаль. Я понял только, что она очень расстроена и вряд ли узнает меня. Хотелось подойти к ней и поговорить, но в той обстановке это было невозможно.

У нас снова начались полеты, если это можно назвать

полетами. После случая с Петей наши врачи словно очумели: постоянно мучили нас всевозможными обследованиями, и достаточно было им найти хоть какое-то отклонение от нормы, как они запрещали полеты.

— У вас воспалена носоглотка, сегодня вы лететь не можете. Принимайте кальмарин, побольше лежите, измеряйте температуру.

— Дорогой доктор, бросьте ерундить: я здоров. Просто, когда я утром умывался, в нос мне попало мыло...

Можно было говорить что угодно, просить, умолять, но врачи оставались непреклонны.

В другой раз разговор проходил примерно так:

— Э-э, дорогой, да у вас что-то с печенью не в порядке... Она увеличена...

— Извините, доктор, но вчера я выпил немного пива, а от него печень всегда увеличивается...

— Факт остается фактом, печень у вас увеличена, следовательно, летать сегодня вы не можете. Зайдите завтра, посмотрим...

Сегодня нельзя летать, завтра нельзя летать. Живем как в клетке. Нужно вовремя ложиться, чтобы, чего доброго, не подскочило давление. Серые будни как бы заслонили перспективы будущего, растворили прошлое. Летчики все реже и реже вспоминают о Пете. Со временем этот случай и вовсе забудется. И через год-другой при упоминании фамилии Моравец собеседник будет морщить лоб и вслух думать: «Моравец, Моравец... Подождите-ка, да это тот летчик, который отказался катапультироваться, так как находился над городом».

А года через три, когда речь снова зайдет о Пете, кто-нибудь станет уверять, что это был голубоглазый высокий мужчина со светлыми волосами и тонкими нервными пальцами, а кто-то не согласится с ним, утверждая, что Петя — подполковник, невысокий, коренастый, с лысиной, который ходил раскачиваясь, как утка, и был ночным истребителем-перехватчиком.

И хотя я понимал, что такие разговоры неизбежны, меня бесило то, что я без конца роюсь в воспоминаниях, обращая внимание на детали, не веря в то, что существуют необратимые процессы. Время для человека — все равно что эрозия для металла. Оно безжалостно разъедает память, освобождая ее для новых знакомств.

Я принадлежу к числу людей, которые с трудом расстаются со своими привязанностями. Я люблю свою комнату, свои вещи, а еще больше людей, к которым при-

вык. Теперь нас было уже не трое, а двое, а один друг дороже и ближе, чем два. Но в то же время к этому одному предъявляются и большие требования. Каждому его замечанию, каждому жесту я начинаю придавать большее значение. Я надеюсь, что он заменит мне и Петю.

Мы часто встречались с Шагоди, как и раньше. Вот и вчера он был у нас. Пришел вечером, после ужина.

Марта попросила меня сварить кофе, так как хороший кофе умеет варить только мужчина.

Кофе я варил в итальянской кофеварке. Когда он был готов, я разлил его в стаканы из толстого стекла. По словам Шагоди, толстое стекло лучше удерживает кофейный аромат.

Петя обычно просил меня сварить кофе по-турецки, в старой медной кофейнице, как его когда-то варили наши далекие предки.

Я лично могу пить любой кофе.

Мы сидели в гостиной. Шагоди отпил глоток и задержал его во рту, наслаждаясь ароматом. Потом, довольный, кивнул и проглотил содержимое стакана одним большим глотком.

— Хороший кофе, — сказал он и повернулся к своей жене Маргит: — Но ты пей осторожно.

— Это мне не повредит.

— Сколько раз я тебе говорил, что горячее для горла не менее вредно, чем холодное. Сама же завтра будешь жаловаться и кутать шею в теплый платок...

— Что такое, ты не здорова? — спросил я Маргит.

— Временами ее беспокоит горло, и она никак не может избавиться от этого. Водил ее к врачам. Один посмотрит, пошлет к другому...

— Потому что все твои врачи глупцы, — перебила Шагоди жена. — Один советует полоскать горло содой и на ночь завязывать теплым платком, другой рекомендует пенициллиновую ингаляцию... и не пить ни горячего, ни холодного...

— Дорогая, весь вопрос в том, нужен тебе твой хурут или не нужен. А если ты хочешь от него избавиться, то...

— То я должна пить только теплый кофе. Дурой бы я была...

— Вот и попробуйте поспорить с ней. У нее такая логика... — Шагоди уставился в стену, пуская изо рта клубы дыма.

— Твою Маргит нужно отправить в Пекин, — сказал я шутливо. — В начале лета здесь был один мой друг, дипломат. Рассказывал, что в течение многих лет мучился из-за этого самого хурута. Чего только он ни пробовал, ничего не помогало. А когда приехал в Пекин, так ему сделали всего два укола в мочку уха, и напасть как рукой сняло.

— Ага... — Шагоди поднял голову: — Иглотерапия.— И, пахмурившись, добавил: — Об этом мы уже говорили.

— Ну да. Как раз тогда у меня в гостях был этот самый дипломат. Петя тоже был... Он еще расспрашивал дипломата, в какое место от какой болезни нужно колоть. Потом он всю областную библиотеку перерыл — искал что-нибудь об иглотерапии, но так ничего и не нашел. И только позже купил у букиниста в Будапеште путевые заметки одного...

— Да, в середине июля произошла катастрофа...

— Нет, это случилось двадцать восьмого июля, то есть в конце месяца, а не в середине, — сказал я с раздражением.

— Какое это имеет значение — пятнадцатого или двадцать восьмого?

— Все-таки лучше уточнить.

— Ну хорошо. Одним словом, в середине июля был у нас этот спор, и Петя выступил со своей глупой идеей...

— Я бы не сказал, что идея была глупой. Ты ведь знаешь, Петя всегда смотрел на жизнь несколько иначе, — возразил я.

— Странные вещи ты говоришь. — Шагоди поднял голову: — Что значит «смотрел на жизнь несколько иначе»? Каждый, разумеется, смотрит на жизнь по-своему, потому что один человек не похож на другого. Мне странно, что ты подчеркнул слово «всегда». Это что-то новое для меня.

Я смутился. Задумался. Эта фраза сорвалась у меня с языка. Никогда раньше я не думал так о Пете, не отделял его от нас. Мы пили, ели, летали в солнечную погоду и в ненастную, слушали разглагольствования наших жен, ходили по улицам, разъезжали на машинах, ходили на медицинские осмотры и так далее. Короче говоря, жили, не очень приглядываясь друг к другу. Дружба между людьми рождается вовсе не потому, что один открывает нечто необыкновенное в другом. Она приходит постепенно, в процессе преодоления трудностей и обоюдного сближения.

— Тот дипломат рассказывал, что в Пекине есть музей, в котором ему показывали человеческую фигуру из дерева. На ней были обозначены все триста шестьдесят пять точек, на которые можно воздействовать уколами игл. Эффект лечения, насколько я помню, зависит от комбинации уколов, их продолжительности, повторения и тому подобного. Уколы эти безболезненны. Место укола не кровоточит. Это означает, что иглы не задевают ни нервных окончаний, ни кровеносных сосудов...

— Все это известно.

— Этой деревянной фигуре более тысячи лет. Значит, уже тысячу лет назад люди знали о тайнах иглотерапии. Врачи пекинской клиники даже говорили, что в бронзовый век уколы делали бронзовыми иглами, а в каменный век — каменными. Об этом свидетельствуют записи, сделанные много-много сотен лет назад на каменных скрижалях.

— Ну и что в этом удивительного? — спросил Шагоди. — Помню, мы сказали твоему другу, что к мысли о пользе иглотерапии человек пришел не сразу. И это абсолютная истина, иначе быть не может.

— Точно так мы и тогда заспорили. А Петя еще сказал, что древний человек, коловший себя каменной иглой, в один прекрасный день вдруг заметил, что, если проколоть иглой мочки на обоих ушах, хурут моментально исчезает.

— Но тогда мы не говорили о том, что у Маргит болит горло.

— Я пошутил. Петя говорил тогда, что в далеком-далеком прошлом человечество располагало более глубокими и фундаментальными знаниями, чем мы предполагаем. Это уж точно...

— Да, — перебил меня Шагоди, — он, как дилетант, пытался утверждать нечто подобное. До нас, мол, существовала древняя цивилизация, которая была выше нашей, и погибла та цивилизация в результате какой-то мировой катастрофы или чего-то похожего на атомную войну, а жалкие остатки представителей того общества начали все сначала. Однако эти представители привнесли в наше общество такие открытия, которые нам и по сей день кажутся непостижимыми. Я имею в виду достижения древней египетской культуры, культуры ацтеков, шаманов. Вот наш Петя, воодушевленный своей теорией, и обрадовался... — Шагоди замолчал. Потом, отчетливо произнося каждое слово, продолжал: — Видишь ли... об

умерших, особенно если это друзья, говорят только хорошо или же вообще ничего не говорят. Но, если откровенно, Петя в вопросах культуры был не больше чем дилетант.

Мы долго молчали. Первым заговорил я:

— Боюсь, что ты ошибаешься. Ты просто не понимал Петю.

— Я тебя внимательно слушаю, — пожал плечами Шагоди.

— Думаю, Петя, как никто другой, умел замечать чудеса в жизни. Он увлекался прошлым и верил в чудеса. Помню, когда мы изучали мифологию древнего мира, ему запомнился миф об Икаре и Дедале, суть которого сводится к тому, сможет ли человек подняться в воздух на крыльях, сделанных из перьев и воска. Петя, например, твердо верил в то, что человек сумеет оторваться от земли. Он воспринимал свободу как свободу птицы, которая парит в воздухе. Можно даже сказать, он не любил землю, боялся ее, вернее, боялся каждого приземления. Но и это неважно. Вспомни, как он восторгался мифами...

— От увлечения мифами никакой беды не было бы,— перебил меня Шагоди.

— Ты был бы прав, если бы... — начал я.

Маргит наш спор надоел, и она сказала:

— Оставьте вы наконец в покое бедного Петера. Не все ли теперь равно, что он любил и что не любил? Тут и спорить-то не о чем... Скучно с вами...

— Уж не потому ли, что сейчас мы говорим не о ваших достоинствах? — съязвил я.

— Правильно, пора хоть немного побеседовать с нами, — заявила Марта.

— Чтобы вы могли высказать свое мнение? — спросил я.

Все молчали.

— Это неправда, что Петя слепо верил в любой миф, — вернулся я к прежней теме. — И тем не менее он воспринимал жизнь в каком-то романтическом свете, а не в свете голого практицизма. Помнишь, как заразительно хохотал он при виде кентавров и русалок? Помнишь, как он хохотал над тем, что кентаврам неудобно будет предаваться любви с воздушными нимфами... Он прекрасно понимал сказки, но в то же время умел замечать и земные чудеса. Именно поэтому он за любое дело брался с охотой...

— Все это очень интересно и действительно так бы-

ло, — неожиданно перебила меня Марта. — Я вот сейчас подумала о Петиной женитьбе и поняла, почему он и Катя не были по-настоящему счастливы. Для него даже собственная жена была каким-то чудом...

— Вон куда завернули! — презрительно скривил губы Шагоди.

— Не мешай. Когда Петя женился на Кате и привел ее в свою комнатушку, он действительно думал, что поймал за хвост синюю птицу. А комнатушка та так провоняла псиной, что Кате сразу стало не по себе. Из Кати не получилось Пенелопы, которая, занимаясь домашними делами, с нетерпением ждала возвращения Одиссея из опасного плавания...

— Если я вас правильно понял, то по сравнению с романтическим Петей я просто-напросто глупец, который ничем не интересуется, кроме своей работы, и дальше своего носа ничего не видит, — не без издевки заметил Шагоди. — И я искренне сожалею, что Петя так тщательно скрывал свою столь богатую фантазию...

— Уж не обиделся ли ты?

— Нет, только я не люблю подобные разглагольствования. Наука остается наукой, поскольку она опирается на факты и реальные явления. Полет, компьютеры, динамика, сила тяги, электрическое поле — все это действительно интересно. А приключения Икара, чудеса в решете, фокусы-покусы, мифы и бог знает что еще — ерунда.

— Подожди, ты помнишь, как в библиотеке мы наткнулись на книгу Кларка... Как же она называлась?

— «Профиль будущего», — подсказал Шагоди.

— Она у меня есть.

— Ее уже переводят на венгерский. Скоро она выйдет, и все с удовольствием будут читать ее, так как в ней содержится очень много нового.

— Я хотел бы кое-что процитировать.

— Не нужно, я достаточно хорошо ее знаю.

— И все же...

— Пожалуйста.

Я достал с книжной полки томик Кларка и начал листать, отыскивая нужное место.

— Вот послушай, ты, супермен, — сказал я Шагоди и принялся читать: — «Когда был изобретен первый паровоз, некоторые физики утверждали, что при скорости в тридцать миль все живое задохнется. А в начале столетия известный астроном Ньюком говорил, что совре-

менные материалы, машины и топливо не позволят создать такой летательный аппарат, с помощью которого человек мог бы преодолеть большие расстояния. А в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году английский королевский астроном Вули заявил: «Мечта о космических полетах — блеф». Далее тут приводятся факты, с помощью которых ученые доказывают, что полет человека на Луну и возвращение обратно на Землю невозможны хотя бы потому, что для доставки туда полкилограмма полезного груза надо будет сжечь миллион тонн горючего. А ведь русский ученый Циолковский еще задолго до этого говорил, что в качестве космического топлива нужно использовать не нитроглицерин, а смесь керосина и жидкого кислорода, от сгорания которых высвобождается гораздо большее количество энергии...

Шагоди отпил из рюмки глоток палинки и, глядя прямо перед собой, сказал:

— Ученый всегда должен исходить из реального, из того, что есть в данный момент. Понимаю, и в среде ученых были, есть и будут невежды. И все же именно они, ученые, открыли возможность космических полетов. Именно они изучили физику атомного ядра, изобрели счетно-решающие машины. Разве не так? Они, знатоки точных наук. А если это так, тогда я не вижу причин для спора.

Я захлопнул книгу и, направляясь к книжной полке, раздраженно сказал:

— Дорогой мой, Кларк в своем труде цитирует Роджера, который жил еще в тринадцатом веке и уже тогда, в период мрачного средневековья, писал, что придет время, когда человек построит такой быстроходный корабль, машинами которого будет управлять один-единственный человек. Построит такие аппараты с искусственными крыльями, в которых будут летать люди. Появятся машины, в которых люди смогут передвигаться по дну океана.

— Ну и что из этого? — холодно бросил Шагоди. — Я тоже могу кое-что написать, а ты написанное мною положи в капсулу из нержавеющего металла, чтобы наши потомки это прочитали. Я напишу, что в будущем человек начнет летать на различные планеты, потом поселится на Луне, будет летать из одной галактики в другую. Может, этого не будет, а может, и будет, и тогда меня причислят к гениальным ученым... Да, кстати, почему ты вдруг так раскричался?

— Фу-ты... Ну хорошо... — заговорил я спокойнее. — Ты, который летает на МиГ-21, пользуется последними достижениями техники, еще осмеливаешься говорить, что ««может, этого не будет, а может, и будет».

— Да потому, что у физики и математики свои законы, которые никто не в силах изменить, — со злостью заявил Шагоди. — Например, такие понятия, как абсолютный нуль, скорость распространения света... Дальше перечислять или не надо? И выбросьте раз и навсегда из своих голов мысль о том, что и на других планетах есть люди или подобные им живые существа! Для них необходимы такое же, как у нас, солнечное освещение, такая же атмосфера, такие же продукты питания, и так далее и тому подобное... А такой вероятности, что где-то в Солнечной системе существует небесное тело — точная копия нашей Земли, — быть не может или, по крайней мере, она ничтожна. Живых существ, подобных человеку, в космическом пространстве нет. Человек сам по себе создание неповторимое.

— Именно в силу своего особого положения человек должен максимально использовать все для своей же пользы, не так ли? — спросил я Шагоди.

— Вон куда ты свернул! — зло посмотрел он на меня. Лицо его стало серьезным.

Я не знал, что ответить другу, потому что чувствовал: я действительно далеко зашел. И снова в глубине души у меня возникло подозрение: а не было ли чего-нибудь между Шагоди и Катей? Вспомнил я и историю с Самсоном.

В тот вечер я чувствовал, что меня так и подмывает проверить свои подозрения. Я решил следить за собой, чтобы не наговорить лишнего.

— Видишь ли, я только попытался проследить ход твоих мыслей с философской, так сказать, точки зрения... Я хотел выяснить нечто важное... Подожди, что же именно я хотел? Да, вспомнил! Первая глава книги Кларка заканчивается фразой: «Наука опирается не только на логику, но и на человеческое воображение, которое противостоит логике». Кларк, правда, об этом не писал, а я скажу, что человеческое воображение, фантазия могут даже одержать верх над логикой. И это я хочу подчеркнуть. В этом, собственно, суть нашего спора.

— Хорошо, останемся каждый при своем мнении, — сказал Шагоди.

— Да почему же? Продолжим наш разговор, — не ус-

покаивался я. — Если ты допускаешь, что плод человеческого воображения, его фантазии из тринадцатого века могут дойти до двадцатого, тогда...

— Извини, это уже нечто близкое к науке, только ты принимаешь это за...

— Все равно. Если я признаю право фантазировать в отношении будущего, тогда почему я не могу фантазировать в отношении прошлого? А разве работы историков и археологов, написанные ими в последние годы, не подтверждают факта существования древних цивилизаций, о которых мы тут говорили? А если предметом человеческого воображения может быть не только будущее, но и прошлое, тогда Петя был абсолютно прав.

Шагоди встал:

— Я думаю, дорогой, нам нужно прекратить этот разговор, потому что он похож на партию в шахматы, в которой каждый из играющих знает, как пойдет его противник. Однако каждая партия должна иметь свой конец...

— Но мы все еще не знаем, кто же кому поставил мат, не так ли? Как не знаем и того, честно ли была сыграна партия за Петю...

Я высказал все, что хотел. Говорил я с жаром и даже несколько грубовато. Хорошо еще, что Шагоди под конец не слушал меня: он выговаривал жене, что она кладет себе в стакан с виски слишком много льда, а мне только кивал, будто соглашался.

Позже, когда гости уже уходили и стояли в передней, Шагоди надел фуражку и, посмотрев в зеркало, произнес:

— До правды еще далеко... Кто знает, где правда, а где неправда. Так-то! — И он крепко пожал мне руку.

Выходит, он все прекрасно понял, но только играл.

Не выпуская его руки из своей, я сказал:

— Какой же ты сейчас умный! Ты никогда таким не был, а вот выпил и сразу стал умным!

Взяв Маргит под руку, Шагоди ушел.

Когда я вернулся в комнату, Марта уже открыла все окна. Она стала стелить постель, а я подошел к окну и прислушался к реву бомбардировщика на аэродроме.

Завтра мне заступать на дежурство. Вернее, уже не завтра, а сегодня, в час дня. Надо было как следует выспаться.

Я лег, но заснуть никак не мог: ворочался с боку на бок, а в голову лезли разные мысли: «Что же между на-

ми произошло? Может, Шагоди лучше понимал Петю, понимал его трагедию, а я, глупец, копаюсь неизвестно в чем и только порчу дружеские отношения? А может, все же я прав? Интуитивно прав?»

Я пошел к Марте. У нее было темно, но я чувствовал, что она не спит. Я сел на край кровати:

— Ты говорила, что Катя приходила к тебе слушать УКВ. Наверное, она рассказывала о себе, о своей жизни? — спросил я жену.

— Ты же знаешь, что они не были счастливы.

— Откуда мне знать? Ты никогда не говорила об этом.

— Это верно, не говорила, потому что... Ну как бы тебе объяснить... Ругаться они не ругались. Петя был не из задир. Просто они не подходили друг другу. Катя не любила распространяться на эту тему, но я чувствовала, что у них не все ладно...

— Как же ты это почувствовала?

— Как? В первые дни, когда все для нее было новым, она как бы искала у меня поддержки, делилась со мной, а потом вдруг замкнулась. Ходить ходила, но уже ничего не рассказывала. Ну а я, ты знаешь, не люблю быть назойливой... Словом, в день свадьбы, когда гости разошлись и молодые остались одни, Петя вышел на балкон и позвал Катю, чтобы она посмотрела, какая великолепная луна. Она действительно была великолепная, почти полная: всего несколько дней назад было полнолуние, а в тот вечер лишь с одного ее края появилась небольшая щербинка... Петя, разумеется, пребывал в восторженно-радостном настроении: ведь исполнилась мечта его жизни — он наконец-то завладел любимой женщиной... А его мужское самолюбие как раз и раздражало Катю. На следующий день она рассказывала мне, что у нее было такое чувство, будто ее сломили, превратили в чью-то собственность.

Петя же все предавался своим романтическим мечтам, отводя себе роль героя-любовника. Он нежно обнял Катю за талию: «Посмотри, дорогая, какая восхитительная сегодня луна...» А Катя возьми да и скажи: «Да, только она ущербная...» Сказала не подумав и стала смотреть на темные здания казарм и на акации. Больше она ничего не произнесла, но вот этими самыми словами она как бы отдалилась от Пети, замкнулась в себе. Высвободившись из его объятий, она пошла в комнату, а Петя последовал за ней, не понимая, что случилось. Потом лег спать.

— И так они провели первую брачную ночь? — спросил я.

— Весь следующий день они были вместе... Я даже не знаю, кого из них жалеть... Да я и не хотела совать свой нос куда не надо. Говорить с ними было неудобно: Катя рассказала мне об этом по секрету... А позже она уже ничего не рассказывала, да, собственно, меня их отношения не очень-то интересовали. Ты поспал бы лучше немного, — обратилась жена ко мне.

— Почему же ты не рассказала мне об этом раньше? — спросил я.

— А зачем? Что бы ты изменил?

— Да так просто...

И действительно, разве смог бы я что-нибудь изменить?

6

Синоптики обещали хорошую погоду. Полотняный конус с красными полосами еле шевелился — таким слабым был ветерок. Курсанты уже выкатили самолеты из ангаров и теперь сидели на траве, ожидая начала полетов.

С точностью до минуты приехал на своем стареньком «мерседесе» старший инструктор Пулаи. За рулем сидел довольный Чаба Кедеш, а на заднем сиденье расположилась Катя.

Машина остановилась у главного здания, и мужчины пошли переодеваться. Катя, выйдя из машины, сразу направилась к курсантам.

Моравец хмуро смотрел на девушку в пестром шелковом платье, которая шла по зеленому ковру поля по направлению к ним.

«Она очень похожа на цветок, — мелькнуло у него в голове. — Сейчас она напоминает великолепную орхидею из джунглей. Стройная, красиво покачивающаяся орхидея удивительной раскраски... — Юноше захотелось, чтобы эта красивая девушка принадлежала только ему, и никому больше. — Она будет моей, будет, чего бы мне это ни стоило...» — упрямо повторял он про себя.

Остальные парни тоже не спускали с Кати глаз, хотя каждый из них знал, что за ней ухаживает парашютист, и потому мечтать о ней так же бессмысленно, как, например, о Софи Лорен или Аните Экберг. Катя была самой обыкновенной девушкой. Правда, у нее была чудесная фигура, стройные ноги, и все же чего-то ей не

хватало: то ли внутреннего огня, то ли нежности и теплоты. Второй причиной, почему ребята не увивались за ней, было то, что отец ее был у них старшим инструктором. Дочь, видимо, гордилась этим и потому держалась высокомерно. Это еще больше подчеркивало пропасть между курсантами и Катей, дочерью известного пилота-виртуоза. К тому же парень, который ухаживал за ней, заканчивал политехнический институт, а они были всего лишь неоперившимися птенцами.

Шагоди тоже следил за Катей. С того дня, как Петя рассказал ему о своих чувствах к девушке, она как бы выросла в его глазах.

— Привет, ребята, — поздоровалась Катя с курсантами и села на траву, поджав под себя ноги. — Кто летит первым?

— Моравец, — ответил Каллаи.

— Насколько я знаю Петю, на чудеса он не способен, — сверкнув белоснежными зубами, рассмеялась Катя. — Все вы любители...

Шагоди внимательно разглядывал девушку: «Какие острые у нее зубы, словно у волчицы. Красивые, белоснежные, но хищные...»

— Мы и есть любители, а не профессионалы. Наша задача — научиться соблюдать все правила... — начал объяснять он.

Моравец закусил губу и неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой.

Начались полеты. Петя уселся в кабину. Еще минута, и фонарь над его головой закрылся.

«Пикассо рисует всю картину, не отрывая карандаша от бумаги...» — сказал Пете как-то Шагоди. Сейчас эти слова почему-то пришли ему в голову.

На этот раз Моравец поднял машину в воздух свечой, как это делал Пулаи, и никто более.

Наблюдавшие за полетом так и замерли.

— Что он делает?! Сейчас его бросит вниз, как котенка с железной крыши, — пробормотал себе под нос Кедеш, вытирая выступивший на лбу пот. — Если потеряет скорость, так и врежется...

Но Моравец поднимал машину все выше и выше.

— Что такое?! — воскликнул Пулаи. — Что он делает, этот желторотик?!

Моравец тем временем бросил самолет вертикально вверх. Мотор жалобно взвыл, скорость резко упала, и в какой-то миг показалось, что машина застыла на месте.

Опытный пилот никогда не станет дожидаться этого опасного момента. Он вовремя повернет машину носом к земле и начнет стремительно падать вниз, отчего у тех, кто наблюдает за полетом, замрет сердце, а зачарованный полетом пилот столь же неожиданно выведет машину в горизонтальное положение и стрелой пролетит над головами ошеломленных зрителей.

Петя же упустил этот момент, и, хотя мотор работал на полную мощность, скорость упала до нуля. Пилот судорожными движениями перемещал ручку управления, впившись глазами в циферблаты приборов, стрелки которых скакали как угорелые. «Нужно не терять из виду линию горизонта», — билась в голове назойливая мысль. В какой-то миг он пережил в душе муки Икара, теряющего крылья...

Ему все же удалось вывести самолет в горизонтальное положение и пролететь над посевами. Мотор работал ровно, без перебоев. Солнце заливало своими лучами всю кабину. Через несколько минут Моравец сделал разворот и полетел к аэродрому.

«Она будет моей, будет, чего бы мне это ни стоило...» — пробормотал он и, не упустив нужного момента, выполнил несколько фигур высшего пилотажа и пошел на посадку.

Едва он успел вылезти из кабины, как к нему подбежал инструктор:

— Ты... ты идиот! Настоящий идиот!.. — Чаба схватил Петю за френч и начал трясти: — Как ты посмел, черт бы тебя... Вон с аэродрома! Иди к Пулаи, он тебе покажет... Сопляк!

В стороне стояли курсанты. Рядом с ними — старший инструктор Пулаи и Катя. Петя искал Катиного взгляда, надеясь прочесть в нем гордость за него, а нашел только раздражение и злость. Пройти несколько шагов, отделяющих его от Пулаи, ему было очень трудно. Лицо у старшего инструктора было рассерженное, глаза строгие и холодные.

— Товарищ старший инструктор, курсант Моравец...

И в этот момент Пулаи влепил Пете такую оплеуху, что он сел на траву.

— Встать! — тихо приказал Пулаи — лицо его было белым.

Моравец встал.

— Больше и не мечтай летать, мерзавец! — выкрикнул Кедеш, потрясая кулаками из-за спины Пулаи.

— Марш отсюда! — выпалил Пулаи. — А оплеуху я тебе влепил, чтобы ты больше никогда не нарушал инструкцию! — И, повернувшись кругом, старший инструктор устало пошел прочь.

Катя смерила Петю испепеляющим взглядом и бросила:

— Ты не подумал, каково будет папе, если ты разобьешься? — И пошла вслед за отцом.

Курсанты выполняли полеты согласно расписанию. Петя сидел, прислонившись спиной к стене ангара. Ему было больно и обидно. И не потому, что Пулаи ударил его по лицу, а потому, что он потерпел фиаско в глазах Кати. Что же касается оплеухи, то он даже гордился ею. Кедеш орал на него, обзывая всякими словами, грозился, что больше никогда не допустит к полетам, а Пулаи коротко сказал: «Марш отсюда! А оплеуху я тебе влепил, чтобы ты больше никогда не нарушал инструкцию!»

«Значит, он влепил мне ее, чтобы я никогда не забывал об этом случае и стал в будущем хорошим пилотом,— рассуждал Петя. — Это была отеческая оплеуха, и только. Да и есть ли в группе хоть один человек, кто смог бы проделать в воздухе такие фигуры? Роби был прав, когда говорил, что все пойдет хорошо, нужно только быть посмелее. Если бы не Роби, я и сейчас испытывал бы страх при посадке... А теперь я ничего не боюсь... Роби Шагоди — истинный друг, но Катя... Все это произошло из-за нее».

В ушах у Пети еще звенели ее слова: «...На чудеса он не способен...» Не кому-нибудь, а ей одной Петя хотел доказать, на что он способен.

Сорвав травинку, он сунул ее в рот и начал жевать. В памяти всплыли мельчайшие детали полета. Пете казалось, что он слышит, как оглушительно ревет мотор...

Он посмотрел на небо. Снова вспомнил миф о бесстрашном Икаре, который летел все ближе и ближе к Солнцу. Интересно, какие чувства он испытывал, когда воск начал плавиться и перья повыпадали? А далеко внизу — Земля.

В жизни пилота бывают моменты, когда все зависит не от мотора и не от множества приборов на приборной доске, а от силы и смелости летчика...

К Моравецу подошел Пишта Денеш. Сел рядом.

— Петя, — начал он, — ты сделал очень большую глупость, но я думаю, что тебе следовало ее сделать. Ты познал самого себя, уверовал в себя...

— Я не понимаю Катю. Она смотрела на меня так, словно я хотел погубить ее отца.

— Катя? — Денеш задумался. Из разговора с Шагоди он уже знал, что Петя по уши влюблен в девушку. — Катю понять можно: она боится за отца. Она, наверное, знает нашумевшую историю со штурмовиками.

Моравец с удивлением уставился на Денеша.

— Неужели ты не слышал об этом? Столько разговоров было! В воздушном параде в День Освобождения участвовали штурмовики. Так вот, четыре машины врезались в землю, словно птенцы, выпавшие из родного гнезда. Произошло это вскоре после взлета на пути к Будапешту. Однако один из самолетов не взорвался, а просто врезался в землю. При расследовании причины катастрофы специальная комиссия установила, что все произошло потому, что в масляных баках оказался песок. Короче говоря, налицо было вредительство. Сразу же арестовали одиннадцать техников. Я, дружище, очень хорошо понимаю Катю: ведь отец ее был офицером в хортистской армии. Если бы с тобой что-нибудь случилось, Пулаи пришлось бы отвечать.

Петя не столько слушал Денеша, сколько размышлял о Кате.

— Ладно. Ты только не думай, что все это очень волнует меня. — Он встал и усмехнулся: — Напрасно я рисковал. Не только ничего не добился этим, но еще и получил... А то, что я жизнью рисковал, это не в счет... — Посмотрев на Денеша, Петя добавил: — Она еще услышит обо мне. Время покажет, кто на что способен.

Домой Моравец пришел спокойный. Он не сомневался, что своего все равно добьется. Заложив руки в карманы и насвистывая что-то себе под нос, он вошел во вросший в землю домишко на окраине города.

Рабочий люд, населявший улицу, отдыхал после трудовой недели. Из открытых окон доносились звуки радио.

Дом был обнесен старым штакетником. Покосившиеся ворота были распахнуты настежь: здесь не боялись воров. Двор зарос почти метровым бурьяном. В доме под ветхой крышей жило пять семей, каждая занимала небольшую комнату с кухонькой. Самая невзрачная и сырая комната досталась семье Моравеца.

Когда Петя вошел в комнату, обставленную старенькой мебелью, мать торопливо собиралась в ночную смену на ткацкую фабрику. Эта маленькая женщина жила в

постоянной тревоге: боялась, что от нее уйдет муж. Работал он шофером. Ходил в широком в плечах, поношенном кожаном пальто. Прощаясь, мать обняла отца:

— Будь осторожен, дорогой. Не забывай, что каждый шофер всегда одной ногой стоит в могиле, а другой — в тюрьме...

Отец, облокотившись на стол, смотрел на желтое пламя керосиновой лампы.

— Ладно, ладно, иди. Надоели твои нравоучения, — проговорил он, даже не взглянув на крутившуюся около него женщину. — Не бойся, в следующее воскресенье, утром, буду дома.

— Снова я не увижу тебя целую неделю... — запричитала было мать, потом, словно спохватившись, спросила уже совсем другим тоном: — А что сготовить к твоему приезду? Гуся зажарю, хорошо?

— Жареный гусь? Это неплохо.

— И ты береги себя, сынок, — повернулась мать к Пете. — В духовке возьмешь остатки утки да суп разогреешь.

И она застучала стоптанными каблуками по коридору. Петя сел за стол и начал есть.

— Ну, как леталось, молодой человек?

— Сегодня я выполнил очень сложную фигуру, папа.

Отец поставил стакан на стол и уставился на сына:

— Не ерунди... И удалось?

— Удалось, да еще как! Как летчику первого класса... — Петя вонзился зубами в крылышко утки, не отводя взгляда от лица отца.

— Хорошо, сынок. Я горжусь тобой. В твоих жилах течет благородная кровь. Наши предки разбазарили свое состояние. Я пошел работать босиком, был на посылках, а теперь вот служу в солидной фирме. Десятитонный груз вожу по дорогам со скоростью восемьдесят километров. А сын мой станет летчиком, офицером. Петер Моравец — капитан авиации, летчик первого класса. Это звучит! Прибью, если обманешь.

— Петер Моравец никогда никого обманывать не станет! — заносчиво произнес Петя.

— Хорошо, парень, так держать!

В конце лета ребята поступали в летное училище. Больше всего боялись, что не пройдут по здоровью. Пишта Каллаи засыпался на медкомиссии, но не унывал:

— Ничего, ребята! Поступлю в медицинский. Хорошо, что подал заявление и туда...

Шагоди, Денеш и Моравец были приняты в офицерское училище. Гражданская жизнь и друзья-товарищи остались позади. Теперь они стали военными, а военная служба — трудная школа. Каждый день был так заполнен занятиями и службой, что времени предаваться воспоминаниям не оставалось.

А вскоре они узнали о несчастье, которое произошло с Пулаи. В День Народной армии Пулаи принимал участие в параде спортивных самолетов. Находясь в воздухе, он безукоризненно выполнил каскад сложных фигур высшего пилотажа. Под конец, когда он на малой высоте летел вниз головой, с самолетом вдруг что-то случилось — он не мог перевернуть его в нормальное положение. Сажать машину в таком положении на летном поле было бессмысленно. И он, сбросив газ, на минимальной скорости врезался в крышу склада, на котором лежали тюки прессованного сена. Сено самортизировало, но самолет все же загорелся. Через минуту склад пылал.

Пулаи, привязанный ремнями к креслу, потерял сознание. Он так и висел головой вниз, пока ремни не перегорели и он не упал на землю, пробив головой плексигласовый фонарь кабины. Придя в себя, он стал кататься по земле, чтобы потушить горевшую на нем одежду.

Когда к складу подъехала санитарная машина, Пулаи был без сознания.

Врачи привели его в чувство.

— Ничего не сообщайте жене, пока не убедитесь, что я буду жить, — попросил он.

7

Болезнь, как родственники из провинции, приходит неожиданно, и, как правило, не одна. Осенью, едва начался учебный год в школе, Марта заболела гриппом, потом подхватила воспаление легких. В мае ее назначили заместителем директора школы. Она очень любила свою работу и, разумеется, с первого дня учебного года хотела активно включиться в нее, а тут сиди. Ей не нравилось болеть, поэтому она никогда не вылеживалась. И на этот раз она прожужжала мне все уши: что, мол, скажут директор и коллеги-учителя?

— Уж не думаешь ли ты, что без тебя прекратятся занятия в школе?! Что они могут сказать? Каждый из

них знает, что такое болезнь, и потому будет лучше, если ты вылежишься, а то, чего доброго, схватишь осложнение. С вирусным гриппом шутки плохи... — утешал я жену.

Я все-таки настоял на своем и заставил Марту лежать в кровати.

К нам частенько заходили соседки. Приносили что-нибудь из еды. Я же бегал за лекарствами, стоял в очереди за продуктами, готовил и даже стирал. Я знал, что такое домашняя работа, но по-настоящему почувствовал это только сейчас.

Наконец Марта выздоровела и вышла на работу. Однако по-прежнему была очень слаба. После болезни ей нужно было хорошо питаться, и я приносил апельсины, шоколад. За время болезни Марты я истратил все наши сбережения, но не жалел об этом. Хотел лишь одного — чтобы Марта поскорее выздоровела.

Едва оправилась от болезни жена, как на нас обрушилась большая беда. Однажды вечером, когда мы смотрели передачу по телевизору, зазвонил телефон. Звонили с междугородной телефонной станции.

В трубке я услышал взволнованный голос тещи:

— Беда! Отца увезли на «скорой помощи». Его оперировали, но он уже не жилец на этом свете, вот увидите. Лицо у него — как у мертвеца...

— Что?! Как это случилось?! Когда?! Где?!

— Меня не было дома, я поехала в Уйпешт к тете Юлиш, а Шани как раз собирался на работу. Дверь в кухню была открыта, и он услышал какое-то кряхтенье. Он совсем было вышел из дома, но случайно заглянул к старику и увидел такую картину...

— Но что с ним, мама? Скажите, что с ним?..

— Вот я и говорю... У него сильные боли. Шани сразу позвонил в больницу, пришла докторша, осмотрела отца и сказала, что это аппендицит. Сделала ему укол и вызвала «скорую помощь». Та вскоре приехала и увезла отца в больницу. Там решили его оперировать, но, когда разрезали живот, у отца началось сильное кровотечение. Тогда врачи увидели, что это никакой не аппендицит, а что-то другое, более серьезное. Начали искать причину кровотечения...

— Мама, ради бога, скажите, что с отцом?!

— А я что делаю? Об этом и говорю. Тогда бедняге разрезали весь живот и обнаружили, что кровь идет из селезенки... Оперировали селезенку...

В этот момент телефонистка со станции подключилась и спросила:

— Говорите?

— Да-да, разговариваем. Девушка, пожалуйста, не перебивайте, у нас важный разговор... — попросил я.

— Я и говорю... — продолжала перепуганная теща, — но нас все время перебивают. Словом, дети, приезжайте немедленно, если хотите застать отца в живых... — И она заплакала.

Марта разрыдалась и потребовала, чтобы мы тотчас выехали в Будапешт. Я начал объяснять ей, что без разрешения командования не имею права уехать с авиабазы, а разрешение на такую поездку может дать только командир полка. Убеждал, что отец в больнице, что за ним следят врачи, что необходимости в немедленном отъезде нет, так как мы все равно ничем ему не поможем, а утром я схожу к полковнику, получу разрешение на выезд и мы уедем на нашей «шкоде».

— Ты всегда был бессердечным! — напала на меня жена. — Никогда ни о ком не думал, не беспокоился, разве что о себе самом. Бедный старик, может, воспрянет духом, когда увидит нас...

Марта начала бросать что-то в чемодан, заявив, что поедет поездом.

— На поезд ты уже не попадешь, опоздала, — сказал я.

— Тогда я поеду на попутной машине.

Когда Марта подошла к двери, я остановил ее, взял за руку и привел обратно. Обхватив голову руками, она горько заплакала.

Утром, получив разрешение полкового командира, я погнал машину по шоссе. В больницу мы попали сразу после врачебного обхода.

Я разыскал главного врача.

— Ну что я вам могу сказать... — начал тот уклончиво. — Будем надеяться... Видите ли, в его возрасте все возможно. — Он пожал плечами. — У человека в семьдесят четыре года организм ослаблен, сопротивляемость равна нулю, к тому же у вашего родственника плохое сердце... Мы его оперировали. Он был на волосок от смерти. Вы меня понимаете? Будем надеяться...

Вид у тестя был действительно плохой: лицо серое, осунувшееся. От множества уколов он впал в забытье, и я не осмелился даже заговорить с ним. Меня он не узнал.

По дороге домой я думал о том, что тесть, который был для меня вторым отцом, видимо, долго не протянет. Заехали к теще в Эржебет, где она жила с другой дочерью.

С этого дня я только и делал, что мотался на машине, не зная ни покоя, ни отдыха. Делал я это охотно, так как любил тестя, а если бы даже не любил, все равно сделал бы это ради Марты.

У старика было четверо детей, и всех он поставил на ноги, хотя был простым каменщиком. Все они были одинаково дороги ему, но Марту он любил больше других. Она платила отцу тем же. Таких людей, как дядюшка Берци, нечасто встретишь на белом свете. О себе он рассказывать не любил. И все, что я постепенно узнал о его жизни, рассказала мне Марта. Был он очень простым, скромным и в то же время смелым человеком.

В войну здание местной школы разрушила бомба. Каменщики и плотники сделали кое-что на скорую руку, но потом все бросили и стали расходиться по домам. Дядюшка Берци, мой будущий тесть, долго уговаривал рабочих не оставлять работу, но они только посмеялись над ним. Тогда старик взобрался на леса и стал выкладывать стены, пока не кончился раствор и кирпичи.

Мы, детвора, стояли и глазели, как он работает.

— Ну, ребята, хотите учиться в школе? — спросил нас дядюшка Берци.

— Учиться? А где? — удивились мы.

— Ну, не вешайте носы... Если на вас порвется одежда, вы что будете делать? Голышом будете бегать, а? Не захотите же вы превратиться в обезьян? На таких вы не похожи...

Первым из нас заговорил тогда Моравец:

— Пошли, ребята, поможем ему! Разведем раствор, наносим кирпичей...

— Отец, а куда другие рабочие ушли? — поинтересовались мы у дядюшки Берци.

— А, видите ли... погоня за золотом... В центре богатые господа расплачиваются с рабочими золотой монетой и, конечно, поесть дают... фасолевого супа... У меня тоже дети, и им нужно учиться. А что будет, если все станут гоняться за монетой?!

В полдень дядюшке Берци принесли поесть жиденького супа. Он сидел и ел, а его дочка устроилась рядом на ящике, в котором мы замешивали раствор. Я начал

ее разглядывать. У нее было худое продолговатое лицо и большие серые глаза. Сидела она, вроде бы ничем не интересуясь, однако вскоре я поймал на себе ее взгляд. Одета она была бедненько, но я успел рассмотреть, что она совсем недурна.

После обеда я подошел к ней и предложил проводить до улицы Надькёреш. А потом мы шагали по шпалам железнодорожной ветки — она жила на самой окраине города. По дороге мы разговорились, и я узнал, что дочка дядюшки Берци много читает, обожает кино. Отец уже водил ее на рабочие собрания, и она является членом Союза рабочей молодежи. Последнее меня тогда не очень интересовало, потому что отец мой был квалифицированным инструментальщиком и хорошо зарабатывал. По большим праздникам он ходил в церковь.

— Во что-то человек обязательно должен верить, — говорил он и, напялив на голову черный цилиндр, шел к обедне.

Выписывали мы в ту пору только газету «Пештские новости», и потому известия о самых острых политических событиях, происходивших в мире, не попадали в нашу квартиру.

Когда началась весна, дядюшка Берци привел с собой нескольких рабочих, и они таки отремонтировали школу. А я с тех пор стал регулярно навещать Марту. Забравшись куда-нибудь в укромное местечко, мы целовались. Большего она не позволяла, говоря, что у бедной девушки нет ничего дороже ее девичьей чести. Я, конечно, настаивал на своем, уверяя, что по-настоящему люблю ее, однако Марта оставалась непреклонной.

В один прекрасный день мы поругались. Но очень скоро помирились к обоюдной радости.

По совету дядюшки Берци я стал ходить в Дом рабочих, где проводились беседы по политическим вопросам. Разумеется, мне там было интересно, хотя я не всегда понимал, о чем шла речь. Например, мне было непонятно, зачем пенсионеру, пожилому человеку, записываться в рабочую милицию. Уж не собираются ли эти старики защищать родину? Что же тогда делать нам, молодежи? Зачем тогда наши «миги» и ракетное оружие? Но, вместо того чтобы сидеть зимой у печки да покуривать трубку, старики ехали на сборы в будайских горах.

Я, разумеется, уважал своего тестя, но не понимал,

как важно для старика сознание того, что он делает полезное дело и что еще кому-то нужен.

Старик со своей стороны любил и уважал меня. Он гордился тем, что муж его дочери офицер, служит в авиации, причем не кем-нибудь, а летчиком первого класса, и носит на плечах майорские погоны.

...Когда я второй раз приехал в больницу, старик просиял от радости. Взяв мою руку в свою, долго не отпускал ее. Мне хотелось помочь ему выздороветь, встать на ноги, потому что он был для меня не просто тестем, а еще и хорошим, добрым другом.

И старик выздоровел, можно сказать, выбрался из могилы, в которой стоял не одной, а двумя ногами. Выздороветь с его сердцем и в его возрасте — это было самое настоящее чудо. Когда он выписался из больницы и оказался дома, мы навестили его.

Но радость наша была недолгой. Некоторое время спустя нам снова позвонили с междугородной. Звонила теща: тестя опять увезли на «скорой помощи», у него тромбоз мозга...

Когда на следующее утро я заступал на дежурство, настроение у меня, естественно, было скверное. Перед воротами я встретился с Шагоди, который спросил, почему я такой хмурый. Я ответил, что тестю снова стало плохо. Роби сказал, что у него в Будапеште, в железнодорожной клинике, есть знакомый врач, хороший специалист, который лечил его отца. Если нужно, он напишет письмо с просьбой перевести старика в эту клинику, а уж там его поставят на ноги.

Вечером того же дня Роби принес обещанное письмо, а утром я уже мчался на своей «шкоде» в Будапешт. Знакомый Роби тотчас распорядился, чтобы дядюшку Берци перевели в его клинику. К полудню я все это уладил и несколько успокоился: в клинике была идеальная чистота и порядок. Главный врач, спокойный и рассудительный, казался знающим специалистом, и я был убежден, что тесть мой попал в надежные руки.

Таким был наш Шагоди: стоило кому-либо попасть в беду, как у него тотчас рождалась прекрасная идея. Короче говоря, на него всегда можно было положиться.

У Марты в это время в школе была инспекция, и она не могла поехать со мной в Будапешт, так что я хлопо-

тал один. Сделав все дела, я зашел в ресторан «Лукулл» пообедать.

Возвращаясь домой, я обратил внимание, что мотор работает как-то странно и плохо тянет. «Что это приключилось с моей «шкодой»? — подумал я. — Тормоза, что ли, не в порядке? Или с карбюратором что?»

Поскольку я был в военной форме, копаться в моторе мне не хотелось. Я проехал площадь Борарош, свернул на проспект Шорокшар и вдруг вспомнил, что совсем рядом находится автомастерская Пулаи.

Я заехал во двор мастерской, который был забит машинами. Два механика и несколько учеников работали не покладая рук, так как летний сезон был в самом разгаре.

Надежды на то, что мою старушку «шкоду» осмотрят без очереди, у меня не было, между тем к вечеру мне обязательно нужно было вернуться на аэродром: ровно в девять я должен был заступить на дежурство и сидеть в скафандре для высотных полетов в готовности номер два.

Я зашел в конторку и увидел там вдову Пулаи.

— Целую ручки, уважаемая госпожа, — поздоровался я с хозяйкой мастерской. — Вы меня, наверное, не узнаете?

— Добрый день, господин майор. Я вас сразу узнала. Я даже помню, когда вы были курсантом у моего мужа.

— Вот как? У вас завидная память.

— Память у меня еще хорошая, жаловаться не приходится.

— Полагаю, вы и на здоровье не жалуетесь, потому что выглядите превосходно.

— Благодарю вас. И все же годы летят. Вот вы уже майор, а давно ли, кажется, были мальчишкой. Я вас хорошо помню. Шагоди помню и Каллаи, тот позднее врачом стал, потому что летчик из него не получился. Он еще лечил мужа моей дочки, Петера Моравеца. Разбился, бедняга... Интересная была у вас тройка. Муж внимательно следил за вашими успехами.

— Я не совсем понимаю вас...

— Что было, то было. Вы и представить себе не можете, сколько внимания он вам уделял. Я это говорю вполне серьезно. Он с душой подходил к каждому курсанту, но вас троих — как бы это сказать? — особенно любил. Вы, может, и не замечали: муж не хотел, чтобы остальные курсанты чувствовали это.

На письменном столе зазвонил телефон.

— Да, мастерская Пулаи, — бросила в трубку вдова Пулаи. — Нет, господин, на этой неделе сделать не сможем. Приезжайте на следующей. Подождите, я посмотрю календарь. В среду, после обеда, хорошо? Какой номер вашей машины? Я записала вашу машину на техобслуживание на среду, на три часа. До свидания, господин. — Положив трубку на рычаг, сказала: — Садитесь, пожалуйста, господин майор. Чем могу служить?

— Что-то случилось с моей «шкодой», а к вечеру мне обязательно нужно быть на базе.

— Ничего, сейчас посмотрим.

— Большое спасибо, вы очень добры.

— Не оказать любезность летчику... Разве можно? — И, выйдя во двор, она закричала: — Элемер! Элемер!

Из-под машины вылез механик в промасленном комбинезоне.

— Посмотри-ка машину господина майора! — приказала хозяйка.

— Я не могу ремонтировать одновременно две машины.

— А кто тебе сказал, чтобы ты делал это? Ту пока оставь, потом доделаешь.

— За ней после обеда приедут.

— Неважно. Майору нужно сделать срочно. Немедленно займись его «шкодой».

Я передал механику ключ зажигания и сказал:

— Сделай поскорее, дружище, я тебя не обижу.

— Разрывают человека на куски, — ворчал Элемер. — Но вашу машину, товарищ майор, я сделаю быстро, не беспокойтесь. — Открыв капот, он стал слушать работу мотора. Потом сказал: — Работает как швейцарские часы. Видимо, неисправны тормоза. Придется повозиться.

— Я тоже так думал.

— Эй ты, лопоухий, пошевеливайся! — крикнул механик ученику. — Тащи скорее домкрат! — Он повернулся ко мне: — Извольте посмотреть: парню всего шестнадцать лет, его так и распирает от избытка сил, а он еле шевелится. Я даже не знаю, что будет с этими парнями, когда они подрастут...

Механик занялся машиной, а я вернулся в конторку. Там какой-то мужчина расплачивался за ремонт.

— Техосмотр — девяносто форинтов, — считала Пулаи, — регулировка зажигания — шестьдесят форинтов, всего...

— Сколько?! — удивился заказчик. — Регулировка за-

жигания шестьдесят форинтов? Да ваш механик только дотронулся ключом до прерывателя тока...

— Господин, я беру с вас строго по таксе. Любая работа должна быть оплачена, в том числе и осмотр машины механиком. Мы что же, по-вашему, живем одной любовью?

Через минуту мы с хозяйкой мастерской снова остались вдвоем.

— А я ведь, собственно говоря, давно хотел навестить вас, госпожа.

— Почему же не заехали?

— Да все дела да заботы... Родственники болели...

— «Шкода» все же привела вас ко мне.

— Да, когда что-нибудь случается, человек сразу находит нужного ему человека... У вас много работы, так что не буду отвлекать.

— Что вы, что вы, у меня есть время! — запротестовала хозяйка.

— У вас можно курить?

— Вам можно в порядке исключения, а вообще-то я не терплю табачного дыма.

— Тогда я не буду.

— Курите, курите, я разрешаю.

Обычно, когда я ездил в Будапешт — к врачам или в министерство, всегда брал с собой несколько пачек хороших сигарет. И на этот раз у меня были импортные сигареты. Я закурил и задумался. Мне было о чем поговорить с вдовой Пулаи, и это давно не давало мне покоя. Каллаи, работавший врачом в больнице, лечил Петю. Об этом мне сказала Пулаи. Когда это было и почему? Обычно военного летчика осматривают и лечат только военные врачи. Быть может, это было давным-давно? Но тогда Каллаи еще не был врачом и не имел практики. Я решил осторожно расспросить об этом собеседницу, чтобы не вызвать у нее подозрений.

Начал я издалека:

— Как-то я прочел в газете заметку о несчастном случае с моторными лодками... Если вы не против...

Вдова Пулаи подняла голову, сняла темные очки, провела ладонью по лбу. Ей было лет пятьдесят, может, даже больше, и все же, несмотря на годы, она оставалась довольно привлекательной женщиной.

— Видите ли, мне многое пришлось пережить... Но так давно это было, что я могу спокойно говорить обо всем... Прошло целых пять лет... Теперь я уже не рас-

страиваюсь, когда меня расспрашивают. Больше всего меня огорчило то, что на похороны мужа, кроме Моравеца, никто не пришел.

— Меня в то время не было в Венгрии. Об этом случае я узнал лишь полгода спустя... и то совершенно случайно...

— Не о вас речь. Мне было очень обидно, что не пришел Шагоди. А знаете, как часто он у нас бывал! Даже собирался жениться на Кате. А когда муж разбился и обгорел... Словом, когда мы сделались частниками и купили эту мастерскую, Шагоди исчез.

— Я об этом ничего не знал... Когда мы поступили в летное училище, за Катей ухаживал один парашютист...

— Было дело, но парень вскоре разбился: во время прыжка у него не раскрылся парашют. А потом за ней стал ухаживать Шагоди. Он уже учился в училище. Любопытно, что муж, который прекрасно разбирался в людях, предупреждал Катю... Но где там! Я тоже была девушкой и знаю, что такое любовь... Катя же так влюбилась в этого Шагоди, что и представить трудно. Неужели вы не знали об этом?

— Впервые слышу.

Я не сказал бедной женщине, что в глубине души у меня давно жило подозрение, что между Катей и Роби Шагоди что-то было. Ничего конкретного я не знал. Просто подозревал. А теперь вот, оказывается, все это было на самом деле. Настроение у меня сразу испортилось. Я курил сигарету за сигаретой.

— Видите ли, я не могу понять вашего Шагоди, — продолжала женщина. — Все мы люди. Он не хотел портить свою анкету... Связать жизнь с дочерью мелкого частника... Что скажут в отделе кадров? А в штабе ВВС? Одно дело — породниться с инженером Пулаи, работающим на металлургическом комбинате, а другое — с частником Пулаи. Возможно, на месте Шагоди я поступила бы точно так же.

— Да он самая настоящая свинья!

— Свинство его заключалось не в этом, господин майор, а в том, что он, мерзавец, не изволил явиться на похороны мужа, а он-то был в то время в Венгрии.

— Может, он боялся встречи с Катей? Человек неохотно ходит к тем, кто знает о его свинстве, иначе говоря, туда, где он напакостил.

— Боялся? — Пулаи поправила очки: — Уж не думаете ли вы, что его связь с Катей на этом оборвалась.

Шагоди принадлежит к тому типу мужчин, которые оказывают на женщин очень сильное влияние. Вам это непонятно. Вернее, это может понять только мужчина, который обладает этой способностью, я бы сказала, имеет власть над женщинами.

— Не сердитесь, но я действительно не понимаю этого.

— Разумеется, вы же совсем другой человек. — Вдова Пулаи засмеялась: — Ну да все равно, вы правы: главное не в этом. Дело в том, что Катя не могла забыть Шагоди, хотя и пыталась. Этот человек имел над ней власть. Словом, он ее не боялся. Просто-напросто от мужа уже не было никакой пользы, вот он и не счел нужным прийти на его похороны.

В этот момент до меня дошло, что вдова Пулаи ненавидит Шагоди жгучей ненавистью. Может, это и наложило отпечаток на ее мнение о нем?

— Думаю, мне нужно поговорить с ним, — сказал я.— Такого Шагоди я не знаю.

— Это ваше личное дело. Извините меня, пожалуйста, я на минуточку отойду: посмотрю, как там у механиков идут дела. Приходится постоянно следить за ними, а то беда. Вот и Судли уже давно должен был закончить ремонт «мерседеса», а все еще копается.

Пулаи вышла во двор, но через несколько минут вернулась.

— У меня есть патент на мастерскую, — начала объяснять она, — но в ремонте машин я мало что смыслю. Если механик говорит, что на такую-то работу потребуется два часа, я не сумею доказать, что ее можно сделать за час. А если он утверждает, что машину вообще нельзя исправить, мне приходится верить ему на слово. Вот моего мужа провести было невозможно. Он сам, бывало, подойдет к машине и покажет, что надо сделать. У него были золотые руки. И вообще, он был удивительный человек.

— Да, мы все его очень любили.

— Вы по-настоящему его не знали, потому что он был человеком скрытным. Например, в тот день, когда он врезался в крышу сарая и обгорел, он разрешил позвонить мне только тогда, когда врачи сказали, что он будет жить. Передо мной и то скрытничал.

— Он сильно обгорел?

— Все лицо было в ожогах, но я не замечала этого. Мне он, как и раньше, казался красивым.

Она встала и подошла к сейфу. Я обратил внимание на то, какая у нее красивая фигура.

— Вот, посмотрите на его часы. «Докса», золотые. — Она протянула мне искореженный кусок металла.

— Черт возьми...

— Они были у него на руке, под кожаной курткой. После этого случая летать он уже не мог, но и возвращаться на завод не захотел. Там он тоже не простым человеком был... Он не смог бы видеть людей, которые жалели бы его... Вот тогда-то он и купил патент на эту мастерскую. Сделать это было нелегко. Но вы ведь знаете, он был награжден орденом Свободы. Возможно, это и помогло. Вот он, этот орден, посмотрите, — показала она серебряную звезду с изображением Кошута. — В этом сейфе я храню его вещи. Я потом вышла замуж, но мой муж оказался человеком другого склада...

Пока мы разговаривали, в конторку то и дело заходили механики, заказчики. Госпожа Пулаи получала деньги, давала сдачу.

— Этот человек не мог жить без полетов. Спортивный клуб устроил ему торжественные проводы. Его снова наградили. Оставляли в клубе преподавателем, поскольку он был не только практик, но и теоретик, однако он наотрез отказался. Небо для него уже было недосягаемо, и тогда он увлекся гонками на спортивных глиссерах. Сам построил себе глиссер. Сам сконструировал мотор. Вы, конечно, видели, как они носятся по воде. И вот на Дунае проводились соревнования. Разумеется, муж тоже участвовал. На одном из резких поворотов его, видимо, выбросило силой инерции. Но поскольку глиссеры на скорости поднимают целый каскад брызг, никто не заметил, что с ним случилось, и лодка, которая мчалась следом, винтом его и рубанула.

— Почему же он не пристегнулся ремнями к сиденью?

— Не знаю. Может, потому, что, если бы лодка перевернулась, он оказался бы в воде под ней... А может, не хотел. Одним словом, не знаю. Когда его вытащили из воды, он был еще жив. Его сразу увезли в нейрохирургическую клинику. Посмотрел его известный профессор и сказал, что жить он не будет, потому что поврежден мозг. Муж прожил полтора дня, но в себя так и не пришел. Вот как было дело...

В дверях мастерской появился Элемер:

— Ваша «шкода» готова, товарищ майор.

— Сколько я вам должен, госпожа? — спросил я хозяйку мастерской.

— Что было с машиной, Элемер?

— Пришлось заменить прокладки... и затянуть тормозные колодки на переднем левом колесе.

— С вас двести форинтов, господин майор, — подсчитала хозяйка.

Когда я расплатился, Пулаи протянула мне толстую тетрадь:

— Возьмите почитайте, тут и о вас написано. Это заметки мужа о воспитанниках. Вам первому даю почитать, но с условием, что вы вернете мне ее обратно: она дорога мне как память.

— Благодарю за доверие. К сожалению, из-за тестя... Словом, в Пеште я бываю очень часто и вскоре верну вам тетрадь.

— Подождите, я дам вам телефон моей дочери.

Я записал номер телефона и адрес Кати и сказал:

— Я давно хотел поговорить с ней... Все как-то очень запуталось... Гибель Пети... так взволновала меня... Все слишком загадочно.

— Ничего загадочного тут нет. Петера убил Шагоди. Убил не в прямом смысле слова, а убил в нем веру в жизнь. Он отнял у Петера что-то такое, без чего жизнь теряет всякий смысл. Ну как бы это объяснить вам получше... Одним словом, тарелка с отбитым краем — это уже не тарелка.

За темными очками я не видел выражения глаз вдовы Пулаи.

— Я вам не верю, — твердо сказал я. — Шагоди — мой друг.

— Верите или не верите — это ваше дело. Поговорите с моей дочерью.

— Обязательно поговорю, тем не менее ваша позиция в этом деле мне не совсем понятна.

— Это неважно, господин майор. Но можете мне поверить, я уже спокойно отношусь к гибели Петера. Я за свою жизнь пережила столько, что временами кажется, будто я сижу где-то наверху и взираю оттуда на жизнь. А вот дочку свою я еще надеюсь спасти. Она до сих пор во власти Шагоди. Она как та глупая бабочка, что летит на огонь лампы, который сожжет ей крылья. Поговорите хоть вы с ней. У вас трезвый ум. Вы реально смотрите на жизнь.

— А откуда вам это известно?

— Из записок мужа.

Я распрощался с хозяйкой, дал Элемеру полсотни на чай и сел в машину.

— Вам нужно поменять тормоза, товарищ майор, не забудьте об этом.

— Спасибо, дружище.

— Я тоже когда-то служил в авиации, так что можете на меня рассчитывать.

— Еще раз спасибо тебе, Элемер.

— Всего вам хорошего, товарищ майор. Пока!

Захлопнув дверцу, я двинулся в путь.

Я никак не мог согласиться с тем, что никакой загадки в Петиной гибели нет и что убил его Шагоди. Кто-то у кого-то отнял самое дорогое, после чего пострадавший начал мучиться, а потом погиб. Под статью уголовного кодекса такое преступление не подведешь, но убили душу человека, и это повлекло за собой его физическую смерть. Однако вместе с Шагоди я рос. Я знал Шагоди и готов был ради него отдать на отсечение руку. Хорошо знал я и Петю.

А знал ли — вот в чем вопрос. Мы вместе жили в казарме, вместе учились в офицерском училище. Более неразлучной тройки не было. И все-таки вдова Пулаи заявила, что Шагоди часто ходил к ним, хотел даже жениться на Кате, но я-то об этом ничего не знал. Шагоди никогда не говорил мне об этом.

Если все правда, то он и не мог сказать об этом, так как хорошо знал намерения Пети относительно Кати, а они были серьезными. Никто из нас не имел права ухаживать за девушкой друга. Но и вдове Пулаи вроде бы нет никакого смысла обманывать меня. А если Шагоди...

Когда мы были в провинции, он оставался в Будапеште и мог встречаться с Катей. Да и Пулаи мог свободно посещать. Почему бы ученику не зайти к своему преподавателю? Но если он ходил к Пулаи только из-за Кати, тогда он просто отбил ее у Пети самым подлым образом. Петя не умел ухаживать за женщинами. Шагоди же — суперинтеллигент. Разумеется, Петя не мог с ним тягаться.

В свое время все мы ухаживали за девушками, но не было случая, чтобы кто-нибудь из нас ухаживал за девушкой друга. Так почему я должен верить вдове Пулаи?

После выпуска из офицерского училища Шагоди сразу женился на Маргит, дочери подполковника-танкиста,

и вот уже сколько лет они живут вместе. Когда мы с Шагоди обзавелись семьями, то перестали говорить о женщинах.

Я резко затормозил: прямо передо мной остановилась огромная машина. «Нужно бы повнимательнее следить за дорогой, а то и до аварии недолго», — подумал я.

Я обогнал болгарскую машину. Шоссе снова было пустым. Мысли мои постепенно вернулись к разговору с вдовой Пулаи. Мне казалось, я отчетливо вижу ее лицо в темных очках. Она что-то говорила о тарелке с отбитым краем, которая после этого становится негодной. А ведь нечто подобное говорил и Петя перед смертью. Только не о тарелке, а о луне. Интересно, откуда это выражение известно вдове Пулаи? А еще она говорила, что иногда ей кажется, будто она сидит где-то наверху и смотрит оттуда на жизнь.

Знали ли мы Петю? В последний раз, когда Шагоди с женой были у нас, возник спор о столкновении фантазии с действительностью. Можно сказать, Моравец тяготел к романтике... И Марта как-то говорила, что для Пети жена была больше чем женщина... Я здорово устал в тот день, и мысли в голове как-то перепутались.

Машину затрясло мелкой дрожью. Я посмотрел на спидометр: стрелка показывала сто двадцать. Я сбросил газ. Черт бы меня побрал, нужно ехать осторожнее...

Да, если Моравец был романтической натурой, то Шагоди являлся сторонником реализма, холодной рассудочности и безжалостного здравого смысла. И в то же время, стоило товарищу попасть в беду, как он бросался помочь ему...

А что, если он делал это не от чистого сердца, а только потому, что так должны поступать джентльмены. Петя же всегда руководствовался велением сердца.

И вдруг мне в голову пришла мысль. Я съехал на обочину дороги и остановился. Почему Петя лечился у Каллаи? У того самого Каллаи, который пошел в медицинский, после того как его не приняли в авиационное училище. И ведь вдова Пулаи упоминала об этом. Но в первую очередь я решил встретиться с Катей...

Включив зажигание, я поехал, сосредоточив все свое внимание на дороге.

Шагоди в тот вечер не дежурил, и мне нечего было бояться, что он увидит меня читающим какую-то тетрадь — тетрадь, в которой Пулаи делал заметки о каждом курсанте.

На глаза попадались знакомые и незнакомые фамилии, но я искал свою. А когда нашел, несколько раз прочел все, что было написано о курсанте Иштване Денеше. Некоторые места я помню до сих пор: «...Дисциплинирован, спокоен, умеет владеть собой. Реакция — выше средней нормы. Приказания выполняет точно. Умеет дорожить дружбой. Командиров уважает. Однако характер не очень твердый, склонен к самоанализу. В боевой обстановке действует смело и решительно. В состоянии освоить самую совершенную технику. Недостатком является то, что подчас слишком углубляется в мелочи. Смело могу считать Иштвана Денеша одним из лучших моих учеников...»

Я закрыл тетрадь и попытался вспомнить годы учения в спортклубе, но, сколько ни старался, все казалось, что я был таким же, как остальные курсанты.

Как сильно Пулаи был влюблен в авиацию, можно заключить хотя бы из записей, которые он сделал в своей тетради. Что же он должен был чувствовать, когда навсегда распрощался с летным полем?

Я снова открыл тетрадь и, перелистав несколько страниц, наткнулся на фамилию Шагоди: «...Очень умный и талантливый... Воспринимает все легко, без особых усилий. Крепкие нервы и чуткие рефлексы... Если бы сейчас потребовался летчик для полета на Луну, я смело поручил бы это трудное задание Шагоди. Самолюбивый, но добрый, всегда готов помочь товарищам, которых любит... Один из лучших моих учеников... Замечательный летчик-истребитель для полета на сверхзвуковых самолетах. Грамотен в инженерном отношении. Кажется, для него не существует трудных заданий. Свободен от предрассудков...»

«Да, Пулаи неплохо разбирался в людях, не то что его жена», — подумал я и стал искать заметки о Моравеце. «...Страдает комплексом неполноценности. Никак не может переступить через какой-то невидимый порог. Авиация для него — цель жизни, и к этой цели он стремится всей душой. Так бедный юноша лелеет мечту стать королевичем, но она сбывается только в сказках. К сожалению, Чаба Кедеш постоянно давит на психику парня...»

А через несколько страниц: «...Вот в воздух взлетел ковер-самолет. Это летит мой ученик Петер Моравец: он переступил-таки порог. Я влепил ему оплеуху за своеволие, чтобы он больше так никогда не поступал. Интересно, почему он выкинул этот трюк? Какой дурак надо-

умил его? Ведь он был на волосок от гибели. Однако этот случай заставил меня посмотреть на Моравеца другими глазами. Может, до сих пор я был не прав в своих оценках? Может, он и есть мой самый талантливый ученик?»

На этом страница кончалась. Я перевернул ее и стал читать дальше: «Эти трое всегда вместе. Неразлучные друзья — Шагоди, Моравец, Денеш. Шагоди и Моравец— люди резко противоположных характеров и взглядов. Связующим звеном между ними является Денеш. Или же... Нет, подождите... Как-то они курили за ангаром и разговаривали. Я случайно услышал их разговор. Моравец, несмотря на свой возраст, все еще похож на студента, зачитывающегося до самозабвения романами Жюля Верна. Он полон фантазии, порывов и чем-то напоминает щенка, который радуется, когда с ним играют. Может, именно он и есть связующее звено. Нужно будет хорошенько присмотреться к нему...»

«До чего додумался этот Пулаи! — мелькнуло у меня в голове. — Перед таким человеком не грех и колени преклонить». В этой толстой общей тетради давались точные характеристики нашим ребятам. Думаю, она была не единственной.

Я прочитал запись на последней странице: «Не летать мне больше никогда. Зло берет, но не на ту неполадку, которая сделала самолет неуправляемым, а зло на самого себя. И нужно же было врезаться в этот сарай со спрессованными тюками сена, которое самортизировало удар самолета...»

Я невольно вспомнил слова вдовы Пулаи о том, что муж ее не мог жить без полетов и потому умер. Как хорошо, что она хранит в своем сейфе все, что осталось от Пулаи.

«...Я совершил грубую ошибку. Каждый человек может ошибаться, но такая ошибка непростительна. Я пришел к заключению, что у Шагоди неверное представление о некоторых понятиях. Он — человек-машина, которая руководствуется не теми импульсами, которые получает извне. Не знаю почему, но у него не все в порядке с понятием «верность». С тех пор как я ушел из авиации и поневоле заделался частником, я перестал для него существовать. Катя старается его оправдать, но ее слова нисколько не утешают, так как они не более чем болтовня. Бывают в жизни и большие разочарования... Напрасно я пытаюсь повлиять на Катю...»

И чуть дальше: «Мои ученики забыли меня. Я сам

виноват в том, что придаю такое значение понятию «верность». Единственный человек радует и утешает меня — это Моравец. Он по нескольку часов кряду просиживает у меня, частника, бывшего капитана венгерской Народной армии, летчика-истребителя первого класса. Мы пьем вино и беседуем. Он не упоминает о Кате, но я знаю, что он любит ее. И ничего не говорю ему: боюсь вмешиваться в чужую жизнь. Старею я, старею. Но ничего, я же мужчина...»

Я закрыл тетрадь, и мне стало стыдно, что я ни разу не навестил Пулаи после окончания училища.

8

Как-то, направляясь в Будапешт, я взял с собой Марту, чтобы она могла навестить отца. Врачи ничего определенного не говорили. Предполагали тромбоз мозга. Половину лица у тестя перекосило, рот съехал вниз, а один глаз был парализован. Правда, состояние его с каждой неделей улучшалось, и все мы надеялись, что тромб рассосется.

Однако этого не произошло. Более того, состояние больного вдруг резко ухудшилось. Он стал плохо соображать, все путал, хотя временами рассуждал вполне здраво — например, о политике маоцзедуновского правительства, которое довело народ до такого бедственного положения.

По выражению лица тестя я видел, что он потерял нить разговора и стал смотреть прямо перед собой.

Марта начала гладить ему руку, приговаривая:

— Хорошо, папа, хорошо, поспи немного, отдохни.

— Я не какой-нибудь... медведь, который ударился в зимнюю спячку... Ведь сейчас еще утро...

Мы с Мартой переглянулись: за окном было темно. Некоторое время сидели молча. Первым заговорил дядюшка Берци:

— Еще недавно Гитлер разграбил многие страны, а что из этого получилось? Да и что дают эти скачки? Большой скачок, а потом все лопнуло... Таким путем вперед не продвинешься... — И, посмотрев на дверь, тесть произнес: — Обед, что ли, приносили бы скорее...

Ночевали мы у тещи. Утром я сказал Марте, что мне нужно заскочить в министерство. А на прошлой неделе я заехал к вдове Пулаи, где мне отрегулировали тормоза.

Я вернул ей тетрадь, которую она мне давала почитать, и от нее позвонил Кате. Я думал, она самым решительным образом отклонит мое предложение встретиться, но, к моему огромному удивлению, она согласилась побеседовать со мной на квартире у матери. Встреча должна была состояться в тот же день.

Это была оригинальная квартира неподалеку от Цепного моста с видом на королевский дворец. В гостиной на стенах, завешанных восточными коврами, красовались старинные сабли, щиты. В комнате стояли вращающиеся кожаные кресла на никелевых подставках.

— Подожди, я сварю кофе, — сказала Катя и вышла, оставив меня одного.

Я подошел к стене и снял с ковра старинную кривую саблю. Вытащив ее из ножен, увидел, что лезвие безукоризненно. На нем красовалась непонятная надпись на арабском языке. Возможно, изречение из корана. И сама сабля, и эфес, и ножны — все было сделано с большим вкусом.

— Эту саблю папе подарил в Румынии один видный политический деятель, — вдруг услышал я за спиной Катин голос. — Папа любил такие вещи. А еще он любил музыку Бартока и фольклор... — Катя села в кресло, закинув ногу на ногу, и сказала: — Сейчас принесу кофе. Садись, Пишта.

А я все стоял, держа саблю в руке.

— В школе я не любила венгерский язык и математику. Я вообще неохотно училась. Да и что остается у нас в памяти от школьных знаний? Пичкают, пичкают, а проходит время — и ничего не остается...

— Народные сказки очень интересны. Порой они интереснее художественного произведения: ведь прежде чем они дошли до нас, над ними трудилось не одно поколение.

— Ну и что? Это интересно, любопытно, но не для всех. Меня, например, это не занимает.

Повесив саблю на место, я сел в кресло напротив Кати.

— Ты, наверное, думаешь, что в гибели Пети виновата я? А ты хочешь стать тем самым ангелом, который отомстит за него?

Я смотрел на нее с удивлением — это была совсем другая Катя. Злость, страдания, гордость — все это изменило ее лицо. Она сразу постарела, а в глазах появились недобрые огоньки. Она встала, подошла к окну и некоторое время молча смотрела на воды Дуная. Руки она

засунула в карманы платья, отчего спина у нее сгорбилась еще сильнее.

Я повернулся и стал смотреть на женщину, стоящую у окна, на фоне громады королевского дворца на горе.

— Ничего я не думаю. Петя был моим другом, и я, естественно, никак не могу примириться с мыслью, что его уже нет в живых. Только и всего. Но твоя мать сказала, что его убил Шагоди и что это ясно как день. «Петра убил Шагоди» — так она и сказала. Я не надеялся, что удастся поговорить с тобой... Я не верю в то, что у совершенно здорового человека, к тому же летчика-истребителя, ни с того ни с сего горлом пошла кровь. Наконец я просто хочу знать, что с ним случилось. И вовсе я никакой не карающий ангел.

— Да вы, я вижу, с ума посходили с этой мифологией. Мама говорит то же самое. — Она отвернулась от окна. — Я истязала себя до тех пор, пока не попала в санаторий для нервнобольных. — Она подошла ко мне ближе и, растопырив пальцы обеих рук, продолжала с таким видом, словно хотела броситься на меня: — Неужели ты не понимаешь, что мне некого было бить этими руками!

— А кофе у тебя не убежит?

— Сейчас посмотрю. — Она улыбнулась: — Извини, я тебя на минуточку оставлю.

— Пожалуйста.

Вскоре Катя вернулась и принесла кофе. Предложила мне закурить. Я закурил и ждал, когда она начнет разговор. Сцепив пальцы рук, она обхватила ими колено и, немного покачавшись, подалась вперед:

— Я тоже хотела встретиться с тобой. Но нужно было дожить до такого времени, когда я смогу говорить об этом ужасном случае, — начала она. — Ты, наверное, хочешь побеседовать обстоятельно... Вы, мужчины, не понимаете, что значит для женщины потерять двух мужчин. Первым оказался парашютист: он должен был стать инженером и вдруг погиб.

— Знаю. Парашют раскрылся с большой задержкой.

— Да. После него на моем горизонте появился Шагоди... Видишь ли, я любила Роби Шагоди.

— Парень смазливый...

— Я сейчас не об этом говорю. Бывает так, что женщина полностью подчиняет мужчину. Каждая женщина знает, полностью она его подчинила или нет. Шагоди просто не мог без меня жить.

— Он тебе сам говорил об этом или...

— Он не сентиментальная барышня, чтобы говорить об этом. Я сама это знала. Знала наверное. Да и он говорил... Каждый парень находит какие-то слова для девушки.

— Подожди-ка. Разве Петя не добивался тебя? Неужели ты не чувствовала, что он безумно влюблен в тебя? Еще тогда, когда мы были курсантами аэроклуба?

Катя пожала плечами:

— Петя... тогда... не шел в сравнение с парашютистом или... Шагоди... Да он с самого начала все испортил. Я потом думала об этом. Не могу тебе точно объяснить, но Петя был сама доброта... Именно этой своей добротой он все и испортил. У него была какая-то странная способность добром портить добро. Однажды, не помню, когда именно, мы с ним поругались и я сказала ему об этом: «Ты так входишь в дом, что тебе сразу хочется указать на дверь. Когда ты говоришь «Добрый день», тебе хочется ответить «Спокойной ночи».

— Но...

— Наберись терпения и выслушай меня до конца. Уж если мы начали об этом говорить, нужно сказать все. У меня есть на это право... А уж потом суди... — Катя закурила. — Помнишь, он даже по взлетной полосе не мог проехать как следует. Это после того случая... Папа тогда был белый как полотно. Я же готова была убить Петю. Представляешь, что было бы, если бы он врезался в землю? Отца затаскали бы... засудили...

— Разреши сказать мне несколько слов. Ведь он хотел понравиться тебе. Всех нас обскакал и доказал, чего он стоит.

— Именно так. Он так старался понравиться, что сразу же вызвал у меня антипатию вместо симпатии.

— Твой отец только после этого полета понял, кто такой Петер Моравец и на что он...

— Отец смотрел на это не так, как надо.

— Его записки, однако, говорят о другом.

— Ради бога, постарайся сохранить собственную точку зрения. Смотри на все это не так, как тебе хотелось бы, а так, как того требуют факты.

Что я мог возразить ей?

— Вскоре Петя действительно признался мне в любви. Я ответила ему отказом. Смотрела на него и думала: да как он осмелился на такое? Какой-то Петер Моравец, недоразвитый, маленький... Когда же он сказал, что я все равно буду принадлежать ему, я чуть было не сошла

с ума. Послала его ко всем чертям. Осенью вы поступили в летное училище, а мой жених разбился. Я его очень любила. Правда, смотрел он на меня немного свысока, словно я была ребенком. Этим я хочу подчеркнуть, что и с ним у меня не было бы безоблачного счастья, а может, и было бы... Ну да все равно, главное — мы любили друг друга. И вдруг он погиб. Я осталась одна...

— Я понимаю тебя. И потом, беда не приходит одна. В сентябре, помнится, случилось несчастье с твоим отцом...

— Да, так оно и было. А вскоре после этого у нас появился Роби Шагоди. Я и ухватилась за него, как утопающий за соломинку. Отец не раз говорил о его уме, образованности, таланте и смелости. Я же видела в нем еще больше достоинств. Отец был человеком замкнутым и очень строгим. Роби же любил производить эффект на окружающих. В нашем доме он появился тогда, когда был очень нужен. Я считала, что его послало само провидение.

Катя замолчала и посмотрела в окно. Только сейчас я по-настоящему начал понимать, какой смысл вкладывала она в слова, когда просила, чтобы я постарался сохранить собственную точку зрения. Выходит, она тоже старалась разобраться в себе, понять происшедшее. А сейчас она ждала, что я помогу ей разобраться во всем.

— Я не могу выразить словами, как мы любили друг друга, — продолжала она тихо. — Уже из-за того, что он дал мне всего за каких-то несколько месяцев, стоило жить.

— Скажи, а Петя в то время не появлялся?

— Появлялся. Но Шагоди очень просил меня ничего не рассказывать о наших отношениях, потому что очень симпатизировал Пете и не хотел его огорчать, а то он, чего доброго, забросил бы учебу. Я понимала Роби. А Пете я отказала: мол, у меня уже есть поклонник.

Он сказал, что подождет. Вскоре папа выздоровел, но работать на завод не пошел, а заделался частником. Шагоди стал реже бывать у нас. Отец как-то предупредил, что Роби двуличный человек и что надо быть с ним поосторожнее. Но есть в этом деле и другая сторона. Отец в то время был сердит на меня за то, что я не училась, и еще за многое.

А с отцом уже никто, можно сказать, не считался. Его орден ни на кого не производил впечатления. Все смотрели на него как на бывшего хортистского офицера, к

тому же мелкого частника, и потому в университет меня не приняли. Я, разумеется, ни в чем его не винила, но будущее мое было неопределенно.

Катя снова замолчала. Каждый из нас погрузился в свои мысли.

Через несколько минут она встала и подошла к серванту:

— Что будешь пить — коньяк или виски?

— Лучше коньяк, но совсем немного.

Мы выпили по рюмке. Катя налила еще и, обхватив рюмку руками, стала смотреть на золотистую жидкость.

— Для меня наступили серые будни, — заговорила она, словно обращаясь не ко мне, а к себе. — Я очень страдала. Казалось, счастье навсегда ушло от меня. И если бы Петя появился в этот момент... когда с Роби было покончено и я была свободна... я пошла бы за него замуж, нарожала бы ему детей и была бы верной женой. Но Петя тоже исчез. Он весь ушел в учебу, а может, думал, что нужно подождать. Моя мать тем временем нашла мне жениха. Звали его Густавом. Это был юрисконсульт с одного промышленного предприятия, уже далеко не молодой человек...

Катя замолчала и посмотрела на меня так, будто я о чем-то спрашивал ее, хотя я рта не открывал.

— Я искала человека, на которого можно было бы опереться, — снова произнесла она. — После гибели жениха-парашютиста, смерти отца, измены Шагоди состояние мое было не ахти каким. Слишком много несчастий сразу свалилось на мои хрупкие плечи. Для Густава же я была не больше чем игрушкой. Рассказывая о себе, он сообщил, что знает три иностранных языка, получил диплом юриста, серьезно занимался плаванием и даже выиграл как-то первенство страны. Разумеется, когда был молод. Теперь же он просто хотел пожить в свое удовольствие. Работа у него хорошая, много свободного времени. Он и меня устроил на хорошее место.

Однажды мне стало дурно прямо на работе. Я пришла домой и застала мужа с деревенской девкой, которую он подцепил в ресторане. Позже я узнала, что он не раз развлекался подобным образом, покупая девиц за деньги. Мы развелись...

Я взглянул на Катю совершенно другими глазами. Раньше я смотрел на нее, как на дочь Пулаи или как на жену Пети. Теперь же передо мной была женщина, которая многое пережила и считала себя ответственной за

смерть Пети. Мне стало ясно, что произошла самая настоящая трагедия. Жизнь одного человека тесно переплелась с жизнью другого.

— Не сердись, что я рассказываю тебе о мелочах. Я вполне откровенна, можешь мне поверить. — Она встала и принялась ходить по комнате.

Я смотрел на ее стройную фигуру. До меня только сейчас дошло, почему Петя был так влюблен в нее.

— С Петей я совершенно случайно встретилась в эспрессо. Тогда он был еще капитаном. Красивый, элегантный молодой офицер. Я подумала, что многое пережила и наверняка не обманусь в этом человеке. В первую брачную ночь Петю подняли по тревоге. У дома стояла дежурная машина. Он уехал, и я осталась одна. Лежала в постели и смотрела в потолок. Раньше, встречая на улице офицеров, стройных и подтянутых, я думала, что у них не служба, а мед, а денег куры не клюют. Выходя замуж за Петю, считала, что военно-воздушные силы — это своеобразная элита среди других видов вооруженных сил. И вот мы с Петей отправились на базу, и я увидела неприглядный военный городок и жен офицеров, которые заняты пеленками да приготовлением обеда. И все же я решила как-то приспособиться, прижиться. Однажды мы пригласили к себе гостей из Будапешта, но Петя в тот день не вернулся из полета из-за густого тумана. Он сел в другом городе и застрял там на трое суток. Меня мучил вопрос: зачем я здесь? Уж не затем ли, чтобы помочь мужу воплотить свои мечты в жизнь? Я должна была целый день сидеть дома и ждать, когда он вернется с дежурства. А если я сама хочу работать...

Катя остановилась и, повернувшись ко мне, посмотрела на меня долгим взглядом:

— В один из вечеров ко мне зашел Шагоди и попросил что-нибудь почитать. Петя как раз был на дежурстве. Роби поцеловал меня, и все началось сначала. Сопротивляться я не могла, да и не хотела. Мне с ним было слишком хорошо. Положение мое становилось невыносимым. Шагоди был для меня своеобразным зеркалом, в котором я видела посредственность мужа. Вернувшись после очередного дежурства, он устало садился в кресло и начинал чесать грудь — у него была такая неприятная привычка. Когда я бывала рядом с ним, он от счастья ничего не замечал вокруг. Ему казалось, что он всего добился, раз я стала его женой. И он хотел только одного — ребенка от меня. А я не хотела. Шутка сказать — родить

в тридцать три года! Все у меня складывалось как-то странно: короткие, но счастливые часы с Роби, а потом темнота. Так стоило ли связывать себя еще ребенком? А что стало бы с Петей, если бы он обо всем узнал? Короче говоря, я не видела выхода. Вернее, выход был один — развод.

Мы ссорились с Петей. Очень часто ссорились. Он никак не мог понять, что со мной происходит. Меня же раздражала каждая мелочь. Вскоре он внял моим настойчивым просьбам и перестал говорить о ребенке.

— В истории с собакой он тоже уступил, — заметил я.

— Да, и в этом он мне уступил. Вот видишь... Я с детства терпеть не могла животных. Петя же давал псу свою руку, и тот лизал ее. Они так радовались друг другу, а меня это злило. Когда Петя хотел погладить меня, я отскакивала и отсылала его мыть руки с мылом. Да что я тебе говорю? Петя долго терпел мои причуды, а потом запил с горя. А меня бесил даже запах палинки.

Однажды я узнала, что ему звонил Каллаи. Оказалось, Петя по секрету ходил к этому доктору — тот нашел у него язву. Петя решил во что бы то ни стало вылечиться, только бы Каллаи ничего не сообщал о его болезни в часть. Доктор в свою очередь потребовал, чтобы Петя перестал курить и пить. Меня ужасно злило, что он лечится не в военной поликлинике. Петя же боялся, что его отстранят от полетов. Он говорил, что у него в жизни только три радости: я, полеты и дружба, а если ему запретят летать, придется перейти в технари или стать преподавателем в училище, но и в первом и во втором случае неразлучная тройка распадется. Он прямо-таки обожал тебя и Шагоди. Я, разумеется, очень боялась, что он узнает о моей связи с Роби, хотела бежать куда глаза глядят и, наконец, заговорила о разводе. Он посмотрел на меня так, словно я сошла с ума, и произнес буквально следующее: «С тобой я чувствую себя Икаром, который хочет долететь до Солнца». Я оттолкнула его, сказав, чтобы он не болтал ерунды и не разыгрывал меня, что, если два человека не понимают друг друга, они должны мирно разойтись. Он достал бутылку коньяку и выпил половину. Я заплакала, сказала, что так он убьет себя, ведь Каллаи говорил, что даже самый здоровый человек, если он пьет, только внешне кажется здоровым, внутри же у него, как правило, все разъедено. Я стала пугать мужа, но никак не могла найти с ним общего языка. Так проходили недели, месяцы. Шагоди я об этом не могла расска-

зать, потому что знала — он сразу бросит меня, и тогда не будет того, что поддерживало во мне жажду жизни в этом аду. Но Шагоди сам все видел и знал, что Петя запил сильнее прежнего.

— Ты рассказала Каллаи о своих взаимоотношениях с Шагоди?

— Нет, об этом я с ним не говорила. Только о Петиной болезни. Ему этого было достаточно. Нужно было кончать эту историю. И вот я уложила вещи в чемодан и заявила Пете, что уезжаю к матери. В то самое утро и произошла катастрофа.

— Петя о Шагоди ничего не знал?

— Уверена, что нет. Я же говорю, он вас обоих обожал. А если бы знал, то это ничего бы не изменило.

Катя села в кресло, закрыла лицо руками и заплакала. Я не успокаивал ее, считая, что ей лучше выплакаться. Через несколько минут она взяла себя в руки. Вытерла платком слезы:

— Знаешь, Пишта, самое страшное во всей этой истории — что мое мнение о Пете со временем меняется. Сейчас, когда его нет, мне кажется, я могла бы любить его, быть ему хорошей женой, детей бы ему нарожала. Я начала понимать его доброту и тот сказочный мир, который он выдумывал. Но ужасно, что все это я осознала только сейчас.

Мне стало жаль Катю.

— Ты не могла сделать Петю счастливым, а Шагоди, пока это ничем не грозило ему, забавлялся тобой. Ты была полностью в его власти. Ты, а не он.

Катя вскочила, готовая взорваться:

— Ты думаешь, что трое друзей, как в лотерее, могут разыгрывать одну женщину. Ты и Петя знали, кому я должна принадлежать? Так, да? Что ты знаешь о любви, о ее страданиях? Ты такой же идиот, как...

Я встал и, демонстративно хлопнув дверью, ушел.

Вечером того же дня на аэродроме я разыскал Шагоди.

— Я был у Кати и разговаривал с ней, — сказал я.

— Ну и что?

— Ты не считаешь, что тебе следовало бы кое-что рассказать мне?

Шагоди задумался:

— Видишь ли... А зачем? Вряд ли мы поймем друг друга: у меня совсем иной взгляд на жизнь. Могу сказать только одно: Катя и Петя не были созданы друг для

друга. Катя стала бы моей женой, если бы не ее отец — старый, выживший из ума гусак, который все разрушил. Поверь, я ничего не мог сделать. Петя жил не на земле, а в мире иллюзий. А Катю я люблю...

Я не слышал, что он говорил дальше. В голове засели слова: «...Ее отец — старый, выживший из ума гусак...»

Я ударил Шагоди по лицу — он даже не пошевельнулся.

— Самонадеянный бабник, — выдохнул я, — вот кто ты такой.

9

Сплю я обычно мало. На рассвете мы уже сидим в своих «ястребках» в готовности номер один. По рации получаем приказ на взлет. Я надеваю кислородный прибор и захлопываю фонарь кабины.

Воздух чист и прозрачен. За ночь взлетное поле покрылось инеем. Постепенно сумерки рассеиваются, и силуэты ангаров и бензозаправщиков становятся более четкими. Горизонт делается пурпурным. Оглушительно ревут турбины. Пахнет бензином.

Я даю газ — и «миг» мчится по взлетной полосе. Меня вдавливает в кресло. Еще секунда — и машина отрывается от земли. Кругом безграничный воздушный простор. Впереди меня летит подполковник Черге, справа — Шагоди. Мы делаем большой круг. В воздух поднимаются все новые и новые машины. Вскоре весь полк оказывается в воздухе. Летим в боевом порядке.

Солнце уже взошло и теперь заливает светом всю землю. По радио передают команды, и я подтверждаю их прием.

Так начинаются осенние маневры. Из-за дальних холмов в боевых колоннах выползает танковая дивизия, готовая с ходу овладеть указанным ей рубежом. Наша разведка точно сообщила о местах сосредоточения «синих».

Мы начинаем пикирование на танки. Я чувствую, как растут перегрузки: несмотря на скафандр, тело сдавливают невидимые клещи, особенно сильно живот и шею. В прицеле — танк. Я выпускаю ракету. Ослепительная вспышка, потом дым на миг закрывает от меня цель. Я выхожу из пике. Машина послушна каждому моему движению, а вот сердце выдерживает с трудом: кажется, оно вот-вот выскочит из груди.

На вражеские танки заходят все новые и новые эс-

кадрильи «мигов». Разумеется, вместо настоящих танков на местности были макеты.

Но «синие» тоже не бездействуют: они обстреливают нас ракетами и снарядами из зенитных орудий, а чуткая кинофотоаппаратура фиксирует на пленке все «попадания». Поэтому после учений, на разборе, мы узнаем, кто из нас оказался сбитым, а кто уцелел. На обратном пути к аэродрому на нас нападают истребители «синих». Завязывается воздушный бой — опять-таки на кинофотоустановках. В ходе боя нам удается отбить нападение самолетов противника. А ниже наши вертолеты ведут борьбу с вражеской пехотой. Поскольку это только учения, ее участники не испытывают того страха, который вольно или невольно им пришлось бы испытать в настоящем бою.

На небе появляются легкие кучевые облака. Мы летим над ними. Над Карпатами — грозовые тучи. «Интересно, когда человека охватывает страх? — возникает у меня мысль. — То ли тогда, когда он чувствует, что над ним нависает угроза, то ли тогда, когда он пытается ускользнуть от нее? Как мы будем себя чувствовать, когда на нас вместо кинопулеметов будут нацелены ракеты?»

Под крылом самолета — сплошная облачность. Осень не за горами, а с нею частые дожди, непогода...

С чувством страха человек может не расставаться ни на минуту. Ну, например, если думать о том, что дом, в котором ты живешь, может рухнуть, а машину, на которой ты ездишь, неожиданно может сбить другая машина, то ни с того ни с сего заболеешь раком или тебя хватит инфаркт. Так чем же отличается летчик от человека, который не летает, а ходит по земле? Главное — держать себя в руках, не распускаться, не давать страху взять верх над здравым смыслом.

Но если на нас захотят напасть и уничтожить, тогда мы должны, обязаны защищаться. Обязаны защищать родную землю. Тогда-то я и мои товарищи — Шагоди, Черге и многие другие — поднимемся в воздух, чтобы сражаться за свой дом, за свою семью, за родной город — одним словом, за Родину.

Мы выполнили поставленную перед нами задачу и возвращаемся на базу. Впереди — Черге, справа от него — я, слева — Шагоди. Теперь мы с Шагоди бывшие друзья. Но когда мы поднимаемся в воздух, то становимся боевыми товарищами и между нами уже нет ни злости, ни ненависти, ни презрения. Сейчас мы летим на дозву-

ковой скорости, летим спокойно, и радиомаяк посылает нам свои сигналы. Черге первым сажает свою машину на землю, за ним Шагоди и я.

Я выпускаю шасси. Серая взлетно-посадочная полоса приближается с каждой десятой долей секунды. Еще мгновение — и за хвостом быстрокрылой машины раскрывается купол тормозного парашюта. Все внимание сосредоточено на стрелках приборов. Работают руки, ноги, мозг. А еще через мгновение машина спокойно катится по бетонной полосе. Стихает грохот турбины. Я снимаю кислородную маску. К самолету подбегают техники и делают то, что им положено делать. Пахнет резиной и бензином.

Я вылезаю из кабины, присаживаюсь на нижнюю ступеньку лестницы и усталыми движениями массирую лицо. Я уже нахожусь в совершенно другом мире — на земле, где все иначе, чем в воздухе. Я смотрю на медленно передвигающихся солдат, на ангары с открытыми настежь дверями, на плавно вертящуюся антенну радара. О недавних скоростях ничто уже не напоминает.

Ко мне подходит старший техник Барца и спрашивает:

— Ну как, все в порядке? Как турбина?

Я киваю. Капитан Береш проверяет вооружение. На минуту он выглядывает из кабины, сдвинув фуражку на затылок.

— Чего бы вы стоили без ракет и пушек? — садится он на своего любимого конька. — Надеюсь, вы наконец-то поняли, что ваша турбина только для того и существует, чтобы поднять вооружение на нужную высоту и доставить в нужное место...

Я направляюсь в душевую. Моюсь, переодеваюсь и иду домой. Дома меня ждет Марта. Я интересуюсь состоянием здоровья тестя. Оказывается, его снова увезли в больницу, снова хотят оперировать. Я машинально ем то, что подает жена, а мысли мои заняты танками, которые мы громили. Ни за что на свете не променял бы я службу в авиации на танковые войска...

Посмотрев передачу по телевизору, иду спать.

Утро следующего дня туманное. Небо затянуто серыми облаками. За окнами раскачиваются голые деревья. Соседнего дома уже не видно за пеленой густого тумана. Его может разогнать лишь сильный ветер. Но ветра нет. Нет и солнца. Не слышно рокота турбин. Лишь иногда между домами проползет грузовик.

Занятия идут строго по распорядку: в классах пилоты ломают головы над задачами из высшей математики, совершенствуют свои знания по специальности.

И так каждый день. Одни и те же лица. Одни и те же учебные классы. Одна и та же обстановка. Из классов все идут обедать в офицерскую столовую. За обедом пересказывают старые, уже не раз слышанные анекдоты. Ничего нового. Летчику-истребителю нелетные дни кажутся долгими, серыми, скучными. На земле он из орла превращается в черепаху.

Дома все те же разговоры. Врачи отказались делать тестю операцию. Решили подождать: чего, мол, вы хотите от такого старого человека? Марта на чем свет стоит ругает докторов, потому что для нее жизнь отца — самое важное.

— Если бы речь шла об их собственной жизни, они не были бы столь безразличны и инертны, — жалуется она.

Я ем суп и молча киваю, давая понять, что согласен с ней. Откровенно говоря, Марта своим бесконечным недовольством и жалобами стала раздражать меня. В конце концов, человек, вернувшись домой с работы, хочет отдохнуть.

Я уже открываю рот, чтобы защитить врачей, которые не в силах сотворить чудо, хотя через их руки прошли тысячи больных, но, спохватившись, закрываю его, не осмеливаясь высказать свое мнение жене. Марта смотрит на меня подозрительно. Чего доброго, примет мое молчание за безразличие к судьбе тестя. И, чтобы доказать обратное, я начинаю энергично поддакивать ей.

После ужина я опять смотрю телевизор. Потом ложусь спать. И вдруг в голову мне приходит, что сегодня, да и всю неделю, я ни разу не вспомнил о Пете.

АРПАД ТИРИ



ВЕРОНИКА

Повесть

На столе, под стаканом, лежит повестка с призывного пункта. Гербовая печать спряталась под стакан.

Петер Киш, зашнуровав башмаки, сидит сгорбившись и ждет привычного приступа ревматизма. Но спину почему-то не ломит.

Буквы повестки до боли режут глаза. Он знает текст наизусть, вот уже два дня мечутся в его мозгу строки: «...25 марта 1944 года, в восемь часов утра, вам надлежит явиться в военную комендатуру города Тапольца...»

Петер Киш чувствует нестерпимое одиночество. Стоит взглянуть на повестку, как все окружающее куда-то отодвигается, исчезает; мысли прикованы к одному: его посылают на фронт. Война отнимает у него все: и ревматизм, и сочувственные вздохи соседей и друзей, и два хольда каменистой земли. С сегодняшнего дня все принадлежит войне.

В сердце ужасная пустота. Жена Киша еще лежит в постели, освещенная розовым светом зари, сонная и теплая. А на столе эта проклятая повестка...

Петер открывает дверь в кухню — в обжитое тепло комнаты врывается холод. Он отступает назад, подходит к шкафу, протягивает руку — и застывает на месте, не решаясь снять с крючка свое старое зимнее пальто.

Взгляд его скользит по фигуре жены в постели, задерживается на повестке. Зачем ему, Петеру Кишу, идти на войну? Зачем? Кому нужны его ноги, неловкие движения его рук? Кому нужно, чтобы он стал несчастлив? А его жизнь? Почему ставят к пушке именно его, тридцатилетнего человека, бездетного, без всяких надежд на будущее, хозяина двух хольдов каменистой земли?

Этого он не понимает.

Вот уже два дня, как все плывет у него перед глазами. Два дня он не может успокоиться.

Андраш Телеки, сосед по улице, через полчаса постучится к нему в окно. Его тоже посылают на фронт. Двоих из села, не считая тех, кто ушел раньше. На столе у кривоногого Андраша лежит такая же повестка. Без четверти пять он сунет ее в карман, поцелует жену, обнимет такого же, как он сам, кривоногого сынишку, драчуна и забияку, и зайдет за Петером. Тихо и осторожно, словно пришел пригласить друга в корчму пропустить стаканчик винца, постучит он в окно.

И они пойдут, не зная куда и зачем.

Петера охватывает страх. Стоит выйти из дому, и конец. У них уже никогда не будет ребенка, а на сердце жены ляжет безысходная тоска. И никогда у него не будет серой лошадки, о которой он мечтал с детства. Не закусит он больше от зависти губу, стоя у окна и наблюдая, как сосед бренчит сбруей, не пойдет на базар с пустыми карманами и не будет прицениться к лошадям.

Ничего у него нет, только повестка и страх. Трудно шевельнуться. Трудно дышать. Трудно слушать эту немую тишину. Трудно снять с гвоздя пальто. И как трудно уйти из родного дома!

Жена поворачивается на другой бок, из-под одеяла видна полоска спины и бедро. Муж тянется за пальто, не отрывая от нее глаз. Ему хочется захватить с собой и Веронику, ее бедра, груди, коричневое родимое пятнышко на животе, запах ее кожи.

Он перекидывает пальто через руку и сразу же становится чужим. Повестка разделяет их. Он даже не обнял жену, только поцеловал, заменив поцелуем печальные слова прощания.

Вероника натягивает на грудь одеяло.

— Я провожу тебя до станции... — тихо говорит она, спуская ногу с кровати, и ждет. Ждет, что муж позовет ее.

А ему хочется кричать от боли. Кричать о том, как не хочется уходить, не хочется оставлять жену и этот дом. Ему хочется помечтать. Сесть вон там, в глубине сада, под грушей, повернувшись лицом к горе, над вершиной которой по вечерам, мерцая, светят звезды, и помечтать. Он не хочет быть солдатом, не хочет убивать русских, которые ему ничего не сделали.

Петер смотрит на жену.

— До станции далеко, Вероника... — с трудом цедит он сквозь зубы.

Вероника смотрит на мужа умоляющим взглядом:

— Недалеко... Скотину я после накормлю...

Муж медленно качает головой:

— Нет! — и садится к столу.

До отправления поезда полтора часа, до станции, если идти пешком мимо горы Гулач, час ходьбы.

Вероника плачет. Смущенно и беспомощно смотрит она на мигающий огонек керосиновой лампы.

Сегодня она первый раз встретилась с войной, которая незримо вошла в их дом. Костлявый, худой мужчина с пальто на руке, со сжатой в кулаке бумажкой с печатью олицетворяет войну.

Муж наклоняется над кроватью, даже не взглянув на жену, рывком срывает с нее одеяло.

— Не... не надо... — стонет она и, вздохнув, отпускает край одеяла.

Вероника дрожит, физически ощущая на себе взгляд мужа. Волосы ее разметались по подушке, словно несомые ветром легкие облака. Тяжелое, гнетущее молчание.

Она осторожно натягивает на себя одеяло и, словно боясь потревожить мужа, слегка касается его руки:

— А фронт недалеко отсюда?

Петер поворачивается на бок. Он вглядывается в лицо жены со следами высохших слез и молчит.

— Почему ты молчишь? Где фронт? Должен же ты знать, куда едешь!

— Говорят, недалеко.

Вероника с силой сжимает его руку:

— Где это — недалеко? Почему ты мне ничего не говоришь?

Петер пожимает плечами. У него нет сил говорить, но жена отчаянно трясет его за плечо:

— Ты что, не понимаешь? Где сейчас фронт? В России? Или ближе?

— Не знаю... Ничего не знаю...

Губы у Вероники дрожат.

— Почему ты ничего не знаешь?

Петер устало закрывает глаза:

— Говорят, к нам пришли немцы.

— Куда?

— Куда, куда — в Венгрию! Телеки вчера видел их в Тапольце...

Вероника слушает молча, потом тихо спрашивает:

— А это хорошо? Или плохо?

— Ничего я не знаю, — печально говорит он.

Нужно прощаться. Но как? Поцеловать, вздохнуть, взять в руки котомку, старенький солдатский сундучок и уйти? Обнять один, десять или сто раз? Да разве можно так просто распрощаться с любимым человеком?

Петер закрывает лицо ладонями. Закрывает глаза, вздыхает и ждет. Ждет, что свершится чудо.

— Вероника! — зовет он через несколько минут.

— Что?

— Жаль, что у нас с тобой нет детей...

Наступает тягостное молчание. В глазах у жены стоят слезы.

— Да... очень жаль... — тихо отвечает она. — Ты сам не хотел... Когда вернешься, будут... Правда, будут?

Склонившись над Вероникой, муж заглядывает ей в глаза и тоскливо говорит:

— Когда вернусь? Откуда? С войны не все возвращаются...

Долгая мучительная пауза.

— Муж Юлии Ваш каждую неделю пишет ей письма.

Кулак Петера с беспомощной яростью опускается на перину:

— А муж Аннуш погиб.

Вероника отстраняется, как от удара.

Петер встает с кровати:

— Если что, бросай все и езжай к отцу, в Халап. Там тебе будет спокойнее, да и я не буду так волноваться.

Вероника вскидывает голову:

— А что может случиться?

Петер не отвечает, стоит неподвижно, беспомощный и жалкий, потом с ненавистью поворачивается к иконе. Он больше не может. Хочется кричать, кричать изо всех сил — от боли, от ненависти и ярости. Хочется кого-то ругать, может, даже убить...

— Не понимаешь? Как тебе втолковать?! — кричит он. — Война ведь! А я на фронт еду, туда, где стреляют... Я не хочу ехать, понимаешь? Я боюсь! Мои друзья уже погибли там, а ты тут плачешь, лежа в постели! Ты что, не понимаешь, что я не хочу воевать? Эти русские мне ничего не сделали! — Он злобно рубит воздух ладонью.— Неужели ты не понимаешь, что и я могу погибнуть в окопе, как они... — Он останавливается, глядя на жену: — Может, ты рада будешь, а? — Он явно начинает терять разум. Наклонясь к жене, он говорит: — Русские придут сюда... русские...

Вероника бледнеет, смотрит на мужа, как на чужого,

словно этот незнакомый худой мужчина пришел сюда прямо из окопов. Она натягивает на себя одеяло.

Петер вне себя. Ему кажется, что кто-то невидимый больно сдавил ему горло. Нахмурив брови и прикусив губу, он смотрит на жену. Он понимает, как ей сейчас тяжело, но ничего не может с собой поделать. Охотнее всего он убил бы жену, чтоб не оставлять ее здесь одну. Захлопнул бы дверь домика, колом подпер бы калитку, сунул бы повестку в карман и пошел навстречу смерти.

Но он не может этого сделать.

— Ухожу, как побитая собака. Ребенка и то не родила вовремя!

Вероника не отвечает, всматривается в лицо мужа, но не узнает его. Все плывет у нее перед глазами.

Петер обеими руками держится за спинку кровати. Он так измучился, что не может выговорить ни слова.

Жена съеживается, поджимает к подбородку колени. Ей кажется, что она смотрит в лицо войне. Она больше не ждет, что муж подойдет и обнимет ее, поцелует, погладит по волосам. Не ждет, что он позовет проводить его, что скажет словечко, то одно-единственное...

А Петер кладет голову на спинку кровати и начинает ругаться. Человек по натуре суровый, он за пять лет совместной жизни ни разу не обидел ее грубым словом, и вот...

Женщина тихо плачет. Вчера вечером, когда сумерки окутали землю, они лежали в постели и молча всматривались в темноту.

Ночью Вероника спала беспокойно. Ей снилось, будто Петер вдруг вскочил с кровати, разорвал повестку и, схватив в руки топор, встал у двери. Он смотрел на жену и бормотал, что ни за что на свете не пойдет на фронт, что хочет принадлежать только ей, Веронике, а не этой проклятой войне.

Это был сон.

Петер устало садится на стул — порыв ярости вспыхнул и угас.

Вероника глотает последние слезы и боязливо спрашивает:

— Как же я могу уехать в Халап? А с домом что будет?

— Пусть пропадает. Лишь бы с тобой было все в порядке, — тихо вздыхает Петер.

Жена с благодарностью глядит на мужа, бледность

сходит с ее лица. Она даже улыбается, но заговорить не решается...

Поженились они пять лет назад. У Петера тогда был один-единственный костюм и два хольда скудной каменистой земли. Вероника получила в наследство дом. Они очень любили друг друга. Имущества у них с тех пор почти не прибавилось.

Петер Киш знает, что должен что-то сказать жене, прикоснуться к ее волосам, погладить, утешить, сказать, что по ночам будет приходить к ней во сне и обнимать. Он должен сказать ей, что когда-нибудь война все-таки кончится и он вернется домой. Приедет на украшенной разноцветными лентами подводе, запряженной двумя лошадьми. Эх, мечты!

В окошко тихо стучат.

— Петер, ты готов? — спрашивает с улицы кривоногий сосед.

— Иду.

Петер поднимает деревянный сундучок, но тут же ставит его на пол и молча глядит на жену. Так и не успел ничего сказать ей. Он подходит к кровати, наклоняется. Жена тихо плачет. Просунув руку ей под шею, он неловко, стыдливо ее целует. И сам плачет без слез.

Потом неожиданно выпрямляется, сует повестку в карман, берет деревянный сундучок и, еще раз оглянувшись, выходит из комнаты.

В сундучке все его состояние: немного продуктов на дорогу, пара нижнего белья. Дует сильный ветер, а Петер слышит только рыдания Вероники, и ему кажется, что рыдает вся вселенная.

Так год назад, 25 марта 1944 года, Петер Киш уходил на фронт.

Сейчас он медленно бредет меж грязных, словно покрытых ржавчиной камней. Идет осторожно, неторопливо. Над головой хмурое небо, по краю озера блуждают, переливаясь, утренние блики.

Петер Киш идет шатаясь, наклонившись вперед: так легче, когда ноги скользят по глинистому грунту. С одной стороны — длинное свинцовое озеро, с другой — узкое шоссе. Он идет с того берега озера. Идет домой.

Вчера Петер Киш сбежал со своей батареи. Теперь он дезертир.

Он останавливается, наклоняется, поправляет сбившуюся в грубом солдатском башмаке портянку. Нужно спешить: сзади наступают русские, впереди — немцы.

В промежутке между ними и пробирается домой Петер Киш. Вещмешок то и дело съезжает ему на шею.

Сбежал он из третьей батареи, в которой служил целый год. Теперь у него ничего нет, кроме собственной тени. В руке зажата тонкая сухая веточка, которую он сломил по дороге. За спиной вещмешок, в нем полбуханки солдатского хлеба, три банки консервов и несколько пачек подмокших сигарет.

Он прошел через ад и чистилище, прошел долгий и кровавый путь, а теперь чувствует себя очистившимся. Кажется, он стал даже выше ростом и худее. Лицо — кожа да кости, и на нем застыло какое-то холодное выражение. Страха и уныния уже нет. Все это осталось на огневой позиции батареи.

Девять месяцев назад Петер впервые дернул за запальный шнур гаубицы. С тех пор он ничего не чувствует. Грохот первого выстрела навсегда остался в его памяти. С того дня Петер стал таким же желтым, как пороховой дым.

Петер идет не оглядываясь. Да и зачем? С противоположного берега озера доносится грохот артиллерийской канонады — русские неудержимо продвигаются вперед.

Товарищи Петера все еще стреляют. Дергают за запальный шнур и безучастно ждут. Когда артиллерия противника накроет их огневую позицию, все потонет в рыжем дыму. Потом дым рассеется, но вокруг уже ничего не будет.

А до тех пор придется стрелять — заставят.

Унтер-офицер, наверное, уже заявил об исчезновении рядового Петера Киша, который дезертировал вечером. Рано облысевший командир орудия только покачает головой и безнадежно махнет рукой. Он и сам бы сбежал, но куда?

За спиной Петера Киша ревет грузовик. Впереди, метрах в пятидесяти, сложен в кучу тростник. Нужно успеть добежать туда, пока машина не вынырнула из-за поворота. Машина — это смерть.

Петер бежит большими скачками. Если добежит вовремя, он спасен.

Как глупо искать убежище именно здесь, между озером и шоссе! Если бы он пошел через виноградники, это

было бы надежнее, но для него озеро почти как друг. Когда Петер жил в деревне, то каждый вечер приходил на берег, садился и слушал спокойные вздохи воды, подолгу смотрел на пенистые кружева пены после бури.

Но сейчас он должен бежать. Одно неверное движение, малейшая задержка равносильны смерти.

С Петера льет пот. Осталось двадцать пять метров.

Худая грудь его, искусанная вшами, глубоко вздымается. Тень бежит следом за ним. Еще метров пятнадцать.

Петер спотыкается о камень. Хватается за ветку дерева, жадно глотает воздух и снова бежит. Грузовик грохочет у него в груди. Машина уже на повороте. Еще пять метров.

Из-за поворота выныривает немецкий грузовик.

Последний, нечеловеческий прыжок, и Петер валится на ворох тростника. Он закрывает глаза — гудение грузовика способно убить. Ему кажется, что колеса передвигаются по его плечам, переваливаются через ребра. Неужели это конец?

В этот момент все собираются вокруг Петера: смертельно раненный товарищ, которого он оставил у двуглавой церквушки, не донеся до перевязочного пункта метров сто, бородатый командир, Корчог, Салаи, вечно спящий Кантор, командир дивизии со вставными зубами.

Петер ждет. Машина ревет. Ее рев, кажется, заполнил весь мир. Так можно ждать только смерти. Закрыв глаза и распластавшись на тростнике, Петер лежит в пяти километрах от Вероники с отчаянием в душе и беспомощно сжатыми кулаками.

Машина проскакивает мимо как олицетворение смерти. Петер Киш открывает глаза. На щеках у него застыли две слезинки.

Он с трудом приподнимается и идет. И снова с одной стороны — длинное серое озеро, с другой — прямое шоссе. Пройдя немного, Петер осторожно осматривается. Шоссе усеяно свежими мягкими комьями земли: полчаса назад здесь прошла немецкая танковая колонна. Несколько секунд Петер лежит в канаве, затем быстро перебегает через шоссе.

Отсюда уже видно сторожку обходчика. Петер Киш смотрит вперед, только вперед. Он впивается глазами в будку железнодорожника, в тростник на берегу озера, словно хочет запомнить все это навсегда и унести с собой.

Год назад Петер таким взглядом смотрел на Веронику, к которой сейчас идет. Смотрел через открытую дверь в

потонувшую в предрассветных сумерках комнату, а сам доставал пальто из шкафа.

Петер карабкается по узкому хребту холма, бредет по тропке среди виноградников. Временами он поглядывает на озеро, но оно теперь скрыто от него туманом, который сверху, с холма, кажется довольно плотным. Шоссе словно вымерло. Лишь иногда по стертым булыжникам пронесется заяц или пробежит голодная кошка в поисках какой-нибудь еды. И только недовольное ворчание пушек разрывает весеннюю тишину.

Петер смотрит вперед. Все время только вперед. Отсюда, от изваяния святого Антала, что стоит на краю поля, до его дома километра четыре.

В легких свистит воздух, дышать тяжело. От плеч до ступней ног по всему телу разлилась тяжелая усталость. Киш чувствует себя сиротой, бедным, всеми брошенным сиротой. У него одна мечта — добраться до дому.

Остановившись перед угрюмым каменным изваянием, омытым частыми дождями, он по привычке осеняет себя крестом. Смотрит на лик каменного святого, у ног которого завяли прошлогодние осенние цветы.

За год здесь ничего не изменилось. Изваяние, как прежде, смотрит в сторону озера, повернувшись спиной к акации: серые холодные пальцы крепко сжимают каменный крест, а у ног высечены каракули букв.

Петер находит плоский камень и садится. Отдыхая, он смотрит на озеро, которое отсюда, сверху, напоминает белесую морскую гладь, на струящийся волнами туман, на будку обходчика. Который сейчас час, Петер не знает. Часов у него нет, а небо затянуто облаками. Тишина. Застывшая, неподвижная тишина. Вещмешок выскальзывает из рук Петера.

Знакомый запах, запах родного дома. Его чувствует только тот, кто возвращается домой из дальних краев. Да, только тот. За горой село, а в нем домик с обветшалой крышей, огороженный забором из реек. А в домике — жена.

В зарослях акации, позади распятия, кто-то катает по шоссе камушки.

Солдат поднимает глаза.

На краю рощицы, прислонившись спиной к дереву, стоит мальчуган в длинной, почти до пят, железнодорожной шинели, с давно не стриженными волосами и удивленными синими глазами. В руках он вертит хворостинку, а сам не спускает глаз с солдата. Мальчик ждет.

Петер с любопытством рассматривает маленького бродягу. Подозрительный и недоверчивый, он чуть заметно манит ребенка к себе.

Мальчуган, придерживая шинель за полы, как женщины юбку, подходит поближе.

«Бродяжка, дитя войны», — думает Петер. Таких он видел тысячи на дорогах от Карпат до Балатона.

— Поди сюда, сынок!

Мальчик осторожно переминается с ноги на ногу. Подходит ближе, но все еще не сводит настороженного взгляда с солдата.

Петер улыбается, ласково смотрит на ребенка с голодными глазами и лезет в вещмешок:

— Боишься меня, а? — Он достает банку консервов и протягивает мальчику: — Есть хочешь?

Мальчуган пожимает плечами, все еще изучая внимательным взглядом солдата, его грязную, истрепанную одежду, заросшее щетиной лицо и тощий вещмешок. Потом оглядывается, измеряя расстояние до будки, смотрит настороженно, с подозрением, прежде чем заговорить, закусывает губу и подается назад:

— А у вас, дядя, нет винтовки?

Петер поражен. На миг он чувствует себя как бы голым, тихо кашляет, словно стыдится ребенка, затем неожиданным движением бросает банку:

— Лови, малыш!

Мальчик ловит банку, крутит ее в руках, с любопытством разглядывает, а потом по складам читает надпись.

— Казенная? — спрашивает он после небольшой паузы, словно заговорщик, и прячет банку под полу шинели.

— Да.

Мальчуган понимающе кивает, снова лезет под полу, вынимает банку и, любуясь ею, крутит в руках. Снова по складам читает надпись, поглядывая на солдата. На узком, худом личике играет бледная улыбка.

Солдат нравится мальчугану.

— Свинина?

— Она самая.

Мальчуган кладет банку на землю. Найдя большой камень на обочине дороги, подкатывает его к распятию и садится неподалеку от солдата. Банку с консервами он ставит между ног.

— Малыш, не садись на дорогу! — бормочет солдат, покачав головой, и начинает искать в вещмешке отсыревшие сигареты.

Мальчуган, махнув рукой, объясняет:

— Здесь никто не ходит.

Оба молчат. Кругом тихо, только со стороны озера доносится ленивый рокот волн. Петер закуривает отсыревшую сигарету и задумчиво смотрит на худое лицо мальчугана.

Этот мальчуган — первый человек, с которым он повстречался в родных краях после годового отсутствия. Нужно будет расспросить его, есть ли в деревне немцы, целы ли еще дома под обветшалыми крышами, стоит ли по вечерам, прислонившись к окну и глядя на знакомую тропинку, его Вероника.

Мальчуган замечает, что солдат смотрит на него долгим встревоженным взглядом. И мальчик смущенно поглядывает на Петера, гоняя палочкой камешки на дороге.

— Дядя, вы куда идете? — боязливо спрашивает он.

— Домой.

Мальчик понимающе кивает. Долго что-то обдумывает, потом начинает обкладывать банку с консервами камешками — играет.

— А где ваш дом, дядя?

— Там, за горой. В той деревне... — неуверенно машет рукой в сторону горы Петер.

Мальчуган, сдвинув брови, смотрит на гору, словно пытается увидеть ту деревню. Потом вздрагивает, поднимает воротник толстой шинели:

— Вчера оттуда ушли последние солдаты. Прошли мимо будки...

Петер вскидывает голову:

— Откуда?

— Из той деревни... за горой...

Солдат молчит.

А как раз сейчас нужно бы спросить, кто они, эти солдаты, сколько их было и почему они ушли. Скольким женщинам вскружили они головы? Бывал ли когда-нибудь мальчик в соседней деревне? Знает ли жену Петера Киша, Веронику? Видел, как она легким шагом идет к колодцу за водой? Видел ее круглые синие глаза и цветастый платок, который легкий ветерок вздымает над густым пучком волос? Слышал ее голос? Знает ли домик, огороженный забором из реек? Видел ли старую грушу, что растет в самом конце двора?

Солдат поворачивается к ребенку:

— Малыш, ты, случайно, не слышал, есть в деревне немцы?

Мальчуган задумчиво смотрит куда-то вдаль и медленно качает головой:

— Нет там никаких немцев. Ушли они все на Халапскую гору, оттуда будут стрелять в русских. Вчера начальник станции из Фюреда рассказывал, приезжал сюда на дрезине, а уж он-то знает...

Петер отворачивается:

— Ты сам-то откуда?

Мальчуган показывает в сторону озера:

— Вон там стоит будка.

— Твой отец обходчик?

Мальчик, опустив голову, медлит с ответом. Исподлобья смотрит на солдата. Губы его дрожат, на лоб набегают морщинки. В один миг он вдруг состарился.

— У меня нет отца... — тихо говорит он. — Отчим... там, в будке.

— А что случилось с твоим отцом?

Мальчуган еще ниже опускает голову:

— Ушел на фронт...

Петер Киш, сразу подобрев, ласково смотрит на маленькую, хрупкую фигуру. Мальчик весь съежился на своем камне. Его худые плечи, словно обломанные крылья птицы, обвисли под шинелью. В больших глазах застыла печаль.

Мальчуган встает, подкатывает камень поближе к солдату и садится с ним рядом. Протягивает ему консервную банку:

— Откройте мне!

Петер лезет в карман за ножом. Лезвие легко режет тонкую жесть, и мальчик с немым восторгом смотрит на сильные загорелые руки солдата:

— А вы, дяденька, тоже с фронта?

Нож в руках Петера замирает. Он холодно кивает. Мальчик переводит взгляд на его солдатские башмаки.

— Мой папка тоже когда-нибудь вернется домой, — печально вздыхает он и неловким движением проводит рукой по шинели солдата.

Петер режет хлеб, ставит перед мальчиком консервы, кладет ломоть хлеба и рядом ножик:

— Ешь, сынок...

Мальчуган с удовольствием уплетает консервы, потом спрашивает:

— А у вас, дядя, есть сын?

Петер отрицательно качает головой.

— А дочка?

— И дочки нет.

Мальчуган удивленно смотрит на него и слегка пожимает плечами, засовывая в рот большие куски холодной свинины.

Петер удобно вытягивает ноги, закуривает:

— Сколько тебе лет, малыш?

Мальчик заговорщически смотрит на него:

— Двенадцать будет.

— А как тебя зовут?

— Тони. — Наевшись, мальчуган кладет нож и отодвигает от себя консервы. Поворачивается к солдату, с улыбкой смотрит на него: — Дяденька, вы поторопитесь, а то скоро они тут будут.

— Кто?

— Русские. Вчера начальник станции из Фюреда говорил, который здесь был. А мой отчим сказал, что лучше убраться отсюда, а то русские заберут детей...

Молчание. Через несколько секунд мальчик снова обращается к солдату:

— Дяденька, вы, наверное, знаете... Правда, что русские увозят детей?

Петер Киш недоуменно пожимает плечами:

— Да ну, что ты...

Тони задумчиво теребит край вещмешка. Губы его дрожат, лоб в мелких морщинках, которые делают его намного старше.

Над стройными деревцами повисли белые хлопья тумана. Кругом слишком светло, и это гнетет. Гора в тумане кажется громадной. Вершины ее совсем не видно. Может, она достает до самого неба, а склоны ее касаются склонов другой горы?

Башмаки Петера скользят по слипшейся листве и влажным камням. Иногда он оглядывается, стараясь сквозь голые ветви деревьев увидеть озеро, но туман скрывает его.

Петер один на горе. Мальчуган в своей длинной шинели остался у изваяния святого Антала. Они простились. Мальчуган, прижимая к себе банку консервов, долго смотрел вслед высокому странному солдату, смотрел и думал, что у его отца была такая же походка и он тоже никогда не оглядывался.

Петер Киш прислоняется к дереву. Отсюда до деревни километра три. Дойдет ли он? Когда шагаешь в одиночестве, путь всегда кажется длиннее. А может, нет на свете ни родной деревни, ни Вероники, а все это только плод его взбудораженного воображения и глупых иллюзий?

Впереди — отступающие немцы, сзади — наступающие русские. Перед ним — родное село, за спиной — война. И то, и другое такое далекое-далекое, а кажется, протяни руку — и сквозь туман дотронешься пальцами до калитки родного дома.

Живы ли соседи? Осталось ли все таким, как было год назад, неподвижным, словно застывшим в ожидании? Приманивает ли старик Чутораш с утра до вечера чужих голубей, а господин Пал, лавочник с пятнами на лбу, дает ли еще в долг беднякам? Живы ли старый Шойом и Эстер Мольнар, старая барыня, к которой Вероника ходила на поденщину?

Петер Киш вертит в руках кривую ветку. На фронте он видел много сожженных русских сел. Жители их, словно окаменев, стояли у своих домов — бородатые крестьяне, изможденные женщины, старики с выцветшими глазами. Пепел пожарищ поднимался до самых туч, даже воздух, казалось, потрескивал. Пожар рассыпал черные головешки, с домов сползала раскаленная черепица, в самоварах закипала вода, а на следующий день в канавах валялись обгорелые трупы.

Петер Киш сжимает лицо ладонями.

Сейчас март, а последнее письмо от Вероники он получил в конце ноября.

Свинцом наливаются ноги, тяжесть ложится на сердце.

Дерево, к которому он прислонился, стройное и сухое, а верхушка, кажется, вот-вот проткнет небо. Петер узнает это дерево. И другое тоже. И следующее. Он хорошо знает их низкие кривые ветки, за которые хватался рукой, перебираясь через канаву, когда ходил к озеру. Рядом Гулач. Справа проходит Кекутская долина, поросшая высокой травой, дальше — Шалфельдский холм с большими гладкими базальтовыми плитами на склоне, а слева виднеется коричневая лысина горы Святого Дьердя.

Перед ним, в долине, родное село. Сто двадцать дворов примостились на склоне. Обрывы, головокружительные тропки нависли над самым селом. Везде камни, гра-

вий. А сама однобокая долина похожа с горы на овраг. В селе всего пятьсот жителей.

Последнее письмо Вероника написала в конце ноября, в нем она снова спрашивала мужа: «Милый, когда же кончится эта проклятая война?»

Петер прислушивается к тишине. С гор разносится сердитый лай пушек, но он слышит только стук своего сердца.

Не нужны Петеру ни подвода, украшенная цветными лентами, ни прекрасные сны, ни пара серых лошадей. Ничего ему теперь не нужно, кроме домика, обнесенного забором из реек, да жены. А еще нужна ему кисточка для бритья, которой он намылит щеки, когда вернется домой. Направит как следует бритву на старом ремне, встав перед зеркалом, побреется и только тогда поверит, что дома.

Петер одергивает на себе одежду, словно уже стоит на пороге родного дома, и торопливо идет дальше. Идет все быстрее и быстрее. Он спешит, бежит, мчится, делая большие прыжки, мелькая между деревьями. Котомка раскачивается у него на боку из стороны в сторону, ветки деревьев больно хлещут его по лицу, ноги то и дело скользят, а он все бежит и бежит.

Миновав заброшенную каменоломню, он бежит по склону горы, поросшей акациями. Бежит, не замечая, что ноги сводит судорога, а в горле так пересохло, что трудно дышать; котомка больно бьет его по боку.

У каменоломни под канатной дорогой Петер вдруг замечает, что кто-то стоит между деревьями. Человек то нагибается, то разгибается — темное пятно в тумане.

Обхватив ствол дерева и прижавшись к нему, Петер Киш ждет, затаив дыхание. Кто бы это мог быть? Солдат? Может, кто-нибудь с их батареи шел по его следам? Или это жандарм, засевший в засаду и следящий за ним? Неужели его хотят схватить сейчас, в последний момент, в двух шагах от дома? Кто этот человек? Кто отважится стать у него на пути? Кто на этом свете имеет право отослать его обратно на батарею и заставить снова дергать запальный шнур?

Нет. Обратно он не вернется.

Нервным движением Петер лезет в вещмешок и сжимает в руке банку консервов. Если что — он ударит. Ударит каждого, кто станет на его пути и захочет помешать ему вернуться домой.

Он уже не дрожит. Назад пути нет. Он вернулся до-

мой, и никто не может убить его, никакая сила на земле не может уничтожить его теперь. Несколько минут Петер осторожно, словно зверь, следит за незнакомцем. Затем крадучись подходит ближе и прячется за дерево.

Между двух голых акаций копает яму толстый мужчина в черном пальто, по виду явно не солдат. Копает быстро, отбрасывая землю в кучу.

Петер Киш нетерпеливо следит за каждым движением толстого мужчины в черном пальто, по лица его не видит. Могилу он копает, что ли? Или закапывает свое добро? А может, роет убежище? Односельчанин или чужой?

Петер потихоньку подкрадывается ближе, узнает человека в черном и с облегчением вздыхает. Это Балинт Каша, тесть сельского лавочника, круглолицый, с большим ртом и длинными желтыми зубами, которые он всегда скалит, когда смеется. Рядом со школой стоит его низенький дом с подслеповатыми окнами, под горой Чобанц у него десять хольдов виноградника, а в конце долины — восемь хольдов пашни.

Все это принадлежит Балинту. Но человек он хороший, хоть и богат. Его зять, господин Пал, часто давал Веронике в кредит продукты, когда она приходила в лавку. Она редко получала от старика поденную работу, зато он никогда не припирал ее в угол подвала и не приставал к ней, как другие. А ему, Петеру, еще в детские годы старик разрешал взбираться на старого Гидрана, полуослепшего коня.

Что ему надо в этой рощице?

Петер Киш не боится. Если Балинт Каша нападет на него, он ударит его. Ему тридцать один, а тестю лавочника — пятьдесят. Он толстый, неповоротливый. Такого можно одолеть.

Петер спокойно подходит к старику, крепко сжимая в руке консервную банку и зная, что легко справится с ним. У него есть преимущество: он будет нападать, а тестю лавочника придется обороняться.

Тихо и загадочно шуршит прошлогодняя листва.

Старик, нажав ногой на заступ, поддевает ком земли, бросает его и вдруг улавливает какой-то подозрительный звук. Он вздрагивает, затем осторожно поворачивается на шум.

Петер Киш останавливается у дерева и сверху вниз смотрит на Балинта Кашу. Старик подается назад, вы-

ставляя вперед лопату. На лбу у него выступает пот, жирные складки на лице чуть заметно дрожат, и весь он становится серым, как брошенная на песок пустая бутылка. Страх старит его еще больше. Из-под шапки на ухо сползает прядь седых волос, из открытого рта торчат редкие желтые зубы.

Позади старика длинный, весь в наклейках, ящик. Он осторожно пятится к нему, не спуская ни на секунду взгляда с Петера, взгляда пристального, подозрительного.

Проходит минута, две минуты.

Старик все еще не узнает солдата. «Дезертир», — дрожа от страха, думает он и с силой сжимает лопату в руках.

Глаза у солдата как штыки. Такой может убить. Дезертир способен на все. В руках он держит блестящую консервную банку. Грабитель? Хочет отнять ящик? Нет, старик не отдаст его... Убьет солдата, но не отдаст. Нужно ударить, ведь у солдата нет винтовки... Правда, в кармане у него может оказаться пистолет, а эта банка... Может, это настоящая ручная граната?

Балинт в состоянии нервного потрясения. Пот заливает ему глаза, щиплет кожу, но он не шевелится, чувствуя, что одно неосторожное движение может стоить ему жизни.

Почти как на войне.

Петер чувствует, что старик боится его. Он видит, как подрагивает заступ у него в руках, и тут же успокаивается, но с места не двигается.

— Добрый день, господин Каша! — холодно здоровается он, недоверчиво глядя на старика.

Тесть лавочника вздрагивает, удивленно открывает и закрывает рот. Любопытным взглядом сверлит угловатую фигуру небритого солдата, но все еще не узнает его. Он силится что-то припомнить, но не может.

Петер Киш подходит ближе:

— Не узнаете? Забыли Петера Киша? Ну? Мужа Вероники Патко...

Старик в упор смотрит на солдата. Взгляд его скользит по лицу земляка, восстанавливая по отдельным чертам знакомый облик.

Однажды он видел Петера в корчме, когда тот дрался с односельчанами. Тогда он смотрел так же холодно, беспощадно на своего противника. Как-то Каша заходил к Кишу сказать, чтобы Вероника приходила на поден-

щину. Тогда он стоял у калитки такой же печальный, опустив плечи, а однажды сам зашел в лавку зятя попросить товара в кредит, и голос у него был таким же унылым, как сейчас.

Да, это, конечно, он, только похудел немного, и под глазами у него залегли глубокие тени.

Старик с облегчением вздыхает:

— Так это ты? Не сразу я тебя узнал... — обрадованно бормочет он, втыкая заступ в землю, и садится.

Петер подходит ближе. Банку консервов он опускает обратно в вещмешок и, кивнув в сторону отрытой ямы, спрашивает:

— Что, клад ищешь?

Старик снизу вверх глядит на него и долго не отвечает. Он подозрительно рассматривает солдата, словно все еще не верит своим глазам, потом усмехается и хлопает ладонью по ящику:

— Поможешь? Хочу закопать этот ящик...

— Закопать?

— Да.

Петер, прислонившись к дереву, с удивлением смотрит на старика — уж не шутит ли он с ним?

— А что в ящике-то?

Старик некоторое время молчит, словно размышляет.

— Одежда, — отвечает он наконец, — барахлишко.

— Одежда?

— Да.

Солдат подходит ближе. Остановившись перед Балинтом, показывает на ящик и спрашивает:

— Присесть можно?

Старик неохотно кивает и подвигает руку к лопате: а вдруг все же придется защищаться?

Петер смотрит на тестя лавочника долгим безжалостным взглядом, потом пересаживается на другой край ящика, трогает толстые доски рукой и удовлетворенно кивает:

— Крепкий ящик... Из лавки?

— Да.

— Значит, говоришь, барахлишко?

— Ну да...

Снова долгое недоверчивое молчание.

— Тяжелый? — осторожно спрашивает Петер Киш.

Балинт кладет ладонь на ручку лопаты и угрюмо смотрит на Киша:

— Вдвоем справимся.

— На чем привезли-то?

Старик показывает рукой в сторону кустарника:

— Тачка там у меня... Чуть было не надорвался.

Солдат опять рассматривает и ощупывает ящик:

— Да, тяжелехонек... Что же зятя на помощь не позвали?

Старик враждебно моргает:

— У него и без того дел хватает. Вечером немцы ушли из деревни, теперь они у Диселя. Окопали пушки и ждут, когда русские перевалят через гору. Плохо нам придется...

Петер роется в вещмешке. Достает две отсыревшие помятые сигареты. Одну протягивает старику — тот взглядом благодарит его.

Оба молча курят.

Балинт Каша все еще обеспокоен. Он знает семью Петера Киша. Знал его отца, пока тот не переехал в Халап. Жену Петера он каждый день видел на улице или в лавке, но сейчас этот человек пришел издалека. Год назад он уехал отсюда на фронт, и кто знает, каким он стал за это время. О дезертирах чего только не рассказывают.

Петер ждет, что скажет Каша. Сам ничего не спрашивает. Кто знает, каким стал за это время Балинт Каша. Возьмет да и выдаст его жандармам или гитлеровцам. Надо набраться терпения и спокойно ждать, хотя каждая минута кажется ему часом. Заговорит же наконец старик. Неужели не расскажет, что натворили в селе фашисты, что стало с Вероникой, какой урожай был в прошлом году и кто из друзей Петера погиб на фронте? Нужно только подождать.

Петер смотрит на толстого старика, сжимающего рукой черенок лопаты, и ждет, когда тесть лавочника нарушит молчание. Но старик осторожен, терпелив. Он тоже ждет.

Докурив, выплевывает окурок.

— Русские сюда скоро придут, — тихо говорит он, избегая взгляда солдата. — Говорят, они все забирают.

Петер Киш потягивается, закуривает последнюю сигарету, но ничего не отвечает.

Вдруг Каша доверчиво подвигается к солдату:

— Ты видел русских?

— Видел.

— Какие они?

Солдат пожимает плечами и встает. Он понял, что

старика интересуют только русские, и тут же возненавидел его. Так и убил бы этого толстого человека в зимнем пальто. Упрямый черт! О самом главном — ни слова. Для него сейчас весь мир заключается в этом ящике с барахлом, которое могут отобрать русские.

Солдат смотрит в яму. В сердцах пинает ногой мягкие комья земли, поглядывая на обвалившуюся стенку ямы и неровное круглое дно. «Грубая работа», — думает он и с досады плюет в яму.

Любопытство душит его. Это невозможно вынести. Почему этот старый дурень боится раскрыть рот? Неужели не понимает, что одним словом может осчастливить его? Почему не скажет, что с Вероникой?

Не выдержав, Петер сам обращается к старику:

— Как там, дома?

Каша задумчиво смотрит на него снизу:

— У вас?

— Да, у нас.

Снова долгая пауза.

— Ничего.

Петер Киш отворачивается, смотрит в сторону.

«Ничего»! Сказать так безразлично, скаля желтые зубы: «Ничего»! Целый год он дрожал при одной мысли, что придет день, когда он бегом пересечет рощу и, даже не взглянув на каменоломню, помчится дальше, а этот болван говорит: «Ничего».

— А Вероника? — спрашивает Петер, подождав немного, но так и не повернувшись к старику.

И снова долгое томительное молчание.

Старик не отвечает, но Петер знает, что Вероника ждет его дома. Она чувствует, что он идет к ней. Петер знает, что дома все осталось точь-в-точь таким, как в то утро, когда он вместе с Телеки ушел на станцию. Он это знает, но сейчас хочет услышать об этом из чужих уст. Узнать, что дома все по-старому, как год тому назад, а фронт и смерть со своими черными крыльями всего лишь жестокая шутка судьбы. На его маленьком каменистом участке в два хольда все так же лежит кусок гладкой базальтовой скалы, и стоит ему завтра приподнять его, как из-под него тотчас выползут жучки и черви, как и год назад.

— А Вероника? — спрашивает Петер еще тише, глядя в яму.

— Жива, — сухо отвечает старик и отворачивается.

Петер Киш только этого и ждал. Одного этого слова.

С облегчением поправляет он полосатую домотканую котомку, весело кивает старику в черном пальто:

— Я бы помог вам, да очень тороплюсь... Прощайте!

Когда солдат доходит до третьего дерева, Балинт окликает его:

— Ты, Петер, сбежал из части, что ли?

Солдат останавливается. Снова враждебное молчание. Петер оборачивается, и в его взгляде сквозит ненависть.

— Я не сбежал, — говорит он хрипло. — Лейтенант отпустил меня на неделю... Я догоню свой полк... И документ мне дал... Если не верите, могу показать...

Петер знает, что в кармане френча нет никакого документа, и пальцы его снова судорожно сжимают банку с консервами.

Старик со спокойным превосходством смотрит на солдата. Он уже не боится его. Знает, что Петер врет.

— А где твой полк? — ехидно спрашивает он.

Петер не видит улыбки человека в черном пальто.

— Где? К Веспрему двигается... Да, к Веспрему.

Балинт не спеша разминает поясницу, потом встает, вытаскивает заступ из земли, и вмиг круглое белое лицо старика увеличивается в размерах, а он сам становится высоким, сильным и надменным.

— Да... — кивает он. — Говорят, там сейчас тяжелые бои идут. Ты ведь вместе с Телеки ушел на фронт, да?

Петер вздрагивает и бледнеет. Широко открытыми глазами смотрит он на тестя лавочника, и ноги у него словно прирастают к земле. Он открывает рот, говорит что-то, но не слышит собственного голоса:

— Да...

Старик крутит в руках лопату и, задумавшись, смотрит в землю.

— Говорят, вы и на фронте вместе были. От Телеки уже несколько месяцев нет писем. Бедная жена все глаза выплакала от горя. Ты, случайно, не знаешь, что с ним? А?

Петер чувствует, что ноги его не держат. Он даже не знает, сколько времени стоит так. Может, уже несколько лет? Все вокруг него расплывается — он видит перед собой лишь укоризненный взгляд старика. Вспоминает своего кривоногого соседа, когда тот упал, каска съехала ему на лоб, водянистые глаза под лохматыми бровями закрылись.

Помолчав, Петер говорит тихо и мрачно:

— Телеки убит.

В блиндаже сидят шестеро солдат. Все уже немолодые, постаревшие за эти беспокойные, кровавые ночи. Каждый из них знает о других все — с первого дня они стали соучастниками одного общего преступления.

Вместе они дергают запальный шнур, вместе рисуют на стволах орудий кольца, обозначающие, что уничтожена еще одна цель противника, — этому они научились у гитлеровцев. Они знают жен своих товарищей, детей, знают, как одеваются их жены, как они выглядят. Они — словно приговоренные к смерти, у которых нет тайн друг от друга.

На рассвете начнется наступление. В воздухе стоит мертвая тишина, какая бывает только перед боем. Что они могут сейчас сказать друг другу? Прочитать вслух последние письма, полученные из дому? Выйти на августовский ветер и смотреть на далекое пламя пожарищ?

Со стороны Карпат доносится рокот самолетов, льющийся со звездного неба. Земля недовольно вторит ему. Неподалеку кто-то играет на гармошке. В блиндаж доносятся усталые звуки песни:

...Живем мы только один раз...

Сегеди, бородатый командир отделения, стоит прислонившись к двери блиндажа, глядя прямо перед собой отсутствующим, лишенным какого-либо смысла взглядом. Рыжая борода его всклокочена, лоб испещрен глубокими морщинами.

Час за часом однообразно течет время. Если погибает кто-нибудь из знакомых, командир отделения вечером выходит из блиндажа и долго смотрит на звездное небо, удивляясь тому, что сам все еще жив. В эти минуты он забывает, что смерти надо бояться. Он бесстрастно следит за тем, как течет время, ощущает его течение и чему-то улыбается.

Он живет простыми будничными воспоминаниями о недалеком прошлом — о сыне-школьнике, о мастерской жестянщика, расположенной рядом с рыбным павильоном, о грубых шутках торговок или о воскресном футбольном матче.

Он мечтает.

По утрам, на рассвете, когда война устает и затихает на миг, он забывается в беспокойном сне. Он оказывается на зеленом футбольном поле и гонит мяч к воротам противника или стоит в крохотной дымной мастерской

с паяльником в руках и слушает, развесив уши, едкие замечания беззубого Гараша и сплетни торговок.

Кантор, смуглый и молчаливый, спит, накрывшись шинелью. Он всегда спит. Остальные глазеют на него и завидуют, как это он умудряется заснуть даже во время обеда, между первым и вторым блюдом. В первый же день после того, как его перевели к артиллеристам, во время чистки орудий Кантор сел на ящик с боеприпасами и задремал. Бородатый командир отделения подошел к нему и заорал:

— Какого черта ты все время спишь?

Кантор оглянулся, не спеша встал с ящика и тихо ответил:

— У меня бывают хорошие сны, господин командир...

Он видит сны. Видит здоровенных быков со звездочкой на лбу. Видит свадьбу, невесту, наряженную в белую фату, и паприкаш из телятины на праздничном столе. Видит проворную девушку в красном переднике, работавшую на кухне у помещика. А перед сном Кантор стыдливо бормочет длинные молитвы, накрывшись с головой одеялом.

Петер и Корчог сидят вдвоем за простым столом, ножки которого вкопаны в землю. Корчог понуро облокотился на стол. На крупный лоб его падают блики.

До фронта он работал слесарем в Кишпеште, на заводе Хоффера. Четыре месяца назад его призвали в армию. В первую же неделю он рассказал товарищам о себе все без утайки. Он проклинал прошлое, проклинал войну, любил рассказывать анекдоты и боялся смерти.

Через неделю он замолчал. Только ругал жидкую похлебку и ждал концертов по заявкам солдат. Перед каждым наступлением готовился к плену или смерти и каждую неделю писал прощальные письма домой: одно — матери, другое — невесте. После наступления он рвал эти письма на клочки, а на следующий день писал новые.

Он был знаком с учением Маркса и социализмом и все время собирался перейти к русским, но не мог решиться на это. Он старился буквально на глазах.

Сейчас он мучается над очередным прощальным письмом и вспоминает, как в прошлом году вместе со своей невестой Кати пошел на Дунай у Шорокшара. Зайдя в камыши, они стали раздеваться, и он увидел, какая красивая грудь у Кати.

Они были уже в воде, когда девушка озабоченно спросила:

— Тебя могут забрать в армию?

Он промолчал. А потом сказал:

— У тебя очень красивая грудь, — и сердито забил ногами по воде.

Через полгода его забрали в солдаты.

Салаи сидит по другую сторону стола. До армии он был приказчиком в Уйпеште, на складе фирмы Мейнл. Целый месяц он говорил во сне и звал жену. Однако два дня назад вообще перестал говорить, даже на вопросы товарищей и то не отвечает.

В среду он получил письмо от шурина. Когда бородатый командир отделения отдал ему это письмо, он не сразу решился вскрыть его. Увидев адрес, вспомнил широкоскулое лицо шурина, который ни разу не писал ему с тех пор, как его послали на фронт. А уж раз написал, значит, что-то случилось.

Оказалось, двадцать девятого июля жена Салаи, которой было всего двадцать три года, погибла при бомбардировке Чепеля. Теперь Салаи ни с кем не разговаривает. Он не плачет, не вздыхает. Он словно окаменел. Письмо все еще валяется около его кровати, куда он уронил его, дочитав до конца. И никто не осмеливается поднять это письмо.

Приказчик жаждет смерти. Иногда он выходит наверх, останавливается перед блиндажом и бормочет что-то непонятное. Видно, разговаривает с женой.

Андраш Телеки сидит на нарах, вертя в руках ножик, и посматривает на Петера Киша. Рассеянно оглядывает он и других. Все ему здесь чужие, и все приговорены к смерти. Он терпеливо слушает обычные вечерние разговоры, равнодушно взирает на мужские слезы, не реагирует даже на выстрелы. Телеки безразличен абсолютно ко всему.

Внимательно читает он лишь письма из дому. При этом он покачивает головой и постоянно катает в кармане цветные глиняные шарики — талисман, полученный от сынишки перед уходом на фронт.

Петер Киш сидит согнувшись в другом углу блиндажа. Сегодня он получил письмо от Вероники: «Сообщаю тебе, мой милый, что я жива и здорова, чего от всего сердца и тебе желаю... Мужа Тери Янчик тоже забрали в солдаты. Прошло уже полтора месяца с тех пор, как он уехал на фронт, а нет ни одного письма. Может, ты встретишься с ним на фронте? Ты его знаешь, его все дразнили рябым. Если встретишь, скажи ему, что бедная

Тери очень волнуется... Милый, когда же кончится эта проклятая война?..»

Петер Киш грустно улыбается. «Может, ты встретишься с ним...» Разве здесь можно с кем-нибудь встретиться? Когда кончится эта война? Завтра? Через год? Никогда? Кто может это сказать...

Однообразно тянутся дни и ночи. Безвкусные супы, глухие взрывы, редкие письма из дому, концерты по заявкам солдат. По утрам все облегченно вздыхают: слава богу, пережили вчерашний день. И совсем не до того, чтобы кого-то искать...

Петер ласково гладит письмо жены, до его сознания доходят лишь обрывки слов. Он ничего не чувствует, сидит и поглядывает в дальний угол блиндажа, но глаза его постоянно останавливаются на кривоногом Телеки.

Петер ненавидит его. Ненавидит за то, что он такой низкий и коренастый; за то, что у него кривые ноги; за то, что он так любит смотреть на небо; за то, что напоминает ему, Петеру, о доме. Он лишь раз достал из кармана фотографию семьи, с тех пор как уехал на фронт. Было это в тот день, когда перед огневой позицией с шумом разорвалась первая мина и командир взвода Палинкаш повалился замертво на ствол орудия с огромной раной на шее. Телеки стоял и смотрел на командира взвода. Он содрогался от страха, ноги у него тряслись. Затем он вытащил из кармана фотографию, стыдливо отвернулся и поцеловал сначала жену, потом сына.

В тот момент Петер любил Телеки. А сейчас ненавидит за то, что Телеки напоминает ему о родном доме. Ему противно слышать его голос, видеть его кривые ноги и мускулистые руки, подносящие снаряды на огневую позицию.

Петер ненавидит Телеки с двадцать пятого марта сорок четвертого года, когда поезд увозил их со станции и у Телеки слезы навернулись на глаза. Петер видел, что сосед плачет и в замешательстве рисует на вагонном окне большие каракули. Пальцы у него нервно дрожали.

Стоило Петеру посмотреть на Телеки, на его лохматые брови, тонкий нос, глубокие морщины на лице, как перед глазами вставали два хольда каменистой земли, дом, жена.

Петер переводит взгляд на лысеющую, похожую на птичью голову Салаи, на его круглые темные глаза, уставившиеся в стол. Он вслушивается в звуки ночи, искоса

поглядывает на бывшего приказчика и злорадно усмехается.

У Петера кружится голова, и животная радость овладевает им. Он кладет письмо жены на ладонь и протягивает Салаи.

— Вот... письмо от жены... — шепчет он хрипло.

В блиндаже повисает тяжелая, жуткая тишина.

Телеки враждебно смотрит на Петера из своего угла. Отбросив в сторону нож, он лениво разводит руками и зевает:

— Хорошо тебе...

Киш убирает руку и отворачивается.

Салаи поднимает свою птичью голову, устремив взгляд в угол. Остальные неподвижны, и, если бы Салаи в этот миг проткнул Петера штыком, никто бы его не остановил.

Приказчик прячет лицо в тень и печально вздыхает.

— Две недели назад и моя жена писала мне, — тихо говорит он и опускает голову на грудь.

Телеки сидит в расстегнутом френче и с упреком смотрит на всех. Затем берет шинель, вынимает из кармана бутылку палинки, вытирает губы и пьет прямо из горлышка.

Телеки не понимает своих товарищей. Он не понимает их молчания, их зависти и ненависти. Он хочет жить, и больше ничего. Хочет вернуться домой, растить сына, воспитать из него настоящего мужчину, а потом погулять на его свадьбе.

Он не хочет понимать других. Он чутьем угадывает, что надо стать беспощадным — ко всем и к самому себе тоже. Надо уметь распознавать жизнь и смерть и научиться жить по-фронтовому просто.

Кто расслабится — погибнет.

Кто углубится в свои чувства — погибнет.

Кто не сумеет стать жестоким — погибнет.

Телеки протягивает руку с бутылкой — в блиндаже распространяется запах палинки.

— Пейте...

Никто не шевелится.

Тогда Телеки подвигает бутылку к себе, еще раз отпивает из нее и, поерзав на нарах, трет башмаком о башмак — в воздухе появляется легкое облачко пыли. Телеки ждет, пока тепло от выпитой палинки разойдется по всему телу:

— Ну, что носы повесили? Грустить разве лучше?

Корчог поднимает голову и зло кричит на Телеки:

— Заткнись! Разве умирать пьяным лучше?

Телеки ложится на спину и долго молчит. Ждет, что еще скажет Корчог, но и тот молчит. Тогда Телеки садится и подается вперед:

— Говорят, солдат у русских видимо-невидимо. Мы по ним стреляем, а на место одного убитого встают десять живых... А?

Молчание товарищей раздражает Телеки. Он дико кричит:

— Думаете, мы выдержим? Слушаем гул самолетов, прислушиваемся к завыванию мин, а получим письмо из дому, по три дня не говорим ни слова. Смотрим друг на друга и молчим. Кто хотел этой войны? Может, я? Я домой хочу! Мне не о чем мечтать. Звание витязя я не получу. А если я вернусь домой, у меня так и останется три хольда земли, больная жена и мальчонка... Я должен вернуться домой, я обещал им...

Все молча слушают солдата с лохматыми бровями.

Телеки спускает ноги на землю.

— Посмотришь на вас, и жить не хочется... Я не могу плакать, потому что знаю: стоит заплакать, и все — изгложет меня тоска. И никогда не увижу я родного дома, — яростно бормочет он и опять прикладывается к бутылке.

Корчог тяжело подымается с места и глядит на Телеки. Ждет, когда тот отнимет ото рта бутылку. Потом говорит:

— Ничего ты не понимаешь, Телеки. Глушишь палинку, пока тебя в штрафную не пошлют. И ничего не видишь дальше своего носа. Словно рыночная торговка: кочан капусты, три пучка редиски...

Корчог ходит вокруг стола. Огромная тень прыгает по стене. Руки у него сцеплены за спиной. Он останавливается, принимает позу, будто учитель на кафедре, и вздыхает:

— Бывает и так, что человек загрустит ни с того ни с сего. Со всем, кажется, он примирился, через все прошел. Похоронил лучшего друга, жена изменила... Со всем он в расчете... И что бы с ним ни случилось, все лучше, чем было, а он грустит. И ничего не может с собой поделать: грустит, и все тут... — Корчог тянется к полке. Берет фляжку, отпивает из нее и неожиданно протягивает ее Телеки: — Выпей вот этого — черный кофе с

бромом... У нас его попам дают... чтобы бабы не хотелось... — говорит он хрипло и улыбается.

Рыдание подкатывает у него к горлу, но он ставит фляжку на полку и опять бродит по комнате, словно тень, потом снова подходит к Телеки и садится рядом:

— Дружище, у меня дома остались мать и невеста... Каждый день я чувствую, что вот-вот разорвется сердце... Когда меня везли на фронт, я знал, что это значит... И думал, что надо вернуться домой и на завод к товарищам. Вернусь, меня спросят... А, к черту все! — И он печально машет рукой.

— У моего отца был товарищ... По воскресеньям он приходил к нам. У него на груди висели красивые золотые медали... — тихо и задумчиво произносит Телеки.

Корчог резко перебивает его:

— Не то, не то. Я вот все время думаю, зачем я здесь. Говорят, на рассвете будет наступление. Четыре месяца, как я на фронте, а уже на шестьсот километров назад отошли... — Он кашляет и зло рубит ладонью воздух: — Боюсь я этих наших наступлений. Интересно, кто останется в живых? — Он поворачивается к Телеки, который, опустив голову, думает о том, что на рассвете действительно будет наступление. — Знаешь, о чем я люблю вспоминать? — спрашивает Корчог, вздохнув. — Дней за десять до призыва в армию я видел свою невесту, когда она раздевалась...

Телеки с удивлением смотрит на слесаря.

Корчог склоняется к собеседнику, смотрит ему в глаза, но тут же отстраняется.

— От тебя так несет палинкой... — бормочет он. — Эх, вернуться бы домой живым и невредимым. Сразу бы свадьбу устроил, в первый же день. — И он щелкает своими узловатыми пальцами.

Телеки хмурит брови:

— У меня тоже осталась дома жена.

Салаи вскакивает. Из глаз его катятся крупные слезы. Он подходит к командиру отделения и в отчаянии дергает его за рукав френча:

— Ты же командир! Как ты терпишь это? Прикажи им, чтобы они заткнули свои поганые глотки!

Долгое молчание.

Рот приказчика сводит гримаса.

— Ты же командир! Почему ты не прикажешь? — возмущается он.

Бородатый командир отделения молча смотрит на Салаи. Ему хочется успокоить этого человека, но он не знает как.

Салаи с ненавистью переводит взгляд с одного солдата на другого и несколько минут стоит — одинокий, беспомощный. Потом, пошатываясь, плетется к двери и выходит из блиндажа.

Все молчат.

Ефрейтор потягивается, провожает Салаи взглядом до самого порога, затем нерешительно оглядывается и пожимает плечами, словно просит прощения. Подходит к своему топчану, заботливо расправляет складки на грязном одеяле и садится. Двумя пальцами он осторожно вынимает из кармана френча сложенное в несколько раз письмо из дому, написанное на желтой бумаге, и безмятежно улыбается.

— Сын вот написал, — говорит он примирительным тоном, обращаясь к присутствующим.

У Петера Киша кружится голова. Взгляд застывает на письме, которое ефрейтор держит в руках. Петер никак не может оторвать от него глаз.

Каждое слово ефрейтора — как удар кулака. Нужно научиться быть злым, иначе пропадешь. Он ничего не видит — перед глазами только это письмо. Горло перехватывает спазм.

У ефрейтора есть сын, длинноногий парнишка с лохматыми волосами. Учится в ремесленном училище. Ефрейтор любит о нем рассказывать. Вспоминает всякие мелочи, хвастается. А когда приходит письмо от сына, то читает его вслух.

Киш подпирает голову руками. Ему грустно: у него нет детей.

Жена есть, но она какая-то чужая. Каждый день он сомневался, останется ли Вероника его женой завтра. Ребенок — совсем другое дело. Это твой наследник. Продолжение сегодняшнего дня в завтрашнем. Жена не продолжение, а сын, маленький Петер Киш с таким же, как у отца, носом, с такой же походкой, с таким же голосом, взглядом, продолжение...

На рассвете двадцать пятого марта сорок четвертого года Петер ушел из дому, ничего после себя там не оставив. Разве что кое-какие воспоминания, пару старых сапог, дешевый костюм серого цвета с алюминиевыми пуговицами, кисточку для бритья, ремень для правки бритвы да кое-какие безделушки, купленные на ярмарке за не-

сколько филлеров. С тех пор каждую неделю почта доставляет туда письмо с фронта.

Бородатый ефрейтор выглядит удовлетворенным. Изредка он вздрагивает, хочет выйти вслед за Салаи из блиндажа, но толстые пальцы держат письмо сына. Он боится, что, стоит ему пошевелиться, и тихое очарование исчезнет.

Петер Киш отворачивается. Он не хочет видеть этого письма. Убрал бы уж ефрейтор Сегеди свое письмо! Больше всего Петеру хочется сейчас ударить ефрейтора за то, что у того есть сын, который ходит в школу и пишет ему письма на фронт.

А Сегеди как ни в чем не бывало сидит на краю своего топчана и безмятежно улыбается. Почему он хвастается? Чего он хочет? Пусть радуется, что у него есть сын, что у него лохматая борода и ему не надо бриться, что по вечерам все слушают, как он читает свои письма. У Петера Киша тоже мог быть сын. Даже двое, трое сыновей...

Петера охватывает яростная зависть.

— Это не твой сын... — беспомощно стонет он и до боли сжимает зубы, чтобы не продолжать дальше, — так ему хотелось обидеть ефрейтора.

Эти слова уже несколько минут стояли у него в горле, но пришли они откуда-то издалека и принадлежали не ему. Все с недоумением смотрят на него, не понимая, что происходит. Худые строгие лица, тусклый блеск медных пуговиц в свете керосиновой лампы.

Холодные, враждебные взгляды сидящих в блиндаже солдат скрещиваются на Петере Кише.

Лицо ефрейтора неподвижно, только глаза моргают, будто кто-то закатил ему оплеуху.

Петеру страшно. Некуда скрыться от холодных, укоряющих взглядов солдат. Он беспомощно оглядывается — письмо Вероники выскальзывает у него из рук.

— Да ты сам рассказывал, что он тебе не родной, а пасынок... — оправдывается Петер, не смея взглянуть на ефрейтора.

Сегеди встает.

Над блиндажом низко гудит самолет. Рука ефрейтора дрожит мелкой дрожью. Медленными движениями он складывает в несколько раз письмо сына и сжимает его в кулаке. Голова его касается бревен наката, он словно окаменел.

Сейчас он не командир. Сейчас он не бросает во сне

Дюрке Шароши кожаный мяч, не слышит колкой перебранки рыночных торговок рыбой. Сейчас он отец.

И он понимает, чего ждут от него эти суровые лица. До оскорбителя всего три шага. Резкое движение — и мощный удар обрушится на Петера.

Все отворачиваются. Они знают, что ефрейтор сейчас ударит Петера. Если не сделает этого — он трус. Никто не хочет видеть то, что должно произойти. Это личное дело ефрейтора. За ребенка заступается отец: все как положено.

Все сидят молча, низко опустив голову.

Сегеди, сжав кулаки, стоит перед нарами. Ударить? Он вытирает рукой лоб, лицо его наливается кровью.

— Он мой сын... — тихо говорит он, и тень на стене заметно вздрагивает.

Теперь Сегеди уже не ударит.

Неожиданно вскакивает со своего места Корчог. Он подсаживается на нары к Петеру, бьет своим костистым кулаком с татуировкой по одеялу:

— Да знаешь ли ты, что значит иметь ребенка? Понимаешь ты это, несчастный? Ничего ты не знаешь! Умрешь, и следа от тебя никакого не останется! Разве у тебя есть сердце? А если мы скажем, что твоя жена потаскуха, тебе это понравится? А?

Петер быстро поворачивается, но достаточно ему взглянуть на Корчога, на его сильные кулаки, на крепко сжатый рот, страшный взгляд, как злоба в нем утихает.

Ефрейтор разжимает кулаки.

— Оставьте! — машет он рукой и садится на нары.

Ефрейтор осторожно расправляет на ладони письмо, аккуратно сворачивает его и кладет в карман френча, потом ложится на спину.

Он не говорит ни слова. Да и что скажешь, если ребенок в десять лет уже знал, что он ему не родной отец?

Это был очень грустный вечер. А когда после полуночи он наклонился над кроваткой маленького Палики, на него глянули два блестящих глаза: ребенок не спал.

Стоит ли рассказывать, что через две недели Палику пришлось отвести к отцу, на чепельский рынок? Ребенок хотел познакомиться со своим настоящим отцом. Когда же он увидел беззубого мужчину, который, не узнав сына в мальчике в голубой матроске, подошел к нему пьяной походкой и поцеловал, то содрогнулся от отвращения.

Нужно ли рассказывать, как они возвращались на трамвае домой и мальчик, казалось, не узнавал людей,

а когда на улице Шальготорьян они сошли с трамвая, Палика встал перед ефрейтором, прижал к своему лицу его толстую ладонь, пахнувшую цинком, и горько заплакал:

— Ведь это не правда? Это не правда, что тот дядя мой папа?

Ничего этого рассказывать ефрейтор не стал. Зачем?

Телеки тянется к бутылке с палинкой. Громко отпивает из нее. Ладонью медленно вытирает рот и крякает, чувствуя в горле искристую влагу.

Корчог пренебрежительно машет на Петера рукой и отходит от него. Его не интересует ни бородатый ефрейтор, ни овдовевший две недели назад приказчик. Его ничто не интересует, и, если бы в следующий момент в блиндаж влетел снаряд, он бы и тогда не удивился.

Он берет бутылку с палинкой и тоже пьет, потому что нужно пить. Но не кофе с бромом, а палинку.

Телеки вежливо ждет, пока Корчог вернет ему бутылку, и отхлебывает еще раз. Потом кивает в сторону Салаи:

— Он поступил бы умнее, если бы выпил. Стоит ли так горевать, да еще из-за бабы? Нет на этом свете ничего такого, из-за чего бы стоило горевать.

Телеки закрывает глаза: боится, что стоит ему открыть их, как потекут слезы.

Слесарь вырывает у Телеки бутылку и, поднеся к свету, смотрит, сколько в ней осталось палинки. Пьет он большими глотками.

— На рассвете начнется наступление, — говорит он, крякнув и оторвав бутылку ото рта, но никто не обращает внимания на его слова.

Корчог смотрит себе под ноги, с завистью слушая храп смуглолицего Кантора. Потом ни с того ни с сего громко смеется и ложится на нары лицом кверху:

— Кантору лучше всех... Смотрите, спит себе — и хоть бы что! Стреляют — он спит, горюет — спит, болит нога — спит... Он, наверное, будет спать, даже когда его убьют. Ему лучше всех...

Телеки молча болтает ногами. Ему жарко. От выпитой палинки слегка шумит в голове. Нужно было выпить побольше, тогда бы ничего не чувствовал. Хмельным взглядом он ищет Петера, разговаривая сам с собой.

— Когда в семье есть дети, жене легче блюсти себя, — говорит он хриплым голосом, думая о том, что сын

еще не ухаживает за девушками. — Ребенок все одно что уздечка для бабы.

Неожиданно выходит из своего угла Петер.

Почему ефрейтор не ударил его? Почему его не бьют остальные товарищи, не бьют, сжав кулаки, сверкая злыми взглядами? Почему они все время говорят о детях? Уж не потому ли, что у него их нет? Почему каждый день рассказывают свои дурацкие сны?

Он враждебно смотрит на своих товарищей.

— Жена? — бросает он вызывающе, обращаясь к Телеки. — Если жена по-настоящему любит мужа, она и без ребенка останется верна ему.

Корчог, лежа на нарах, дико хохочет:

— Верность? Ха-ха-ха, уморили! Знаешь, как моя невеста любила меня, когда я уходил в солдаты? Она обожала меня! Понимаешь, обожала!.. Эх, какие нежные были у нее губы, а какое крепкое, словно сбитое, тело...

Ефрейтор слушает, закрыв глаза. Телеки тоже сидит молча. Корчог печально вздыхает.

— Не исключено, что в эту самую минуту, дружище, моя невеста, прислонившись к забору, целуется с другим, — добавляет он уныло и смотрит круглыми глазами на закат, словно пытается увидеть сквозь него небо.

Петер Киш спускает ноги на пол.

— У меня дома не невеста, а жена! — хриплым голосом говорит он и, затаив дыхание, ждет ответа.

Кривоногий лениво зевает:

— Ну тебя к черту, Петер! Ты всегда был задирой! Дома, бывало, стоит кому-нибудь косо посмотреть на твою шляпу, как ты тут же бросался на него с кулаками. Сколько тебе доставалось за это!

Петер на удивление спокоен. Он чувствует, что драки не миновать. Драки не на жизнь, а на смерть.

Телеки опять зевает, а потом злорадно ухмыляется:

— Ты вот все в драку лезешь. Думаешь, война только тебе осточертела? У всех дома кто-то остался, и всем хочется туда вернуться. Ну и все знают, чего стоит бабская верность: самка она и есть самка! Будь это жена или невеста — все одно.

Петер неожиданно вытягивает вперед руки, словно желая ухватиться за воздух. С ненавистью смотрит на Телеки, впившись в него глазами, готовый его ударить.

— Моя жена не такая, — говорит он, глубоко вздохнув, и вспоминает, что ненавидит этого кривоногого с тех пор, как маленький поезд увез их со станции.

Телеки долго не отвечает, потом кивает и снова ухмыляется пьяной улыбкой:

— Не такая, говоришь?

Петер угрожающе смотрит на кривоногого и встает с нар:

— Не ухмыляйся!

— А почему бы мне и не ухмыляться? Чем твоя жена лучше других? Вот вернешься домой, убедишься, что у нее никого не было за это время, тогда и говори... Такая же она, как все... — с издевкой смеется кривоногий и снова берется за бутылку с палинкой.

Одним прыжком Петер подскакивает к Телеки и хватает его за грудки. Дыша жаром и ненавистью ему в лицо, он кричит:

— Замолчи, ты, ничтожество! Я и дома с удовольствием всадил бы в тебя нож: ты всегда был хитрым и злым. Когда мы отказывались от поденщины за одно пенгё, ты за нашей спиной соглашался на восемьдесят филлеров... А сейчас тебе, конечно, незачем беспокоиться, потому что у твоей жены вечно болит поясница, к тому же она такая уродина, что никому и в голову не придет ее соблазнить...

Телеки, остолбенев, смотрит на сильные, дрожащие руки, схватившие его за грудки. Глаза его широко раскрыты, ему все это кажется просто глупой шуткой.

Петер поднимает кулак, но в это время его хватает сзади за руку Корчог и с силой оттаскивает от Телеки.

— С ума вы сошли, что ли? — задыхаясь, вопрошает он.

Кривоногий падает на нары. Ему кажется, что накат блиндажа ходит ходуном, но он не понимает почему: наверное, он просто очень пьян.

Петер стоит прислонившись к двери блиндажа. Он ничего не видит и не слышит, но люто ненавидит Телеки, только что оскорбившего его Веронику и опять напомнившего ему о маленьком черном поезде, который на рассвете двадцать пятого марта сорок четвертого года увез их в Тапольцу.

Петер выходит из блиндажа.

Ночь, тишина. Это похоже на затишье перед бурей.

Блиндаж, где разместились Петер Киш и его товарищи, сооружен между двумя толстыми деревьями. Корни их висят под нарами, а из двери блиндажа виден невысокий холм, поросший лесом. Позади высится на неболь-

шом глинистом холме белое здание фермы. Там уже русские.

Недалеко от блиндажа оборудована огневая позиция. В двухстах шагах — дерево с искалеченными ветвями, метрах в десяти за ним — полуразрушенное железнодорожное полотно, в конце которого стоят сиротливо несколько железнодорожных вагонов ржавого цвета. Под горой, в заброшенной шахте, где раньше добывали мрамор, блиндаж командира дивизии. На склоне горы стоит двуглавая церковь. В ней, под заплесневелыми фресками с фигурами святых, разместился перевязочный пункт.

В душном блиндаже теснятся солдаты, блестя медными пуговицами; над лесом виден дымный горизонт с разбросанными по нему чернильными пятнами.

Половина четвертого утра.

Вот уже два дня командир дивизии, полковник, внимательно рассматривает карту военных действий. Вчера он приказал адъютанту разбудить его без четверти пять, так как ровно на пять назначено наступление.

Через две минуты над вагонами ржавого цвета пролетает первая русская мина. Русские опередили их. Начав наступление, они обрушили бешеный шквал огня.

Одна из мин с ужасающим воем врезается в землю рядом с Петером и его товарищами. Блиндаж сотрясается. Корни деревьев дрожат под нарами, с потолка сыплется песок, падают комья земли.

Первым вскакивает бородатый ефрейтор, он судорожно хватается за стойку, поддерживающую накат.

— Атака! — кричит он и в отчаянии мечется по блиндажу.

Кажется, сама земля бьется в конвульсиях.

Ефрейтор бросается к телефону, с силой прижимает трубку к уху, но оттуда несется все тот же оглушительный грохот. Он судорожно крутит ручку телефона, стучит по аппарату, а затем злобно швыряет его в угол.

— Телефон и тот оглох, — бормочет он сквозь зубы.

Раздавшийся где-то совсем рядом взрыв отбрасывает его к нарам.

Остальные, очнувшись от глубокого сна, бледные, испуганные, наспех надевают шинели и умоляюще смотрят на ефрейтора, ожидая от него чуда, словно он своей волосатой рукой в состоянии отвести от пятерых солдат приближающуюся смерть.

Кантор протирает глаза. Спокойными, но уверенными движениями зашнуровывает башмаки, вешает на руку ав-

томат и вещмешок. Поглядев на товарищей, стыдливо крестится.

Салаи неподвижно лежит на нарах. Он не боится смерти. Только смотрит, как сыплется между бревен наката песок. Нары под ним ходят ходуном, а он с улыбкой на губах ждет смерти.

Корчог встает. Качаясь вместе с блиндажом, он нащупывает в кармане прощальное письмо родным.

Телеки, огорошенный и ничего не понимающий, неподвижно сидит на краю нар. Проведя ладонью по одеялу, натыкается на бутылку, обнаруживает, что она пуста, и сердито бросает ее под стол. Судорога сводит желудок, ноет спина, от боли разламывается голова, а он удивленно смотрит на накат, который вибрирует над головой, как мехи огромной гармони. Он отрезвел, но страха еще не испытывает.

Петер ждет удобного случая, чтобы сбежать отсюда. Крепко сжав зубы, прихватив оружие и вещмешок, кляня свою несчастную судьбу, он робко подходит к двери. Если накат над головой не выдержит и обрушится, надо успеть выскочить наружу. Перед глазами у Петера пляшут буквы письма: «Милый, когда же кончится эта проклятая война?»

Неожиданно блиндаж сотрясает мощный взрыв.

— Спасайся! Здесь нам всем крышка!

Первым из блиндажа выбегает Петер. За ним бородатый ефрейтор. Затем кривоногий Телеки. Потом насмерть перепуганный Кантор. И самым последним Корчог.

Выскочив, Корчог сразу же бросается на землю. Совсем рядом врезается в нее, сотрясая воздух, мина.

Корчог ждет. Оглядывается.

Только Салаи неподвижно лежит на нарах, словно мраморное изваяние.

Корчог вбегает в блиндаж и стаскивает его с нар.

— Ты, идиот, сдохнуть хочешь?! — кричит. он.

Лицо Салаи покрыто толстым слоем пыли. Покорно смотрит он на Корчога, не говорит ни слова, только пожимает плечами.

Корчог хватает каску, натягивает ее товарищу на голову и тащит его к выходу:

— Бежим!

Тот смотрит на него ничего не понимающими глазами. А земля все содрогается от взрывов.

— Дурак! Если мы сейчас же не уберемся отсюда, всем нам крышка.

Салаи смотрит на Корчога мутными глазами и закрывает их. Выражение лица у него такое кроткое, словно он уже приготовился к смерти.

Корчог с силой бьет Салаи по лицу. У того из носа течет кровь, но он даже не вздрагивает. Лицо у него все такое же бесстрастное, глаза закрыты.

Корчог задыхается от ярости и делает движение, чтобы бежать вслед за остальными, но останавливается, хватает Салаи в охапку, выбрасывает его из блиндажа и выскакивает сам.

Несколько секунд они неподвижно лежат на земле, потом Корчог со злостью толкает Салаи в спину:

— Беги! Ты что, не понимаешь? Беги!

Салаи смотрит на него с укоризной и покорно плетется вслед за остальными.

Земля издает какие-то странные хрипы. Темные облака медленно плывут по небу, поливая землю дождем. Из-за холма сверкают артиллерийские вспышки, осколки мин попадают в деревья и калечат их. Опрокинутые железнодорожные вагоны ржавого цвета задрали к небу свои колеса, словно жуки лапки.

Гаубицу Петера Киша засыпало землей. Возле развороченного блиндажа валяются трупы. Вдалеке между разрывами мин видна цепочка удирающих солдат.

Шестеро солдат бегут, рассыпавшись по полю. Они и сами не знают куда. Бегут, лишь бы бежать. Может, посчастливится остаться в живых и добраться до какой-либо цели...

Нужно во что бы то ни стало добежать до железнодорожного полотна. В ста метрах оттуда лес, в двухстах метрах — скалы, в трехстах — шахта по добыче мрамора, в пятистах — церковь, в которой находится перевязочный пункт, а в тысяче километрах — домик с забором из реек.

Бородатый ефрейтор и Кантор ползут впереди.

Кантор передвигается крепко стиснув зубы, хватаясь руками за пучки травы. В алтарной части двуглавой церкви он мысленно видит девушку в красном переднике, которая работает на кухне. У нее удивительно легкая поступь.

Бородатый ефрейтор ползет, переваливаясь с боку на бок, с силой отталкиваясь ногами от земли.

Позади, на краю кукурузного поля, готовится к броску Петер Киш. Нахмурив брови, он ни на секунду не отрывает взгляда от ползущего впереди ефрейтора.

Телеки ползет, цепляясь за землю, рядом с Петером. Он оглушен и слышит только громкие разрывы. Этого вполне достаточно, чтобы было страшно.

Корчог ползет вплотную за приказчиком. Ползет, ни о чем не думая.

Салаи еле тащится, даже стонет, когда Корчог бьет его по спине.

Уже двенадцать минут витает над ними смерть со стальными крыльями.

Ефрейтор слегка приподнимается и оглядывается назад. Проползли метров сто, столько же осталось до железнодорожного полотна. Ефрейтор вскидывает над головой руку, словно руководит атакой. Взоры пятерых солдат следят за его рукой. Вот все шестеро вскакивают и длинными перебежками устремляются к железнодорожному полотну.

И вдруг страшный взрыв потрясает воздух. Шестеро мужчин оказываются на земле. На них обрушивается земляной дождь, в уши бьет плотная волна воздуха, и на миг все как бы замирает.

Петер стряхивает со спины комья земли и поднимает голову. Впереди, раскинув в стороны руки и ноги, распластались ефрейтор и Кантор. Рядом с ними лежит Телеки, он отвернул голову и как-то странно щурится.

Петер оглядывается назад. На месте, где только что лежали Корчог и Салаи, зияет круглая воронка. И больше ничего.

Петер припадает головой к земле и не шевелится. Его охватывает чувство, что отсюда никому не удастся выбраться живым. Напрасно он напрягает все свои силы, зря цепляется за землю, за траву, зря на что-то надеется — все равно его ждет смерть.

Петер поднимает голову, смотрит на гору. Там, за горой, все его мысли. По вечерам, когда война ненадолго засыпала, он всегда смотрел на эту гору, на двуглавую церковь, словно проткнувшую небо, ведь за горой его домик, огороженный забором из реек. Там, за горой, живет его Вероника с легкой походкой, с печалью в синих глазах, в цветном платочке на голове. Стоит она сейчас у окна и смотрит на изгиб тропки. И видит она ее всю-всю, до того самого места, где лежит он, Петер. Он слышит ее голос, слышит, как срываются с ее губ взволнованные слова: «Милый, когда же кончится эта проклятая война?»

— Петер! — зовет его взволнованный голос.

Он поворачивается — неподалеку от него лежит Телеки.

— Петер, думаешь, мы выберемся отсюда? — стонет кривоногий, глядя сухими глазами прямо перед собой.

Петер отворачивается — он ненавидит кривоногого.

Телеки, с его отвратительной улыбкой, тонким носом и глубокими морщинами, всегда следует за ним. Во время раздачи пищи он всегда стоит сзади. Когда они садятся есть, он всегда устраивается поблизости. На огневой позиции он рядом — подносит снаряды. Ночью его храп слышен даже из противоположного угла блиндажа, а когда батарея перемещается на новую огневую позицию, Телеки вразвалку плетется вслед за Петером.

Вот и сейчас он здесь, лежит рядом с ним. Как он ему надоел! Скорее бежать отсюда!

Петер вскакивает и как угорелый мчится вперед. А сбоку, смешно выбрасывая ноги, бежит Кантор, временами он падает прямо в грязь, снова вскакивает и, не чувствуя под собой ног, не обращая внимания на ямы и воронки, устремляется за Петером.

Корчог и Салаи убиты.

Ефрейтор и быстроногий Кантор уже карабкаются на железнодорожное полотно. Вот они перебежали через него, и уже мчатся дальше.

Петер тяжело дышит, а ведь ему еще нужно догнать ефрейтора. Он оглядывается. Телеки бежит следом за ним, жадно хватая воздух пересохшими губами.

Внезапно Петер чувствует страшную усталость. Кажется, что он не сможет сделать больше ни шагу. Страх парализует его. Ему видится, что по следам кривоногого идет смерть.

«Нет, не удастся мне освободиться от этого Телеки,— думает Петер. — Не смогу я убежать от него. Надо бы его прикончить одним верным ударом...»

Вот уже четверть часа над ними витает смерть со стальными крыльями.

Петер прикрывает глаза ладонью от ослепительной вспышки. Земля качается под ногами, на железнодорожном полотне шевелятся рельсы.

Петер бросается на землю, скатывается в кювет и закрывает глаза. Он не видит, но чувствует, что Телеки лежит где-то около.

Рядом течет маленький грязный ручеек, вода чуть-чуть не касается лица Петера.

По другую сторону железнодорожного полотна, широко раскинув ноги, лежит ефрейтор.

И Кантор уже не бежит. Он лежит, свернувшись калачиком, рядом с ефрейтором — убит осколком в живот.

Петер и Телеки прячутся в канаве. Русские минометчики все еще обстреливают железную дорогу.

Смерть косит направо и налево.

Петер осторожно выглядывает из-за гнилой шпалы и снова прижимается к земле.

— Ну что? — спрашивает Телеки.

Петер с недоумением пожимает плечами и молчит.

На равнине обезображенные окопы, брошенные гаубицы, легкие танки, несколько тысяч трупов исхудалых солдат в обмундировании с медными пуговицами. Венгерская артиллерия молчит. Венгерские солдаты отступают.

Телеки тихо стонет, ощупывая руками землю. Он медленно и сосредоточенно дышит и еще крепче прижимается к земле, когда над головой пролетает мина. Кротко, с благодарностью смотрит он на земляка, наблюдает за его угловатыми, нервными движениями.

Хорошо, что рядом лежит земляк. Оба они живы. Он ощупывает карман, хотя знает, что в нем ничего нет, ощупывает просто так. Чувствуешь, что можешь пошевелить рукой, значит, все в порядке. Дергает себя за ухо — это тоже приятно. На глаза у него наворачиваются слезы.

Здесь хорошо. Петер лежит рядом с ним. Не бородатый ефрейтор, не Корчог, с которым он вчера вечером пил палинку, не приказчик с нежной кожей, не вечно сонный Кантор, а именно Петер Киш — земляк. Кто поймет это?

Телеки приподнимает голову и отыскивает глазами блиндаж. Даже привстает. Кругом свежие воронки, а вон и блиндаж с поврежденным накатом.

Он снова ощупывает карман, лезет под френч — ищет сигарету. Находит не сразу. Сует ее в рот, потом вынимает и, положив на ладонь, протягивает соседу.

Петер бросает мимолетный взгляд на Телеки и молча отталкивает его руку. Не нужно ему сигареты. От Телеки ему ничего не нужно. Пусть катится к чертовой матери. Он напоминает ему о родном доме, о Веронике. «Милый, когда же кончится эта проклятая война?» Нет больше сил терпеть это.

Тишину прорезает резкий свист. Петер падает на дно кювета и машинально тянет за собой Телеки.

За железнодорожным полотном одна возле другой взрываются три мины.

Петер ждет. Через несколько секунд выглядывает. Лицо у него бледное, губы нервно закушены.

Кривоногий тоже приподнимается, с большим трудом спрашивает:

— Ты ведь не пойдешь сейчас дальше?

Телеки уже кричит, лицо у него побелело. Петер не отвечает. Он смотрит на гору, слышит голос своей Вероники.

Телеки вскакивает, трясет Петера за плечи:

— Слышишь, я спрашиваю тебя? Ты хочешь идти дальше?!

Киш пренебрежительно и злобно смотрит на кривоногого:

— Не издыхать же мне здесь, в этой яме!

Телеки разочарованно сползает вниз. Затем стыдливо дергает Петера за шинель:

— Не уходи, друг... Не бросай меня здесь... Я боюсь один!

Петер холодно глядит на него и думает: «Трус! И дурак! И еще нападал на мою жену... Да что он понимает? Ишь разошелся вчера вечером... Разве можно такое простить?»

Петер неумолим.

— Я хочу вернуться домой.

— Я тоже, — печально говорит Телеки, наклонив голову. Сигарета выпадает у него изо рта.

Петер долго смотрит на земляка. Телеки тоже смотрит на Петера и не понимает, что у него за настроение.

Над ними с визгом проносятся две мины.

Петер вздрагивает. Подождав, пока раздадутся взрывы, он быстро вскакивает и, пригибаясь, перепрыгивает через железнодорожное полотно. Он не оглядывается, не смотрит на гору. Он бежит, словно хочет спастись от кривоногого.

Телеки несколько мгновений изумленно смотрит на Петера, а потом бросается вслед за ним.

Петер бежит в хорошем темпе. Когда над головой свистит мина, он не падает на землю, а бежит дальше. Бежит, напрягая мускулы, собрав воедино всю свою волю.

Телеки едва поспевает за ним. Ноги у него словно налились свинцом, он с трудом отрывает их от земли.

Они бегут: Петер Киш впереди, Телеки сзади. Следующая мина разрывается между ними. Оба бросаются на землю. Петер падает лицом вниз, словно срубленное дерево. Телеки взрывной волной переворачивает в воздухе и швыряет на землю.

Петер чувствует во рту сладковатый запах порохового дыма. Он осторожно трогает ноги, голову — кажется, все цело, зато он ничего не слышит. Он оглох. Мир поражает его тишиной. Он только догадывается, что вокруг него все движется и издает звуки. Он жив. Он шевелит ногой, поворачивает голову, вдыхает тошнотворный пороховой дым, но ничего не слышит.

А может, он умер? Нет, вот его нога и голова. А Телеки? Наверное, уже далеко убежал. Петер поднимается, осторожно осматривается. Телеки лежит в нескольких метрах от него, повалившись на бок.

Петер подползает к нему. Присев возле Телеки, он долго смотрит на него, словно видит впервые. Телеки лежит бледный, с закрытыми глазами. Каска сползла на лоб, колени подтянуты почти к самому подбородку.

Петер беспомощно крутит головой из стороны в сторону. В ушах начинает шуметь, сначала тихо, потом сильнее.

Петер трясет Телеки. Тот медленно открывает глаза, ничего не соображая. Окружающие предметы кажутся ему какими-то расплывчатыми.

— Бежим, Петер... — чуть слышно шепчет он и снова закрывает глаза.

Вокруг него темнота, прорезанная красными линиями. Телеки всегда боялся темноты. Когда он был еще ребенком и шалил, мать не била его, а запирала в темную кладовку. По ночам он открывал жалюзи на окнах, а когда вечерами возвращался домой, то всегда ловил взглядом маленькие светящиеся огоньки.

Он открывает глаза, закрывает, снова открывает. Теперь он видит лучше. Различает черты лица Петера, склонившегося над ним, и успокаивается. Друг здесь, он не убежал, и ему сразу становится легче. Они побегут вместе, и никто их не догонит.

Телеки смотрит на Петера.

— Живот... — тихо стонет он, описывая рукой небольшой круг в воздухе.

Много страшных ран приходилось видеть Петеру, но такую он видел впервые. У него могла быть такая же рваная красная рана, если бы он несколько минут назад

сделал одно неверное движение. По спине у Петера пробегают мурашки.

Телеки перехватил взгляд Петера:

— Я, наверное, не смогу бежать... Что со мной будет?

Петер смотрит на него и отворачивается. Телеки наверняка умрет.

— Я тоже хочу домой... — стонет раненый.

Петер наклоняется над ним. Что же делать? Ему страшно. Стоит взглянуть на Телеки, как его начинает трясти от страха, а горло сжимает судорога. Этого нельзя объяснить. Сказать он ничего не может. И ничего не может сделать. С двадцать пятого марта сорок четвертого года каждое утро он просыпается от страха и в страхе засыпает. Единственное страстное желание не покидало его с того момента, когда маленький черный поезд отъехал от станции, — живым и невредимым вернуться домой и найти там все таким же, как год назад. По ночам, когда все в блиндаже спали, храпя или вздыхая во сне, он, накрывшись с головой одеялом, сжимал в руке письмо Вероники и ждал, терпеливо ждал. А чего, собственно?

Бедный Телеки! Жаль его. Дома у него жена и сын-подросток. Петер хорошо понимает, что Телеки хочется вернуться домой. Но разве можно надеяться на возвращение с такой большой безобразной раной?

Петер кладет голову на холодную влажную траву и не шевелится. Откуда-то издалека, куда не может заглянуть ни один человек, явилось к нему тяжкое горе.

Он плачет.

Телеки наверняка умрет. Они пришли сюда вместе, а теперь их дороги расходятся. Он мог бы перевязать Телеки, но нет бинта — индивидуальный пакет остался у блиндажа.

Сказать бы Телеки, что он, Петер, отнесет его к двуглавой церкви или донесет до убежища в скалах, но вряд ли он сможет поднять его — у него нет сил. Да и от одной мысли, что придется взвалить на плечи человека с такой большой отвратительной раной, Петеру становится дурно. Может, сказать Телеки, чтобы он полежал здесь, пока он сбегает к двуглавой церкви и пришлет за ним санитаров с бинтами и носилками.

Он подумал о том, что после возвращения наденет праздничный костюм и в первый же вечер вместе с Вероникой пойдет навестить жену Телеки. Осторожно подбирая слова, он расскажет ей о том, что случилось возле железнодорожного полотна в холодный дождливый день

по соседству с перевернутыми вверх тормашками железнодорожными вагонами. Он расскажет жене Телеки о том, каким храбрым был ее муж, как все его любили, и о том, что он постоянно носил у себя на груди семейную фотографию — так и умер с ней. Вместе с Вероникой они будут навещать жену Телеки, утешать ее, а его сыну расскажут красивую историю об отце-герое.

Телеки открывает глаза, что-то говорит, но слов нельзя разобрать. Он снова закрывает глаза. Так ему, наверное, легче.

Надо бежать! Сейчас как раз подходящий момент. Он даже не заметит этого.

Петер вскакивает на ноги. Телеки остается лежать на земле, повернувшись на бок. Петер пробегает несколько метров, потом несколько десятков метров... Ноги тяжелые, словно налились свинцом. Дождь льет как из ведра. Весь мир состоит сейчас из липкой грязи и воды.

Петер не оглядывается. Там, позади, Телеки со своей большой кровавой раной. И Петер бежит, подгоняемый ужасом.

Над головой снова слышится резкий свист. Петер бросается на землю, уткнувшись лицом прямо в грязь, глядит на двуглавую церквушку и тут же отворачивается. Перед его глазами — хмурый, укоризненный взгляд Телеки.

Что делать? Лечь на спину и покорно дожидаться смерти?..

Телеки неплохой человек. Будь проклята эта война! Правда, бывали случаи, когда он вечером потихоньку пробирался к сельским богачам и шепотом давал согласие поденно работать у них за плату на тридцать филлеров дешевле, но ведь и другие так делали — и старый Чутораш, и Балинт, и муж Юлии Ваш. Телеки толкал на это голод — клочок каменистой земли был у него совсем крохотный. Нет, не такой уж плохой он человек.

Порой он останавливался на краю своего маленького каменистого участка и ждал, пока Петер Киш закончит борозду. Потом они вместе садились около лопухов и тяжело вздыхали. Зимой они часто ходили за дровами, и Телеки брал с собой бутылку с виноградной палинкой. Им в один день вручили повестки, а потом холодным мартовским утром, на рассвете, Телеки робко, стесняясь, словно приглашал Петера в корчму, постучал к нему в окно.

С тех пор их обоих прижимал к земле страх, но теперь все это не имело никакого значения, так как Телеки уже не было в живых. Не сойдет он теперь вместе с Петером на маленькой железнодорожной станции, не распрощается с ним перед калиткой домика, огороженного забором из реек.

Дождь льет как из ведра. По спине у Петера пробегают мурашки, а он не смеет оглянуться.

А может, все же вернуться за Телеки?

Один священник в своей проповеди говорил, что тот, кто однажды тонул в реке, боится потом даже высохших колодцев.

Петер Киш сжимает зубы, вскакивает и бежит дальше. Кто-то машет ему из-за скал, но он ничего не видит. Он бежит, а на душе у него тревожно. Добежав до мраморной шахты, он падает, споткнувшись о камень, и испуганно втягивает голову в плечи. Ногу сводит от резкой боли. Несколько минут он лежит неподвижно, словно труп. Затем медленно шевелит рукой, ногой, поворачивает голову. И все-таки он чувствует себя счастливым. Так хорошо здесь, между этими скалами.

Он осторожно оглядывается назад, словно боится, что земляк бежит по его следам, хотя знает, что тот все так же неподвижно лежит в люцерне, повалившись на бок.

Лицо Петера перепачкано липкой грязью, одежда промокла до нитки. Он вспоминает, как тринадцатилетним мальчишкой работал в соседней деревне на поденщине вместе с отцом. Какая-то девчонка прибежала тогда на поле и сказала, что звонил господин нотариус: старуха Киш при смерти, пусть они скорее возвращаются домой. Они бежали по дороге что было мочи, но, добежав до мельницы, увидели на дороге пьяного. Отец неожиданно остановился. Даже не разглядев как следует пьяного, он оттащил его с дороги и уложил под деревом.

— Машина может сбить... Бросать человека на произвол судьбы — тяжкий грех... — объяснил отец сыну, и они побежали дальше.

Телеки был неплохой человек, просто несчастный.

И вовсе он не ходил за Петером по пятам. Это только так казалось. Вот и сейчас его нет. Он остался лежать в люцерне со своей большой страшной раной.

А если Вероники нет за горой? Что, если это только бред его больного воображения?..

Кто убил Телеки? Почему его убили? Почему он должен был умереть? Ради этой проклятой войны? Петер

снова преклоняет голову и лежит так с закрытыми глазами. Затем с трудом приподнимается. Выходит из-за скал и идет, осторожно минуя круглые воронки. Если поблизости разрывается мина, Петер бросается на землю и продвигается вперед ползком. Он ползет и ползет...

Когда он снова наклоняется над Телеки, то слышит далекий голос Вероники: «Милый, когда же кончится эта проклятая война?»

Телеки еще жив. Петер трогает его за плечо. Тот медленно открывает глаза, удивленно моргает.

— А мне приснилось, что ты бросил меня, — облегченно вздыхает Телеки, и морщины на его лице постепенно разглаживаются.

Петер просовывает руки под спину раненому:

— Я тебя понесу.

Дождь бьет Телеки в лицо. Он смотрит на Петера глазами благодарной собаки, и непонятно, то ли слезы текут у него по щекам, то ли это капли дождя. Он широко раскрывает рот и шепчет:

— Дай мне воды, Петер... Пить хочется...

— У меня нет воды...

Голова Телеки свешивается набок, он тихо бормочет:

— Мне теперь на все наплевать... на все...

Прилагая нечеловеческие усилия, Петер тащит на себе раненого. Ноги скользят по глине, глаза прикованы к двуглавой церкви.

Петер не слышит ни треска автоматов, ни воя мин, он все идет и идет, еле переставляя ноги, таща на себе истекающего кровью земляка Андраша Телеки...

Пройдя метров сто, Петер останавливается, осторожно опускает Телеки на землю, подкладывает ему под голову руку и наклоняется над ним.

Телеки лежит неподвижно, изнемогая от боли и жажды. Он хватается за Петера слабыми пальцами.

— Дай воды... Пить хочется...

Язык у него распух, губы потрескались.

Петер садится, оглядывается, ища глазами какую-нибудь лужицу, но земля поглотила всю влагу.

Телеки, собрав остатки сил, приподнимается на локте, но Петер осторожно укладывает его на землю:

— Лежи спокойно... Что ты крутишься?

Телеки поворачивается на бок, молча разглядывает слипшуюся траву.

— Я умираю, Петер... — тихо шепчет он и, приподняв голову, жадно ловит дождь. — Я это чувствую...

Петер опускает голову. Телеки благодарно смотрит на него.

— Дай воды, Петер...

— Нет у меня воды.

— Тогда пристрели меня...

— Нет, не могу... Не проси...

Телеки пальцами трет свои потрескавшиеся от жажды губы. Предметы уже сливаются у него перед глазами. Он воспринимает только звуки, густые, возникающие откуда-то из тумана, и ждет или чистой воды из фляжки, или пули, сразу бы избавившей его от мучений.

Петер тяжело приподнимается. Каждое движение дается ему с большим трудом. Но он снова взваливает себе на спину земляка.

— Петер! — в отчаянии кричит Телеки. — Положи меня! Слышишь, положи...

Петер Киш сердито бросает:

— Нет!

— Я хочу умереть!

— Нельзя...

— Хватит с меня! Я уже... не хочу домой...

Петер не отвечает. Он несет тяжкий груз войны, с трудом пробираясь между воронками. Он не оставит здесь Андраша Телеки. Он будет тащить его холодеющее тело по этой грязи независимо от того, имеет это смысл или нет. Он будет тащить его, даже если самому придется погибнуть, ведь бросить человека на произвол судьбы — преступление.

Сил у Петера совсем нет, но что-то заставляет его упорно переставлять ноги. Он шатается, но идет, потому что все время слышит голос Вероники.

У входа в шахту, где еще недавно добывали мрамор, его опрокидывает на землю взрывная волна. Вместе с Телеки он валится на камни. Телеки скатывается у него со спины, но Петер собирается с силами и, преодолев усталость, подползает к Телеки.

— Помоги мне немного, Андраш... Обопрись о скалу, тогда я тебя подниму... — чуть слышно шепчет Петер. — До церкви уже недалеко... — бормочет он, вытирая рукой пот со лба.

Андраш Телеки уже не отвечает.

Ноги в солдатских ботинках торчат из-под шинели, грудь запала, каска сползла на лицо.

Петер наклоняется и поворачивает Телеки лицом вверх.

— Держись руками за мою шею или вот здесь за воротник... Слышишь, Андраш, так мне будет легче, — уговаривает он товарища, а когда подсовывает руки под спину Телеки, то замечает, что глаза у Андраша неподвижны — он мертв.

Петер удивленно смотрит на Телеки. Он не хочет верить, что Андраш умер.

Долго сидит Петер у трупа товарища. Он не спускает с него глаз, но ничего не видит. Не слышит он теперь и голоса Вероники. Ничего его уже не интересует, ничего. Он лишь смотрит на своего соседа, на его грязные солдатские ботинки, на закрытые глаза. Затем поднимает его холодное тело, взваливает себе на плечи и, хватаясь за выступы скал, плетется к церкви. Каждое движение дается ему с большим трудом, но он идет, глядя на скалы, которые то расходятся, то смыкаются перед ним.

— Видишь, Андраш, — шепчет Петер, — они то расходятся, то сходятся, словно мехи у гармошки... А вообще-то это только так кажется, не обращай внимания... Потом поговорим, как придем домой, ладно? Повернись немного, чтобы мне было легче. Не горюй, вот придем в Тапольцу, купим бутылку палинки и разопьем ее в поезде. Идет? Ты ведь был любитель...

В дверях церкви стоял худой медик в очках. Он помог ему снять со спины труп Телеки и положил его на свободный мешок, набитый соломой.

— Жив еще? — равнодушно спрашивает унтер.

Петер безнадежно машет рукой. Что это значит, понять нельзя.

В церкви перед изваянием святого Антала горят тонкие бледные свечи. Петер проходит мимо изваяния и опускается на колени возле двух свечек. Медленными движениями он вытирает с лица грязь, потом поднимает глаза к лику святого и крестится.

Он начинает шептать молитву, которую выучил еще в детстве, но, так и не дошептав до конца, бессильно падает на пол.

Петер подходит к своему дому и останавливается у калитки. Ему кажется, что весь мир вокруг неподвижен, что он видит все это во сне. Растерянный, покорный, сгорбившийся, он хочет кого-нибудь увидеть на длинной кру-

той улице, но в домах под плоскими, почерневшими от дыма крышами не чувствуется никаких признаков жизни.

Он дома. Сгорбленный, искусанный вшами, он все-таки дома.

И лишь спустя несколько минут из открытого окна доносится тоненький голосок. Он замечает, что около соседского дома двое ребятишек роются среди золы и отбросов. У верхнего колодца стоит женщина в платке.

Небо ясное, чистое. Тучи скрылись.

Петер неловко топчется у калитки, постепенно осваиваясь с окружающим.

Перед калиткой, как и раньше, канавка, после дождя в ней всегда набирается вода.

Зеленый деревянный ящик для писем все так же висит на кривой акации.

Все по-старому, все на своем месте.

Петер стоит у калитки, боясь войти. «Невероятно! — думает он. — Где бородатый ефрейтор? Где блиндаж? Где Андраш Телеки? Где церковь с двумя главками? И где командир батареи? Куда все это подевалось?»

Он осматривается. Улица снова опустела, будто вымерла. Женщине надоело качать воду из пересохшего колодца, дети убежали во двор. Село опять застыло в неподвижности и равнодушии.

Петер протягивает руку к щеколде, но не дотрагивается до нее. Он боится, что все это сон. Бывает, дотронешься до ржавого железа — и оно рассыплется в прах.

С нижнего конца улицы доносится протяжный крик. Петер вздрагивает, снова оглядывается, судорожным движением одергивает помятый френч, застегивается, перебрасывает через плечо сумку, проводит рукой по лицу, словно отгоняет сомнения.

Калитку он оставляет открытой. Сгорбившись, плетется он, с трудом переставляя ноги, по тенистой веранде — как будто идет на рапорт к командиру дивизии.

Открывает дверь кухни и останавливается на пороге. В нос ударяет запах еды, глаза с трудом привыкают к полумраку.

Вероника сидит на низком стуле около плиты, как раз напротив двери. Руки ее покоятся на коленях. Вот она наклоняется и с удивлением смотрит на застывшего на пороге мужчину. Она сидит на стуле так, как всегда. Наверное, все это время она сидела так до вечера и смотрела на обшарпанную деревянную дверь, в которую на рассвете ее Петер ушел на фронт.

Глаза Петера постепенно привыкают к царящему на кухне полумраку. Он смотрит на жену.

Проходит минута, а может, и того меньше.

Душа его раздавлена грузом воспоминаний. Ранним утром год назад он впервые понял, что для него все потеряно. В розовых лучах зари на постели лежала Вероника, сонная и теплая. А на столе желтела повестка. Теперь все это позади, в общей куче воспоминаний. Буйные выходки в молодости, первый неловкий поцелуй под церковным колоколом, скромная свадьба и ужасное бегство под пулями и минами...

Все слилось воедино. Может, он и домой-то пришел, чтобы прожить всю свою жизнь заново.

Петер переступает с ноги на ногу.

Вероника смотрит на него, но видит темную фигуру на фоне двери. Тень от вошедшего пролегла через кухню до самой стены.

Сначала она узнает очертания фигуры мужа и только потом угловатые черты лица.

Наконец до нее доходит. В ее лице что-то меняется. Равнодушный взгляд смягчается, в глазах мелькает удивление и смущение. Она хочет встать с места и не может. Не понимает, что случилось с ногами, ведь они всегда ее слушались.

Трепетное, стыдливое молчание нарушается хриплым возгласом:

— Вероника!

Она вскакивает и тут же падает ему на грудь.

Прижавшись друг к другу, они долго стоят у двери. Оба молчат. Молчат и слушают тишину.

Муж осторожно гладит густые волосы жены, касается ее спины, плеч, груди. Вероника молча принимает ласку. Она счастлива. Ее кожа сладостной дрожью отвечает на прикосновение его рук. Она тихо плачет.

Наконец Петер разжимает руки. Вероника бежит к плите, где из-под крышки кастрюли вырывается пар. Склоняется над кастрюлей — лицо сразу обдает горячим паром, но она этого не замечает.

Вероника боится. Ее страшат и узкие полоски врывающегося в окно света, и полка у рукомойника, и горячий взгляд мужа.

Она подбегает к двери, закрывает ее и прислоняется к ней спиной. Может, у нее мелькает безумная мысль, что Петер снова уйдет на фронт.

— Сейчас я сделаю тебе яичницу... Потом сбегаю к Аннуш за вином... — говорит она дрожащим голосом.

Взгляд ее падает на ноги мужа, на его грязные стоптанные башмаки, в которых он неуклюже топчется по кухне.

Петер молча кивает. Его движения неторопливы, он как бы заново узнает окружающие предметы. Он ходит по кухне, потом ложится на лавку у окна, закинув руки под голову. Он доволен: все так же, как и год назад.

Петер ждет, когда в окно постучат соседи. Напрасное ожидание. Почему-то никто не приходит.

Он смотрит на потолочную балку — она и в прошлом году была такой же. Неужели все осталось таким же, как и год назад, когда он уходил из дому? И Вероника? И два хольда каменистой земли? И родственники в Халапе? И старые надежды? И жалобы соседей? И длинные вечера у горячей печи?

Он лежит на лавке и не знает, что ему теперь делать. Откровенно говоря, ему хочется прыгать от радости, ощупать стены, обежать вокруг дома. А больше всего ему хочется обнимать Веронику и целовать, целовать...

Но все вокруг кажется каким-то чужим и ненужным.

Целый год он жил рядом со смертью и грустил по дому. Он привык к этому, а здесь все ему кажется непривычным.

Вероника разбивает яйца, кладет на сковородку смалец, потихоньку, словно боится, как бы муж не заметил, с нежностью посматривает на него. Потом она перестает возиться у плиты и ждет, когда муж отвернется, тогда она подбегает к нему, наклоняется, целует в губы и тут же отбегает. И снова стоит у плиты, не смея обернуться.

Таким же неловким был их первый поцелуй.

Вероника с радостью хозяйничает, достает посуду, соль.

Петер поворачивается на бок, смотрит на жену. На ней пестрая голубая юбка, из-под подола выглядывают стройные белые ноги. Движется она неловко, смущаясь. Петер ласково, но с опаской смотрит на жену, словно боится, что неосторожным взглядом может сломать свое счастье.

Чуть позже она садится на лавку, выглядывает в окно. Улица пуста.

— Немцы ушли? — спрашивает он.

Вероника перестает взбивать яйца:

— Ушли. Да и венгры, которые с ними, тоже.
— Когда?
— Вчера вечером.
Петер не смотрит на нее, лишь впитывает звук ее голоса.
— Хорошо. Значит, теперь придут русские.
Вероника ставит сковородку на плиту, а сама подсаживается на лавку и обнимает Петера, уткнувшись лицом в плечо.
Петер обнимает жену и чувствует, как она дрожит, а на шею ему падает ее слеза.
Вероника тихо всхлипывает:
— Отвык ты от меня?
Петер смотрит на жену и неожиданно говорит:
— Отвык.
По лицу Вероники тенью пробегает разочарование, горечь, и она снова утыкается лицом в шею мужа:
— Когда придут сюда русские?
Петер пожимает плечами:
— Не знаю... Может, вечером уже будут здесь... Или утром. Или послезавтра. Но придут наверняка.
Вероника вздыхает, зябко пожимает плечами:
— А если их разобьют?
Петер бросает на жену изумленный взгляд:
— Русских? Кто?
— Гитлеровцы.
Петер усмехается:
— Разбить русских? Знала бы ты, как они воюют. И как мы от них драпали! Целый год мы драпали от них, Вероника...
Вероника пристально смотрит мужу в глаза:
— Они и до Германии дойдут?
— Конечно, до самого Берлина. А как же иначе?
Вероника прижимает руку ко рту, глаза ее округляются.
— Петер, да ты не коммунист ли?
Муж медленно, удивленно поворачивается к ней.
— Я? — оторопело спрашивает он.
— Ну да. Ты говоришь, как коммунисты.
Петер снисходительно кивает:
— Чтобы так думать и говорить, не обязательно быть коммунистом. Знаешь, сколько это — тысяча километров? Тысячу километров мы бежали от русских... А я только с того берега Балатона сумел удрать...
Вероника трясет мужа за плечо:

— Петер, молчи! За такие разговоры расстреливают! Ты что, не понимаешь?..

Петер ложится на лавку, кладет голову жене на колени и громко смеется. Он весь трясется от смеха, обнажив пожелтевшие от табака зубы. Расстреливают? А за что? Тот, кто слышал грохот русской артиллерии и стоны раненых, так не скажет.

— Откуда ты знаешь, за что расстреливают? — спрашивает он.

Вероника обиженно отворачивается от мужа:

— Ганс говорил.

Улыбка замирает на лице у Петера. Он широко открывает рот, прищуривает глаза. Повернувшись к жене, пытливо смотрит ей в лицо:

— Какой еще Ганс?

Вероника беспокойно ловит взгляд мужа:

— Унтер-офицер... У нас в селе немцы были... Жили они вон там, у верхнего колодца, — скороговоркой рассказывает она, ткнув пальцем в сторону окна, хотя через него ничего, кроме соседнего дома, не видно. — Унтер приходил в село, разговаривал с женщинами... Со всеми женщинами...

Петер отпускает жену, подпирает голову рукой.

— Что это были за немцы? — спрашивает он только затем, чтобы что-то спросить.

— Они себя прилично вели, — объясняет Вероника.

— Я не о том. Это были эсэсовцы или простые солдаты?

— Кажется, простые... А что?

Вероника некоторое время ждет, потом пожимает плечами. Муж недоверчиво смотрит на нее, бродит по комнате, словно ищет что-то:

— И они ушли из села?

— Я тебе сказала: вчера вечером.

Оба молчат. Потом Вероника подходит к мужу, нежная и ласковая. Ей хочется прервать это жуткое молчание.

— Помнишь, ты говорил, что сюда придут русские, еще когда уходил с Телеки на фронт... — произносит она неуверенно и вздыхает.

Петер молчит, уставившись прямо перед собой.

Вероника знает, что сюда вот-вот придут русские. Это неизбежно. Пусть все будет так, как говорил ей Ганс зимними вечерами, когда они сидели у горячей печи. Только он, синеглазый, с ослепительными зубами,

пусть никогда не возвращается сюда. Вероника не хочет, чтобы ее терзали призраки. Она хочет жить при ярком дневном свете, даже если солнечный луч неосторожно обожжет ее.

Вероника ласкается к мужу. Как хорошо, что он вернулся! Ее руки скользят по его френчу. Почему верные, любящие жены не могут уходить вместе с мужьями на фронт? Почему им приходится оставаться дома? Почему долгими бессонными ночами они должны метаться по кровати, а днем подолгу простаивать у окна, не спуская взгляда с узкой извилистой тропинки, по которой ушел на фронт муж и по которой, быть может, никогда не вернется обратно. Нельзя же все время смотреть в окно.

Вероника прижимается к Петеру. Она знает, что сейчас должна завоевать его для себя, но не может найти нужный тон, голос ее звучит слабо и неуверенно.

— А немцы больше никогда сюда не вернутся? — спрашивает она.

Пар с силой вырывается из кастрюли, сбрасывает на пол крышку. На мгновение Вероника забывает обо всем на свете и бросается к плите. Грохот упавшей крышки мешает ей услышать ответ мужа. Она даже не уверена, ответил ли он ей.

Она рассеянно возится у плиты, грохочет крышками, переставляет тарелки. Движения ее неловки. Ей кажется, будто все не на своем месте, и приготовление яичницы никогда не было для нее таким трудным делом, как сейчас.

Вероника исподтишка поглядывает в сторону мужа, словно желая убедиться, что он и вправду дома.

Он старается думать о том, что они только что целовались вон там, на лавке, что он обнимал ее.

Он неохотно поднимается с места.

Может быть, тогда, в блиндаже, Телеки был прав? Что теперь делать? Он не знает. Он ничего не знает. Немецкий унтер наговорил женщинам целую кучу ерунды о новом сверхмощном германском оружии, о скорой победе...

А если Телеки все же был прав? Нет. Это невозможно. Вероника не такая, как другие... А если всетаки?..

Петер идет в комнату за табаком. Он помнит, что в нижнем ящике шкафа должен лежать начатый пакет табаку. Он присаживается на корточки и охает. Стоило

попасть домой, как ревматизм сразу же дал о себе знать.

Петер терпеливо ждет, когда немного утихнет боль в пояснице, потом вытаскивает папиросную бумагу. Закурив, он оглядывается по сторонам. Все на месте, будто он никогда и не уходил отсюда. Кровати, иконы на стене, цитра в углу...

Он смотрит на окно и вспоминает, как год назад в него постучал Андраш Телеки. Горло сжимает спазм, и Петер надрывно кашляет, сотрясаясь всем телом. Он отгоняет рукой клуб белого табачного дыма, но ему все еще кажется, что он видит в окне лохматые брови Телеки. Петер отворачивается от окна и идет в кухню.

Вероника по-прежнему занята у плиты. На миг Петером овладевает ощущение умиротворенности. Но беспокойство не исчезает. Надо бы помыться, снять грязный солдатский френч, зарыть его в огороде, надеть чистую крестьянскую рубашку. Но Петеру ничего не хочется делать.

По спине у него пробегают мурашки. Он подходит к окну и смотрит во двор.

— С ноября я не получал от тебя ни одного письма, Вероника, — говорит он тихо.

Вероника оборачивается, словно преступница, застигнутая на месте преступления, но в голосе у нее звучит кротость и смирение:

— Я тебе писала... Все время писала. Один раз я перепутала номер полевой почты... — Она отворачивается и смотрит на огонь: ей хочется собраться с мыслями. — И потом, у вас действительно сменился номер полевой почты...

Петер задумчиво глядит во двор:

— Но я слишком долго не получал писем.

— И к рождеству не получил?

— Нет, — грустно качает головой Петер. Он открывает окно и видит свое отражение в стекле: худое, заросшее щетиной лицо старого человека. Петер отворачивается: — Вероника...

— Что?

— Мне бы побриться...

— Все там, у рукомойника, только побыстрее — яичница сейчас будет готова. А я пока сбегаю за вином.

Петер медленно отходит от окна:

— А ремень для правки бритвы где?

— Там же, у рукомойника, на гвозде.

Петер снимает френч, нательную рубаху — в нос бьет запах грязного солдатского белья. Он бросает одежду в угол, снимает с гвоздя полотняное полотенце, повязывает его, засовывая концы за пояс. Он снимает с гвоздя ремень, вынимает из картонного футляра бритву, берет мыло и протягивает руку к кисточке для бритья.

На плетеной палочке у рукомойника стоят две кисточки: одна — коротенькая, с густой щетиной, с потрескавшейся ручкой, и другая — тоненькая, мягкая, почти новая.

Петер чувствует, будто его ударили, но не понимает куда: не то в висок, не то в сердце. Он удивленно смотрит на Веронику, которая стоит к нему спиной. Затем медленно протягивает руку и берет кисточку для бритья. Дрожащими пальцами вертит ее и, беззвучно шевеля губами, читает немецкую надпись фабрики...

Петера пробирает озноб. Он вздрагивает всем телом: да правда ли, что он дома?

Он не спускает взгляда с жены, но она не оборачивается. Теперь у него есть доказательство неверности Вероники — вот оно, в его руках. Вероника не успеет ни защититься, ни позвать соседей, если он на нее сейчас бросится.

Петер вытирает лоб — с него градом льет пот. Он стоит у рукомойника с таким чувством, будто у него украли самое дорогое. В руке у него кисточка фашистского унтера. Дыхание с хрипом вырывается из груди Петера. Он стоит неподвижно и не знает, что делать.

Перед ним на мгновение всплывает лицо Корчога, тоскующего по товарищам с тракторного завода, по родным местам, он видит лицо овдовевшего приказчика, слезы на глазах у Телеки, слышит далекий голос жены, преследовавший его так долго, потом все пропадает и остается только единственный предмет — кисточка для бритья с немецкой надписью на ручке.

Он плачет. Всего несколько прозрачных капель скатывается по щекам, но это так много для мужчины.

С каменным лицом, тихо и хрипло Петер зовет:

— Вероника!

— Что?

Им овладевает дрожь, он хочет увидеть лицо жены, когда она обернется к нему, морщинки под глазами, рот, глаза, всю ее.

Петер горбится и дышит так тяжело и часто, что сквозь кожу выпирают ребра.

— Взгляни-ка сюда!

Вероника оборачивается, в ее глазах жалость. Она вдруг замечает кисточку в руках мужа и инстинктивно подносит руку к лицу, словно пытаясь заслониться от возможного удара.

— Это чье?

Вероника молчит, глядя на мужа широко открытыми глазами.

Морщины на лице Петера становятся глубже, теперь видно, как он постарел.

— Ганса? — спрашивает он деревянным голосом.

Вероника теребит воротничок платья. Ее трясет как в лихорадке.

— Послушай... — умоляюще начинает она.

Муж молчит, уставившись в землю. Опустив голову на грудь, он со страшной силой сжимает в кулаке кисточку.

— Вон отсюда!

Вероника старается поймать взгляд мужа, но холодный, безжалостный блеск его глаз подсказывает ей, что теперь ему ничего не объяснишь: он просто не в состоянии ничего понять.

Теперь уже поздно рассказывать, что и как было. Да разве об этом можно рассказать?..

Все началось в октябре. Вероника стояла у колодца вместе с другими женщинами. Они разговаривали. А по неровной сельской улице в сторону рощи шла колонна немецких военных грузовиков.

В тот день Вероника впервые увидела унтера. Он подошел к колодцу и попросил у нее воды.

После этого унтер ежедневно приходил к колодцу, выбирая время, когда Вероника шла за водой. Он ничего не говорил, стоял прислонившись к дереву и не спускал с нее глаз.

Вероника никак не могла от него избавиться.

Он шел рядом с ней по улице, брал из рук тяжелые ведра с водой, хотя она не просила помогать ей. Он стал ее тенью. Унтер только молча смотрел на нее, но она поняла, что ей от него не избавиться.

На третий вечер он принес курицу и попросил ее сварить. Вероника, трясясь как в лихорадке, варила кури-

цу, поливая ее собственными слезами. Целый вечер она не решалась поднять глаза на унтера и двигалась так неловко, что даже разбила две тарелки.

Второго декабря выпал первый снег, а на другой день гитлеровцы пришли в село на постой. Унтера поместили у Вероники. Она не хотела пускать его, но ее заставили.

Он был вежливый, с большими голубыми глазами. И в первый же вечер он полез к ней. Вероника отбивалась как могла, но унтер овладел ею.

Каждый вечер Ганс приносил Веронике хлеб, мясо, консервы. И она в утешение себе начала думать, что Петер тоже, наверное, нашел себе какую-нибудь солдатку и носит ей хлеб и консервы.

Все это было и прошло. Так стоило ли об этом говорить? Все равно каждый день, засыпая, Вероника думала о Петере, думала, потому что любила его и верила, что он вернется и тогда у них обязательно будет ребенок.

И вот Петер стоит с опущенной головой, упершись взглядом в землю. Сейчас он способен сдвинуть с места весь этот дом, способен свернуть целую гору.

— Я тебе сказал: убирайся!

— Послушай...

— Вон отсюда!

Петер делает шаг вперед, один лишь шаг, но Вероника понимает, что сейчас он может убить ее.

Она бледнеет, хватается за край стола. Платье ее, как на грех, цепляется за гвоздь, легкая ткань с треском рвется, тяжелые старые шлепанцы спадают с ног.

Вероника не плачет, не успевает заплакать. Угроза мужа срывает ее с места, вселяет в нее страх, и она бежит на крыльцо, а оттуда — на улицу.

Долго смотрит Петер на открытую дверь, потом закрывает ее. Окидывает взглядом комнату, осматривает мебель и удивляется: все стало каким-то чужим, как будто он здесь впервые.

Петер падает на лавку и плачет, плачет, как обиженный ребенок. Он так и засыпает лицом вниз, продолжая всхлипывать во сне.

Просыпается он от холода. Протирает кулаком глаза, с удивлением смотрит на кастрюли, на яичную скорлупу, на потухающий в печи огонь. И все вспоминает...

Петер встает с лавки, неуверенно топчется на одном месте. Идет в комнату, открывает шкаф, вытаскивает из

ящика белье, бросает его на пол. Он выбирает себе полотняную рубашку.

Движения его тяжелы, медленны, неуверенны. Петер надевает рубашку и подходит к зеркалу. Оттуда на него смотрит усталое скуластое лицо старого худого человека, надевшего перед смертью чистую полотняную рубаху. Лицо человека, безразличного ко всему.

Петер продолжает смотреть в зеркало. В памяти всплывают мелочи прежней, канувшей в прошлое жизни.

Когда-то давно он целовал Веронику под церковным колоколом. Когда-то встретился в лесу с человеком, который закапывал в землю ящик с барахлом, потому что скоро сюда должны прийти русские. Когда-то был у него товарищ с кривыми ногами и черными густыми бровями. А год назад он получил повестку.

Все это было когда-то.

Когда-то давно он целовал Веронику в горячие мягкие губы. Когда-то они любили друг друга — он и Вероника. Но все это было очень давно.

Петер заходит в кухню, садится у стола, опускает голову на руки и долго сидит неподвижно. Кто-то стучит в кухонную дверь, но Петер не двигается.

Убить Веронику? Найти, где бы она ни была, и убить. Но где ее искать?

Утром он уйдет отсюда. Уложит свои пожитки в вещевой мешок и уйдет к отцу в Халап. Бросит все и уйдет.

В дверь снова стучат — тихо и неуверенно. Петер поднимает голову, но отвечать ему не хочется. Он хрипло кашляет, словно тяжелобольной.

Снова стучат, затем кто-то тихо приоткрывает дверь:

— Можно?

Дверь открывается шире, и в кухню осторожно просовывается голова с длинными усами. Под полями старой черной шляпы суровое смуглое лицо с бегающими глазами. Это маленький быстрый человек, похожий на цыгана. Да это же старый Шойом!

Их огороды рядом, хотя сам Шойом живет далеко. У старика четыре хольда каменистой земли и дом на самом конце села, в овраге.

— Можно зайти, Петер? — неуверенно спрашивает старик.

— Входите, если надо...

Старик медленно закрывает за собой дверь, садится на скамейку. Сняв шляпу, смущенно теребит ее.

Петер недоволен приходом соседа, но выгнать его неудобно. Раз уж пришел, пусть сидит. В кухне места достаточно.

— Вернулся? — хрипло спрашивает старик.

— Вернулся, — отвечает Петер после долгой паузы.

Старик вытаскивает из кармана большую трубку. Не спеша продувает мундштук, набивает трубку табаком, а сам обдумывает, что сказать соседу, чтобы не обидеть его. Молча закуривает, делая частые затяжки:

— Тебя отпустили?

Петер поднимает голову и зло смотрит на старика:

— Что ты этим хочешь сказать?

Старик смущенно ерзает на скамейке:

— Я думал, может, тебе дали отпуск.

— Какие теперь отпуска? Война...

Некоторое время Петер сидит молча, уставившись в одну точку, потом морщит лоб. Он избегает смотреть пришедшему в глаза.

— Нет. Я вернулся сам по себе...

Шойом кивает с довольным видом человека, нашедшего среди мусора нечто для себя полезное:

— Значит, удрал?

Петер выпрямляется и со злостью кричит:

— Что вам от меня нужно? Зачем вы ко мне пришли?

Шойом вздрагивает, опускает трубку к коленям и ждет. Ждать ему приходится долго. Наконец Петер успокаивается и садится на лавку, и выражение его лица немного смягчается. Тогда старик снимает с колена шляпу и делает глубокую затяжку.

— Мы тут сидим, как кроты в норах, и в поле не выходим, а весна вон уже на носу... — говорит он миролюбиво. — И в горы не ходим, ждем, что будет. Одни говорят, что русские всех нас в Сибирь угонят, другие — что за Тисой они землю крестьянам раздают... Слухи всякие ходят, вот только, каким верить можно, а каким нет — неизвестно.

Старик замолкает, ожидая, что скажет на это Петер. Но тот молчит.

Шойом наклоняется к нему:

— Ты, наверное, больше нас знаешь, а?

— Оставьте меня в покое! Ничего я не знаю! — отмахивается Петер.

Шойом равнодушно пожимает плечами. Терпеливо молчит и курит трубку. Едкий дым щиплет язык, но старик невозмутим.

— Тесть бакалейщика сказал, что Андраш Телеки погиб на фронте...

Петер переводит взгляд с крючка, на котором висит лампа, на старика, но по его глазам ничего невозможно прочитать.

— Это верно: Телеки погиб...

Старик скребет подбородок, хмыкает.

— Не один он погиб из нашего села... — говорит Шойом, сжимая и разжимая кулак. — Сын Балинта Фечко тоже погиб... И сын звонаря... Несчастный отец все деньги теперь попам относит. Раньше зажиточный был, а теперь все его богатство — то, что на нем самом... Помнишь его? Длинный такой парень. Последнее письмо от него получили из Львова, а потом как в воду канул. Приезжал сюда унтер, который вместе с ним воевал. Он и сказал, что парень там погиб. Муж Аннуш тоже погиб, а Марци Бернара немцы угнали в концлагерь. У нотариуса в конторе говорили, будто он что-то замышлял против них...

Старик, словно устав, перестает перечислять погибших и тихо, огорченно вздыхает:

— Многих уже нет в живых, сынок...

Петер утвердительно кивает, взгляд его стальных глаз по-прежнему суров.

— Многих...

Шойом выбивает трубку и продолжает, не глядя на Петера:

— Из нашей семьи, слава богу, никого там нет. Все дома — и сыновья, и внуки...

Петер отворачивается, хотя больше всего ему хочется наброситься на старика, прогнать его из кухни, из дома, пожалуй, даже из села. Чего ему здесь нужно? Неужели он не понимает, что Петер ненавидит его, ненавидит его длинные лохматые усы, его смуглое лицо, что ему хочется выбросить старика вон из дома. Ему необходимо побыть одному.

Петер внимательно смотрит на молчаливо курящего старика, а тот бормочет тихим, извиняющимся голосом:

— Я не хотел тебя беспокоить...

И снова тягостное молчание.

— Воды у нас, сынок, нет... — хрипло тянет старик.

Чувствуется, что ему что-то мешает говорить. Он видит, что Петер не слушает его, но упрямо продолжает: — В двух верхних колодцах нет ни капли, а нижним колодцем все это время пользовались только немцы. Мы дождевую воду собирали. Хорошо, конечно, что дождь был, но знаешь, какая она невкусная, эта дождевая вода? Теперь здесь все как в прошлом или в позапрошлом году: скот пьет сколько влезет, а людям воды не хватает... Надо бы в самом низу долины еще один колодец пробурить, но кто нам даст денег?

Старик замолкает, выбивает трубку и продувает мундштук.

— Я вот думал, приду, поговорим с тобой по душам, — продолжает он и обиженно пожимает плечами: — Но у тебя, видать, нет настроения.

Он тяжело трет поясницу и медленно ковыляет к двери. Положив руку на дверную ручку, вдруг поворачивается и спрашивает:

— Выгнал жену-то?

Петер вздрагивает и смотрит в глаза старику.

— Выгнал, — тихо отвечает он.

Шойом переступает с ноги на ногу. Ему хочется снова сесть на лавку, набить трубку и по-мужски утешить соседа.

— Из-за немца?

Петер чувствует, как в груди у него спирает дыхание. Значит, это известно и старику.

Петер встает, отбросив в сторону стул, и впивается взглядом в старика. Убить бы его за такое издевательство.

Старик весь сжимается под суровым взглядом Петера.

— Да... А вам какое дело?

— Никакого... Правда, никакого...

— Вот и хорошо.

Старик в замешательстве теребит свою черную шляпу. Ждет.

— Вероника к нам прибежала, — объявляет Шойом и внимательно следит за каждым движением Петера.

— К вам? — вздрагивает Петер.

Шойом молча кивает. А Петер не знает, что теперь ему делать: поблагодарить Шойома или ударить? Или тоже выгнать отсюда? Его, наверное, подослала Вероника, чтобы он уговорил Петера... Или побежать к Шойо-

му в дом и задушить там Веронику? Зачем старик сказал ему, что Вероника у них?

Петер кивает, им овладевает чувство неловкости: он даже не знает, что сказать старику.

— Значит, она у вас? — мямлит он.

— Да, у нас... И вот что я тебе скажу: такое с каждым может случиться — война. С одним это тут случается, с другим там...

Петер стряхивает с себя оцепенение, словно его больно ударили по лицу. Он делает шаг вперед и кричит в лицо старику:

— Там? Ни с кем там такого не было!

Старик, помолчав, тихонько вздыхает:

— Война эта все наделала, сынок. Проклятая война...

Петер выпрямляется, но у него уже нет сил ударить старика, кулак безжизненно падает на стол.

— Кому только нужна эта война? — спрашивает Петер.

Шойом смотрит на него участливо и кротко:

— Ты это у наших правителей спрашивай, сынок, а не у меня.

Шойом выпускает из рук щеколду, старческим взглядом внимательно следит за каждым движением Петера. Потом делает несколько неуверенных шагов от двери к столу:

— А то, что было... забудь... И не убивайся... Это все равно что град: примнет виноградник, а из тех же корней взойдут новые побеги.

Петер поднимает упавший стул и тяжело опускается на него. Почему у него нет сил как следует встряхнуть старика? Схватить бы его за горло и держать так до тех пор, пока он не расскажет подробно все, что знает об этой истории. Какой он был, этот унтер? Толстый и ленивый или стройный и ловкий? Брюнет или блондин? Кто из односельчан видел унтера с Вероникой? И как все это было?

А может, и лучше, что нет у Петера сил.

Он ни о чем не спрашивает старика. Зачем лишний раз унижаться? Он долго и надрывно кашляет:

— Дурак тот, кто любит... Все равно что петлю себе на шею надевает... — задыхаясь, говорит Петер.

Старик бормочет что-то невнятное, смотрит на часы — половина пятого. Он не знает, что ему делать: уйти или остаться? Он подходит к столу, собирает хлебные корки, потом спрашивает:

— Ты уже обедал?

Петер смотрит на него отсутствующим взглядом:

— Любить надо только землю, понимаете? Она никогда не изменит. А если в какой год и уродит мало, то это не ее вина. Значит, дождя не было. Земля всегда верна человеку. Когда я сижу на меже, мне кажется, что я слышу, как она дышит...

— Землю тоже можно украсть, отнять, — возражает старик.

Петер хватает его за руку — хлебные корки летят на стол. Потом бросается к рукомойнику, хватает немецкую кисточку с длинной ручкой, сует ее под нос старику:

— Вот видите? Вы никогда не находили такое рядом со своей бритвой? Смотрите! Да знаете ли вы, что испытывает человек, когда у него от боли разрывается сердце? — Замолчав, Петер роняет голову на грудь, потом добавляет тихо: — Молчите?

Старик отворачивается:

— Уж очень ее этот немец обхаживал.

Петер швыряет на стол кисточку для бритья, поворачивается к старику спиной, опирается о буфет.

— Поверь мне, он не оставлял ее, бедняжку, в покое... У колодца все ее поджидал. Даже ведро воды ей донести до дому не давал. Немцы стояли лагерем у опушки леса, пока не наступили декабрьские холода. Тогда их разместили по домам. У Вероники и поместили унтера. Уж к кому она только не бегала: и в управу, и к командиру ихнему, говорила, что у нее муж на фронте, что не станет она под одной крышей с унтером жить. Заставили. Я сам слышал, как они ей внушали, что немцы наши друзья, что мы им многим обязаны...

Петер почувствовал, как кровь прилила к лицу:

— Так он здесь жил?

— Я же сказал тебе...

Петер ощущает удар в сердце и теряет сознание, чувствует лишь медленное тяжелое биение своего сердца. Тихая, успокаивающая речь старика доносится до него отрывочно, словно сквозь туман.

— Немец заботился о Веронике. Приносил мыло, консервы, мясо, хлеб... Даже радиоприемник принес. Вот бедняжка и смирилась. Фронт далеко, а пособия, которое она получала, даже на хлеб не хватало.

— Почему же она работать не шла?

— А куда?

— К богачам. На виноградниках всегда бывает работа.

Старик сокрушенно покачал головой, устремил тяжелый взгляд на Петера:

— А ты думаешь, сынок, у богачей мед, что ли? Один раз подрядилась она у Геребьешей батрачить, так старый хрыч в первый же день за ней приударил... С плачем домой прибежала.

— А гитлеровец лучше? — спрашивает Петер.

Старый Шойом не отвечает.

— Молчите? Со своим я бы рассчитался, убил бы — и все...

Старик качает головой:

— Чудак-человек. Себе бы хуже сделал.

Киш закрывает лицо руками:

— А теперь где мне его искать, этого Ганса?

Старик подходит к Петеру и гладит его по плечу.

— Не тоскуй, сынок, не отчаивайся, — мямлит он, сердясь на себя за то, что не может найти других, более доходчивых слов.

День между тем уже клонится к вечеру.

Петер поворачивается к старику, хватает его за борт пиджака — старая ткань трещит.

— Скажите по совести... Скажите мне: любила Вероника того немца или... или только так, по принуждению?..

Старик беспомощно бьется в руках Петера, отворачивая лицо от его жаркого дыхания.

— Немца? — переспрашивает он, стараясь выиграть время.

— Да!

Нет, не выиграть ни секунды: Петер не сводит с него глаз. Старик неуверенно пожимает плечами:

— Нет... конечно, не любила...

Петер отпускает старика, идет к лавке и растягивается на ней, словно тяжелобольной.

Старик ждет некоторое время, не сводя взгляда с Петера. Но тот продолжает лежать с закрытыми глазами. Тогда старик открывает буфет, берет чистую тарелку и кладет в нее несколько ложек смальца. Потом присаживается на корточки перед печкой, смотрит на остывший пепел:

— Петер, я приготовлю тебе чего-нибудь поесть. Ты, должно быть, голодный.

Петер молчит.

Шойом, не поднимаясь с корточек, поворачивается к нему:

— Слышь, Петер? Я тебе поесть приготовлю!

Не поднимая головы и не двигаясь, Петер глухо отвечает:

— Не надо мне ничего.

Старик некоторое время ждет, потом разочарованно отходит от печки. Надевает шляпу и ковыляет к двери. Прощаясь, говорит:

— Я к тебе загляну еще, попозже... — И, решив, что Петер заснул, Шойом громко откашливается.

— Не надо, — говорит ему, не поднимая глаз, Петер. — Пусть никто не приходит.

— Бог велит быть милосердным, сынок, добрым...

Петер срывается с места, во взгляде у него печаль и ярость.

— Что вам еще от меня надо? Почему вы не уходите? Что вы тут мне проповеди читаете? Это я должен быть добрым? А ко мне кто был добрым? Уж не за мою ли доброту меня на фронт послали? Все мои товарищи погибли, на нас мины падали, словно дождь, а дома в это время жену обесчестили... И от земли никакой радости, каждую осень вода уносит перегной, одни камни остаются на участке... Так что же еще-то от меня нужно?

Старик пятится к двери и робко говорит:

— Может, когда русские придут, и у нас жизнь получше станет... Столько о них разговоров ходит. Я-то знаю, хорошие они, эти русские... Видел их в первую мировую войну. Три года у них в плену пробыл, жил с ними. Душевные люди, зря не обидят...

Хлопает калитка, быстрые шаги раздаются на веранде, и кто-то стучит в окно:

— Вероника! Вероника!

Киш и Шойом недоуменно переглядываются.

— Звонарь, — говорит старик, отходя от двери. — Он больше всех у нас тут с немцами путался.

— Вероника, ты дома? — кричит звонарь, продолжая барабанить по оконному стеклу.

Петер садится на лавку, несколько раз глубоко вздыхает, потом поднимается, идет к двери и открывает ее.

На пороге действительно звонарь, высокий, медлительный. Он заглядывает в кухню. Руки у него болтаются в воздухе, словно веревки от колокола. Звонарь узнает Петера и смущенно молчит.

Напряженная тишина повисает в комнате. Первым заговаривает звонарь:

— Вот так неожиданность! Вернулся?

Петер недружелюбно глядит на звонаря. Никогда он не любил его. Хорошо бы узнать, зачем он пришел, но по лицу звонаря ничего не определишь. Весь он какой-то скользкий, не за что уцепиться.

— Вернулся, — холодно отвечает Петер.

— Русские здесь!

— Где?

— В роще, у каменоломни.

На околице села слышится треск автоматов. Сумерки уже спустились на землю.

Вот она, война! И сюда докатилась.

Звонарь испуганно бросается в дом, с посиневшим от ужаса лицом прижимается к буфету. Руки у него становятся влажными. Ему очень хочется за кого-нибудь ухватиться.

Старый Шойом выглядывает во двор, прислушивается к голосам русских, потом возвращается в кухню. Домой идти нет смысла. Старик садится на лавку, набивает трубку и принимается дымить, пуская белые облака к потолку. Он понимает, что теперь не остается ничего другого, как терпеливо ждать.

Петер облокачивается о дверную притолоку. Война пришла к нему в дом. Как он ни бежал, но так и не смог убежать от нее. Он потерял жену, потерял спокойствие, а теперь беспомощно стоит и ждет, хотя отлично знает, что сюда в любой момент может залететь шальная пуля. Надо бы одеться и бежать изо всех сил, но сил-то у Петера и нет.

Неожиданно на пороге появляются два русских солдата с автоматами. Солдаты подозрительно оглядывают присутствующих.

Проходит всего несколько мгновений, но они кажутся вечностью. Бывает, время совсем не движется, а человек стареет сразу на несколько лет.

Сапоги у солдат в грязи, но двигаются они легко. У одного из них на лице длинный шрам. Он заходит в кухню. Другой за ним.

Солдат со шрамом нетерпеливо спрашивает:

— Немцы есть?

Старый Шойом еще с первой мировой войны хранит в памяти несколько русских слов. Он силится воспроиз-

вести их, построить фразу. Вскочив с места, выпрямляется по-военному и бодро рапортует:

— Немцев здесь нет!

Солдат со шрамом внимательно рассматривает старика, словно пытается прочесть его мысли.

— На всякий случай проверим.

Он идет осматривать комнаты. Второй солдат остается у двери.

Снаружи доносится грохот немецкой артиллерии. Гитлеровцы обстреливают село. Земля содрогается от взрывов.

Старый Шойом молчит, что-то перебирает в памяти.

Рубашка на звонаре сразу темнеет от пота. Он беззвучно шевелит губами — молится. Ему хочется еще хоть раз в жизни взять в руки веревку и встряхнуть колокол. Он вспоминает погибшего на фронте сына.

Петер думает о Веронике. Не о двух хольдах каменистой земли, не о дряхлом отце, которому он только один раз написал с фронта, не о Телеки, а о неверной Веронике.

Когда-то Вероника была хорошей, верной женой. И поступь у нее легкая, она не ходит, а словно летает. Глаза большие-большие, а ресницы похожи на лепестки диковинного цветка. Она всегда любила цветастые платки. Целый год на фронте он слышал ее голос: «...Когда же кончится эта проклятая война?..»

Звонарь читает про себя одну за другой все молитвы, которые знает. Рядом с ним стоит Петер. Звонарь осторожно поворачивает голову и шепотом спрашивает:

— Петер, ты не боишься?

— Разучился бояться.

Звонарь водит пальцами по стене и корчится от ненависти. Он ненавидит всех — и гитлеровцев, и русских. Он ненавидит таких всезнающих и насмешливых стариков, как Шойом, ненавидит и Петера Киша за его убогую, бесплодную, как каменистая земля, жизнь, ненавидит и изменившую мужу Веронику.

Звонарь шепчет:

— Ты много людей убил, Петер?

Тот не отвечает.

Солдат со шрамом осматривает дом, лазит по двору, не забывает заглянуть на чердак, в хлев. Успокоенный, с разгладившимися на лице морщинами, он возвращается в дом и весело кивает другому солдату:

— Все в порядке. Здесь действительно нет гитлеровцев.

— Кто из вас был в армии? — спрашивает солдат, обращаясь к вентрам.

Старый Шойом показывает на себя.

Солдат со шрамом нетерпеливо отмахивается:

— Не в ту войну, а теперь.

Петер, словно он в строю, делает шаг вперед...

Со склона горы, укрываясь за скалами, стреляют немецкие пушки. Снаряды ложатся прямо на село. Воздух то и дело содрогается от взрывов.

Старуха Шойом беспокойно возится на кухне. Ее маленькие подслеповатые глаза перебегают с предмета на предмет. Время от времени она враждебно посматривает на Веронику, но молчит. Старуха вынимает посуду из стенного шкафа, аккуратно перетирает ее на столе и ставит обратно. Собственно, делать это необязательно, но она перепугана и хочет отвлечься.

При каждой вспышке за окном, при каждом сотрясении земли под домом сухонькая старушка еще больше бледнеет. Крестясь дрожащими пальцами, она с ненавистью поглядывает на Веронику.

Старая женщина застывает на месте, ожидая, когда потухнет очередная вспышка, а земля перестанет дрожать. В наступившей тишине, в полумраке кухни она степенно поправляет на голове черный платок и глубоко вздыхает, стыдясь своей трусости.

Новая вспышка за окном, и опять под домом дрожит земля. Старуха испуганно прижимается к двери, ведущей в комнату:

— Господи, совсем близко...

Она поднимает подол длинной юбки, входит в комнату, где под толстой периной, тесно прижавшись друг к другу и дрожа от страха, лежат трое внучат.

Вероника сидит у окна.

Каждая вспышка болью отдается в ее сердце. Ей и в голову не приходит, что ее могут убить, более того, она даже хочет умереть.

Целый год ждала она мужа, а теперь вот сидит у окна в чужой кухне, откуда не видно ни калитки их дома, ни старой груши во дворе.

Лицо Вероники вытянулось. Легкие морщинки под глазами углубились. И настроение у нее поминутно ме-

няется: то она чувствует себя спокойной и решительной, то вдруг ею овладевает беспокойство и желание разрыдаться.

Старуха возвращается в кухню.

Вероника смотрит на нее пристально и покорно. В глубине души она удивляется, как у нее хватило сил добежать до избы Шойомов. Как она не упала в тот момент, когда за ней захлопнулась калитка собственного дома? Как не подогнулись у нее ноги, когда она бежала по дороге? И откуда только взялась у нее решимость рассказать все старикам?

Может, она решилась потому, что Шойом старый друг ее отца? А может, потому, что должна была кому-то все рассказать?

Вероника ушла из дому, и теперь ей кажется, что она никогда больше не вернется туда. Она тихо плачет.

Старуха снует по кухне, останавливается, смотрит на Веронику.

— А немец тот где теперь? — спрашивает она.

— Не знаю, — отвечает Вероника шепотом и отворачивается.

Стыд и ярость сжимают ей горло.

Старуха останавливается перед карточкой мужа, на которой Шойом бравый солдат времен первой мировой войны с пушистыми усами вразлет и круглым молодым лицом. Старуха снимает карточку со стены, рассматривает ее и, вздыхая, говорит:

— Мой старик всегда был каким-то сумасшедшим. Для других ничего не пожалеет, последнее отдаст, а о семье и не подумает даже... Всегда на последнем месте у него семья... Нет чтобы дома сидеть, когда такое творится... Добегается — убьют его. Сколько раз говорила ему! О господи...

Вероника молчит, считает за окном взрывы — один, два... пять... восемь...

Она зябко кутается в старухин платок, зубы выбивают мелкую дробь. Каждая минута кажется сейчас годом.

Безнадежно вздохнув, старуха вешает фотографию мужа на стену, а сама косится в сторону Вероники. Маленькие хитрые глазки ее беспокойно бегают по лицу молодой женщины. Вероника молчит, даже не пошевелится, и старуха разочарованно ковыляет в комнату посмотреть на внуков.

Вероника плачет. Она все слышала, все поняла. Она поднимается с места, накидывает на голову черный пла-

ток. Надо идти! Прочь отсюда, пока не поздно, пока она не задохнулась среди изображений святых, в затхлом, застоявшемся кухонном запахе, пока ее не раздавило молчаливое презрение старухи.

Она уходит, даже не простясь.

Идя по улице, Вероника прижимается к стенам домов. Она уже не идет, а бежит. Ей кажется, что она пробежала уже не один километр, а это всего лишь забор третьего от Шойомов дома.

Высоко в чернильном небе гудит самолет, словно затерявшаяся в темноте пчела.

Вероника рыдает, безвольно опершись о забор. Она всегда любила мужа. Любила еще до того, как они познакомились, и будет любить даже тогда, когда старухи у гроба станут оплакивать ее короткую и пустую жизнь.

Веронике хочется вернуться домой, но она боится. Может, вернуться утром, когда прекратится обстрел? Может, тогда в сердце Петера утихнет ярость? Ведь все проходит, все успокаивается.

Да, утром. Утром, когда все вокруг будут спать, она проберется в дом. Петер тоже будет спать, положив голову на смятую подушку, а она тихонько подойдет к кровати, опустится перед мужем на колени, положит голову ему на плечо и будет ждать его пробуждения. А потом, что бы ни случилось, ей все равно. Да, надо дождаться утра.

Вероника перебегает от забора к забору.

Новая вспышка на склоне горы. Вероника судорожно цепляется за забор Винце Фаркаша и закрывает глаза, чтобы не казалось, что каждый снаряд ищет в темноте именно ее. Охваченная ужасом, она вбегает в дом Фаркаша и чуть не валится на пол.

Винце Фаркаш, лесник монастырских угодий, и вся его семья в праздничных нарядах стоят вокруг стола. На хозяине дома черный свадебный костюм, его тощая жена держит в руках молитвенник, на детях белые длинные чулки, блестящие ботинки. Стол накрыт на четыре прибора, в центре лежит хлеб и мясо, стоит вино в плетеной бутыли. Все словно ждут кого-то.

Винце поворачивает голову к двери. Несколько секунд он равнодушно разглядывает вбежавшую Веронику, потом отворачивается от нее. Семья продолжает молиться.

Винце Фаркаш с семьей смиренно ждут прихода войны в свой дом.

Вероника тихонько, не произнеся ни слова, даже позабыв поздороваться, пятится к двери. Она еще раз оглядывает кухню Фаркашей, потом тихонько закрывает за собой дверь, словно увидела там покойника. Еще миг — и она на улице. Ее трясет.

Темнота становится такой густой, что почти ничего не видно. Теперь Вероника идет задами, вдоль огородов. Она не знает, куда идет. Идет, и все. Она натыкается на деревья, на изгороди, ее окружают какие-то странные, призрачные тени. Она тяжело дышит и еле переставляет ноги. Обходит одну тень и тут же натыкается на другую.

Вероника не понимает, куда забрела в темноте. Тень огромной старой груши подсказывает ей, что она у виноградника Балинта Каши. Вот и его винный погреб. Вероника даже улыбается при мысли, что в другое время ее могли бы принять за воровку.

Она останавливается передохнуть, прислоняется к дереву. Пот льет с нее градом. Несмотря на темноту, она успевает разглядеть ряды винограда и железную решетку на двери погреба.

Все это собственность Балинта Каши. Крепкий и сухой погреб выстроил себе Балинт, любой бедняк согласился бы в нем жить. Его зятя, рябого Пала, не взяли на военную службу. Женщины шепотом судачили, что это обошлось Балинту в десять мешков пшеницы.

Вероника обеими руками держится за дерево. Теперь, когда все погрузилось в темноту, одиночество пугает ее. Ей страшновато, но домой она пойдет только утром. А что, если переждать до утра в погребе у Каши. Может, впопыхах он забыл запереть дверь? А если все же запер, она залезет на кучу сухих кукурузных будылий и укроется от ночной прохлады. А может, все же пойти домой? Нет, домой она пойдет только утром.

Или попроситься переночевать к соседям? Нет, слишком стыдно.

Или пойти к Шойомам? Старик наверняка уже вернулся. Он-то и расскажет, что делается у нее дома. Нет. Раз уж она решила дождаться утра, значит, надо дождаться. Она уверена, что к утру все уладится.

Вероника подходит к погребу. Не успевает она сделать и нескольких шагов, как слышит хриплый мужской голос:

— Вероника?

От страха у нее спирает дыхание, и она закрывает глаза.

Рядом кто-то тихо смеется:

— Голоса моего не узнала, а?..

Вероника стоит неподвижно, словно окаменевшая. Она уже узнала голос Балинта Каши, но ноги не слушаются ее.

— Куда это ты так поздно? — ехидно спрашивает он.

Вероника видит, как от входа в погреб отделяется черная тень. Призрак? Или все же господин Каша, толстый и белолицый?

— Я спрашиваю: ты куда?

— Никуда... — робко отвечает Вероника.

Балинт подходит ближе:

— А чего тебе тут надо?

— Ничего. Правда, ничего... Поверьте мне... Мне ничего не надо... — скороговоркой произносит Вероника.

— Испугалась? — самодовольно смеется тесть лавочника. — Не женское это дело в такую пору по огородам бродить... Иди сюда... сюда, в погреб, а то ведь убить могут... Зря погибнешь...

Вероника что-то тихо отвечает, но сама не понимает что.

Страх лишь тогда отпускает ее, когда старый Каша после нескольких неудачных попыток зажигает свечу и ставит ее на пол между двумя большими винными бочками.

Хозяйским взглядом обводит он погреб, поправляет толстую мешковину, которой занавешено окно, запирает дверь на задвижку, а потом поворачивается к Веронике:

— Война — она глазастая. Стоит где-нибудь засветиться окну, сразу выстрел по нему...

Вероника опускается на скамью.

Старик в овчинном тулупе и измазанных грязью сапогах ходит взад-вперед между рядами бочек и похотливо поглядывает на Веронику.

— Так ты не хочешь сказать, куда направлялась? — спрашивает он.

Вероника сидит сжавшись в комочек.

— Я уже сказала, что никуда.

Балинт задумчиво продолжает разгуливать по погребу. Пламя свечи колеблется, огромная тень старика падает на противоположную стену.

В узком, пропитанном винным запахом погребе Каша кажется могущественным великаном. Ему приятно смотреть на усталую фигурку женщины, сидящей на скамейке. Вероника ему нравится. Даже теперь, вот такая. Она всегда ему нравилась, но он не из тех, кто таскает женщин в темные углы за бочки, подпаивает их вином, чтобы раззадорить. Балинт Каша не любит этих штучек.

Вот уже несколько лет, как он втайне любит Веронику, почти каждую ночь видит ее во сне. Даже когда обнимает жену, то и тогда ему кажется, что рядом с ним в постели Вероника. Когда Вероника вышла замуж, Каша запил, пропьянствовал трое суток, но ни словом, ни жестом не выдал своей душевной боли. Не выдал он себя и позже, когда Вероника не раз нанималась к нему батрачить. Для нее у него всегда находилась работа, но он ни разу до нее и пальцем не дотронулся.

А теперь... Теперь, пожалуй, настал момент. Много лет он ждал такого случая.

Петер Киш вернулся домой и уже знает, что Вероника была любовницей немецкого унтера.

Вчера гитлеровцы сказали зятю Балинта, что очень скоро перейдут в контрнаступление. Временно они отойдут на склон горы, где у них артиллерийские позиции, и там закрепятся. И действительно, вот уже полтора часа, как они ведут огонь с этих позиций.

Веронику муж выгнал из дому.

Старик молча стоит, прислонившись спиной к двери, и с любопытством разглядывает ее. Она все еще тяжело дышит, но теперь уже не боится Балинта. Балинт хороший человек. Она его знает. И Петер его знает. Зять Балинта часто давал им в долг товары из лавки, и она не раз батрачила у старика, и он никогда не тискал ее в углу. У него она всегда работала охотно. Балинт поддержал ее и тогда, когда она просила, чтобы ей увеличили пособие за мужа.

Хорошо в погребе — тихо и совсем не страшно.

Вероника смотрит на круглое белое лицо тестя лавочника, но в полутьме не видит похотливых огоньков в его глазах. Она вздыхает доверчиво и кротко, осматривается по сторонам. На вбитом в стену крюке висит старая шуба. Вероника смотрит на нее и думает, что надо попросить Кашу, чтобы он разрешил ей остаться тут до утра. Утром по дороге домой она занесет Балинту ключ от погреба. А ночь переспит здесь, на лавке, закутавшись в шубу.

— Хорошо здесь, — говорит Вероника тихо и зябко кутается в платок.

Старик срывается с места:

— Подожди минутку! Я тебе налью стакан вина... — говорит он и тянется за шлангом.

Вероника расцветает неожиданно ласковой улыбкой, но в глазах у нее прежняя грусть.

— Не надо, я ведь не пью.

Балинт разочарованно спрашивает:

— Не пьешь?

— Нет. Никогда не пила...

— Ну что ж...

Старик снова начинает расхаживать по погребу. Вдруг он подходит к Веронике:

— Твой муж вернулся?

Вероника вздрагивает и перестает улыбаться.

— А вы откуда знаете?

— Видел его утром в роще... Он разве не говорил?

— Нет.

Старик подходит к одной из бочек, наклоняется, берет бутылку, наливает полный стакан вина и залпом выпивает его.

— Выгнал тебя муж, а?.. — спрашивает старик с усмешкой.

Вероника молча плачет.

Балинт присаживается на скамейку рядом с молодой женщиной и участливо спрашивает:

— Бил он тебя?

Вероника всхлипывает:

— Нет, не бил.

Балинт снова наполняет стакан и снова пьет залпом. Затем садится на скамейку, тесно прижимаясь к Веронике:

— Не горюй.

Вероника молчит. Склонив голову на грудь, она потихоньку всхлипывает.

— Ты не бойся... — откашлявшись, продолжает Каша, — немцы еще, может, вернутся... Они ему покажут... Он ведь дезертир... Не будет он у тебя на пути стоять... С такими, как он, знаешь, что делают?..

Вероника вздрагивает и отодвигается от Каши.

— Немцы придут обратно? — заикаясь, спрашивает она.

— А ты не бойся, его и русские по головке не погладят, — быстро отвечает старик. — Он ведь солдатом

был, на фронте против них сражался... Увезут в Сибирь. А там знаешь что его ждет? Мороз, плетка да голодная смерть... Они туда всех военнопленных увозят.

Вероника задыхается. Она внимательно всматривается в белое лицо старика, словно стараясь понять смысл его слов:

— Кого увозят русские?

Старик смущенно смеется:

— По крайней мере, освободишься от него навсегда...

Вероника вскакивает. Она с отвращением всматривается в лицо старика, потом кричит, вкладывая весь свой страх в этот единственный крик:

— Кого увезут русские?!

— Что с тобой, Вероника? — спрашивает Балинт.

Но она уже смотрит на старика с ненавистью, делает шаг назад и прислоняется к бочке — она готова на все.

— Так вы хотите, чтобы русские увезли моего мужа?

Старик поднимается с места, уверенно подходит к Веронике и наклоняется над ней — она видит крошечные капельки пота на его лбу.

Пламя свечи нервно трепещет от каждого движения — оно то вдруг становится совсем маленьким, то большим красным языком тянется кверху.

Вероника бросается к двери и трясет запор:

— Выпустите меня отсюда! Выпустите!

Балинт догоняет ее. Он любит Веронику, любит жаркой любовью старого человека. Сейчас, в это мгновение, для него ничего не существует: ни войны, ни других женщин, ни артиллерийского обстрела. Нет у него и страха. Ничего нет, есть только она, Вероника, стройная, величавая и неприступная, с грустными, заплаканными глазами. Он ее любит, любит всю жизнь. Не может он ее отсюда выпустить. Война вот-вот кончится, и такого случая больше не будет никогда.

Балинт умоляет Веронику. Рот у него перекашивается, как у мальчишки, который вот-вот заплачет. Он ломает себе руки, лицо у него кроткое и униженное.

— Не уходи, Вероника! Останься! Умоляю тебя!..

Она глядит на старика с удивлением и ненавистью. За несколько мгновений она успевает проникнуться жгучей ненавистью к нему.

Быстрым движением старик обнимает Веронику за талию, ищет ртом ее губы:

— Не уходи... Я люблю тебя... Понимаешь, люблю!

И всегда любил, с тех пор как увидел... Когда ты выходила замуж, у меня чуть не разорвалось сердце... Все, что у меня есть, будет твое, только останься...

Балинт безжалостно сжимает Веронику в своих объятиях. Она не в силах сделать ни одного движения. Перед ее глазами бледное лицо старика с желтыми зубами. От него несет винным перегаром. До нее только сейчас доходит смысл того, что старик шепчет ей на ухо. У нее же одно желание — вырваться из этого погреба. Вероника осторожно ищет за спиной дверной засов, хочет потихоньку отодвинуть его и выскочить из погреба. Выскочить и бежать домой.

— Оставь его, Вероника... — умоляет старик. — Знаю, ты давно его разлюбила... Знаю, по твоему лицу знаю... Я всегда любовался тобой, когда ты шла к колодцу за водой, а когда ты приходила ко мне на работу, я был так счастлив, что целый день мог на тебя смотреть...

Вероника хватает старика за шею:

— Пустите! Или вы не понимаете? Я не люблю вас! Пустите!

Старик обнимает Веронику, а она со всей силой сдавливает пальцами его шею:

— Пустите, я вам говорю!

Старик задыхается, хрипит, отбивается, но весь дышит яростью:

— А почему это мне нельзя? Немцу позволяла, а?.. Ты не знаешь, что я стоял у тебя под окном, когда ты немца принимала? А?.. А со мной не хочешь?..

Балинт дышит винным перегаром в лицо Веронике. Наконец он разжимает ее руки и впивается поцелуем в губы.

Вероника вырывается. Отбегает от старика и смотрит ему в глаза, в которых клокочет похоть. Но этот человек не кажется ей ни сильным, ни страшным.

— Я мужа своего люблю, понимаете? Я его всегда любила! Пусть он лучше убьет меня! Что угодно, только не вы!

Но старик плохо понимает ее. Еще мгновение, и она, вырвавшись, стрелой выскакивает из погреба и бежит что есть сил к своему дому.

Лишь бы успеть предупредить мужа! Крикнуть ему с крыльца, через кухонное окно, крикнуть одно лишь слово. В дом она не войдет. Нет, войдет, остановится у двери и скажет ему, что он должен бежать, потому что

Балинт Каша натравит на него гитлеровцев, а может, и русских.

А потом пусть он ударит ее, убьет, ей все равно. Она и слова не скажет, опустит голову и будет смиренно ждать удара. Может, тогда Петер поймет, как она ждала его, поймет, что лишь его одного любила, что вся ее жизнь — в нем...

— Кто из вас служил в армии?

Старый Шойом поднимает руку. Петер Киш делает шаг вперед. Солдат со шрамом смотрит на него внимательным взглядом:

— Долго пробыл на фронте?

Петер не отвечает, пожимает плечами.

Старик протягивает русскому кисет с табаком — тот отрицательно качает головой.

— Воды! — просит солдат.

Старик поворачивается к хозяину дома:

— Он пить хочет. Дай ему стакан воды.

Петер протягивает стакан, но солдат отводит его руку:

— Сначала ты.

Петер смущенно смотрит на него, ничего не понимая.

— Попей ты сначала, — нетерпеливо толкает Петера в бок старик.

Солдат смотрит, как Петер отпивает из стакана, потом берет и с жадностью пьет воду.

Старик с удовольствием смотрит, как русский пьет.

— Мы будем тут спать, — говорит солдат и показывает на топчан: — Можно?

Солдаты снимают с плеч вещевые мешки.

Старый Шойом с услужливостью расстилает на столе полотенце, кладет на стол мыло, ремень для правки и бритву.

Солдат со шрамом улыбается, временами прислушиваясь ко все более редким и далеким артиллерийским залпам. Затем хлопает старика по плечу и спрашивает, показывая на Петера:

— Сын?

Шойом колеблется, но потом отвечает:

— Нет, друг.

— Я — Юрий, — тычет себя пальцем в грудь солдат со шрамом на щеке.

Трое венгров кивают ему и с пристальным вниманием следят за каждым из русских.

Солдат со шрамом показывает на своего товарища, который уже растянулся на лавке:

— А он — Никита, казак. Знаешь, что такое казак? — произносит он непонятные слова, хватает со стола бритву, а потом, сделав широкий жест рукой, рубит невидимого противника.

Никита грозит ему кулаком.

Трое венгров смущенно покашливают, скрывая улыбки.

Старый Шойом стоит с таким видом, будто хочет сказать что-то важное. Петер и звонарь выжидающе смотрят на него.

Старик делает шаг вперед, смущенно трогает Юрия за рукав и тут же отступает назад.

— Ты... ты... — выговаривает он по-русски.

Солдат со шрамом поворачивается к нему.

— Ты... товарищ Юрий... — И Шойом замолкает.

Ничего другого он и не хотел сказать. Просто ему было трудно выговорить это странное русское слово «товарищ». Старик не совсем уверен, что понимает его значение, но инстинктивно чувствует — оно означает что-то хорошее и важное.

— Что ты еще знаешь по-русски, отец? — спрашивает Юрий.

Петер и звонарь с уважением посматривают на старика, а Шойом по-стариковски смеется и, осмелев, спрашивает:

— Ты какой работ, когда нет война?

Юрий понимает исковерканные русские слова и с готовностью отвечает:

— В колхозе работал... Такой большой колхоз... — объясняет он и широко разводит руки в стороны.

Звонарь делает судорожное движение горлом, отстраняет Шойома и протискивается между ним и Юрием.

— Колхоз? Общий котел? — спрашивает звонарь по-венгерски.

Юрий удивленно смотрит на звонаря. Он не понимает его, но видит, что звонарь ехидно улыбается, и переводит вопросительный взгляд на старого Шойома.

Старик сердито отталкивает звонаря:

— Катись ты к черту! Ничего ты в этом не понима-

ешь! — Потом подходит к Юрию и тычет себя в грудь:— Мы... тоже крестьянин...

Воцаряется тишина. Петер тяжело вздыхает.

— Вот только земли у нас мало, — говорит он по-венгерски.

Старик повторяет:

— Мы тоже мужик. Земля работаем...

Юрий кивает дружелюбно и понимающе.

— Ты... ты... и ты?.. — показывает он пальцем на всех трех венгров.

— Нет, — машет рукой Шойом и показывает на звонаря: — Он нет мужик. Он — колокол бум-бум...

Солдат со шрамом хохочет, хлопая себя руками по коленям. Ему нравится этот старик. Он сжимает кулаки и делает жест, словно вцепился в веревку и, дергая ее, звонит в колокол.

Все смеются.

Юрий подходит к рукомойнику, смотрится в зеркало, трет подбородок, потом берет со стола бритву и делает движение, как будто бреется.

Старый Шойом дергает Петера за руку:

— Дай ему, что надо. Не видишь разве, что он хочет побриться?

Но Петер словно окаменел:

— Все там, у рукомойника и на столе. Дайте ему сами.

Второй солдат смотрит в окно, потом на часы. Он поднимается с лавки, что-то говорит Юрию, потом кладет гранаты в сумку, висящую у него на поясе, берет автомат и выходит из дома на улицу.

Во дворе темно и тихо. Артиллерийская канонада уже прекратилась.

Юрий снимает гимнастерку, нательную рубаху и бросает на топчан. Широкой ладонью растирает грудь, берет все необходимое для бритья, в том числе и кисточку с длинной ручкой. Один конец ремня он сует в руки Шойому и привычными движениями, словно всю жизнь только этим и занимался, направляет бритву.

Петер беспокойно следит за каждым движением солдата и ждет. Он испытывает острую ненависть к кисточке с длинной ручкой. Нахмурив брови, он следит за руками Юрия, потом внезапно встает с места, протягивает руку и отнимает у русского кисточку. На полочке у рукомойника Петер берет свою старую кисточку с короткой и плотной ручкой и дает ее Юрию, бормоча:

— Эту возьми, этой брейся.

Солдат начинает бриться.

Старик стоит у стола, а Петер тяжело опускается на лавку и смотрит на бреющегося русского солдата. Звонарь прощается и уходит.

Так вот они какие, эти русские! Такие простые, симпатичные, добродушные. Две тысячи километров прошли они с боями. А сколько километров им еще предстоит пройти?

Юрий бреется деловито и не спеша.

— Мы будем тут спать, если разрешите. Можно? — еще раз спрашивает он.

— Можно, можно. Спите, сколько душе угодно! — радостно отвечает Шойом.

Они не боятся спать в чужом доме, на чужой земле. А венгерские солдаты оставались друг другу чужими, боялись друг друга, следили друг за другом. И сеяли смерть на далеких бескрайних полях России, куда их никто не звал. Вот ее след на лице у русского солдата по имени Юрий. Он бреется и старается не задеть бритвой шрам под глазом.

С покорным и тупым упорством Петер дергал шнур гаубицы, стреляя по русским, в то время как в постели рядом с его Вероникой лежал гитлеровский унтер.

Юрий тем временем плещет себе в лицо водой, хлопает мокрыми ладонями под мышками и громко фыркает.

— Хорошо вам теперь будет, — говорит он старику, вытирая полотенцем лицо. — Заживете по-новому...

— Нам?

— Вам.

— Почему?

— Сами увидите.

Старик задумывается, кивает солдату:

— Хорошо, товарищ Юрий...

Петер смотрит на русских, хочет что-то сказать им, но не решается. К чему сейчас слова?

Солдат со шрамом надевает на себя гимнастерку, ищет в кармане расческу, но под руку попадается бумажник. Юрий вытаскивает бумажник вместе с расческой, кладет его на стол и весело подмигивает старику. Он вынимает из бумажника потрепанные любительские фотокарточки с мятыми краями:

— Смотри!

Старик вежливо берет фотографию в руки, смотрит, потом говорит Петеру:

— Иди погляди.

Петер поднимается с места.

Юрий объясняет:

— Моя семья.

Петер выходит из оцепенения.

Русский солдат подает ему одну карточку за другой.

— Это мой отец.

На фотографии человек с большой бородой и внимательными глазами под черной кепкой.

— А это мать.

Седая женщина с непокрытой головой улыбается карими добрыми глазами.

— А вот это мои дочки.

Две очень похожие девочки с испуганными глазами держатся за руки.

— Жена.

Петер особенно внимательно смотрит на эту карточку.

Красивые длинные волосы растрепал ветер, стройная фигурка женщины так легка, что, кажется, еще минута — и она улетит.

Петер грустно опускает голову.

Вероника тоже легкая. У нее тоже длинные волосы. Она такая же красивая.

Солдат со шрамом, заметив печаль во взгляде Петера, удивленно смотрит на него.

Воцаряется тишина.

— А у тебя есть жена? — спрашивает Юрий.

Желтый огонек лампы колеблется, потом успокаивается. Это Вероника потихоньку проскользнула в калитку и незаметно заглядывает в окно кухни. На ее лицо падают красные отблески керосиновой лампы.

— Есть, — отвечает, не поднимая глаз, Петер и отодвигает от себя карточки.

Лицо русского солдата смягчается.

Петер отворачивается. У него не хватает сил сказать хоть слово. Старый Шойом, поправив фитиль в лампе, отвечает вместо Петера:

— К соседям пошла... его жена...

Солдат застегивает гимнастерку, собирает со стола карточки.

И в этот миг за стеной раздается взрыв. От воздушной волны стекла в окнах разлетаются вдребезги.

Юрий, схватив автомат, бежит к двери и кричит старику:

— Ложись, быстро!

Петер и Шойом удивленно переглядываются. Старик толкает Петера в бок.

— Ничего не поделаешь, война... — печально говорит он, и оба ложатся на пол.

Солдат ничего не успевает им объяснить. За окном еще раз вспыхивает ослепительно белый свет. Пламя керосиновой лампы ложится набок и гаснет.

По ужасному вою и разрывам ясно, что это бьют гитлеровские минометы. Еще несколько разрывов ложатся впереди и в стороне.

В этот момент со двора доносится чей-то стон.

Юрий прислушивается, а потом, взяв автомат в руку, выскакивает за дверь.

Старый Шойом смотрит вслед выбежавшему Юрию, потом вынимает коробок и чиркает спичкой. Воздушная волна смела со стола все. На полу валяются черепки тарелок, две кисточки для бритья, разбитая лампа.

Шойом поднимает лампу. Стекло разлетелось вдребезги. Старик поправляет фитиль и подносит к нему спичку. Фитиль коптит, не горит.

Юрий что-то кричит со двора, но они не понимают его. Старик вытягивает шею, прислушивается, потом, сгорбившись, выходит. Петер уныло следует за ним. Его бьет мелкая дрожь, ему страшно.

Никита водит электрическим фонариком по веранде.

— Сюда, скорее! — кричит он.

У входа на веранду, в том самом месте, где каждой весной красиво цвели петуньи и анютины глазки, в пестром платье лежит Вероника. Лицо ее в крови, пестрое платье тоже. Юрий, опустившись на колени, достает бинт из индивидуального пакета.

Петер замер. Он не сводит глаз с пестрого платья. С таким видом, наверное, стоят люди, когда понимают, что настал конец света. Петер хочет опереться обо что-то, но руки его цепляются за воздух. Он опускается на землю, трогает пестрое платье жены, тихо и жалобно зовет:

— Вероника... — Больше он ничего не может выговорить.

Старый Шойом, закусив губу, стоит на пороге веранды. Веки у него нервно дергаются. Плакать он не может, но когда его постигает горе, у него всегда дергаются веки.

Выражение лица у Вероники кроткое и просветленное. Она с трудом поднимает веки, ищет глазами Петера, который стоит тут же, около нее, на коленях.

Вероника с усилием приподнимает руку, смотрит на мужа. Петер встречает ее взгляд, и ему кажется, что он понимает, чего она хочет. Он берет руку Вероники, гладит и целует ее. Вероника плачет.

Вот то, чего она хотела больше всего — увидеть именно таким мужа, которого ждала целый год, от которого так хотела иметь ребенка.

Теперь она спокойна. Может быть, ей хочется услышать еще раз его голос, услышать одно только слово, одно-единственное слово прощения. Ей очень хочется услышать это слово, но у нее нет больше сил, чтобы дождаться его. Взгляд Вероники скользит по лицам присутствующих и останавливается на губах Петера. Она ждет этого слова. Последняя ее мысль о нем. Она закрывает глаза.

Плечи у Петера дрожат. Ему хочется закричать что есть сил, излить в крике свою боль и отчаяние, но ни один звук не срывается с его губ. Он лишь жадно ловит ртом воздух. И продолжает гладить и целовать неподвижную, безжизненную руку Вероники.

Через час они уносят Веронику в маленький черный сарайчик на краю леса, чтобы, по обычаю предков, через два дня предать ее тело земле.

Четверо мужчин—Петер Киш, старый Шойом, Юрий и маленький хмурый казак — сидят в кухне. Сидят и молчат.

Старик уже успел принести от соседей стекло для лампы, заклеить разбитое окно грубой оберточной бумагой и даже исправить дверную щеколду.

Юрий сидит у стола, опустив руки в карманы, тихонько лаская пальцами потрепанные фотографии.

Казак Никита сидит на топчане, опустив руки на колени. Убитая была очень красивой женщиной. Ему от души жаль и ее, и ее убитого горем мужа, и этого доброго старика, так смешно говорящего по-русски.

У старого Шойома все еще дрожат веки. Что-то удерживает его здесь, не дает уйти домой. Он чувствует, что своим присутствием как-то облегчает горе Петера.

Петер сидит на низенькой скамеечке у печки. Взгляд его скользит по присутствующим, не различая лиц, он

видит лишь какие-то туманные пятна. Слезы застилают ему глаза. Он прячет лицо в ладонях.

Юрий вынимает из кармана кусок газеты, кисет с табаком, крутит длинную цигарку. Старик протягивает ему коробок со спичками. Солдат закуривает и, крепко затянувшись, говорит старику:

— А все война... Гитлер... Понимаешь?..

Шойом неподвижно смотрит на пламя лампы, потом утвердительно кивает и встает с места. Он подходит к Петеру, гладит его по голове, словно вернувшегося домой строптивого подростка.

— Послушай, сынок... — прерывает он долгое молчание. — Холодно тут... Затоплю-ка я печь, а?

Петер смотрит на него снизу вверх, но ничего не отвечает, словно не понимает, о чем его спрашивают.

Старик, облокотившись о печь, набивает трубку.

Петер снова вскидывает на него глаза. Старик присаживается на корточки рядом с ним и внимательно глядит на него. Ему хочется утешить, успокоить несчастного соседа. Ведь и лет-то Петеру чуть больше тридцати, а выглядит сейчас он как старик.

— Знаешь, что я тебе скажу, сынок, — начинает старик тихо, — человек не может уйти из жизни, если не сделает того, что ему положено. Не имеет права...

Петер открывает печную дверцу, по одной начинает класть в печь хворостины. Вытаскивает из кармана спички, зажигает, держит огонек под хворостом, но сырые прутья не горят.

Юрий некоторое время смотрит на Петера, потом начинает рыться в своем вещмешке, вытаскивает оттуда паклю для чистки оружия и баночку с машинным маслом. Пропитав паклю маслом, он запихивает ее под хворост.

— Вот теперь зажигай, — говорит он сидящему на корточках перед печкой Петеру.

Петер подносит к масляной пакле спичку — она ярко вспыхивает, и от нее загорается хворост.

Все молча глядят на огонь.

Старый Шойом с трубкой в руке усмехается. Маленький хмурый казак, сидя на топчане, задумчиво смотрит на пламя. А Петер с Юрием сидят на корточках у самой печной дверцы.

В глазах у четверых мужчин теплится надежда.

Они знают, что война подходит к концу.

ИМРЕ ДОБОЗИ



МЯТЕЖНАЯ РОТА

Повесть

Бодра первым заметил парней в яме. Его напарник Салаи плелся позади, шагах в двухстах, опираясь на карабин, как на палку. Светило солнце, но сильный ветер гнал поземку, и крохотные острые снежинки били в лицо, мешая смотреть. Бодра чуть было не свалился в яму, вокруг которой громоздились каменные обломки.

— Салаи! — крикнул он, обернувшись назад. — Здесь венгры!

Похоже, яма была естественной выемкой размером с бомбовую воронку, метров восемь — десять в диаметре, только более мелкой. Находилась она меж двух каменистых холмов, возле сбегавшей к реке широкой проселочной дороги, по сторонам которой не росло ни одного деревца. Талые воды, стекавшие по склону холма, и дожди размыли края ямы. Возможно, когда-то из нее брали камень, а засыпать забыли. По краям ямы росло несколько уродливых кустов боярышника. Местность вокруг была каменистая. Из-под снега — а его выпало немного — то тут, то там виднелись грязно-желтые обломки песчаника.

— Пожрать есть что-нибудь? — спросил Бодра.

Пятеро парней лежали на краю ямы, словно на носу лодки, лицом на юго-восток. У четверых были карабины, а пятый, с огненно-рыжими волосами, припал к пулемету, ствол которого смотрел на дорогу. Губы у парней стали синими от холода, а уши подозрительно побелели. Все обмундирование на них, от шапок до сапог с короткими голенищами, было новенькое, как с иголочки, а рукава не по росту больших шинелей подогнуты. «Окоченевшие маленькие кретины играют в солдатики, вместо того чтобы разбежаться по домам, в тепло», — с досадой подумал Бодра.

На дне ямы, словно поленья, лежали десятка два фаустпатронов.

Бодра пожалел, что не поздоровался с ребятами, както не догадался. Вот уже трое суток, как он туго соображал. В голове стоял ужасный шум — он не проходил со дня боя за переправу.

Командир роты говорил, что это не так страшно: всего-навсего разведка боем, мол, о наступлении русских и речи быть не может, мол, они и не в таких переделках бывали. Важно продержаться минут десять, не больше, а там русские сами отойдут на противоположный берег. Он прямо так и сказал, слово в слово. Почему он это сказал — неизвестно, однако сказал. Ну да теперь уже все равно. Сейчас самое важное — поесть досыта. Трое суток у них крошки во рту не было в этой богом проклятой пустыне. От голода он так ослаб, что временами у него начиналось сильное головокружение.

— Вы что, оглохли?!

Парень, лежавший ближе всех, что-то произнес окоченевшими губами, но ветер отнес его слова в сторону.

— Что такое? — наклонился Бодра.

— Вон Вереша спросите, — повторил парень.

Вереш отвечать не спешил. Он внимательно осматривал Салаи, подошедшего к яме. Левую щеку Салаи подставил ветру, а правую прикрыл воротником шинели, придерживая его рукой.

На вид Верешу можно было дать лет шестнадцать, не больше. Парень был рослым, но скорее широким в кости, чем толстым. У него были нежные губы и густые волосы, выбивавшиеся из-под шапки.

Бодре сразу же не понравился рот Вереша. При таких холодных глазах откуда взялись эти мягкие и пухлые, как у девчонки, губы?

— Вы пограничники? — спросил Вереш.

Бодра промолчал.

— А мы, — продолжал Вереш, — пехотинцы. Солдаты третьего взвода второго батальона 26-го пехотного полка. А это значит, что мы с вами из разных частей.

— Точно, — вымолвил Салаи и сплюнул кровь на снег.

— Идите в свою часть, там и получите паек.

«Ничего мы там не получим, — подумал Бодра. — Там уже никто ничего не получит». И он снова в который уже раз за долгий путь вспомнил паромную переправу. Ему опять казалось, что он отчетливо видит и ее, и

наспех отрытые позиции перед ней: недоделанные ходы сообщения, неглубокие стрелковые ячейки и перекрытые бревнами пулеметные гнезда, беспорядочно разбросанные каменные глыбы, доски и ящики из-под снарядов, валявшиеся у самого основания дамбы. Две роты пограничников, которым было приказано оборонять переправу, не желали зря тратить силы. Зачем? Все равно они здесь не удержатся, вот-вот их сменят. Однако до смены дело не дошло — времени не осталось.

После массированного минометного огня русские силами до батальона форсировали реку. Каждому было ясно, что оборонявшимся ротам не устоять. Оставалось бросить оружие и бежать или отойти в гущу леса.

Какой-то солдат нацепил на штык кусок белой тряпки и высунул его из окопа. Но фельдфебель Габери выругался и выстрелил солдату в спину. Командир роты приказал открыть огонь по противнику. Началась отчаянная беспорядочная стрельба, в основном ружейная, так как тяжелого оружия у пограничников почти не было.

Бой продолжался не более двадцати минут, после чего Бодра и Салаи остались в живых вдвоем, а кругом — только трупы. Волна наступающих перехлестнула через них и откатилась в направлении каменистых холмов.

От страха Бодра заплакал и даже обмочился, хотя раньше ему приходилось принимать участие в отражении и более жестоких атак. Русская артиллерия и авиация не раз обрушивали на них такие удары, что земля горела вокруг. Однако на этой проклятой переправе каждый снаряд противника попадал в цель. Дробь автоматов и пулеметов сменялась глухими разрывами снарядов. Куда ни посмотришь — всюду изуродованные тела. Здорово их там покосило... И все из-за какого-то дурацкого приказа. Бодре еще никогда не приходилось видеть столько трупов на крохотном пятачке.

Когда они с Салаи наконец осмелились подняться с земли и, пригнувшись, обошли пятачок, то услышали стоны четырех или пяти раненых. Но они ничем не могли им помочь, абсолютно ничем.

Штурмовые лодки, катера и буксиры снова отвалили от противоположного берега — русские продолжали переправляться. Они подберут раненых. Оставалось надеяться на их милосердие.

Бодра и Салаи добрались до леса в пойме реки, пробились сквозь заросли сухого кустарника, свернули направо и, обойдя на безопасном расстоянии шоссе, вышли

на дорогу, которая вела в горы. Шли, время от времени оглядываясь на берег, усеянный трупами...

— Наш ротный говорил, — повернулся Бодра к Верешу, — что все это не так страшно. Разведка боем, и только.

Вереш с недоумением уставился на него.

Бодра спрыгнул в яму и оказался возле него. Одним сильным рывком он перевернул Вереша на спину:

— Встать!

Вереш повиновался.

«С этого, собственно, и следовало начинать. С сопливыми щенками не стоит разговаривать, им надо приказывать», — решил Бодра, а вслух спросил:

— Кто я такой?

— Господин унтер-офицер...

— Даже если я из другой части, а?

— Так точно, даже тогда.

— Советую запомнить это! А если еще раз забудешь, я выбью тебе все зубы!

— Слушаюсь, — ответил Вереш, однако в его бледно-голубых глазах не было страха. — Я лишь сказал, что у нас продуктов на пятерых...

— Заткни глотку!

«Подожди, я тебя обломаю, — думал Бодра. — Вот наберусь сил и так обломаю, что ты у меня станешь послушным, как побитая собака».

— Где жратва?

— Яри, — позвал Вереш парня, который лежал с краю.

Тот не спеша встал, несколько раз похлопал онемевшими руками, а затем полез под брезент, разостланный рядом с фаустпатронами, и вытащил из-под него консервную банку. Немного помедлив, достал еще одну.

— А хлеб?

Яри покачал головой.

— Плохо, — сказал Бодра.

Тем временем Салаи тоже спустился в яму — там не так сильно дул ветер. Одной рукой он подкатил большой камень и сел на него.

Бодра перочинным ножом открыл банку. В ней оказалось тушеное мясо с фасолью, смерзшееся кусками. Консервы не имели ни вкуса, ни запаха — то и другое появилось только тогда, когда ледышка, положенная в рот с кончика ножа, растаяла. Бодра окинул яму взглядом, но не обнаружил ни костра, ни пепла от него.

— Вы что, так замерзшим это и едите?
— Да, — ответил сосед Яри, стуча от холода зубами.
— Ну и дураки!
— Нам обещали сухой спирт, но так и не дали...
Бодра наломал веток боярышника, сложил их в кучу и зажег. Над огнем поставил два плоских камня, а на них положил сверху третий:
— Прошу. На этом можно приготовить даже свадебный обед. — Он поставил банку на камень, а затем открыл вторую и поставил ее рядом с первой.
— Да, — вымолвил Вереш, — но противник может заметить дым.
«Чересчур умничает этот Вереш, — подумал Бодра.— Все-то он знает лучше, чем другие. Рта не закрывает. Ни на минуту не дает этим парням забыть о том, что он здесь командир. Попадись такому в руки, он тебя двадцать четыре часа в сутки будет поучать. Для начала ему нужно смазать по губам — хорошенько, ребром ладони. Словами такого не проймешь, нужно сразу бить по губам. По крайней мере помолчит, пока будет слизывать кровь».
Камни разогрелись на костре, и снег на них начал таять. Бодра снял перчатки и обтер руки чистым снегом, а затем обсушил у огня.
Салаи тоже погрел у огня одну руку, другой он все время прижимал воротник шинели к щеке.
Яри вернулся на свое место, туда, где лежал его карабин. Теперь он смотрел не прямо перед собой, а на маленькое пламя.
— Как хорошо горит! — заметил сосед Яри. — Как настоящий костер...
— А он и есть настоящий, только маленький, — сказал Яри.
Сосед на миг задумался, а затем спросил:
— Может, еще немного веток принести, чтобы огонь не погас?
Бодра посмотрел на Вереша, который больше ничего не говорил.
Сосед Яри встал и наломал небольшую охапку сухих веток.
— Меня зовут Маткович, — сказал он, складывая ветки возле костра.
Бодра молча кивнул ему и подумал, что нужно будет объяснить этим желторотикам: противник все равно отыщет их, даже если они не будут разводить огня. Собст-

венно, они ничего не делают, даже дышать свободно не смеют, лишь стараются поплотнее прижаться к земле. Нужно будет спросить у них, какого черта они тут дожидаются впятером, не имея связи со своей ротой и не получая подкрепления. Сидят в этом леднике, где за сутки можно отморозить руки и ноги. Кто они, эти ребята? Студенты? Начинающие ремесленники? Или простые деревенские парни? Вереш, вероятно, не из таких. Уже научился командовать. Как они сюда попали? До ближайшего городка Дерчхаза километров двадцать. Однако это ничего не значит, они могут быть и издалека. У Матковича под ногтями чернозем, как у пса, который разрывал нору суслика, хотя, быть может, он только здесь впервые испачкал руки. У Яри крестьянское лицо с боязливыми глазами, однако держится он уверенно и непринужденно, словно родился в господской семье.

— Еще не разогрелось? — спросил Салаи.

— Нет еще.

Вот, оказывается, от кого зависит исход тотальной войны: натянули на подростков военную форму — и баста, пусть останавливают русских. Отлично обученные и снаряженные гитлеровские дивизии не смогли остановить их, так пусть теперь остановят эти, с карабинами, единственным пулеметом да двумя дюжинами фаустпатронов. У них нет даже бинокля, чтобы как следует осмотреть местность. Никто им не объяснил, что время от времени нужно подниматься на вершину холма, с которой видно дальше, чем из этой ямы.

Содержимое консервных банок начало булькать и шипеть. Бодра лезвием ножа осторожно помешивал его.

— Что вы знаете о войне? — спросил он. И тотчас пожалел, что задал столь неудачный вопрос. Не так следовало начинать.

Парни сразу отвернулись от огня, словно вдруг заметили что-то на безжизненной местности. Этот вопрос оскорбил их, так как поставил под сомнение именно то, во что они верили и что хотели доказать. Они верили: чтобы разбираться в войне, достаточно решимости и отваги. Они верили: и одна винтовка — грозное оружие, если она находится в руках смелого, их не одолеет никакая сила, они вынесут все или, по крайней мере, больше, чем уставшие, постаревшие за годы войны солдаты, которые все время отступали.

— Господин унтер-офицер, вы слышали когда-нибудь о Марафоне? — спросил Вереш.

Бодра никак не мог вспомнить, с чем связано это иностранное слово. В голове у него засело множество русских, украинских и русинских названий от Милитиново до Лавочне и Рахо. Он мог бы без запинки перечислить их добрую сотню, но Марафон... Впрочем, где-то он слышал это слово. Что же это? Гора? Река? Фамилия человека?

— Вы ведь учились в школе?

«Ну и наглец же этот Вереш! Ничего, придет время — я его проучу», — мысленно вознегодовал Бодра, но ответил:

— Кончил четыре класса.

— Там это тоже проходят. Везде, где преподают мировую историю. Просто этого нельзя выбросить из истории. При Марафоне греки остановили превосходящие силы персов и разбили их.

— А, вспомнил — марафонский бег!

— Важна была победа. Бег был после, когда нужно было принести известие о победе.

— Да...

— Словом, ничего невозможного нет.

— Нет?

Бодра сердился на себя за то, что плохо соображал. Так он ничего не добьется. Начнется спор: он скажет — черное, а парни скажут — белое. И так до хрипоты. Но бросить их здесь жалко. А вдруг они сейчас спросят, что я знаю о войне? Что я отвечу? То, что им давно известно? Что война — это смерть, разрушения, раны, страх, голод, вши, когда баня и чистая постель кажутся даром божьим? А если посчастливится выпить да переспать с женщиной, то и мечтать больше не о чем! Или сказать им, что война прежде всего ремесло, искусство — очень опасное, трудное, страшное искусство, которому нужно долго и много учиться? У войны своя теория и практический опыт, приемы, навыки и даже трюки, как в любой другой профессии. Чем дольше человек воюет, тем лучше разбирается в войне при условии, если остается в живых... И особенно, если он становится победителем. Многие офицеры говорят, что в этой войне идет спор о принципах, о тысячелетних идеалах, которые не потускнеют, даже если их на время втоптать в грязь. Однако и его товарищи знали по опыту, что поражение губит не только надежды, но и смысл самого дела. Побежденному ничего другого не остается, как спасать собственную шкуру

каким угодно способом, подчас испытывая отвращение и стыд.

— Ешь помедленнее, — сказал Бодра, передавая Салаи консервную банку. — После каждого глотка делай небольшую остановку, не то тебя вырвет и будешь чувствовать себя еще хуже, чем до еды.

Салаи, склонив голову набок и тихонько кряхтя, медленно пережевывал левой стороной мясо с фасолью. Из уголков рта у него сочилась кровь. Как только он перестал придерживать воротник шинели, на правой щеке его стала видна огромная сизая опухоль, похожая на обвислый мешок. Цветом она напоминала несвежее, разлагающееся мясо. Под подбородком тоже виднелось большое вздутие.

Парни с ужасом уставились на Салаи.

— Что это у него? — спросил Вереш, не отводя взгляда от опухоли.

— Перед наступлением русские обстреляли дамбу из минометов, — объяснил Бодра. — Здоровенный смерзшийся ком земли угодил ему в лицо.

— Здорово угодил... — заметил Яри.

— Да. Зубы с правой стороны еле держатся, возможно, даже челюсть треснула.

Бодра ел медленно. Проглотив несколько кусочков, он оторвался от еды и сделал несколько глубоких вдохов. Затем встал и прошелся по яме. Проходя мимо Яри, он наклонился и двумя пальцами схватил его за ухо:

— Что ты чувствуешь?

— Ничего. А что нужно?

— Нужно чувствовать, что у тебя есть ухо.

— А я и так знаю, что есть.

Яри попытался засмеяться, но не смог: улыбка получилась вымученной, похожей на гримасу. На миг он задумался. Он знал, что у него есть уши, здоровые уши, но сейчас почему-то не чувствовал их, а это значит, что с ними что-то не в порядке.

Бодра взял за ухо Матковича и спросил:

— А ты?

КВерешу он не притронулся, а только сказал:

— Потрогай свое ухо, но осторожно, а то кусок можешь оторвать.

Вереш тоже не ощущал, что у него есть уши. Удивившись, он вспомнил, насколько чувствительной была всегда его кожа.

Бодра снова сел. Пища в желудке, разумеется, еще

не переварилась, но от одного сознания, что он поел, Бодра почувствовал, что силы у него стали прибывать.

Несмотря на это, неприязнь к Верешу не прошла. Со временем этого наглого и коварного маленького диктатора нужно будет поймать на слове. А ребят ему было жалко, и он решил их спасти. Несчастные так старались, что даже уши отморозили.

Неожиданно сидевший у огня Салаи вскочил и, прижав ладонь к щеке, заметался по яме.

— Горячо! — со злостью выкрикнул он, наскочив на Бодру. — Я ужасно обжегся! Лучше бы съел консервы холодными!

Широко открытым ртом он жадно хватал холодный воздух, а затем, поддев пальцами комок снега, приложил его к нёбу. Постепенно он успокоился, снова сел к костру и начал есть.

Бодра посоветовал ребятам, пока не поздно, потереть уши снегом. На этот раз Вереш не возражал. Набрав полные горсти снега, он прижал его к ушам и стал тереть сначала осторожно, а затем все сильнее и сильнее. Скоро он засопел, от боли на его глазах появились слезы.

— Черт бы их побрал! — выругался он, а затем еще несколько раз повторил: — Черт бы их побрал...

Маткович от боли присел на корточки, потом бросил шапку на землю и, встав, поддал ее ногой.

Яри никак не мог понять, почему он не почувствовал никакой боли, когда уши у него начали обмораживаться.

— Обморожение, — принялся объяснять Бодра, — тем и опасно, что человек ничего не замечает. В лучшем случае чувствует небольшое онемение...

Со стороны гор слышался далекий, часто повторяющийся резкий свист, за которым следовала серия разрывов. Сильный ветер разметал этот грохот меж холмов, отнес в сторону реки, отчего казалось, что стреляют одновременно со всех сторон.

— Реактивные минометы бьют, — пояснил Бодра. — Русские называют их «катюшами», а мы — «сталинским органом». Скверная штука, должен вам сказать. От одного их грохота можно в штаны наложить.

Сквозь редкий снегопад временами отчетливо виднелись огненные трассы, оставляемые снарядами «катюш». Трасс было много.

Бодра попытался определить расстояние до стреляющих батарей, считая секунды, прошедшие от вспышки

до разрыва, но вскоре отказался от своего намерения, так как «катюши» стреляли без пауз и невозможно было определить, какая огневая трасса соответствует тому или иному разрыву.

— Где-то идет жаркий бой, — сказал Бодра, — или передвижение войск, а может, русские бьют по сосредоточению танков. Это километрах в пятнадцати отсюда, а то и в тридцати.

Вереш впервые за все время проявил беспокойство.

— Это означает, что русские зашли к нам в тыл? — спросил он.

— Точно.

— Не понимаю, как они сюда могли прорваться. Мы ведь ни одного их солдата не видели.

— Забыли вам представиться. Но не расстраивайся, еще познакомитесь.

— Такими вещами не шутят!

— А я и не шучу. Чего тут не понять: нас окружили. Переправились через реку, разбили в пух и прах две наши роты и окопавшиеся в излучине реки части, а затем прорвались вперед справа и слева и заперли в котле всех, кто не смог из него выскользнуть. Лучше, если ты об этом узнаешь как можно раньше. Где сейчас находятся наши, неизвестно. Надеяться на них нечего. Ты напрасно ожидаешь противника со стороны реки. Мы были там, и осталось нас в живых только двое. Русские, видимо, решили обойти это место стороной. Если они будут наступать здесь, то ударят с тыла, после того как уничтожат части, попавшие в окружение, и тогда ты получишь пулю не в лицо, а в задницу.

Вереш молчал. Возможно, он уже разобрался в создавшейся обстановке, но не хотел признать это. Человек с трудом расстается даже с маленькой иллюзией. Тот, кто твердо решил выглядеть героем, будет упрямо следовать этому решению, хотя такой заранее запрограммированный героизм редко удается. Впрочем, вполне вероятно, что Вереш просто-напросто не поверил Бодре.

— Нас сюда воевать прислали, — проговорил он, ложась за пулемет, — вот мы и будем воевать.

— А с кем? И против кого?

— В этом районе находится весь наш батальон, на участке от горы Калмиа и далее к югу, до мельницы в Бикари. Я сам слышал, как господин комбат ставил задачу ротным командирам. Наша, третья рота в соответствии с приказом расположилась вот на этих высотках,

— А тебе это откуда известно?
— Известно.
— А если ее здесь нет? Если отошла она или ее русские разбили? Тогда что?
— Неправда! Этого не может быть! Если бы рота отошла, нас бы здесь не оставили. Такого ни один солдат не сделает. Это было бы не по-товарищески... Нет, того, о чем вы говорите, не может быть.
«Если бы ты знал, — подумал Бодра, — что бывает на войне, у тебя бы волосы дыбом встали». Но спорить с Верешем не стал. Подняв автомат правой рукой, он дал вверх короткую очередь.
— Если ваши здесь, — сказал он, — они ответят.
Вереш покачал головой:
— Мы не так договаривались. Если нам потребуется помощь, выпустим зеленую ракету.
— А есть она?
— Есть.
— Тогда чего же ты ждешь?
Вереш замялся. Он боялся, что на его сигнал никто не ответит. Но все же вытащил ракетницу, зарядил ее и выстрелил.
Ракета прочертила сквозь снегопад зеленый след. Взлетев над холмами, она на миг остановилась, а затем осыпалась огнями и погасла.
Бодра достал сигарету и закурил. Давно уже он не чувствовал себя так хорошо. Он начал думать о том, как бы ему и Салаи спастись, а заодно выручить этих ребят.
Выскользнуть из окружения вряд ли удастся. По крайней мере, сейчас, когда русские продолжают наступление. Найти какую-нибудь венгерскую воинскую часть, попавшую, как они, в окружение, и присоединиться к ней? Это значит начать все сначала, воевать и погибнуть, а в лучшем случае—попасть в плен. Встретиться с немцами — подумать об этом и то страшно. Хорошо бы отыскать какое-нибудь местечко, где можно спрятаться, готовить себе горячую пищу, топить печку, спать и спокойно дожидаться конца войны.
— Ничего... — произнес Вереш.
— Пусти еще одну ракету.
Вереш выстрелил. Было заметно, что он нервничает.
Парни проводили ракету глазами, а потом, как по команде, двое из них посмотрели на холм справа, а двое — на холм слева.
Минут через десять Яри встал.

— Если они ушли, — начал он и взглянул на Вереша, — я плевать хотел на все это.

— Что это — мятеж?

— Где твоя рота? Пока ты ищешь роту, я буду беспрекословно тебе подчиняться. Если найдешь, то и после этого буду подчиняться.

— А если нет? Никаких ультиматумов!

— Не забудь, что я добровольно пошел в армию, а не по призыву.

— И я, — заметил Маткович. — Да и другие тоже.

— А присягу вы принимали, а?

— Ну, принимали, — ответил за всех Яри, — только не для того, чтобы впятером дожидаться русских.

— Здесь должны быть и другие! Может, они просто не заметили нашей ракеты.

— Что спорить попусту! — сказал Бодра. — Я сейчас такой шум подниму, что за десять километров слышно будет. — И он взял в руки фаустпатрон: — Вы уже стреляли ими?

— Нет, — ответил Маткович. — Нам только показывали, как это нужно делать.

— Не стойте у меня за спиной. Это реактивное оружие: сзади так же опасно, как и спереди, мигом снимет голову.

Бодра лег на край ямы и осмотрелся. Примерно посередине левого холма он наметил довольно большую каменную глыбу. Из трубы фаустпатрона вырвался сноп пламени. Затем раздался оглушительный взрыв, который разнес глыбу на куски.

— Хорошо, — довольным голосом сказал Салаи. — Словно ножом срезало.

На холме все было неподвижно. На другом — тоже. Подождали минут десять. Первым шевельнулся Маткович, но Вереш настоял на том, чтобы подождать еще десять минут.

— А что потом? — спросил Яри.

Вереш промолчал. Снег пошел реже, а затем вообще перестал. На северо-западе, в горах, снова заговорили «катюши». Три советских истребителя пролетели над каменистыми холмами. Летчики наверняка заметили яму, однако не обстреляли ее. Вскоре четырьмя или пятью волнами прошли тяжелые бомбардировщики.

— Десять минут кончились, — сказал Яри.

Вереш молчал. Он не спеша обошел яму, все осмотрел, словно свергнутый с трона король, озирающий в

последний раз свои владения. Здесь он командовал. Здесь собирался совершить нечто героическое. Все важное, что могло здесь произойти, было бы связано с его именем. Но если они уйдут отсюда и отправятся туда, куда укажет этот унтер-офицер, что тогда?

Салаи не понимал колебаний Вереша.

— А почему бы вам не слазить на высотку? — шепелявя спросил он. — Посмотрите своими глазами, есть там кто или нет. А потом, если захотите, можете пойти с нами, а если нет — куда пожелаете.

Вереш немного помолчал, потом, взяв с собой самого молодого паренька, которого звали Йенци, пошел с ним на высотку слева, а Матковича и пятого парня, по фамилии Шинораш, послал на правую высотку. Яри остался в яме.

— Ложись за пулемет, — приказал ему Вереш. — И если появится противник, отстреливайся до последнего патрона.

Яри лег за пулемет, но, как только Вереш начал подниматься по пологому склону на высотку, он не спеша спустился в яму, достал из-под брезента банку консервов и поставил ее разогревать на камень над костром.

— Правда, это не предательство? — спросил он.

— Правда, — ответил ему Бодра. — Сначала открой банку, а то потом не размешаешь.

Яри достал нож и открыл консервы. Подбросил на горячие угли сучьев и подул, чтобы разгорелся огонь.

— Мы уезжали из дома, — произнес он без всякой высокопарности, — чтобы умереть за родину.

— Многие уже умерли.

— Да, я слышал. Но когда нас привезли сюда, здесь ничего не изменилось. Русские были на том берегу реки... Откровенно говоря, я даже ни одного убитого не видел.

— Помешай, а то пригорит.

— Как вы думаете, займут они страну?

— Займут, можешь не сомневаться. Мы с Салаи давно уже улепетываем от них. Если не ошибаюсь, полторы тысячи километров прошли по России.

— Но ведь они сами начали войну. Разве нет?

— Где? У себя дома? А нас зачем понесло туда, где мы сроду не были? Черта с два...

Яри положил в рот кусок мяса, но ему, видимо, было не до еды.

— И что же будет с Венгрией?

— Когда?

— Когда ее займут русские.

— Она и до сих пор была занята, — ответил Бодра, хотя никогда не задумывался над вопросом, который ему сейчас задал Яри. — Ты же знаешь, ее не раз захватывали. Мы находимся на бойком месте, вот через нас и ходят туда-сюда. Но мы все равно существуем. И будем существовать. Не умирать же нам здесь! Жить надо. И надо, чтобы нас в живых осталось как можно больше.

— Господин унтер-офицер, сколько вам лет?

— Мне? Не так уж мало: двадцать четвертый пошел.

— А я думал, больше.

— Эх, братишка, три года на фронте моложе не делают.

— А до армии вы кем работали?

— Какая у меня специальность? Маслоделом был у богатого задунайского помещика.

Вереш проторчал на высотке довольно долго: он хотел во что бы то ни стало кого-нибудь найти. Однако, когда они, хватаясь за кусты и камни, а то и ползком спустились вниз, еще издали по их виду можно было определить, что искали они зря.

— Какой позор! — возмущался Вереш, сбивая с сапог налипший снег. — Мне бы только добраться до комендатуры. За такие вещи кое-кто ответит!

— Ну а что теперь? — спросил Маткович. — Оставляем позицию?

Вереш посмотрел на Бодру. Вид у него был убитый.

— Зачем же тогда нам говорили, что оставлять товарищей в беде нельзя? Уж лучше бы не говорили...

Приказывать Бодра не хотел.

— Я и мой товарищ, — начал он, — хотим найти какое-нибудь укрытие, достать еды, чтобы не питаться вашими запасами. Вам я тоже не советую ночевать под открытым небом и есть всухомятку. Так долго не протянешь.

— А куда мы пойдем? — поинтересовался Вереш.

— У реки ни жилья, ни людей. Идти надо в другую сторону.

— К горам?

— Да.

Вереш посмотрел в ту сторону, где стреляли «катюши» и от взрывов содрогалась земля. В глазах у него не было ни тени страха — скорее, надежда на то, что там можно быстрее встретиться с противником.

— Шагом — марш! — приказал он парням.

Магазины с патронами он положил в сумку, висевшую у него на боку, а пулемет взвалил на плечо. «Потом ты все лишнее бросишь», — подумал Бодра, но вслух не сказал ни слова.

Ребята быстро собрали свои вещички. Однако Вереш не хотел оставлять даже фаустпатроны. Он потребовал, чтобы каждый из парней связал веревкой по пять фаустпатронов и нес их на спине. После долгих препирательств взяли по две штуки на каждого.

Вскоре дорога пошла в гору — не очень крутой, но подъем все-таки чувствовался. Ребята раскраснелись, оживились, даже негромко запели в такт шагам танго «Поцелуй с твоих губ», словно это был марш. Эту песню Бодра уже когда-то слышал. Судя по глазам, и Верешу она нравилась.

— Кто из вас старший? — поинтересовался Бодра.

— Я, — ответил Вереш.

— Сколько же тебе лет?

— Семнадцать исполнилось. В мае я должен был закончить гимназию, но спустя три недели после крещения пришлось бросить учебу.

Ветер стих, но было холодно. Чем выше они поднимались, тем сильнее скрипел под ногами снег. Салаи приходилось немного поддерживать. На морозе он не чувствовал боли, но так ослаб, что пошатывался и часто останавливался. В половине третьего вышли к редколесью. Проселочная дорога стала пошире, а через несколько сот метров пересекла поле — из-под снега были видны следы колес.

Пройдя немного и внимательно присмотревшись, Бодра высказал предположение, что дорога ведет к дому лесника или к хутору сенозаготовителей. Большак же попрежнему шел по опушке в северном направлении. Никакого жилья возле него не было.

Они решили идти по лесной дороге, которая шла наискось через буковую рощу, постепенно становившуюся гуще.

У Салаи закружилась голова, и он упал на колени. Он вспотел, его начало рвать.

— Не знаю, с чего бы это, — пробормотал он. — Консервы я ел не спеша.

Бодра же опасался совсем другого. Когда он поддерживал голову Салаи и смотрел на его обезображенное

огромной лиловой опухолью лицо, ему впервые пришла мысль, что у того заражение крови.

— Мне стыдно за себя, — сказал Салаи.

— Не мели чепухи! Вот найдем крышу над головой, отлежишься, и все пройдет.

Он забрал у Салаи карабин, а ему срезал легкую палку.

Часа через три, когда уже начало смеркаться, они вышли на опушку. Жилья не было и здесь. Лежало перевернутое орудие, обгорелый грузовик, а вокруг человек тридцать немцев.

Парни в ужасе остановились и издалека смотрели на трупы, застывшие в самых невероятных позах — как застала их смерть.

— Здесь что-то произошло, — заметил Бодра.

И тут он увидел гитлеровского майора. Тот лежал на спине, широко раскинув руки. На груди — великолепный цейсовский бинокль, на ногах — новые сапоги. Бодра мысленно уже завладел и биноклем, и сапогами.

Он поспешно подошел к майору, хотя никто не собирался его обгонять. Бинокль, даже не взглянув в него, он повесил себе на шею и принялся стаскивать сапоги, но они не снимались: то ли были малы майору, то ли примерзли к его ногам. Бодра дернул раз, другой — сдвинулся труп целиком, стуча по заледеневшему снегу.

— Встань на него, — попросил он Салаи. — Черт бы его побрал — никак не желает расставаться с сапогами!

Маткович позеленел и отвернулся:

— Видеть этого не могу...

— Чего ты не можешь? У меня дырявые сапоги, а ему они уже не нужны.

Салаи встал на живот майора, и только тогда Бодре удалось стащить сапоги с мертвого.

— Подумать только! — с довольным видом произнес Бодра, разглядывая теплые, на бараньем меху, сапоги. Он тут же снял свои и натянул новые. Сделав несколько шагов по поляне, похвастался: — Словно специально для меня тачали. — И махнул рукой, что можно двигаться дальше.

Йенци тем временем бродил возле трупов и собирал консервы. Ко дну некоторых банок были прикреплены таблетки сухого спирта: достаточно поджечь — и ешь горячее! Он сунул несколько банок в вещмешок. Наверное, он бы и еще взял, но тут Бодра услышал треск сучьев. Он огляделся, однако никого не увидел.

— Спрячьтесь за деревья, — сказал он. — Кажется, кто-то идет.

— А вдруг это наши? — обрадовался Вереш.

— Может, наши, а может, и нет. Это или русские, или немцы.

— Если немцы, то не беда.

— Но и ничего хорошего. С ними всегда много хлопот, можешь мне поверить. Сразу спросят, чего мы тут ищем, почему не в части, в два счета объявят дезертирами и, пока ты соберешься объяснить, расстреляют.

— Но ведь не мы бросили...

— Тихо!

Бодра осмотрел в бинокль местность и на другом конце поляны, шагах в двухстах, заметил среди деревьев трех немцев, принадлежавших, видимо, к разгромленной части. Они шли осторожно, держа оружие наготове.

Бодра протянул бинокль Верешу:

— Посмотри направо от орудия... Чуть подальше и правее.

Немцы не спеша вышли на поляну. Оглянулись и что-то прокричали.

— Они спрашивают, — перевел Вереш, — есть ли тут кто.

«Пусть себе спрашивают», — подумал Бодра.

Гитлеровцы тем временем подошли к трупам и начали собирать консервы.

Салаи, стоявший шагах в пятнадцати от Бодры, за стволом большого дерева, слабеющим голосом произнес:

— Не сердись, я больше не могу, — и, пошатнувшись, повалился на землю.

Один из гитлеровцев, хотя ничего не увидел, но выстрелил на звук.

— Не стреляй! — крикнул Бодра по-венгерски.

Он замахал немцам рукой и бросился к упавшему товарищу.

И тут гитлеровцы увидели на нем сапоги. Все трое закричали, замахали руками и открыли огонь короткими очередями по Бодре, который, к счастью, успел спрятаться за толстое дерево.

— Пулемет! — крикнул он Верешу. —Помоги! Теперь они от нас не отстанут!

Бодра нагнулся и оттащил Салаи за дерево. Тот не был ранен, просто ему стало плохо, его прошиб пот.

Гитлеровцы, не прекращая стрельбы, приближались. Бодра снял с плеч Салаи карабин и ждал. Один из гит-

леровцев, высунувшись из-за дерева, осмотрелся и быстро перебежал за другое. Бодра выстрелил в него и попал. Зато двое других открыли такой огонь, что в ушах зазвенело.

— Почему не стреляешь?!—заорал Бодра на Вереша.

Тот лежал на животе, держа пулемет у ноги, и не стрелял. Парни тоже не стреляли. Они так попрятались за деревья, что их не было видно.

Бодра выругался. Выходит, он может рассчитывать только на себя. Он материл Вереша, но понимал, что ругать-то следует прежде всего себя, так как это он стащил с майора сапоги. Если гитлеровцы подойдут поближе или, чего доброго, зайдут сзади, спасения не будет. Что-то нужно было предпринимать. Дождавшись конца длинной очереди, он отшвырнул карабин и, раскинув руки, рухнул на землю, притворившись убитым. Это был проверенный трюк.

«Кажется, удалось! — мелькнуло у него в голове. — Не переиграл ли? Уж больно картинным было падение».

Однако немцы не заподозрили обмана и, обменявшись знаками, вышли из-за деревьев.

И тут Бодра срезал их очередью из автомата.

— Ничего не поделаешь, другого выхода не было, — проговорил он, вставая.

Не спросив Вереша, почему тот не стрелял, он помог Салаи подняться, обхватил его рукой, и они двинулись дальше.

Парни шли за ними, немного поотстав.

Уже начало темнеть, когда Бодра наткнулся на мертвую собаку. Ее застрелили.

— Где-то поблизости должно быть жилье, — сказал он. — Эту собаку пристрелили, чтобы она не лаяла.

Метров триста они карабкались по склону. Сначала показался стог сена, затем хлев и, наконец, дом. Это был бревенчатый дом с крышей из дранки. Сбоку к нему был пристроен сарай.

Бодра остановился. Подняв ком земли, запустил им в дверь.

Вышла худенькая девушка в платке. Посмотрев по сторонам, она вернулась в дом.

— Все в порядке, — заявил Бодра. — Можем войти.

В доме кроме девушки находился еще старик.

Не успели солдаты закрыть за собой дверь, как старик скороговоркой заявил, что в доме ничего не осталось и шли бы они ко всем чертям. Сколько, мол, солдат ни

заходило, все что-нибудь забирали. Не солдаты, а какие-то грабители!

— Мы просим пустить нас переночевать, — объяснил Бодра. — Не выгоните же вы нас на улицу в такую погоду?

Салаи сел, стащил с себя вещмешок и устало сказал:

— Не задаром.

Он порылся в мешке и вытащил из него будильник.

Хозяин зажег лампу, занавесил маленькое оконце одеялом и только после этого осмотрел будильник.

— Не ходит, — сказал он.

Салаи завел будильник — он нервно затикал.

— А карманных нет? — спросил старик. — Мне поменьше нужны — этот в карман не положишь.

Салаи порылся в мешке и вытащил большие карманные часы, какие носят железнодорожники. Он завел их, послушал и передал старику.

— Молока у нас немного есть, — сказал тот.

— Это за такие-то часы? — со злостью спросил Бодра.

— И завтра дадим молока и хлеба.

— Я не против, — согласился Салаи. — Молоко хоть жевать не нужно.

Девушка все это время стояла тут же и молча смотрела на солдат. Изредка она дотрагивалась до живота. Тогда старик бросал на нее угрожающие взгляды.

— Принеси молока, — сказал он ей. — Да подбрось хворосту в огонь.

Девушка вышла, не спеша и чуть ссутулившись. Даже в доме она не сняла с головы платка.

— Надругались над ней, — объяснил старик.

— Кто?

Старик не ответил. Он явно сердился на дочь: хортистский офицер, соблазнивший его дочь, ушел, а она осталась при нем.

— Ты почему не стрелял? — спросил наконец Бодра у Вереша.

— Я? — переспросил Вереш. — Я в союзников не стреляю, тем более за пару ворованных сапог.

Бодра поднялся и ребром ладони сильно ударил Вереша по губам, как представлял себе это раньше. У того обильно потекла кровь.

— Ах, это твои союзники?! — закричал Бодра. — Тогда беги за ними! Беги, черт тебя побери! И не забудь спросить у них, что они нам дали, кроме этой проклятой

войны. Ах ты, гниль... Выходит, я вор? Я что, у живого их отнял? Он их что, носить будет?..

Вереш заклеил разбитую губу кусочком папиросной бумаги, но кровь все не останавливалась. Пришлось наклеить шесть или семь бумажек.

— За это я расплачусь с вами, господин унтер-офицер, — сказал он, шурша бумагой. — В долгу не останусь — сами увидите!

— Поговори у меня, еще схлопочешь! Ты что, думаешь, я тебя боюсь? Черта с два! Спать-то рядом будем, понял? Если ты такой храбрый, можешь перерезать мне глотку.

Девушка, вернувшись в дом, заметила разбитую губу Вереша, но ничего не спросила. Она поставила на стол большой жестяной бидон, кружки и положила хлеб. Затем добавила в печку хвороста и села возле нее на низенькую табуреточку.

Старик свернул цигарку. Руки у него были грязные, кожа усеяна маленькими черными точечками, словно в нее попал заряд мелкой дроби.

«Углежог, наверное», — подумал Бодра.

Пока солдаты пили молоко, старик курил.

Салаи благодарным взглядом окинул кухню. Молоко, которое он выпил, не причинило ему боли.

— Отсюда куда направитесь? — полюбопытствовал старик.

Бодра пожал плечами.

— Понимаю, — проговорил старик. — Ищете свою часть.

Солдаты молчали. Старик продолжал курить, пуская клубы вонючего дыма.

— Понимаю, — повторил он. — Вы как раз не ищете.

— Ищем, — заверил его Вереш. — Мы не дезертиры.

Старик посмотрел на него, но не удостоил ответом. Он разговаривал с унтер-офицером — старшим по чину.

— Есть тут недалеко одна рота, — сказал он, немного помолчав. — Венгры. Пехота или стрелки. Думаю, они уже начисто забыли о дружбе с немцами.

— Перешли?

— Куда?

— На сторону противника.

— Этого я не знаю, — продолжал старик. — Не думаю. Два дня назад был тут их дозор. Русских с ними не было. Шесть или семь солдат приходили, — словом, целое отделение. Оружием обвешаны с ног до головы.

Немцев искали. Я еще у них спросил, зачем им немцы. Ответили, что это не моя забота, и посоветовали держать язык за зубами, если не хочу, чтобы мою лачугу сожгли.

«Такая рота нам и нужна, — подумал Бодра. — Хорошо бы найти ее. В ней, если и пришлось бы воевать, вполне можно дотянуть до конца войны. Хватит, повоевали на стороне немцев, они часто били, теперь не грех их самих побить. Только что на это скажут ребята? Ну да все равно. Если Вереш не захочет, пусть катится ко всем чертям, а с остальными я смогу договориться».

— А где расположилась эта рота? — спросил Бодра у старика.

— Где-то здесь, неподалеку.

— А если точнее?

— Откуда мне знать. Адреса они мне не оставили.

— Оно и лучше, — заметил Вереш.

— Тебя забыли спросить! — огрызнулся Бодра. — Вот когда ты пробежишь тысячу километров, скуля, как побитая собака, и дрожа за свою паскудную жизнь, тогда и разговаривай!

— Я не побегу. Я буду стоять на месте. Пусть лучше погибну!

— Пожалуйста, погибай, но только один. Других не заставляй погибать. Насколько мне известно, эта проклятая война уже отняла жизнь у полмиллиона венгров. Ты бы пожертвовал еще столькими же. Почему бы и нет? Тебе-то что! Но чего бы ты добился? Ничего!

— Это верно, — поддакнул старик. — Если с кем не можешь справиться, то и не пробуй лучше.

Он снова закурил. Табак был таким черным, словно состоял из угольной пыли.

— Позади дома есть гора, похожая на митру священника. Сейчас ее не видно — темно ведь. На самой вершине гладкая такая скала. Словно скамеечка, на которой становятся на колени перед алтарем. Ее так и называют — «каменная скамеечка королевны».

— А почему ее так называют? — спросил Яри.

— Рассказывают, что когда-то сюда приходила молиться королевна. Но это так только, сказка.

— Нет, — произнесла вдруг усталым низким голосом девушка, — это не сказка, а чистая правда. Господин священник даже имя той королевны знает.

Старик безнадежно махнул рукой:

— Ладно, бог с ним. Я не об этом хочу сказать, а о скамеечке той. Если на нее взобраться, оттуда все видно.

Вокруг горы расположены три маленьких села: Черхаза, Миклошд и Гороза. Возле одного из них и находится венгерская рота.

— А высокая та гора? — спросил Бодра.

— Метров триста. Но я вам покажу тропку, по которой от дома можно подняться туда.

— А части, — спросил Вереш, облокотившись на стол и нагло глядя на Бодру, — которые честно выполняют свой долг, где?

Старик перевел взгляд с унтер-офицера на парня и спросил:

— Ты сам-то откуда?

— Из Дерчхазы.

— Тогда тебе все равно, где какая часть стоит. В Дерчхазу вчера в полдень вошли русские.

— Нет!

— Сам увидишь, если попадешь туда.

Вереш сразу же сник. Он попросил у старика закурить, но руки не слушались его, и он никак не мог свернуть цигарку. Тогда он вышел на мороз и некоторое время шагал по двору. Когда он вернулся в дом, глаза у него были красными. Но он все-таки держался: сидел прямо и даже пытался разговаривать.

Старик не обращал на него внимания.

Салаи уставился на свой вещмешок, будто хотел разглядеть его содержимое сквозь толстую парусину.

— По мне, — проговорил старик, — так вы в надежном месте. Я сена нанесу в кладовку побольше, дверь в кухню оставлю открытой, чтобы тепло шло. Там вы выспитесь, как на ладони у непорочной девы Марии. Постараюсь и еды какой-нибудь достать, а о плате потом договоримся.

Салаи молчал. Он приложил ладонь к больной щеке и не шевелился, словно заснул.

— В этом вещмешке наверняка есть что-нибудь такое, — громко продолжал старик, — что ни к чему вам, солдатам.

Салаи и на это ничего не ответил. Голова его опустилась еще ниже, и его снова вырвало. Он с трудом встал и пошел к карабину.

— Не могу! — крикнул он. — Я больше не могу!

Бодра вскочил и удержал его, прежде чем он доковылял до оружия.

— Это от тепла, — проговорил Салаи. — Снова ужасные боли. Если бы ты знал, как это больно! — И он за-

плакал навзрыд, отчего опухоль заходила вправо-влево по его лицу. — Ты мне всю дорогу помогал и теперь не хочешь бросать. Не жить мне на свете. Застрели меня, дружище! Все лицо словно собаки рвут на части, а теперь боль до плеча дошла.

Старик сокрушенно покачал головой.

— Антонов огонь, — тихо вымолвил он, — так мы его называли в первую мировую. Все тело от него горит.

Бодра схватил Салаи в охапку:

— Чтобы я больше такого не слышал! — Он уложил Салаи на скамью, но тот не мог лежать и, вскочив на ноги, заметался по кухне, издавая такие стоны, что у парней мороз прошел по коже. Затем он выскочил из дома во двор, на холод. Там он быстро успокоился: как только лицо остыло, боль моментально прошла.

— Я здесь лягу, — сказал он Бодре.

— Можно, — согласился старик, — только не во дворе, а в сарае. Там на соломке неплохо будет.

Салаи постлали в сарае. Он лег. Его хорошенько укрыли соломой, оставив открытым только лицо. Он сразу же заснул. Затем солдаты наносили в кладовку сена и стали готовиться ко сну.

— Долго он не протянет, — сказал старик о Салаи.

Бодра набросился на него:

— Замолчи, черт бы тебя побрал! Неужели поблизости нет врача?

— Есть, — ответил старик. — И в Миклошде есть, и в Горозе, но привести его сюда будет нелегко.

— Я приведу, — решительно заявил Бодра.

Утром, когда все встали и привели себя в порядок, унтер-офицер вынул записную книжку и, вырвав из нее листок, нарисовал на нем карандашом круг, похожий на каравай хлеба.

— Допустим, это «каменная скамеечка королевны». Вот в этой точке находимся мы. Покажите, где Миклошд, а где Гороза.

Старик наклонился над плечом Бодры и дважды ткнул пальцем в листок, потом еще раз.

— Это вот Черхаза, — сказал он. — Там, правда, врача нет, но скажут, где его искать.

Яри протянул Бодре банку консервов. Заметив протестующий жест унтера, он проговорил:

— У нас еще есть. Вереш вам сейчас сам скажет... Мы с вами пойдем!

Вереш полночи проворочался на сене без сна. Ему

хотелось убить Бодру, он даже обдумывал, куда лучше всадить нож. Но после каждого нового придуманного варианта гнев его утихал и в голову приходили совсем другие мысли.

Странный человек этот Бодра: вместо того чтобы спасать собственную шкуру и разыскивать роту, он сначала идет за врачом. Для него это самое важное. И все это без их помощи. Бодра не может оставить товарища в беде. А их бросили в этой вонючей яме. Никто даже не удосужился крикнуть, когда все отступали: «Эй вы, скоты, чего ждете? Здесь никого уже нет!»

— Чего мне говорить, — буркнул Вереш, — когда ты уже все сказал?

Унтер-офицер пожал плечами:

— Как хотите.

Увидев, что Вереш снова распределяет фаустпатроны между солдатами, Бодра подумал: «Да он, никак, начисто тронулся! На кой черт ребятам тащить эти печные трубы? Если бы у него была пушка, он и ее приказал бы взять с собой». Однако промолчал — пусть делает что хочет. Ничего не сказал он и тогда, когда Вереш, сунув в сумку три магазина с патронами, взвалил себе на плечо тяжеленный пулемет.

Старик показал им тропинку. Было холодно, шел снег. В старом буковом лесу они не обнаружили следов войны, не услышали отзвуков боя. Только скрип снега под ногами нарушал первозданную тишину. Но минут через двадцать неожиданно началась адская канонада. По звуку можно было определить, что стреляли из орудий всех калибров. До огневых позиций было не менее пятнадцати километров, а рвались снаряды еще дальше, но воздух был настолько чист, а ветер свеж, что грохот доносился почти без искажений.

— Жаль! — вздохнул Маткович. — Такую тишину нарушили! Как же в горах красиво!

В половине десятого они добрались до «каменной скамеечки королевны». Вершина горы была голой. Скала, гладкая, словно ступенька перед алтарем, блестела на солнце.

— Здесь можно и помолиться, — заметил Яри.

Бодра в бинокль внимательно осмотрел окрестности. У самого подножия горы, на опушке букового леса, находились три небольшие деревеньки. В одной из них сновали солдаты. Это были венгры. Они грузили на крестьянские повозки оружие и боеприпасы.

— Скорее всего, это та самая рота, — сказал Бодра,— ни одного немца я не вижу. Это что за село? Миклошд? Ну, здесь нам должно повезти: меня ведь Миклошем зовут. Передохните немного, а потом спускаться станем.

Спускаться было труднее, чем подниматься: то и дело кто-нибудь падал. А Вереш один раз проехал на животе метров двадцать и даже выпустил из рук пулемет, который потом с трудом отыскали.

Яри тогда вволю посмеялся и долго не мог успокоиться.

— Не гогочи, а то по морде получишь! — разозлился Вереш.

— А что поделаешь, если смешно?

В одиннадцатом часу они дошли до окраины Миклошда, вернее, до садов. Лесная дорога влилась в улицу. Чуть дальше, метрах в ста пятидесяти от перекрестка, перед большим крестьянским домом расхаживал взад-вперед часовой.

Парни хотели было сразу выйти на улицу, но Бодра удержал их, сказав, что им пока лучше из-за деревьев не показываться. Он сам пойдет и разведает, что за часовой стоит перед домом.

— Эй, дружище! — крикнул Бодра часовому. — Где тут живет врач?

Часовой повернулся к нему и спросил:

— А ты кто такой?

— Унтер-офицер Бодра, от пограничников. Одного нашего товарища сильно ранило, мы не можем нести его по горам.

— А откуда ты идешь?

— Из-за собственной спины.

— Не шути, а то схлопочешь!

— Мне нужен врач, и притом срочно.

— Подожди.

Часовой вошел в дом и вернулся вместе с двумя полевыми жандармами. Те, ни о чем не спрашивая, вскинули автоматы, направив их на Бодру, и приказали:

— Руки вверх! Шагом — марш!

— Бегите! — крикнул Бодра парням. — Эти и вам ни за что не поверят!

Очередь, которую выпустил один из жандармов, поразила бы его в грудь, но унтер упал, и она лишь сбила несколько веток с бука.

Бодра выстрелил. Жандарм взмахнул руками, словно собираясь прыгнуть в воду, и рухнул на землю.

Часовой и второй жандарм вбежали в дом и оттуда открыли ураганный огонь. Да и не только они — стреляли не менее шести человек.

Бодра, давая короткие очереди, отполз назад. Он не решался вскочить на ноги и бежать, так как от леса его отделяло приличное расстояние. Вставив в автомат новый магазин, он ждал. У жандармов, видимо, патронов было много — они палили без остановки. Бодра не отвечал. Не выстрелил он даже тогда, когда из дома осторожно высунул голову жандарм и, выстрелив наугад, тут же спрятался. Затем снова высунулся, на этот раз уже смелее.

Бодра слышал, как он сказал своим товарищам: «Выходите, мы сейчас возьмем эту свинью». Можно было бы скосить его очередью, но другие из дома почему-то не выходили. Бодра не сразу заметил, что жандармы через сады добежали до опушки леса. Он понял, что, если их сейчас не остановить, преследование будет продолжаться до тех пор, пока его не схватят. А он рисковать не хотел, да и не мог.

Шесть человек, вооруженных автоматами, он один, естественно, не одолел бы. Неожиданно он дал очередь по группе деревьев, что росли в стороне от того места, где находились жандармы. Пули с треском срезали несколько веток. Увидев, что жандармы повернулись в ту сторону, где, шурша, падали на землю ветки, и даже открыли в том направлении стрельбу, Бодра с облегчением вздохнул. Унтер-офицеру было по опыту известно, как трудно подчас определить в лесном бою, где именно находится противник, когда пули сбивают с деревьев ветки и они падают на землю. Кажется, что в тебя стреляют со всех сторон.

Он тут же вскочил и изо всех сил побежал по тропинке, которая вела на вершину горы. Пот заливал глаза, легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Наконец он добрался до «каменной скамеечки королевны». Парни сидели съежившись возле каменной плиты.

Бодра бросил автомат на землю, расстегнул шинель, китель и даже ворот рубашки.

— Вот теперь они могут переловить нас как зайцев,— тяжело дыша, заметил он.

Парни переглянулись. У них, видимо, что-то произошло за это время, так как они казались растерянными и вели себя неспокойно, хоть ничего не говорили.

Жандармы внизу все еще стреляли.

— Не повезло нам, — проговорил Бодра, немного отдышавшись.

— Вернемся к старику? — спросил Яри.

— Нет, — ответил Бодра. — Я привезу доктора из Горозы, чего бы мне это ни стоило.

Маткович достал из кармана довольно грязный на вид сухарь без бумажной обертки. Разломив его, он протянул кусок Бодре.

— Спасибо,—поблагодарил унтер. Съев сухарь, он сунул в рот немного снега. — Сейчас ровно час, — произнес он. — Если вы идете со мной, то пора.

— Идем, — быстро ответил Йенци. — Только если вы нам снова скажете, чтобы мы убегали, то мы не подчинимся.

— Не будьте детьми! Такие дела не для вас.

Вереш, не сказав ни слова, взвалил пулемет на плечо. Начали спускаться вниз по южному склону горы. Со стороны Горозы ничего подозрительного слышно не было. Без четверти два они спустились в село и пошли по маленькой улочке, что вела в сторону церкви. На улице ни одной живой души. Поравнявшись с шестым или седьмым домом, Бодра увидел в огороде крестьянина, который доставал картошку из погреба.

— День добрый, — поздоровался с ним Бодра. — Скажи, дружище, где у вас тут живет врач?

Крестьянин смотрел на них такими глазами, будто впервые в жизни видел солдат.

— Эй! — крикнул Бодра. — Я ищу врача!

Крестьянин, все так же испуганно глядя на него, медленно поднял руки и приложил палец к губам, но было поздно — из дома уже выбежали два гитлеровца. Они энергично замахали Бодре и его спутникам, требуя, чтобы те подошли. Оружия у немцев не было, а один из них держал в руке ложку: видимо, они выскочили прямо из-за стола.

— Черт бы их побрал! — тихо сказал Бодра. — Как они сюда попали?

Тем временем из дома вышел еще один немец, а вслед за ним — еще двое. Все были в одних рубашках и дожевывали пищу.

— Я ищу доктора, — сказал Бодра. — Доктора!

Один из гитлеровцев направился обратно в дом.

«Добром эта встреча не кончится», — моментально сообразил Бодра и бросил ребятам:

— Бежим! — И сам первым помчался к лесу.

Когда до леса оставалось метров пятьдесят, гитлеровцы выскочили из дома с оружием и открыли огонь.

Бодра на бегу обернулся и дал по ним очередь, но ни в кого не попал, только выдал немцам свое местонахождение.

— Прижимайтесь к домам! — крикнул он парням. — Да поживее!

Сам он спрятался за столб и бил из автомата по немцам до тех пор, пока не кончились патроны. Тогда и он побежал вслед за ребятами в лес.

— Слава богу! — сказал Маткович, когда Бодра присоединился к ним.

— Рано радуешься! Эти бульдоги не отстанут от нас.

— Неужели пойдут за нами?

— Вполне возможно.

Пока добрались до «каменной скамеечки королевны», парни совсем выбились из сил.

— Третий раз сюда лезем, — тяжело дыша, заметил Яри. — Черт бы побрал эту скалу!

— Поесть надо, — предложил Маткович. — Половина третьего, а мы еще не обедали.

Ему никто не ответил. Ребята были в таком состоянии, что есть им не хотелось.

Через некоторое время Вереш осторожно поднялся на камень и долго всматривался в сторону Горозы.

— Кажется, не идут, — с облегчением произнес он.

Бодра тоже осмотрел местность в бинокль и ничего не увидел. Он сел на скалу и собирался закурить, как вдруг заметил на тропинке, ведущей к селу, двух человек, которые поднимались на гору. Он поднес к глазам бинокль и понял, что не ошибся: это были гитлеровские бульдоги. Внимательно осмотрел местность еще раз — по узкой просеке, метрах в трехстах от них, цепочкой поднимались пятеро гитлеровцев. Направо Бодре даже не захотелось смотреть: он был уверен, что там тоже немцы. И не ошибся: пятеро немцев карабкались к вершине с той стороны.

— Уходите! — коротко бросил парням Бодра.

Те встали и, выглянув из-за скалы, увидели немцев, которые подходили справа, слева и по центру.

— Убирайтесь к черту! Разве не понятно? Вас они не знают, знают только меня!

— Поздно уже, — произнес Маткович. Лицо его побледнело. — Пока мы доберемся до леса, они нас с двух сторон, как воробьев, перестреляют.

Ярн смотрел прямо перед собой.

— Какая же это жизнь, — устало сказал он, — если люди не могут помочь друг другу?

Гитлеровцы открыли огонь.

Бодра приказал парням залечь за скалой, а сам достал из своего вещмешка пять автоматных магазинов и четыре ручные гранаты — все, что у него было. Как только он все это израсходует — ему конец. А может, и не израсходует, если его раньше уложат.

Он взял себя в руки и подавил злость, которая готова была выплеснуться наружу. Злость мешала меткой стрельбе. Он прицелился в немцев, которые взбирались по просеке. Выстрелил — позади гитлеровцев ударили снежные фонтанчики. Выстрелил еще раз — снова перелет. И тут Бодру осенило, что клонившееся к горизонту солнце, которое светило прямо в глаза, как бы увеличивало расстояние: и немцы, и деревья — все вокруг казалось более далеким, чем на самом деле. Он долго целился немцам под ноги. Выпустил остаток патронов из магазина и увидел, как один гитлеровец начал медленно сползать вниз. Другой уронил автомат, но тут же подхватил его и продолжал стрелять, держа оружие одной рукой.

— Один готов, — проговорил Бодра.

— А всего их одиннадцать, — сказал Вереш, пересчитав гитлеровцев.

Немцы справа открыли огонь по скале. Пули щелкали о камень.

Бодра повернулся направо, но в этот момент начали стрелять немцы, карабкавшиеся слева. Унтер осторожно выглянул из-за камня. До гитлеровцев было немногим более ста метров — гранатой их не достанешь. Он заменил магазин и, сдвинувшись чуть вправо, дал короткую очередь, затем отполз влево и выпустил еще одну очередь. Снова сменил магазин.

Перемещаясь опять вправо, он подумал, что это совершенно напрасно, так как их в конце концов все равно убьют, но, несмотря на это, продолжал целиться в гитлеровцев и расстрелял еще один магазин. Отползая влево, он вдруг услышал у себя за спиной звонкую пулеметную очередь. Оглянувшись, увидел, что стрелял Вереш.

Он бил по группе, приближавшейся слева. Бил длинными очередями, пока не расстрелял весь диск. Ножки пулемета во время стрельбы нервно прыгали по «каменной скамеечке королевны».

— Трое готовы! — заорал вдруг Вереш.

Парни стреляли из карабинов.

— Я попал! — радостно воскликнул Маткович. — Посмотрите, я тоже попал!

Вереш снова открыл огонь. Бодра ничего не сказал ему, сосредоточив внимание на группе справа. Экономя боеприпасы, он вел одиночную стрельбу и вскоре вынудил залечь оставшихся четырех гитлеровцев.

Наступление застопорилось. Ребята постепенно освоились и стреляли теперь чаще. Вереш же, словно только сейчас поняв, что такое пулемет, строчил без остановки до тех пор, пока не приходилось менять диск.

— Ребята, кажется, они отступают, — сказал Бодра.

Гитлеровцы действительно прекратили преследование. Изредка постреливая, они медленно отходили назад, по направлению к лесу.

— Ну, получите еще одну порцию! — воскликнул Яри, выстрелив. Он вскочил и, не помня себя от радости, забегал по площадке: — Ну и показали же мы им! Мы победили... — И вдруг схватился за горло, посмотрел непонимающе на ребят и что-то сказал, однако слов не было слышно, только шевельнулись губы.

Он упал лицом в землю. К нему подбежал Маткович:

— Боже мой! Да у него дырка в черепе!

Вереш встал. Гитлеровцы уже не стреляли. Забрав убитых, они скрылись в лесу. Вереш наклонился над Яри, медленно перевернул его на спину. Спереди, пониже адамова яблока, текла кровь, но лицо было чистым.

— Нужно его похоронить, а? — спросил Вереш. По голосу чувствовалось, что он никак не может успокоиться.

— Нужно, — сказал Бодра. — Но только не здесь: в скале могилы не вырыть.

Вереш кивнул. Пулемет он отдал Матковичу.

— Хорошо, я понесу, — согласился тот.

— Один не сможешь, — сказал Бодра. — Дорога скользкая. Я тебе помогу.

Они и вдвоем-то еле дотащили пулемет до дома старика. Темнело, ветки кустов цеплялись за одежду, мешая идти. Все страшно устали. Вереш и Йенци несли мертвого Яри.

— Вот и врача не нашли, — заметил печально Вереш.

Старик-углежог бродил около дома. Увидев Бодру с солдатами, он бросил окурок и поспешил им навстречу.

— Убит? — спросил он, подойдя поближе к Яри.

— Да, — ответил Вереш.

— Плохо дело. А я не знаю, как вам сказать о вашем друге...

— Что с ним? — спросил Бодра.

— Застрелился... Опять начал кричать, что больше не может, а когда я к нему подошел, он уже застрелился.

Вечером ребята не могли есть.

— Кусок не лезет в горло, — проговорил Маткович.

И лишь когда дочь старика принесла молока и поставила на стол перед ними, они, не поднимая глаз, поели.

— Завтра мы их обоих похороним, — сказал Бодра.

— Завтра за вами придут из той роты, — сказал старик. — Здесь был их дозор, так примерно в полдень.

— В каком они селе?

— Не знаю. Где были, оттуда ушли: жандармы за ними гнались.

«Значит, мы все же встретимся с той ротой», — мелькнуло у Бодры в голове.

— А вы? — обратился он к Верешу. — Я вам не приказываю, сами решайте.

Вереш ответил, что выбора у них нет.

— Я убил человека, — продолжал он. — Это ужасно. Но я думаю, что поступил правильно.

Он ушел в кладовку и лег там на сено. Ребята последовали за ним.

Бодра так устал, что ему даже спать не хотелось. Он вышел во двор и немного походил по холоду. Над «каменной скамеечкой королевны» стояла тишина. Медленно взошла луна. Начало подмораживать, и деревья, росшие вокруг домика углежога, тихонечко потрескивали.

ДЬЕРДЬ ШОШ



ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Повесть

Закат солнца

Война еще продолжалась.

Вечернее солнце пряталось за гряду темно-лиловых облаков, затянувших край неба на западе. Время от времени оно показывалось в прогалинах между ними, посылая на землю свои последние линяло-желтые лучи, похожие на лучи гигантских прожекторов, и в их свете отчетливее виделась вереница легких, степенно плывших по небу барашковых облаков, похожих на белые бумажные тапки.

А внизу, на земле, на путях маленькой железнодорожной станции, пыхтел под парами паровозик, пуская к небу мелкие завитки белого дыма, которые словно приветствовали облака на небе.

Над эшелоном, стоявшим на станции, слышалось сонное жужжание. Часовые, выставленные у вагонов, от скуки футболили ногами камешки гравия, из открытых дверей вагонов доносился приглушенный говор солдат, еще не успевших уснуть. Одни пришивали к обмундированию оторванные пуговицы, другие каракулями писали письма родным, хотя ни один из писавших не имел ни малейшего представления о том, существует ли на свете такая почта, которая доставит их по адресам.

В самом конце эшелона, в точно таких же вагонах-теплушках, в которых ехали солдаты, на такой же тощей соломенной подстилке нетерпеливо переступали с ноги на ногу исхудавшие лошади.

В вагоне, отведенном под полевую кухню, повара готовились к раздаче ужина — делили хлеб и повидло.

Были в эшелоне и два пассажирских вагона, в одном

из которых разместились витязь[1] старший лейтенант Ковач, занимавший отдельное купе, и унтер-офицеры. В другом таком же вагоне ехал целый взвод полевых жандармов, которые делали вид, что все происходящее вокруг их нисколько не касается. Они чувствовали себя гостями, так как их вагон прицепили к эшелону всего двое суток назад на одной из станций.

Перед офицерским вагоном стоял унтер-офицер Кешерю[2] и смотрел, как седой солдат лет шестидесяти, которого он только что наказал, заставив двадцать раз выполнить команду «Ложись! Встать!», выполнял это приказание. Однако никто из окружающих не обращал на эту сцену никакого внимания — солдаты давно ко всему привыкли.

Старик солдат провинился тем, что пошел на станцию за водой, а это было запрещено. Ввиду того что эшелон мог отправиться в любую минуту, солдатам вообще не разрешалось выходить из вагонов.

Эшелон стоял на путях с семи часов утра. Дело шло уже к вечеру, но отправки все не было. За четверо суток пути эшелон преодолел всего двадцать километров, зато на каждой станции и каждом полустанке по нескольку часов ожидал приказа отправиться дальше.

С подножки облезлого, видавшего виды офицерского вагона третьего класса на землю лениво спрыгнул рядовой и как раз оказался возле унтера, командовавшего бедолаге-солдату: «Ложись! Встать!»

Небрежно встав по стойке «смирно», солдат сказал, обращаясь к унтеру:

— Я иду на станцию.

Унтер принадлежал к службистам, которые в перерывах между боями все свое внимание обращали на то, как солдаты стоят по стойке «смирно». И не дай бог, если солдат принимал эту стойку недостаточно четко.

— Что это такое «Я иду на станцию»?! — покраснев, заорал маленький унтер на солдата. Голос у него сорвался на фальцет. Вообще, унтер превосходно умел кричать, когда подавал команды или ругался, а вот спрашивать пронзительным голосом он никак не мог.

— Я сам скажу, куда вам надо идти!

---

[1] Звание, которое присваивалось членам реакционного «Ордена витязей» за особые заслуги перед правительством. — *Прим. ред.*

[2] Горький *(венг.)*

В открытых дверях вагонов появились головы любопытных. Все хорошо знали, куда унтер Кешерю пошлет рядового Андраша Чеке.

Андраш Чеке был денщиком господина старшего лейтенанта Ковача и единственный в роте мог принять вызов унтера Кешерю, не опасаясь никаких последствий. Более того, бывали случаи, когда Чеке брал верх над унтером.

Крепко сбитый, но низкорослый, с ранней паутинкой мелких морщинок вокруг серых глаз, Чеке внимательно уставился на унтера. У унтера от одного этого взгляда разливалась желчь. В такие моменты его охватывало чувство, будто солдат, вместо того чтобы трепетать от страха, смеется над ним или, что еще хуже, ломает голову над тем, как устроить унтеру какую-нибудь пакостную ловушку.

— Встаньте по стойке «смирно»! Поправьте как следует фуражку! И доложите как положено! Двадцать раз «Ложись! Встать!».

Солдат дослушал тираду унтера, однако не вытянулся, не поправил фуражку, не доложил как положено, а стоял и ждал, как стоит и ждет терпеливый врач окончания припадка у больного.

Когда унтер произнес «Двадцать раз «Ложись! Встать!», Чеке понял, что он выговорился. Да и вообще, все припадки злобы кончались у унтера Кешерю приказанием выполнить двадцать раз эту команду.

Чеке, не выполнив команды, спросил:

— Ну, так мне можно идти?

Унтер широко открыл рот, несколько раз судорожно глотнул, но не произнес ни слова.

— Господин старший лейтенант приказал мне идти, но если господин унтер-офицер прикажет остаться, то я никуда не пойду, а вернусь к господину старшему лейтенанту и доложу, что меня не пускают. По уставу я обязан доложить ему об этом.

Унтер почувствовал, что ступил на зыбкую почву, но сдавать свои позиции без боя не хотел.

— А зачем вам понадобилось идти на станцию? Только не пытайтесь обманывать меня, а то получите пятьдесят «Ложись! Встать!», да еще прикажу подвесить вас за руки и за ноги на два часа.

Солдат тем временем подошел к унтеру вплотную. Те, кто наблюдал за ними, думали, что сейчас Чеке ударит унтера. Унтер и сам боялся этого, кровь отлила от

его лица, он потянулся к кобуре пистолета. В такой ситуации, да еще на фронте, всякое бывает.

Но у Андраша Чеке и в мыслях плохого не было. Приблизив свой рот к уху унтера и метнув взгляд в сторону офицерского вагона, он тихо прошептал:

— Об этом нельзя говорить, господин унтер-офицер.

— О чем «об этом»?

— Покорнейше докладываю: о том, зачем меня послал господин старший лейтенант.

Унтер подозрительно заморгал:

— Так. Значит, нельзя говорить?!

— Нет.

— Хорошо, — прошипел Кешерю, — я сейчас сам спрошу об этом господина старшего лейтенанта. Но если окажется, что вы меня обманули, Чеке, тогда, клянусь, я с вас шкуру сдеру. — Выпалив это, унтер полез по ступенькам в вагон.

— Не спрашивайте его об этом, — спокойно посоветовал Андраш Чеке. — Вам самому, господин унтер-офицер, хуже будет. — И он загадочно замолчал.

— Мне хуже?! — Унтер от удивления чуть не сорвался с подножки вагона.

— У господина старшего лейтенанта геморрой, — доверительно шепнул ему денщик. — Я получил приказ нагреть на станции воды и принести ее в тазу, а он в него потом сядет задом. Но если вы, господин унтер-офицер, спросите его об этом, то он вам такой скандал закатит...

— Гм... — Унтер спустился с подножки на землю. — А что это за штука такая — геморрой? — все еще подозрительным тоном спросил он.

Андраш объяснил, хотя не очень подробно и не со знанием дела, но унтер понял или, по крайней мере, сделал вид, что понял, что это за штука.

— Врете вы все, — уже шепотом проговорил он, сверля хитрыми глазами денщика, так как был абсолютно уверен, что его надули, однако он не был настолько глуп, чтобы обратиться за разъяснением по этому вопросу к господину старшему лейтенанту: ведь если этот мерзавец Чеке действительно не врет, то может разразиться такой скандал, какой и представить трудно. — Идите ко всем чертям! — зло крикнул унтер, желая спасти свой авторитет.

Андраш Чеке небрежно щелкнул каблуками и пошел по направлению к станции.

Унтер задумчиво посмотрел ему вслед и, представив командира роты господина старшего лейтенанта Ковача, который врачует себя по методу, описанному денщиком, неожиданно громко захохотал. В этот момент он заметил старика солдата, которого несколько минут назад приговорил к двадцати «Ложись! Встать!» и который, естественно, перестал выполнять эту команду, как только унтер сцепился с Чеке.

— Выполнили все двадцать?! — заорал унтер на солдата.

— Покорнейше докладываю, выполнил.

— Врете вы! Ну, идите к чертовой матери! — заорал унтер во все горло, повернулся к старику спиной и, покачав головой, снова захохотал и направился к вагону, в котором располагалась полевая кухня.

Андраш спокойно вошел в здание станции. Шел он не оглядываясь, зная, что солдаты смотрят ему вслед и поощрительно кивают, а его авторитет в их глазах по сравнению с авторитетом унтера Кешерю вырос по крайней мере вдвое.

Перед небольшим, выкрашенным желтой краской зданием стояли два столба, на которых красовалась табличка с названием станции: «Дьенкфалва». На столбах висели четырехугольные керосиновые фонари, прикрытые сверху поржавевшими козырьками. В одном фонаре были выбиты все четыре стекла, в другом — два.

Бросив взгляд на фонари, Андраш прошел в зал ожидания, который, разумеется, был пуст. Вся обстановка зала состояла из скамеек на железных остовах, которые одиноко притулились возле окон. Деревянные планки со скамеек, видимо, оторвали на топливо повара станционной корчмы, и теперь железные остовы с многочисленными болтами и гайками представляли собой довольно убогое зрелище.

Рядом с окошечком билетной кассы была дверь в соседнее помещение — кабинет начальника станции, о чем извещала эмалированная табличка с тремя отбитыми буквами: «НАЧАЛЬ... СТАНЦИИ». Но всем и без того было понятно, кто находится за этими дверями.

Дверь кабинета была распахнута настежь — может, для того, чтобы никто не позарился на изуродованные скамейки, а может, просто двери не запирались.

В комнате, где размещались телеграф, телефон, устройство перевода стрелок, сидели двое мужчин: стрелочник и Меньхорт Лампар, дежурный по эшелону, стояв-

шему на путях. Стрелочник, как лицо официальное, которому необходимо постоянно находиться на месте, сидел прислонившись к стене на стуле с тремя ножками; четвертая ножка, по-видимому, стала невольной жертвой разграбления станции. Дежурный по эшелону устроился на двух ящиках с повидлом, которые он обменял на куриные яйца сразу после завтрака, договорившись со стрелочником, что, как только поступит приказ об отправлении эшелона, он встанет и уйдет, «забыв» ящики в кабинете.

Андраш вошел в кабинет и, хотя никто из находившихся там людей вовсе не собирался вставать, чтобы приветствовать его, сделал небрежный жест рукой, который можно было истолковать только как разрешение сидеть.

— Ну, господин начальник станции, — обратился Андраш к железнодорожнику, — будет сегодня что-нибудь или нет?

Железнодорожник не стал протестовать против того, что его произвели в начальники станции. Настоящий начальник еще две недели назад погрузил всю мебель и прочий домашний скарб в вагон и укатил в Вену, забрав самый лучший паровоз. Обязанности бежавшего начальника станции временно исполнял офицер-железнодорожник, но и он три дня назад, заслышав канонаду русской артиллерии, бежал за границу. С ним уехал и местный нотариус.

С тех пор бессменным и единственным дежурным по станции был стрелочник. Изредка в кабинет заходили люди — то гитлеровский солдат, то эсэсовец, то офицер полевой жандармерии, то венгерский солдат, и со всеми стрелочник разговаривал одинаково. Кто бы ни входил к нему, он первым здоровался с вошедшим. Если вошедший понимал его — хорошо, если не понимал — это нисколько не беспокоило стрелочника. Если с ним здоровались в ответ — хорошо, не здоровались — он нисколько не огорчался.

На вопрос Андраша стрелочник недоуменно пожал плечами и ткнул рукой в сторону военного, сидевшего у телефона, словно говоря: мол, на вопросы военных пусть отвечают представители военных властей, раз уж они без дела целый день околачиваются в кабинете.

Меньхорт Лампар сначала почесал в затылке, а затем лениво ответил:

— Вполне возможно, что все вокруг вымерло, а воз-

можно, война уже кончилась, только нам об этом никто ничего не говорит. С самого утра на станцию не прибыло ни одного поезда, телефонного звонка и то ни одного не раздалось. Телеграфный аппарат тоже не издал ни звука.

Андраш сдвинул фуражку на самый затылок и задумался. По его виду было ясно, что спешить с выводами он не собирается.

— Тогда, выходит, мы здесь и заночевать можем, — высказал он свое мнение после долгого раздумья.

Дежуривший у телефона военный, видимо, не понял хода его мысли и сказал:

— А нам разве не все равно? Где мы только не ночевали за последнее время!

Андраш ничего не ответил Лампару. Он сдвинул фуражку еще дальше — это, видимо, означало, что мысли его заняты сейчас совершенно другим. На стене кабинета висела большая карта железных дорог Венгрии. Карта была старая — Венгрия на ней изображалась еще в прежних границах. Здесь были обозначены все населенные пункты, даже самые маленькие, если только там была железнодорожная станция, на которой хоть на одну минуту останавливались поезда.

Андраш стоял и внимательно изучал эту карту, которая была лишь частью общей карты, охватывавшей западные районы страны. Часть карты с восточными районами ввиду отсутствия оберточной бумаги, по-видимому, использовали именно для таких целей.

— Где мы сейчас находимся? — спросил Андраш.

Старик железнодорожник решил, что на этот вопрос должен ответить не кто-нибудь, а он. Не спеша подойдя к карте и с трудом разжав сведенные ревматизмом пальцы, он ткнул одним из них в верхний обрез карты, где чернилами было обведено слово «Дьенкфалва». Тоненькая линия железной дороги с точкой станции располагалась так близко от границы, что буква «Д» уже не уместилась на территории Венгрии и невольно шагнула на землю Австрии, вернее, на территорию Германской империи.

— Это вот граница, да? — спросил Андраш тоном человека, который прекрасно все знает, однако хочет просто проэкзаменовать стрелочника.

— На границе стоит домик обходчика, но если у нас кто-то лупит провинившуюся жену, а та кричит, то ее крики слышны в Австрии.

Сказав это, старик усмехнулся, и в глазах его на мгновение блеснули озорные огоньки, как в былые времена, когда он сам, еще здоровый мужчина, подобным образом наставлял на праведный путь собственную жену.

— Вы здешний, фатер?

Стрелочник задумался. После того как его назвали начальником станции, это свойское «фатер» прозвучало несколько необычно, и он не знал, обижаться ему или нет. Затем все-таки решил, что обижаться не следует, и ответил:

— Уже шестьдесят пятый годок как здесь.

— Женаты?

— Есть и жена, — кивнул старик.

— Это хорошо, — заверил Андраш. — У кого есть жена, у того в доме все есть: и чистая одежда, и парное молочко, а иногда и курочка на столе.—Слово «курочка» Андраш произнес особенно громко и с таким ударением, будто старик плохо слышал. — У вас в селе курочку можно достать?

Железнодорожник часто заморгал, но ничего не ответил.

— Мы заплатим, — ошарашил Андраш растерявшегося стрелочника. — Курочка нужна господину старшему лейтенанту, а ваша супруга смогла бы ее как следует приготовить. Господин старший лейтенант еще никогда ничего не брал не заплатив.

— У нас нет курочек, — затряс головой железнодорожник, но по его виду было ясно, что его интересует сумма, которую он мог бы получить за проданную курицу. — А если бы и были, — продолжал он, — то такими делами занимается жена.

— А если я договорюсь с вашей супругой? — не отставал Андраш. — Быть может, у вас для господина старшего лейтенанта найдется и немного палинки?

При упоминании о палинке старик энергично завертел головой. Вид у него был испуганный, но он все же ответил:

— У нас на днях много чего отобрали. — Голос у него стал слезливо-плачущим. — За что платили, за что давали какие-то бумажки, а за что и вообще ничего не платили. Спасибо и то не сказали, а забрали пшеничку, свинью, корову...

Однако Андраша не интересовали жалобы старика. Он еще несколько секунд постоял в кабинете и, небрежно бросив, что завтра, видимо, будет ветреная погода, так

как край неба сильно пламенеет, приложил указательный палец к виску, что можно было принять и за приветствие, и вышел из помещения. Из беседы с железнодорожником он хорошо понял, что о покупке курицы переговоры нужно вести с женой старика, а не с ним. И Андраш тут же решил, что нужно немедленно разыскать домик железнодорожника, который расположен, должно быть, где-то поблизости от станции.

«Если бы я спросил железнодорожника, где он живет, он наверняка не сказал бы, боясь, что я заберу у них курицу, и не желая получить нагоняй от жены. Такие мужчины, как этот железнодорожник, в молодости бьют своих жен, а состарившись, сами становятся трусливыми», — думал Андраш.

За три года службы в армии он привык разговаривать с самим собой. На собственном опыте он убедился, что у человека меньше всего неприятностей тогда, когда о тех или иных событиях он рассуждает про себя. Исполняя обязанности денщика командира роты, Андраш не имел ни времени, ни возможности бывать среди солдат и разговаривать с ними. Беседовать же с господином старшим лейтенантом Ковачем он не мог, хотя тот был неплохим человеком. За три года службы старший лейтенант наказывал Андраша не то четыре, не то пять раз, причем более или менее строго лишь дважды. А если не считать эти случаи, то можно сказать, что он прекрасно уживался с офицером. С унтер-офицером Кешерю Андрашу тоже не было никакого резона разговаривать.

Охотнее всего Андраш беседовал с лошадью господина Ковача, когда приводил ее в порядок. Старая худая кобыла по многим причинам разделяла мнение Андраша и о событиях, происходящих в мире, и о военной обстановке, и о питании, и даже о женщинах. Короче говоря, серьезных разногласий между ними не было. Кроме того, Андраш охотно разговаривал с сапогами господина старшего лейтенанта, когда чистил их до блеска, или же со своими грубыми поношенными ботинками. Беседовал он порой со своим кителем, с иглой, с нитками, с пуговицами, с котелком, с ножом — одним словом, он прекрасно делился впечатлениями с любой вещью, которая попадала ему в руки. Правда, это наложило на Андраша своеобразную печать: он стал скуп на слова.

«Вот тот большой дом, что напротив станции, наверняка принадлежит начальнику станции, а где-нибудь неподалеку от него должен жить и стрелочник, — раз-

мышлял Андраш. — Сейчас осмотрюсь получше. Если у человека за спиной богатый жизненный опыт, для него не составляет особого труда определить, где живет железнодорожник. Когда унтер-офицер Кешерю узнает, что мы с господином старшим лейтенантом едим курочку, его прямо-таки удар хватит. Ну и пусть, он этого заслуживает. Рано или поздно его все равно хватит удар, потому что он человек злой и завистливый».

Так рассуждал Андраш, направляясь к домам и время от времени оглядываясь, не видит ли его кто-нибудь из эшелона. Господин старший лейтенант не имел ни малейшего представления о желании денщика раздобыть для него курицу. В подобные секреты Андраш теперь своего повелителя заранее не посвящал: уже бывали случаи, когда господин офицер приглашал на обед офицеров роты, которые в два счета уничтожали с таким трудом добытую утку или гуся, а самому добытчику не оставалось ничего, кроме косточек.

С тех пор Андраш ввел правило, согласно которому в первую очередь ел сам, а уж затем кормил господина старшего лейтенанта, подавая ему только одну порцию, которую он, по мнению денщика, мог делить с кем угодно, если у него вдруг появилось бы такое желание.

Андраш проходил мимо какого-то складского помещения, когда со стороны путей раздались три коротких паровозных гудка.

— Ну, вот тебе и курочка! — недовольно пробормотал он и побежал к эшелону.

Сначала он подумал, что объявлена тревога. За все время их поездки самым неприятным событием была воздушная тревога, которой они страшно боялись и ждали каждую минуту. Боязнь эта усугублялась тем, что эшелон никто не защищал от нападения самолетов противника. Правда, на одной из открытых платформ была установлена зенитная пушка. Она стояла задрав ствол в небо, но была так стара, что не представляла никакой опасности для противника — стрелять из нее можно было только во время салюта.

К счастью, самолеты противника почему-то не избирали эшелон своей целью. За четверо суток над ними лишь один-единственный раз появились русские самолеты, но и они не причинили эшелону никакого вреда, только сбросили над ним целое облако пропагандистских листовок. О чем говорилось в этих листовках — Андраш не знал, так как в армии был издан приказ, запрещавший

читать листовки противника под страхом строгого наказания.

Андраш быстро пробежал через зал ожидания. В этот момент Меньхорт Лампар как раз бежал от эшелона, сообщив старшему лейтенанту Ковачу содержание только что полученной телеграммы.

— Получен приказ на отправку эшелона! Где тебя нелегкая носит? — на ходу крикнул он Андрашу и, не дожидаясь ответа, вбежал в кабинет начальника станции, чтобы доложить по телефону, что эшелон согласно полученному приказу сию минуту трогается.

Паровоз пыхтел все громче и громче. Часовые уселись на ступеньках охраняемых ими вагонов и безмятежно болтали ногами.

— По вагонам! Отправляемся! — заорал во всю глотку унтер-офицер Кешерю, хотя все давно сидели в вагонах на своих местах.

Андрашу удалось незаметно для унтер-офицера Кешерю проскользнуть в дверь офицерского вагона.

Паровоз еще раз свистнул и, тяжело отдуваясь, медленно тронулся. Стрелочник, возведенный волей случая в ранг начальника станции, с облегчением козырнул отходящему эшелону. В этот момент он был похож на владельца корчмы, которому без особых трудов удалось выпроводить из своего заведения последнего посетителя. Меньхорт Лампар снова выскочил из станционного здания и, подбежав к уже тронувшемуся эшелону, остановился, поджидая, пока до него докатится вагон, в котором он ехал, а когда это произошло, в несколько прыжков ловко вскочил в открытую дверь вагона.

Эшелон проехал всего-навсего сотню метров. Хвост его еще не выехал за стрелку, как состав остановился. Солдаты с любопытством выглядывали из открытых дверей вагонов, стараясь узнать, что же произошло. Из окон вагона, в котором ехали жандармы, нет-нет да и высовывались головы в касках, украшенных петушиными перьями. На землю осмелился спрыгнуть лишь унтер-офицер Кешерю, крича во всю свою луженую глотку:

— Всем оставаться на местах! Никому из вагонов не выходить! Кто сойдет на землю, строго накажу!

Однако желания спускаться на землю ни у кого не было.

Машинист паровоза, высунувшись по пояс из своего окошка, смотрел в сторону станции, где, стоя на платформе, неистово свистел стрелочник, делая над головой

круговые движения сигнальным фонарем, который вовсе не горел.

Спустя несколько секунд машинист, поняв знаки железнодорожника, кивнул и, выпустив немного пара, дал задний ход. Состав остановился почти на прежнем месте. Видавший виды паровозик почти торжественно отфыркивался, словно проделал кругосветное путешествие, прежде чем притащить состав обратно на эту же станцию. При этом эшелон остановился на путях так, что офицерский вагон оказался как раз напротив небольшого желтого здания, перед которым стрелка указывала весьма важное направление. На белой табличке было написано большими буквами по-венгерски: «Для мужчин», а чуть ниже какая-то добрая душа, руководствуясь союзническим долгом, написала по-немецки: «Für Herren». А еще ниже этих двух надписей была прибита совсем маленькая дощечка, на которой только по-венгерски значилось: «Ключ у начальника станции».

«Ого! Выходит, если кому приспичит, он должен мчаться к начальнику станции», — философствовал Андраш, сидя на подножке офицерского вагона и разглядывая надписи у желтого домика напротив.

Железнодорожник в свою очередь прохаживался перед офицерским вагоном, дожидаясь, когда из передней или задней двери сойдет на платформу какое-нибудь должностное лицо в чине офицера. Спустя несколько минут на землю спрыгнул сам господин старший лейтенант Ковач, на ходу застегивая крючки кителя.

Старик железнодорожник собирался поздороваться и обратиться с докладом к столь высокому для него чину, как это предусматривалось правилами. С этой целью он вскинул руку, в которой держал сигнальный фонарь, к козырьку форменной фуражки, а затем, чтобы привлечь к себе внимание офицера, несколько раз степенно кашлянул, но дальше этого пойти не осмелился.

— Что здесь творится, черт бы вас побрал! — заорал старший лейтенант на старика таким громким голосом, что при звуках его унтер-офицер Кешерю, который находился от Ковача через три вагона, как раз напротив дощечки с надписью «Дьенкфалва», сразу замолчал. — Вы, видимо, полагаете, что у подразделения венгерской армии нет другого дела, как торчать на вашей грязной станции?! Я вас сейчас же расстреляю!

Старик испуганно опустил руку с фонарем. И хотя рука его дрожала мелкой дрожью, он не очень-то испу-

гался. За последнее время ему на этой станции не раз приходилось выслушивать ругань офицеров, и не только в чипе старшего лейтенанта, но и капитана.

— Я получил приказ, — начал железнодорожник плаксивым голосом, — задержать эшелон на станции. Ничего поделать не могу: таков приказ.

— А по какой причине задержать?!

Железнодорожник беспомощно развел руками.

— Извольте пройти к телефону. Просят какого-то витязя старшего лейтенанта.

— Вероятно, витязя старшего лейтенанта Ковача?

— Вполне возможно...

— Больше ничего не сказали?! — заорал офицер.

— Как же не сказали, сказали, — снова плаксиво проговорил старик. — Сказали, что, если не задержу состав, меня расстреляют на месте. — И он опять развел руки в стороны, показывая этим, что ничего поделать не может.

Старший лейтенант поспешил в здание вокзала, где было так темно, что он никак не мог отыскать телефон. В конце концов железнодорожник сам вложил ему в руку трубку.

— Алло?!

Все, кто находился недалеко от станционного здания, старались заглянуть внутрь, чтобы узнать, что же их ждет и почему так неожиданно остановили эшелон. Однако старший лейтенант теперь уже не кричал. Он говорил так тихо, что было невозможно что-либо разобрать, а поскольку в здании царил полумрак, нельзя было разглядеть и выражения лица офицера, чтобы определить, приятный или неприятный приказ получил он по телефону, хотя, откровенно говоря, в столь смутное время никто не мог сказать, какой приказ хороший, а какой плохой.

Лишь один унтер-офицер Кешерю считал, что имеет право подойти поближе к дверям кабинета начальника станции. Решительным шагом он направился туда, но по дороге остановился.

В это время из дверей вагона, в котором ехали жандармы, сошел на землю жандармский капитан и быстрыми шагами направился в здание.

Унтер-офицер Кешерю подобострастно замер по стойке «смирно» и молодцевато отдал жандарму честь. Однако капитан, который был на полторы головы выше унтера, не снизошел до того, чтобы обратить на него

внимание. Унтер еще несколько секунд держал руку у козырька фуражки в тайной надежде, что капитан заметит его, а затем энергичным движением опустил руку, и она легла ровно на кант брюк. Все это унтер проделал с таким усердием, словно хотел продемонстрировать перед собственными солдатами, как согласно уставу нужно отдавать честь старшим, хотя уже идет пятый год войны.

— Кешерю! — крикнул старший лейтенант, выйдя из станционного здания.

— Слушаюсь! — заорал унтер. Он стоял так близко, что чуть не оглушил офицера.

— Начинайте выгрузку! Через полчаса построение перед вокзалом! Проследите, чтобы ценности не растащили!

— Господин старший лейтенант, — тихо, но требовательно обратился к Ковачу жандармский капитан, вежливо отдав честь, — прошу вас доложить обстановку.

Витязю Ковачу стало как-то не по себе: на голове у него не было фуражки, китель измят, лицо заросло щетиной, да и вообще выглядел он довольно плачевно, в то время как жандармский офицер — безукоризненно. За все время поездки, кроме обоюдного представления в первый день и ежедневного беглого «здравствуйте», Ковач и капитан совсем не общались.

— Приказано освободить эшелон, а пустые вагоны направить в Шопрон для эвакуации военных грузов. До утра мы останемся здесь, а утром получим новый приказ. Остальные подразделения нашего батальона находятся в настоящее время на территории Австрии. Если нам не выделят железнодорожный состав, придется двигаться в пешем строю. Однако может сложиться такая ситуация, что придется вступить в соприкосновение с противником. На этот случай я получил соответствующие указания.

— Благодарю вас, — кивнул капитан. — Исходя из сообщенного вами, я принял решение остаться здесь. Поскольку я являюсь старшим по званию, то беру на себя командование гарнизоном. Вы, господин старший лейтенант, несете ответственность за все военные действия. Прошу вас также держать связь с вышестоящим штабом. Обо всем случившемся немедленно докладывайте мне. Благодарю вас. У меня все. — И, не дожидаясь ответа старшего лейтенанта, капитан повернулся кругом и пошел прочь.

Паровозик свистнул и потащил эшелон на погрузочно-разгрузочную площадку. Между тем уже совсем стем-

нело. Все что-то кричали, кого-то разыскивали, спешно укладывали свои пожитки в вещмешки, выводили из вагонов лошадей, которые громко цокали подковами о каменные плиты платформы, с шумом скатывали с платформ повозки с боеприпасами. Спрессованные кипы сена и соломы сбрасывали прямо на землю. Все сновали взад-вперед, ругались, но весь этот шум и крики покрывал зычный и властный голос унтера Кешерю, который всегда появлялся в самом шумном месте. Он ругался на чем свет стоит, грозил солдатам то арестом, то расстрелом на месте.

Полевые жандармы выгрузились за каких-нибудь десять минут и построились перед пустым вагоном. Лошадь была только у жандармского капитана. Это был великолепный, откормленный жеребец. Капитан тихо отдал какой-то приказ, и жандармы разошлись. Вид у них был такой, будто их нисколько не волновало происходящее. Медленной, степенной походкой они принялись расхаживать по обе стороны эшелона на некотором расстоянии друг от друга, но так, чтобы не мешать выгрузке. Солдаты слишком хорошо знали предназначение полевой жандармерии. Хорошо усвоили они и то, что им ни в коем случае нельзя выходить за зону ограждения.

— Ну, милая старушка, — обратился Андраш к лошади старшего лейтенанта, — эти, — ткнул он рукой в сторону жандармов, — сожрут сегодня предназначенную для нас курочку.

Оживилась не только железнодорожная станция, но и все село. Неизвестно как, но слух о том, что солдаты остаются на ночлег, с быстротой молнии распространился по селу. Всюду запирались ворота или калитки, а все, что могло заинтересовать солдат, жители уносили в кладовые, прятали в потайных местах, в подвалах или глубоких ямах. Разумеется, они знали, что это довольно ненадежно, но все-таки старались спасти от разграбления то немногое, что у них оставалось.

— Господин старший лейтенант... — Рядом с Ковачем остановился подъехавший на лошади жандармский капитан.

Ковач в душе выругал себя за то, что не догадался сесть на свою лошадку.

— Господин старший лейтенант, я приказал моим людям охранять место разгрузки района. Двоих я послал в село для установления контактов с местными властями. Полагаю, вам тоже надлежит связаться с ними.

Случилось так, что спустя полчаса после разгрузки эшелона, когда состав убрали со станции, два жандарма привели к старшему лейтенанту Ковачу насмерть перепуганного старика, сильно хромавшего на одну ногу. Он-то и олицетворял собой местные власти.

— Кто вы такой?

— Я, видите ли, начальник противовоздушной обороны.

— Кто?!

Старик скомкал в руках засаленную серую шляпу, а затем ткнул кулаком в повязку, на которой было написано: «ПВО».

— Я, с вашего позволения, начальник ПВО в этой деревне.

— Судья или нотариус?!

— Все сбежали, видите ли... — начал старик и тут же прикусил язык, засмущавшись еще больше, поскольку решил, что выразился слишком резко. — Вернее, не сбежали, а просто эвакуировались. Люди мы простые и потому привыкли говорить «сбежали», потому что... — Окончательно запутавшись, старик замолчал и еще сильнее затеребил шляпу. В замешательстве он даже наступил себе на хромую ногу, отчего на мгновение показалось, что он вот-вот упадет.

— Словом, все сбежали? — Ковач втянул нижнюю губу, а затем, выпустив ее, втянул верхнюю. Затем сплюнул на землю.

У Ковача были усики а-ля Гитлер, только немного побольше, и, когда он закусывал верхнюю губу, ему самому всегда казалось, что он откусил и кусок кожи вместе со щетиной. Если он закусывал губу, это свидетельствовало, что он над чем-то мучительно задумался.

Установление контакта с местными властями закончилось в зале ожидания, где рядом со старшим лейтенантом стоял Андраш, держа в руках огарок свечи, чтобы офицеру было видно старика. Двое жандармов, которые привели старика, ушли, а капитан в зал ожидания не пошел — то ли потому, что его эти переговоры нисколько не интересовали, то ли потому, что не мог въехать в зал ожидания на лошади, а слезать с нее не хотел.

После небольшого раздумья старший лейтенант Ковач решил, что он, как подобает венгерскому витязю, будет вести переговоры вежливо:

— Видите ли, дорогой... Как вас зовут?.. Видите ли, господин начальник ПВО...

При этих словах старик снова принялся терзать то, что вряд ли можно было назвать шляпой. Он испуганно озирался, словно искал запасный выход.

— Как вас зовут? — еще раз спросил старший лейтенант, уже несколько раздраженно, частично оттого, что его начал злить этот человек, частично оттого, что ему показалось, будто старик не только хром, но и глуховат.

— Мозеш Шенталь, с вашего позволения.

— Как вы сказали?!

— Мозеш Шенталь, — чуть слышно повторил старик.

— Так, значит, вы еврей?! — закричал старший лейтенант, да так громко, что пламя свечи, которую держал Андраш, заметалось и чуть не погасло.

— Что вы, что вы! Я честный католик, с вашего позволения, — забормотал старик, перекрестившись. — Все мои предки были католиками, все Шентали без исключения. Это давным-давно проверено, у меня даже справка на этот счет имеется. Подписали ее господин судья и господин нотариус. Это и господин патер может удостоверить, только его в прошлом месяце призвали в армию полковым священником. У меня и из области есть бумага. Ой, боже ты мой, какой же я еврей! — запричитал старик.

Ковач, сдвинув брови, внимательно изучал старика. Он даже взял из рук Андраша огарок свечи, чтобы лучше рассмотреть Шенталя. Два раза он втягивал то верхнюю, то нижнюю губу, но тут же выпускал их.

— Чем вы занимались до того, как стали начальником ПВО? — спросил офицер строго.

Старик потер лоб:

— Я звонарь, с вашего позволения, звонарь в католическом соборе. Меня потому и назначили начальником ПВО, что я умею звонить в колокола. Как сообщат по телефону о воздушной тревоге, стрелочник бежит ко мне хоть ночью, а я встаю и иду звонить в колокола. А как объявят отбой, я снова звоню в колокола. Занятие, должен вам признаться, очень плохое, ведь только мне одному приходится вставать по ночам. Остальных это не касается: есть воздушная тревога или нет ее — им наплевать. Здесь все равно никуда не спрячешься, если бомбить начнут. Правда, до сего дня нас не бомбили. Только утром один снаряд срезал телеграфный столб. Вот и все наши потери на сегодняшний день. Да еще люди, кото-

рых из села забрали в солдаты. Ну и доктор Ковач: он был евреем. Единственный еврей во всем селе. Пришли за ним двое жандармов и куда-то увели.

— Словом, вы звонарь католического собора? Я потом проверю, какой вы звонарь! А знаете ли вы, что с вами будет, если вы окажетесь евреем?

— Как не знать, очень даже знаю.

— Так слушайте меня внимательно, Шенталь. Есть у вас школа или какое другое большое помещение, в котором можно расположить на ночь роту солдат?

— Школа? Школа есть, — быстро ответил старик. — Там и пол соломой застлан. Только сегодня утром из нее уехали артиллеристы. Они пушкой еще вывернули из земли столб....

— А электричество у вас есть? — перебил Ковач старика.

Звонарь испуганно уставился на офицера:

— Электричества у нас нет. — Он перенес тяжесть тела на здоровую ногу.

— Значит, электричества у вас нет?!

— Чего нет, того нет.

— Как же это так, Шенталь? — заорал на беднягу Ковач, словно тот был главой какого-то крупного заговора. — Столбы есть, а света нет, а?

— Нет и нет. Уже целую неделю как нет. Мы ведь электричество получаем не из Шопрона, а откуда-то из Сомбатхея. Сам я точно не знаю, но мне так объясняли. А под Сомбатхеем уже русские... — Старик испуганно замахал шляпой и продолжал: — Может, это и неправда, сейчас много разных слухов ходит, но говорят, там уже... — Звонарь проглотил конец фразы, да и у старшего лейтенанта, к счастью, не было времени выслушивать его.

Вдруг дверь зала ожидания с шумом распахнулась и на пороге, щелкнув каблуками, появился унтер-офицер Кешерю. Громовым голосом он доложил офицеру, что рота благополучно закончила выгрузку, все имущество сложено, не пропало ни единой соломинки, а солдаты стоят в строю и ждут дальнейших приказаний.

Андраш погасил свечку, чтобы пламя ее, которое было видно в раскрытую настежь дверь, не послужило ориентиром для самолетов противника.

В темноте было слышно, как офицер грыз усики.

— Отправляйте роту в село и смотрите, чтобы все было в полном порядке.

— Слушаюсь! — заорал Кешерю, полагая, что, если в темноте тебя не видно, так пусть хоть будет слышно.

А стоявший рядом звонарь католического собора Мовеш Шепталь на какое-то мгновение решил, что унтер-офицер Кешерю является глашатаем последнего приговора.

Сумерки

Уже совсем стемнело, когда хромой начальник ПВО привел роту к школе, в которой нашлось место и солдатам, и лошадям, и снаряжению, и боеприпасам, и ценностям.

— А мы где будем спать? — поинтересовался Андраш у старшего лейтенанта.

— Сходи осмотри дом по соседству.

— Слушаюсь!

Взяв лошадь господина старшего лейтенанта по кличке Аннуш под уздцы, денщик вышел на улицу и направился к соседнему со школой дому. Отворил калитку, благо она была не заперта.

— Открыто, — сообщил Андраш Аннуш. — Да и стоит ли запирать такие ветхие ворота: они и без того вот-вот развалятся.

Лошадь вместо ответа низко опустила голову. Человек и лошадь осторожно вошли во двор. Подковы Аннуш цокали по большим неровным каменным плитам, которыми была выложена часть двора. Денщик тоже громко топал грубыми солдатскими ботинками. Андраш вслушивался в тишину, Аннуш прислушивалась к Андрашу.

— Добрый вечер! — громко поздоровался он, обращаясь к темноте. Голос у него был кроткий, незлобивый, но это произнесенное кротким голосом «добрый вечер» прокатилось по всему двору.

Он сделал несколько шагов.

— Добрый вечер! — поздоровался Андраш еще раз, но несколько тише, чем раньше.

Во дворе школы стоял шум и гвалт, и, хотя расстояние до школы было небольшим, а дом, во двор которого он вошел, огорожен невысоким дощатым забором, звуки со двора школы доносились как бы издалека, словно между дворами проходила крепостная стена.

— Странно, не так ли? — обратился Андраш к лошади. — Никто нам не отвечает, но я уверен, что тут кто-

то есть. Убежден даже. Вот что интересно: если раньше мы испытывали страх, когда чувствовали, что кто-то наблюдает за нами из темноты, то теперь мы с тобой никакого страха не испытываем. Помню, в детстве мы не однажды сидели вечером в такой же темноте, не зажигая огня. Ложиться спать было еще рано, но лампу не зажигали: керосин экономили. И мы сидели в темноте и разговаривали. — Андраш положил голову на шею лошади: — Вот и эта темнота такая спокойная, мирная... Добрый вечер! — Андраш немного повысил голос. Ему было приятно слышать, как он звучит во дворе, огороженном забором.

Лошадь тряхнула головой, однако совсем не так, как она это делала при появлении какой-нибудь опасности, а так, словно ощутила приближение друга.

Андраш чувствовал, что где-то совсем рядом должна быть дверь и что на ее пороге кто-то стоит.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил он тихо и дружелюбно.

— Кого вам надобно?

Голос был женский, сдержанный, чуть-чуть с надрывом и такой тихий, будто женщина просто выдохнула из себя эти слова.

«Интересно, — подумал Андраш, — в этом селе у всех жителей какие-то испуганные голоса: и у железнодорожника, и у звонаря, и вот у этой женщины, которую я не вижу в кромешной тьме».

— Добрый вечер, тетя! — поздоровался Андраш еще раз, произнеся эти слова совсем тихо. — Ничего, что назвал вас тетей? В этой тьме я и собственного носа не вижу. Знаете, я разную темень видывал, но такую вижу впервые.

— Что вам надобно? — повторила женщина свой вопрос, но на сей раз чуть-чуть смелее.

— Мы ищем ночлег — для лошади, для меня и для господина старшего лейтенанта. Знаете, мы получили приказ заночевать здесь. Рота наша расположилась по соседству с вами, и нам нужно быть рядом: если что случится, чтобы мы были тут как тут.

— Мы на ночлег пускать не привыкли, — кротко сказала женщина.

— Дело не в привычке, — невольно улыбнулся Андраш, — такой уж мне приказ дали, а против приказа не пойдешь. Есть у вас что-нибудь вроде конюшни или хлева, куда можно поставить лошадь?

Словно понимая, о чем идет речь, лошадь несколько раз переступила ногами, ударив подковами по каменным плитам, — раздалось четыре удара. Казалось, Аннуш хотела удостовериться в том, что все ее подковы целы.

— Хлев у нас есть. Сегодня утром из него угнали нашу корову. — Из горла женщины вырвался тяжелый, но сдержанный вздох, словно она боялась расплакаться, а может, у нее уже и не было слез, чтобы плакать. — И я подумала, уж не привели ли ее обратно... Может, думаю, отдадут...

Андраш на мгновение замолчал, потом заключил со знанием дела:

— Если угнали, то ждать обратно не стоит... Так где у вас тут хлев?

— А вон там, за домом. Осторожно только: там спуск.

— Я, тетя, осторожно.

— Я пойду вперед, покажу, — предложила женщина.

От дома отделилось темное пятно и поплыло впереди Андраша. На ногах у женщины были шлепанцы на жесткой подошве, которые громко стучали по камням. Андраш ориентировался на этот звук, так как женщина шла быстро и через три-четыре шага совсем растворилась в темноте.

Двор действительно оказался сильно покатым. «Если бы не стук шлепанцев, — невольно подумал Андраш, — не раз бы выругался, пока дошел до хлева». И в тот же миг он споткнулся о какой-то камень, вслед за ним споткнулась и лошадь. Андраш выругался про себя.

— Вот он, хлев-то.

Женщина остановилась. Скрипнула дверь, которую она отворила.

Андраш вел лошадь под уздцы, пригнув ей голову чуть ли не к самой земле. Войдя в хлев, он нащупал поперечный деревянный брус и кольцо на нем.

— Ну, Аннуш, вот твоя спальня, — проговорил он, привязывая лошадь. — А какого-нибудь фонаря у вас нет?

— Фонарь-то есть, да керосина нет.

Сначала Андраш хотел осветить хлев спичкой, чтобы посмотреть, где что лежит, но потом решил, что Аннуш и сама прекрасно найдет что-нибудь пожевать, так уж пусть лучше будет темно. Он на ощупь добрался до двери.

— Я буду спать возле лошади, а вот господину старшему лейтенанту нужна хоть какая, но кровать.

— Есть у нас диван в чистой комнате, правда, не ахти какой. Господа офицеры всегда останавливаются в господских домах: у господина судьи, например, или у нотариуса... — попробовала намекнуть ему женщина.

— Господин старший лейтенант очень благородный человек, но он переспит хоть где. Война и для него война, хотя он и благородный.

— Ну что ж... нужно, значит...

— Нужно, — договорил Андраш, и в голосе его прозвучали нотки решительности.

Они поднялись к дому. Вдоль его стены земля была устлана каменными плитами, которые местами образовывали подобие ступенек. Для жильцов дома, знавших каждый камень во дворе, пройти по ним в темноте не представляло никакого труда, а чужой человек шел спотыкаясь на каждом шагу.

— Привели обратно? — раздался старческий голос, когда женщина ввела Андраша в помещение. Было похоже, что это кухня.

«В этом селе одни старики, и все чего-то боятся», — подумал Андраш, услыхав этот голос, в котором тоже чувствовался страх.

— Нет, не привели, — испуганно ответила женщина, словно стыдясь, что никто не привел обратно ее корову.

— Добрый вечер, — поздоровался Андраш, обращаясь в темноту, в том направлении, где, по его расчетам, должен был лежать старик.

«Лишний раз поздороваться с хозяевами дома никогда не повредит», — подумал Андраш.

Вместо ответа послышалось короткое и неопределенное бормотание.

— Солдат с лошадью, — продолжала между тем женщина. — Позже придет господин старший лейтенант. Ему нужно постелить на диване. Нужно... — добавила она тихо, словно боясь, что старик может не согласиться пустить их на постой. — Нужно — так и сказали. Вернее, приказали.

Старик снова пробормотал что-то невнятное.

Андраш порылся в карманах и вытащил оттуда огарок свечи, которой он освещал Мозеша Шенталя в зале ожидания. Нашел и спички.

— Окна чем-нибудь занавешены? Могу я зажечь свечку?

— Закрыты светомаскировочной бумагой, — ответила женщина.

Андраш чиркнул спичкой. Зыбкий огонек осветил кухоньку, нарисовав на стенах огромные тени. Напротив Андраша, у стены, сидела на стуле девушка со светлыми волосами. Большие карие глаза не мигая смотрели на пламя. Девушка подалась вперед, руки ее покоились на коленях. На ней была старенькая ситцевая юбка синего цвета и некогда пестрая, а теперь вылинявшая от частой стирки блузка. Длинные волосы девушки, перехваченные светлой ленточкой, рассыпались по плечам.

Андраш от удивления раскрыл рот. Он поднял руку со спичкой повыше и даже невольно наклонился, словно увидел чудо, которое моментально исчезнет, стоит ему хоть чуть-чуть пошевелиться.

— Кто ты? — спросил он тихо, почти не услышав собственного голоса, и лишь колеблющееся пламя спички выдало его. Да и сам Андраш не знал, произнес он эти два слова вслух или про себя, как это обычно делал в одиночестве.

Однако девушка услышала его. Она чуть повернула голову и ответила:

— Юлика. — При этом глаза ее от удивления стали еще больше — очевидно, она не могла понять вопросительного взгляда солдата.

— Юлика? — переспросил Андраш с таким восторгом, будто это было еще большее чудо, чем сама девушка.

«Голос у нее, как у моей матери, — мелькнула у Андраша мысль, — только чуть позвонче и не дрожит».

Обгорелый конец спички согнулся и, прежде чем погаснуть, ярко вспыхнул. И Андрашу показалось, что девушка улыбнулась.

Он зажег вторую спичку, но, когда она загорелась, девушка уже не улыбалась и была серьезна, как прежде. Андраш, не отводя глаз от нее, зажег от спички огарок свечи.

— Вот там у нас чистая комната, — показала на дверь женщина.

Из кухни вправо и влево вели двери. Андраш этому нисколько не удивился: именно таким он и представлял себе этот дом. Держа огарок в руке, он сделал несколько шагов по направлению к женщине, а сам все же оглянулся.

Комната была маленькой, чистой. Диван стоял у длинной стены. Над диваном висела свадебная фотография.

— Мой муж, — тихо сказала женщина, перехватив

взгляд Андраша. О себе она и словом не обмолвилась, словно ее не было на фотографии.

— Красивый мужчина, — произнес Андраш, считая, что именно это следует сказать.

— Был красивый...

В комнате наступила тишина. При свете свечи Андраш украдкой смотрел на женщину, которая не сводила глаз с фотографии. Из-под платка, надвинутого на покрытое морщинами лицо, на фотографию смотрели точно такие же, как у Юлики, глаза.

Расспрашивать Андраш не решился, хотел сказать что-нибудь в утешение, но, не придумав ничего лучшего, лишь произнес:

— Господин старший лейтенант очень благородный человек, он вам не помешает. Придет, ляжет, поспит, встанет — и был таков.

Женщина кивнула и сказала:

— Я принесу чистое белье.

— Одеяло у господина старшего лейтенанта свое, ведь одеяло выдают даже солдатам. Ему нужна подушка, ну еще простыни, и больше ничего.

Оба вернулись в кухню. Андраш боялся, что за то время, пока он был в комнате, девушка куда-нибудь уйдет. Но, к счастью, она сидела на прежнем месте, похожая на изваяние из какой-нибудь сказки, словно ждала храброго принца, который должен освободить ее.

— Тогда я пойду: нужно доложить господину старшему лейтенанту, что здесь все улажено. Все есть: и конюшня, и диван, и подушка...

— Свечку вы оставите? — спросила девушка.

— Конечно, — приветливо улыбнулся Андраш.

— Нам оставите?

— Тебе. — Андраш, не поворачиваясь, пошел к двери, нащупал ручку.

— Задвижка на другой стороне, — проговорила девушка и, подойдя к Андрашу, отодвинула задвижку и хитро засмеялась.

От этой маленькой любезности Андраш засмущался. Его охватило смятение, подобное тому, какое он испытал попав в Воронежский котел, но там он по крайней мере знал, что ему нужно бежать, а сейчас ему хотелось уйти из этого дома и одновременно остаться в нем.

В школьном дворе, под навесом, при тусклом свете слегка привернутой керосиновой лампы повара делили повидло.

Разыскивая господина старшего лейтенанта, Андраш обошел стороной солдат, ожидавших ужина. Вдруг в глаза ему ударил луч карманного фонарика. Сначала Андраш не мог понять, кто это.

— Вы почему ржете?! — раздался грубый голос унтер-офицера Кешерю.

— Покорнейше докладываю, я не ржу, — принимая несколько расслабленную стойку «смирно», отрапортовал Андраш, справедливо считая, что остаток улыбки, которая еще не успела сойти с его лица, не имеет никакого отношения к унтеру Кешерю. — Докладываю, я разыскиваю господина старшего лейтенанта.

— Как это не ржете? Я, по-вашему, вру, да?

Андраш зажмурился от сильного света фонарика и постарался согнать с лица улыбку, но она, родившись еще в доме при разговоре с Юликой, не исчезала.

— Покорнейше докладываю...

— Вы мне ничего не докладывайте! Если я говорю, что вы ржете, значит, вы ржете, ясно?

— Так точно! — Андраш все еще надеялся, что на этом и закончится разнос, но он ошибался.

— Словом, что вы сейчас делали?!

— Покорнейше докладываю, я ржал.

— Ну вот видите! — Унтер от удовольствия даже немного подался вперед.

Андраш молчал. Улыбки на его лице как не бывало. Он не знал, чего от него хочет Кешерю, но интуитивно чувствовал, что унтер замышляет очередную подлость.

— Я вам приказываю еще раз заржать! Вы что, не понимаете по-венгерски?

— Понимаю.

— Тогда почему же не ржете?! — бросил унтер, разыгрывая удивление.

— Покорнейше докладываю...

— Вы мне не докладывайте, а выполняйте! — заорал унтер таким голосом, что у повара, резавшего ножом густое повидло, дрогнул в руке нож, а солдаты — и те, что уже ужинали, и те, что только собирались ужинать, — все до одного повернули головы и уставились на них.

— Сейчас я не могу ржать, — твердым голосом заявил Андраш.

— Что такое?! Ты отказываешься выполнить приказ?! — неожиданно перешел на «ты» унтер. — Да знаешь ли ты, что за это полагается?!

— Покорнейше докладываю, я не отказываюсь, но...
— Тогда выполняйте!
Поняв, что другого выхода нет, Андраш растянул губы, словно собирался откусить непомерно большой кусок лепешки.
— Я приказал ржать, а не ухмыляться!
— Ха-ха-ха, — произнес Андраш, не меняя положения губ.
— Громче! Я ничего не слышу! — надрывался Кешерю.
— Ха-ха-ха! — заорал Андраш во всю глотку.
— Ну то-то же! Люблю веселых солдат! — И вдруг унтер понял, что во дворе стало тихо-тихо. — Это еще что такое? — повернулся он кругом. — Вы тоже хотите поржать? Можно! Прошу! Начали!
Но никто не нарушил тишины.
— Ну, что это такое?! Я приказал всем ржать! Разве вы не слышали приказа? Оглохли, что ли?!
Какое там не слышали! Солдаты прекрасно слышали крики обезумевшего унтера, но молчали.
Кешерю распалился еще больше и скомандовал:
— Рота, смирно!
Солдаты встали, загремев котелками.
— Рота, всем ржать! — заорал Кешерю, упоенный тем, что выдумал новую команду, которой не было ни в одном уставе.
Однако все молчали, и отнюдь не потому, что противились приказу унтера, а потому, что, несмотря на дикие крики Кешерю, все еще не верили собственным ушам.
— Рота, всем ржать! — И унтер быстрым шагом начал обходить солдат. — Ржать! — заорал он солдату, который стоял к нему ближе всех.
— Ха-ха-ха, — простонал солдат.
— Всем ржать!
Спачала захохотали несколько человек, потом еще, а затем и остальные. Но разбушевавшемуся унтеру этого было мало.
— Не слышу!
— Ха-ха-ха! — орали солдаты все громче и громче.
— Еще громче!
— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — орала уже вся рота.
— Вот видите, получается! — обрадованно крикнул унтер. — Солдат всегда должен быть веселым, понятно?
— Так точно!

— Продолжать! — крикнул унтер несколько тише и стал уплетать свой ужин.

«Чтоб ты сдох! — подумал Андраш и сам удивился столь смелой мысли, пришедшей ему на ум. Раньше такие мысли никогда у него не появлялись, независимо от того, как кричал на него унтер, как оскорбительно изволил шутить. Каждый унтер такой, за это их в армии и держат. — Чтоб ты сдох!» — подумал Андраш еще раз.

Взвод жандармов, возглавляемый капитаном, расположился в доме сельского нотариуса, который бежал за границу. Сюда привел жандармов насмерть перепуганный начальник ПВО. В доме осталось даже кое-что из мебели. Устроившись на ночлег, жандармский капитан пригласил старшего лейтенанта Ковача пожаловать к нему на ужин.

В доме нотариуса Андраш и разыскал своего господина в то время, как вся компания с завидным аппетитом уплетала колбасы, найденные жандармами в кладовке нотариуса, запивая их добрым вином, которое нашлось в погребе сбежавшего хозяина.

— Сервус, господин старший лейтенант! — ехидно улыбнулся капитан, подняв стакан с вином.

Улыбка жандарма была настолько издевательской, что начисто перечеркивала любезное приглашение поужинать вместе, больше того, жандарм вел себя так нагло, будто Ковач не был офицером.

Жандармский капитан Вайда ненавидел лютой ненавистью всякого, кто не служил в полевой жандармерии или не числился павшим смертью героя.

— Сервус, господин старший лейтенант! — повторил он еще раз, полагая, что, произнеся эти слова в первый раз, не вложил в них нужной доли презрения. У жандарма были густые, черные, блестящие волосы, на которых отчетливо виднелась круговая вмятина от жандармской каски.

— Сервус, господин капитан! — не вставая с места, щелкнул каблуками витязь Ковач.

Андраш, вытянувшись по всем правилам, застыл на пороге, ожидая, когда его заметят. Когда же его заметили, он по-уставному попросил у господина капитана разрешения обратиться к господину старшему лейтенанту.

Ковач не без удовольствия выслушал, что место для ночлега найдено и что постельное белье у него будет совершенно чистым.

— Через полчаса я приду.

— Я подожду вас, господин старший лейтенант, на кухне, чтобы показать вам вашу комнату. Спать я буду на конюшне.

— Хорошо.

— Могу я забрать ваши вещи, господин старший лейтенант? Там они будут в большей сохранности, чем в школе.

— Хорошо, забери.

— Не знаю, стоит нам распаковываться или только достать все необходимое для умывания, — словно угадав мысли офицера, сказал Андраш.

Прежде чем ответить, старший лейтенант посмотрел на свой стакан с вином, потом перевел взгляд на жандармского капитана, однако его так и не осенило.

— Пока достань зубную щетку и мыло, а там видно будет, — сказал он после долгого раздумья, словно принимал решение на проведение важной стратегической операции.

— Слушаюсь! — Андраш подумал было повернуться кругом и уйти, но не сделал этого, а спросил: — Вы в пижаме изволите спать или в нижнем белье? Я когда укладывал ваши вещи, то специально положил пижаму сверху, чтобы было легко достать.

— Тогда и достань! — начал раздражаться офицер.

— Слушаюсь! — Андраш по-уставному попросил разрешения выйти из комнаты, но капитан остановил его:

— Как вас зовут, сынок?

— Покорнейше докладываю, господин капитан, я рядовой Андраш Чеке.

— С какого времени в армии?

— Покорнейше докладываю, почти четыре года.

— Четыре года? Хорошо, — одобрил капитан. — И сколько же раз вы за эти четыре года принимали участие в бою?

Андраш на какое-то мгновение встал вольно и растерянно уставился на старшего лейтенанта, лицо которого, однако, ничего не выражало, так как он еще не успел сообразить, к чему клонит жандармский капитан.

— Я все время служил при господине старшем лейтенанте, — ответил денщик уклончиво.

Жандарм ехидно улыбнулся и кивнул, давая тем самым понять, что другого ответа он, собственно, и не ожидал. Но ехидная улыбка жандармского капитана была адресована не рядовому Андрашу Чеке, а всему офицерскому корпусу.

— Господин капитан, — в замешательстве произнес старший лейтенант, — мы с ним, по сути дела, с самого первого дня фронтовики.

Капитан моргнул, показывая, что все понял, однако к Ковачу не повернулся, а продолжал с любопытством рассматривать денщика:

— Так в скольких же боях вы участвовали?

Андраш замешкался с ответом:

— Знаете, в открытом бою мы не были. С вашего позволения, мы все время в пути.

Капитан сделал громкий выдох.

— Сколько же у нас в армии красивых, бравых, смелых парней? — обратился капитан к Ковачу. — Если бы всех их да под мою команду! Мы бы с ними таких чудес наворотили, что весь мир замер бы от изумления. Это я тебе говорю: людской материал у нас еще имеется... Выпьешь вина? — неожиданно спросил жандарм Андраша и, не дожидаясь ответа, наполнил стакан: — Пей, сынок! Пей смело! Кто так верно служит старшему лейтенанту, тот вполне заслуживает этого!

Андраш не знал, как согласно уставу рядовому, стоящему перед офицером по стойке «смирно», следует выпить стакан вина, и тут же решил, что выпить лучше залпом, так как в этом случае никакая команда не помешает допить стакан до дна. И он выпил вино залпом.

— Браво! Браво! — похвалил капитан. — Хочешь еще стакан?

— Покорнейше докладываю, не хочу.

— Ну, хорошо, тогда можешь идти.

Андраш с достоинством поставил пустой стакан на край стола, снова встал по стойке «смирно» и по всем правилам попросил разрешения выйти из комнаты. Затем повернулся кругом, учитывая, конечно, что он в комнате, а не где-нибудь на улице, и пошел к двери. Дойдя до нее, он услышал голос капитана:

— Какой замечательный людской материал!

«Чтоб ты сдох!» — подумал Андраш про жандармского капитана, Уж такое у него в тот день было настроение. И хотя он никак не мог понять, какой смысл вкладывал капитан в слова «людской материал», но, услышав эти слова из его уст в первый раз, сразу подумал: «Чтоб ты сдох!»

— Правда, этот капитан совсем не такой человек, как унтер-офицер Кешерю. Если бы не петушиные перья на фуражке, его и за жандарма нельзя было бы принять.

Говорит он тихо, добрый такой, и вином меня попотчевал, — разговаривал сам с собой Андраш, возвращаясь в дом, который он облюбовал для ночлега. — И все-таки его нужно бояться. И почему это тебе говорят хорошие слова, называют бравым солдатом, а тебе хочется всадить нож в пузо этому человеку? Почему? Чтоб ты сдох! Не правда ли, Юлика?

Андраш на миг остановился, улыбнулся, а затем потихоньку начал напевать веселую солдатскую песенку и легким шагом пошел дальше.

Войдя во двор школы, он разыскал повара и попросил у него свою порцию повидла, которое после вина не очень-то лезло в горло. Тут Андраш невольно подумал о том, что капитан мог бы угостить его и колбасой, но почему-то не сделал этого.

Затем Андраш выклянчил у каптенармуса две свечи, забрал вещи старшего лейтенанта, прихватил свои и направился со двора, сказав вслух своему вещмешку:

— Пора и домой.

У ворот стоял часовой с карабином, к дулу которого был примкнут штык.

— Выходить запрещено! — преградил он дорогу.

— Что значит «запрещено»?!—запротестовал Андраш.

Все солдаты прекрасно знали, что Андраш служит денщиком у командира роты и поэтому ему разрешается ходить куда угодно даже в такое время, когда сам унтер Кешерю не имел на это права, не получив специального разрешения.

— Кому нельзя, а мне можно! — с раздражением бросил Андраш и направился с вещами к выходу.

— Приказано никого не выпускать, — не совсем уверенным тоном начал объяснять Андрашу часовой, который прекрасно знал денщика. Но ведь приказ есть приказ.

— А кто приказал? — грубо спросил Андраш.

— Господин унтер-офицер Кешерю.

— А мне приказал господин старший лейтенант! Мы ночуем с ним в соседнем доме. Если он зайдет сюда, скажи ему, что я забрал все его вещи и ушел. — И Андраш для большей убедительности, что не собирается торчать здесь, дернул лямку своего вещмешка.

— А не будет скандала, когда об этом узнает господин унтер-офицер Кешерю? — забеспокоился часовой.

— Пусть сдохнет твой унтер-офицер Кешерю! — неожиданно вырвалось у Андраша.

Как только эти слова были произнесены, испугались оба: и Андраш, и часовой. Они стояли так близко, что почти касались друг друга носами. Оба прекрасно знали, что каждый из них может попасть под расстрел и за меньшее — такие случаи в армии были уже не раз. Причем к стенке ставили и того, кто их произносил, и того, кто слышал, но не доложил командиру.

Сначала они посмотрели друг на друга, потом оглядели двор, чтобы удостовериться, не слышал ли их кто. Однако кругом было тихо.

— Хорошо, я скажу господину старшему лейтенанту, если он придет, что ты унес его вещи, — прошептал часовой, сделав вид, что ничего другого, тем более предосудительного, не слышал.

Едва Андраш с трудом протиснулся через узкую калитку и сделал три шага, как услышал чей-то окрик:

— Стой! Кто идет?!

Голос был не столько угрожающим, сколько любопытствующим, но Андраш не любил, когда его неожиданно окликали.

— Это я, — ответил он, тяжело вздохнув.

— Чеке?

— Да.

В темноте к Андрашу подошли два солдата, выделенные в дозор. Одного из них звали Пал Гуяш. Это был тот самый пожилой солдат, над которым сегодня утром издевался унтер Кешерю, заставляя ложиться на землю и тут же вскакивать. Другого звали Йошка Шюте. Он был примерно одного возраста с Андрашем и числился наводчиком автоматической пушки, когда она еще существовала в роте. Он же считался и первым запевалой. Оба дозорных узнали Андраша, да его трудно было не узнать: кто, кроме денщика, станет таскаться по ночам, когда другие солдаты давным-давно спят.

— Перебираешься на новое место? — добродушным тоном спросил старый Гуяш.

— Мы с господином старшим лейтенантом ночуем по соседству. Если что случится, мы рядом. Я и лошадка — на конюшне, господин Ковач — в комнате.

— Стоит ли из-за этого таскаться в такую темень?

— Вы же вот таскаетесь, — сказал Андраш.

— Мы в дозоре, — возразил Йошка. — Нам приказано охранять роту. Если русские неожиданно нападут на нас, мы с дядей Гуяшем примем удар на себя и задержим их. Смотрите! Смотрите вон туда, дядя Пали!

Все трое посмотрели в указанном направлении. На востоке, там, где небо сливалось с землей, в темноте отчетливо были видны вспышки артиллерийских разрывов, а спустя несколько секунд послышался и рев канонады, после чего земля под ногами задрожала.

— Далеко отсюда? — поинтересовался Андраш.

Старый солдат задумался на миг, словно вычисляя в уме расстояние.

— Километров двадцать—двадцать пять, не больше,— сказал он после паузы.

— Примерно столько будет, — согласился с ним второй солдат. — Но это еще цветочки, ягодки впереди! Пока они просто слегка пугают, но скоро они и до нас доберутся. Ты, случайно, не знаешь, — обратился он к Андрашу, — мы здесь окопаемся или нас дальше погонят?

— Пока никакого приказа нет. Ротный велел мне достать из саквояжа только мыло да зубную щетку с пижамой, а это бывает в том случае, когда господин старший лейтенант и сам не знает, что будет завтра утром. Ну, спокойной вам ночи!

— Спокойной! — ответил старый солдат. — Спасибо тебе за то, что появился перед унтером: пока он на тебя нападал, я выполнил только шесть раз команду «Ложись! Встать!», а не двадцать. Правда, с меня и этого достаточно. — И старик стыдливо засмеялся: — Эх, было времечко! В первую мировую я спокойно мог лечь и встать пятьдесят раз, и хоть бы что! Хорошее времечко: молодой я был тогда!

— А ты тут не шлындай, Андраш, взад-вперед, а то еще схлопочешь от кого-нибудь пулю, — серьезным тоном предупредил денщика Шюте.

— Не станете же вы по мне палить?

— Мы-то не станем, но тут жандармский патруль пастает. Мы смотрим, чтобы кто-нибудь из наших не вздумал удрать из роты, а жандармы в свою очередь смотрят за всеми. Уж мы-то знаем, дружище, нас так просто не проведешь. Ну, пошли, дядя Пали, пусть противник беспокоится, а не мы.

Старик тихонько усмехнулся странным разглагольствованиям Йошки. Оба еще раз пробормотали нечто похожее на «Спокойной ночи» и растворились в темноте.

Дальше на пути Андраша не было никаких препятствий. Если бы расстояние до дома было несколько большим, он наверняка поговорил бы с чемоданом или со своим солдатским вещмешком и о Йошке, и о дяде Пали,

а то и с самим господином старшим лейтенантом, так как, с его точки зрения, не было разницы между офицером и какой-нибудь вещью.

Вечер

Андраш пнул калитку ногой — руки у него были заняты, но сделал он это так осторожно, что шума не произвел. Затем, держась поближе к стене дома, добрался до двери кухни. Поставив вещи старшего лейтенанта на землю, он шаркнул ногами по каменной плите, словно очищая с ботинок грязь, несколько раз довольно громко кашлянул, чтобы не испугать хозяев и одновременно дать понять им, что он вернулся. В довершение ко всему он постучал в дверь. Если бы это увидел унтер Кешерю, то, разумеется, закатил бы Андрашу скандал, так как, по его твердому убеждению, солдат не кисейная барышня, сантименты ему ни к чему, и, если он хочет куда-то зайти, может сделать это без всяких там фокусов. Зато господин старший лейтенант не раз учил Андраша, что благородный человек, прежде чем войти, обязательно должен постучать. Значит, в данном случае Андраш вел себя в соответствии с указаниями старшего лейтенанта.

На стук никто не ответил. Может, хозяева не привыкли к этому, а может, просто не знали, что в таких случаях следует делать.

Андраш вошел. В кухне было темно и тихо.

— Это вы, солдат? — послышался голос Юлики.

— Это я, солдат, — весело ответил Андраш, узнав голос девушки, который казался ему самым приятным. — Свечка сгорела?

— Потушили, жалко попусту-то жечь, — объяснила старуха из другого угла кухни. — Сидеть да разговаривать и в темноте можно.

— Это верно, — согласился Андраш, — однако когда люди видят друг друга, тогда и разговаривать легче. — И он начал действовать, приговаривая: — Вот сейчас я залезу в карман, где у меня есть все, что нужно. Вытащу оттуда свечку, не какой-нибудь огарок, а целую свечку, которую еще никто не зажигал, и спички отыщу. Вот и нашел! А сейчас я вам покажу фокус-покус: была темнота — и нет темноты!

Кончик фитиля свечки горел долго, затем вспыхнуло большое пламя, и вдруг оно заплясало, словно факел, зажженный на торжестве.

Юлика засмеялась:

— Еще дом загорится!

— Не загорится! — засмеялся и Андраш. — Для меня огонь — самый верный друг. Мы друг друга никогда не обижали.

Разговаривая, Андраш вытащил из кармана маленькие ножницы и, словно желая засвидетельствовать свою дружбу с огнем, подрезал фитилек. Сделав это, он посмотрел по сторонам с гордым видом, словно фокусник, который только что на глазах честной публики проглотил пламя по крайней мере трех больших костров да еще коробок десять горящих спичек.

— Никакого фокуса тут нет, — пожимая плечами, заметила Юлика. — Я тоже так обрезаю фитиль у лампы.

Выражение гордости, появившееся было на лице Андраша, чуть-чуть потускнело.

— Никакого фокуса тут действительно нет, — согласился с девушкой Андраш. В этот момент он был похож на фокусника, у которого не удался трюк и голубь не превратился в кролика.

Забрав принесенные им вещи, он отнес их в чистую комнату. Дверь в кухню он не закрыл, и яркое пламя свечи немного освещало и эту комнату. Диван оказался застлан чистой простыней, а к высокому подлокотнику положена подушка в полосатой наволочке.

— Здесь нужно быть поосторожнее, — размышлял вслух Андраш, — а то господин старший лейтенант положит голову на подушку, а она у него и съедет.

На простыню он положил одеяло. Достал вторую свечку, ножом разрезал ее пополам и один кусок пристроил на стуле. Рядом положил мыло и зубную щетку старшего лейтенанта и бритвенный прибор. Хотя господин Ковач и не приказывал ему делать это, Андраш по опыту знал, что все должно быть у офицера под рукой.

Затем он достал пижаму и положил ее сначала на одеяло, но тут же передумал и, загнув край одеяла, прикрыл им пижаму, решив, что если хозяева случайно увидят пижаму, то будет неудобно, хотя толком не понимал, чего тут, собственно, стыдиться. Переделав все это, он на цыпочках вышел в кухню, словно господин старший лейтенант уже спал на чистой простыне и было страшно разбудить его, и закрыл за собой дверь.

— Хотите стакан молока?

Девушка стояла посреди кухни, держа в руках глиняную кружку, которую она любезно протянула солдату.

— Утром доила,—пояснила она чуть стыдливо, вспомнив, что вечером ей уже не пришлось доить корову. — Утром у нас еще была корова...

— Это как раз то, что мне сейчас нужно. — Андраш посмотрел на девушку и взял кружку так, чтобы не коснуться своими неуклюжими пальцами девичьей руки, а ему очень хотелось погладить эту руку хотя бы разок.

Он поднес кружку ко рту и вспомнил, что уже выпил стакан вина, а потом закусил повидлом. С удовольствием выпил молоко — оно оказалось очень вкусным.

— Спасибо, Юлика.

Девушка не шевелясь стояла перед ним, ожидая, когда солдат отдаст ей кружку, которую она взяла двумя руками медленным и красивым движением.

— Понравилось?

— Ты доила? — спросил Андраш вместо ответа.

— Я. Бимбо любила, когда я ее доила. Нашу корову звали Бимбо. Мне она всегда больше молока отдавала, чем другим, правда, мама?

— Поставь кружку-то на место, а то стоишь как неживая! — Голос у женщины был кроткий, и Юлика восприняла замечание матери не как осуждение, а как признание ее заслуг в том, что Бимбо охотнее давалась доиться дочери, чем ей. Но матери, как известно, не очень любят признавать такое.

— Бедняжка Бимбо! — вздохнула Юлика. — Солдаты, те, что ее угнали, даже не спросили, как ее зовут. Теперь они не знают ее клички. — Девушка налила в кружку из-под молока воды. — А вас как зовут? — неожиданно спросила она солдата.

— Андраш меня зовут. Андраш Чеке. Я и забыл сказать об этом в такой неразберихе. Рядовой Андраш Чеке, — повторил он, обращаясь на сей раз к старику и женщине.

— А мы Бодзаши, — отозвался старик.

Наступила тишина. Говорить больше вроде бы было не о чем. Андрашу вдруг показалось, что он стоит не в кухне, а на плацу огромной казармы, стоит один, кругом ни души, а он даже не знает, где находится штаб, не знает и того, куда ему идти, да и нужно ли вообще куда-то идти.

— Скоро... придет... господин старший лейтенант... — сбивчиво начал он. — Я должен подождать его. — Он повернулся кругом, и взгляд его встретился с сочувствующим взглядом девушки.

Юлика тем временем вымыла кружку и, поставив ее в шкаф на место, поднесла табурет к огню и вытерла сиденье тряпкой.

— Садитесь пока, — предложила она Андрашу.

— Спасибо, Юлика.

Андраш сел, но положение от этого нисколько не изменилось. Все молчали. Солдат хмурил брови. Он понимал, что, если бы его здесь не было, эти люди так же молча оплакивали свою корову. Если бы он был членом их семьи, они и тогда бы молчали, да и о чем говорить с человеком, которого прекрасно знаешь? Все, о чем следовало, они уже сказали друг другу днем. А вечером, после ужина, наступает пора молчания. Но сейчас молчание было мучительным для всех.

Андраш начал рыться в карманах:

— Если вы не обидитесь, дядюшка Бодзаш, я угощу вас сигаретой, а?

Старик замигал глазами и уставился на солдата, словно раздумывая, не смеется ли он над ним. Но стоило Андрашу протянуть ему пачку, как лицо старика сразу просветлело.

— А у меня как раз кончился самосад, — сказал он и с завидной для его возраста проворностью подскочил к солдату. Взяв сигарету, он прикурил от свечи и несколько раз глубоко затянулся. Сигареты оказались крепкими: старик крякнул, закашлялся, но вскоре успокоился.

— Крепка! — проговорил он, зажимая драгоценную сигарету между двумя пальцами. — А ты сам-то разве не закуришь?

— Я не люблю, — признался Андраш, — но с собой всегда ношу. На сигареты в такое время что хочешь можно выменять: и одежду, и продукты. А эту пачку я вам подарю.

Он снова полез в карман и, вытащив пачку, в которой оставалось всего три сигареты, отдал старику.

— Спасибо, сынок, большое тебе спасибо, — опять оживился тот, проявляя тем самым свою симпатию к Андрашу.

Пауза, наступившая после этого, уже не была такой томительной, да и продолжалась она совсем недолго.

— С фронта идете? — поинтересовался старик, предварительно сделав несколько глубоких затяжек.

— Оттуда, — выдал Андраш военную тайну. — Только фронт-то все время преследует нас.

— Долго еще это будет продолжаться?

Солдат на этот вопрос ответил не сразу, а чтобы лучше и удобнее было думать, прислонился спиной к печке и положил ногу на ногу.

— Долго ли еще это будет продолжаться? — повторил он вопрос хозяина дома и, немного потянув с ответом, сказал: — Этого никто точно не знает. Господин старший лейтенант Ковач говорит, что эта война будет продолжаться до самой победы.

— А когда это произойдет?

Вопрос и на сей раз оказался сложным, тем более что обе женщины внимательно слушали, что ответит солдат.

— Не знаю. Господин старший лейтенант как-то объяснял мне, что эта война такова: сначала мы дошли до них, теперь же они дошли до нас, а потом все переменится и мы опять дойдем до них. Но если для нашей победы над врагом нужно еще столько пройти, сколько мы уже прошли, то... — И Андраш сокрушенно покачал головой.

— Вы и в России были? — испуганным голосом спросила женщина.

— И там побывал. — Андраш сделал глубокий кивок: — Побывал, побывал.

— А правда, что там очень холодно?

— Холодно? — Андраш усмехнулся. — «Холодно» не то слово, особенно зимой. Да знаете ли вы, что зимой там такая стужа, что воздух и тот замерзает!

— Святой боже! — всплеснула руками хозяйка.

Юлика, опершись спиной о кухонный шкаф, застенчиво улыбнулась.

— Да еще как! — разошелся Андраш. — Замерзает воздух, и человек оттаивает своим дыханием как раз столько, сколько его нужно для легких. Хоть кого спросите! И вообще, там много разных чудес.

Хозяйка тоже поняла, что Андраш сильно преувеличивает. Она улыбнулась ему, но самую малость, и, хотя не верила в то, что в России замерзает даже воздух, однако поняла, что там зимой все же очень холодно.

— И давно вы из тех краев? — спросила она.

— Давно ли? — Андраш на миг задумался: — У меня лично такое ощущение, что мы все время отступаем...

— Однажды мы с папой были в Шопроне, — похвасталась Юлика, желая показать, что и она повидала коечто, — целый день ходили по городу.

— До России очень далеко... — Андраш начал говорить тише и немного нараспев — таким голосом взрослые

обычно рассказывают детишкам сказки. — Если иметь волшебные сапоги, то и тогда до нее не дойдешь ни за семь дней, ни за семь недель... — подсчитывал он в уме расстояние. — Да и за семь месяцев тоже...

— Вы там, наверное, со многими людьми встречались? — осторожно поинтересовалась женщина.

— Со многими.

— Ну вот видите, мама, — кротко заметила девушка, будто самой старшей в доме была она. Юлика уже поняла, куда клонит мать.

— Ну и что? В войну всякое бывает, — с достоинством защищалась женщина. — Моего мужа, Мартона Бодзаша-младшего, тоже погнали в Россию, — снова повернулась она к Андрашу. — А это мой свекор, — кивнула она в сторону старика, голову которого окутали густые клубы табачного дыма. — Вы, случайно, не встречали там моего муженька?

Сказав это, она уставилась на солдата таким печальным, умоляющим взглядом, что у Андраша в горле встал ком. Охотнее всего он сказал бы, что встречался с ее мужем, но вспомнил, как женщина, глядя на фотографию, произнесла: «Мой муж», и не решился соврать.

— Не знаю, тетя, — ответил он печально. — Человек на фронте со многими людьми встречается, но фамилий и имен, как правило, никогда не знает. Может, я и встречался, да не знаю, что это был он.

— Красивый такой мужчина с каштановыми волосами. Немного постарше выглядел, чем на свадебной фотографии, но все ж похож, — никак не успокаивалась женщина.

Андраш нахмурил брови и посмотрел на хозяев печальным взглядом, словно говоря, что от него тут ничего не зависит, что он со своей стороны сделал все, что от него требовалось.

Женщина поняла это. Она подошла к шкафу и вынула из него какие-то бумаги.

— Пятый год пошел, как его забрали. С тех пор никаких вестей, кроме вот этого... Да и это три года назад получили.

Бумаги трепетали у нее в руке. Она протянула их Андрашу. Глаза ее были сухи, голос не дрогнул, дрожали одни руки.

«Слезы она все давным-давно выплакала, — подумал про нее Андраш, — а теперь вот только руки выдают ее горе».

Ему достаточно было бросить беглый взгляд на бумаги, чтобы понять, что в них написано. Он молча кивнул, как бы говоря, что все понял.

— Прочтите, — попросила женщина.

— Что толку читать — столько уж раз читали, — тихо заметила Юлика. — Потом опять проплачете всю ночь напролет.

Но женщина упрямо стояла перед солдатом, будто еще не знала, что написано в бумаге.

Андраш начал медленно читать: «Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваш муж, Мартон Бодзаш-младший, 27 февраля сего года пропал без вести, попал в плен, **погиб смертью героя».**

Он опустил бумагу и беспомощно посмотрел на женщину:

— В извещении подчеркнуты слова «погиб смертью героя» — значит, так все и случилось. — Он бережно сложил извещение своими натруженными руками, вложил его в конверт и осторожно опустил на большую, изрезанную морщинами руку женщины.

— Спасибо вам, — вздохнула она и положила извещение на прежнее место, где оно будет лежать до прихода в дом нового человека, который прочитает его. — Только не верю я тому, — проговорила она задумчиво, — что там написано. «Погиб смертью героя»! Мой муж был тихий и простой человек, и потому я не верю, что из него герой мог получиться... — И она сокрушенно покачала головой.

Андраш понимающе улыбнулся.

— Этот бланк изготовлен был заранее и не для одного человека, — объяснил он и тут же представил обстановку на фронте, которая сложилась 27 февраля, когда погиб смертью храбрых Мартон Бодзаш-младший.

А представить это было нетрудно. День был снежный, сильный ветер пронизывал до костей. Русская артиллерия стреляла весь день: снаряды и мины рвались почти на каждом шагу. Удивительно, как в такой мясорубке уцелел тот, кто потом подчеркнул в извещении слова «Погиб смертью героя». Такое извещение могло прийти и его родным, ведь смерть прошла совсем рядом. Вот и сейчас у него такое ощущение, что прочел извещение о собственной смерти...

— Тот, кто там погиб, — начал он объяснять, — действительно был героем, а погибло тогда столько, что со счету легко сбиться. Писать о каждом погибшем отдельное извещение было просто невозможно. У того, кто

рассылал их, рука, поди, устала от подчеркиваний. Вот почему все погибшие превратились в героев независимо от того, замерз ли он, умер ли от голода, под машину ли попал во время отступления. Были, разумеется, и такие, кого догнала пуля. Много тихих людей полегло там, и все они, если верить этому бланку, превратились в героев.

Стало тихо-тихо, даже пламя свечи перестало колебаться. Первым нарушил тишину старик. Он так сильно затянулся сигаретой, что всем показалось, будто он держит огонь пальцами. Послюнявив пальцы, он потушил окурок, а затем осторожно положил его в старую жестяную банку.

— Скажи, сынок, ты до армии чем занимался?

— Учеником был у кузнеца, — сказал Андраш и замолчал, но тотчас понял, что должен как можно подробнее рассказать о своей жизни: пусть девушка знает о нем все-все. И он продолжал: — Учеником был у мастера Ходоши. Мать моя умерла, когда мне было всего восемь лет. После ее смерти меня и отдали в ученики. Кузнец был хороший человек, нельзя даже сказать, чтобы часто бил меня. Когда я подрос настолько, что смог поднимать молот, он взял меня к себе помощником. Четыре года назад меня забрали в армию. С тех пор вот и служу у господина старшего лейтенанта. Он обещал взять меня к себе, да и грош цена тому кучеру, который не может сам подковать лошадь. Дадут мне суконный костюм, сапоги. Будет у меня пара гнедых, лакированный шарабан. Садись и скачи куда хочешь! Когда я не буду нужен господину с госпожой, могу посадить к себе в шарабан кого угодно. — И он со значением бросил взгляд на Юлику.

У девушки дрогнули ресницы, но она ничего не сказала и даже не улыбнулась.

— Это хорошо, когда есть кого сажать рядом, — заметил старик.

— Пока еще у меня никого нет. В войну не заведешь: времени на это не хватает. Господин старший лейтенант не раз говорил, что любовными делами следует заниматься в мирное время.

Старый Бодзаш не пожелал вмешиваться в любовные вопросы и тактично перевел разговор на другую тему:

— А я на шахте работал. И сын мой там же работал. За лесом есть каменоломня. Здесь у нас крохотный кло-

чок земли... Но шахту прикрыли, а земля... Была никудышная коровенка, и ту увели.

— Не такая уж она никудышная, — выступила в защиту коровы Юлика.

Старик махнул рукой и встал:

— Раньше мы тесали камни для постройки домов, церквей. Куда ушло то время? Наготовим брусьев, а потом носим. — Старик пощупал карман — там ли сигареты, попрощался и вышел в другую комнату.

Андраш остался в кухне с двумя женщинами. Теперь он уже чувствовал себя как дома. Он разговаривал с женщинами так, будто сам был Мартоном Бодзашем-младшим, который только что вернулся с фронта и решил рассказать жене и дочери обо всем увиденном. Он говорил так, как до того говорил сам с собой, с лошадью, с ботинками, с сапожной щеткой. Казалось, он превратился в главу этой семьи, только женой его была не жена Бодзаша, а его дочка.

Обе женщины с большим вниманием слушали Андраша.

— Хвала господу, что он спас нас от большой беды! — проговорила женщина.

— Да-да, — поддакнул Андраш, но тут же недоуменно пожал плечами: — Иногда, правда, бывало и так, что господь забывал про нас. — Наморщив лоб, он задумался: — Когда мы еще наступали, нам твердили, что господь благословил нас и наше оружие, но, как только мы оказались в России, он отвернулся от нас. Началась такая битва, какой мир не знал, и господь бог не мог разобраться, какое оружие он благословлял, а какое — нет. Тут уж удивляться нечего, в этой толчее сам унтер-офицер не разберется! — Андраш тихо засмеялся.

Юлика несколько оживилась, а женщина, повернувшись к шкафу с посудой, зевнула, показывая тем самым, что пора спать.

— Ложитесь спокойно и спите, — сказал Андраш. — А я посижу здесь до прихода господина старшего лейтенанта. Может, он немного задержится, но вы не бойтесь нас: ничего плохого мы вам не сделаем. Где мы останавливаемся, там всегда все в порядке.

— Мы-то уж знаем, — заметила женщина, стараясь не обидеть солдата: ведь бог его знает, как он еще себя поведет.

Андраш чувствовал, что ему нужно укрепить доверие к себе, и сказал:

— Если нужно что-нибудь по дому, только скажите, я в два счета сделаю. Я мастер на все руки: умею и дрова рубить, и лошадей чистить, и стены белить, и крышу крыть, умею стирать, шить, обувь чинить, замки исправлять, готовить и то могу! Если нужно только... — Он замолчал на миг, но, упомянув о еде, уже не мог удержаться от искушения и продолжал: — Знаете, мы, когда попадали в село, покупали кое-что из продуктов, а уж потом я готовил обед. — И Андраш вопросительно посмотрел на женщин.

— У нас ничего нет. — В глазах женщины мелькнуло подозрение, она насторожилась, ожидая, что будет дальше. — Сегодня вечером поужинали жиденьким супчиком. — И она показала туда, где возле шкафа стояли пустые тарелки.

— В военное время суп всегда жидкий, — поспешно согласился с ней Андраш, стараясь поскорее разогнать ее опасения. — У нас в роте есть один пожилой человек, дядюшка Пали Гуяш, он в первую мировую воевал... Так он рассказывал, что и в ту войну супы были жидкими, не супы, а так, одна баланда. — Андраш слегка хихикнул и, заметив, что женщины не поддержали его, замолчал, но ненадолго. Остановить его было уже невозможно. — Я тут хотел было купить курицу, — начал он вести осторожную разведку, думая о завтрашнем обеде. — Господин старший лейтенант всегда за все щедро платит...

— Ничего у нас нет, — энергично затрясла головой тетушка Бодзаш, при этом выражение ее лица стало злым.

Андраш в душе выругал себя за идею купить здесь курицу. Он чувствовал, что этим испортил все дело.

Юлике стало жаль солдата.

— У нас всего-навсего две курицы: одна несушка, а другая наседка, сидит на яйцах, целых два десятка ей подложили. Пусть цыплят выведет, тогда ее и зарезать можно, подождите...

— Если бы мы могли ждать! — невольно вырвалось у Андраша.

— Ничего у нас нет, — еще раз решительно заявила хозяйка, но на этот раз голос ее звучал чуть тише, словно она сожалела, что у них ничего нет и она не может помочь солдату.

— Не стоит об этом беспокоиться, тетя: на нет и суда нет. Никакой беды не будет, если господин старший лейтенант лишний раз не съест лакомого кусочка... Однажды, мы тогда находились в России, — начал он рассказывать одну из многочисленных историй, чтобы хоть как-то оживить разговор и вернуть поколебавшееся доверие, — сварил я господину старшему лейтенанту куриную лапшу. Было это зимой. Едим мы, значит, эту самую лапшу, как вдруг господин старший лейтенант закатывает мне скандал: где, мол, у курицы ноги? Он тогда еще не знал, что там зимой птицы теряют ноги, как у нас, например, деревья листву. Отмерзают они, да и только, а к весне снова отрастают. Именно поэтому там лучше варить куриную лапшу весной, чем зимой. — И он снова заулыбался во весь рот.

Все засмеялись: то ли история понравилась, то ли просто настроение улучшилось.

В этот момент в калитку кто-то громко стукнул, затем она с жалобным скрипом отворилась, и во дворе послышались нетвердые шаги спотыкающегося человека. Через секунду донесся звук упавшего тела и громкая смачная ругань.

Андраш испуганно подскочил к двери и распахнул ее настежь:

— Прошу вас, господин старший лейтенант, сюда...

— Скотина, застрелю! Хочешь, чтобы свет заметили летчики противника?! Закрой дверь, свинья! — взорвался вдруг офицер. Он с трудом ввалился в дверь — форма на нем была вся перепачкана известкой.

Андраш быстро захлопнул за ним дверь.

— Запорю! Завтра же тебя подвесят, и будешь висеть целый день. Я тебя научу, как по ночам подавать знаки авиации противника!

— Я никому никаких знаков не подавал, покорнейше докладываю...

— Цыц! Раскровяню всю рожу, чтоб помнил!

Офицер был не особенно пьян, хотя выпил, видимо, много. Стоял он прямо и даже не шатался, а когда ругался, то язык у него почти не заплетался.

— Хочешь, чтобы я сломал себе шею? Подаешь сигналы противнику — да за это тебя повесить мало! Расстрелять, четвертовать тебя нужно! — орал офицер, все больше распаляясь.

Женщины испуганно прижались к стене. Старший лейтенант бросил мимолетный взгляд на Юлику:

— Ты, свинья, небось уже лазил к девке под юбку?

— Покорнейше докладываю, для вас приготовлена вот эта комната. — Андраш вытер пот со лба, в горле мгновенно пересохло.

Старший лейтенант повернулся в сторону двери, на которую ему показал Андраш, и ударом ноги распахнул ее:

— Да здесь ослепнуть можно от темноты!

Бросив смущенный взгляд на женщин, Андраш вошел в комнату вслед за офицером и зажег свечку.

Ковач плюхнулся на диван, продолжая ругаться почем зря. От него несло винным перегаром. Денщик стащил с него сапоги, и офицер мгновенно замолчал, будто причиной его злости были именно они. Энергичным движением он сбросил портянки.

Андраш застыл по стойке «смирно».

Несколько мгновений Ковач задумчиво смотрел прямо перед собой, в пустоту. Расстегнув ремень с кобурой, вынул из нее пистолет и положил его под подушку. Затем растянулся на диване и мгновенно уснул.

Андраш погасил свечку и, забрав сапоги офицера и собственный вещмешок, вышел из комнаты.

В кухне никого не было. На плите горела свеча. Андраш уселся на табурет и, достав все необходимое для чистки сапог, принялся за работу. Намазав ваксой высокие голенища, он машинально водил по ним сапожной щеткой.

— Если бы в доме не было этих бедолаг-хозяев, — с горькой усмешкой говорил Андраш, обращаясь к сапогам офицера, — видит бог, я распахнул бы дверь, а не то поставил бы зажженную свечку прямо на дворе. Пусть, господин старший лейтенант, на наши головы свалится бомба! Все орут, все меня ругают, так почему бы хоть раз и мне не поорать, а? И пусть, господин старший лейтенант, все услышат мой крик! — И денщик с такой силой сжал в руке щетку, что руку свела судорога.

Андраша нисколько не испугали угрозы старшего лейтенанта о расстреле и подвешивании, так как подобное он не раз слышал и раньше: такой уж был характер у старшего лейтенанта. Каждый раз, когда он напивался вечером, начинал ругаться, а иногда даже дрался или ни с того ни с сего палил в воздух. Таким образом из него выходил хмель. Если же он напивался не вечером, а днем, то только ругался на чем свет стоит, но без угроз и пальбы. Днем он угрожал Андрашу в том случае,

если денщика не оказывалось под рукой в тот момент, когда нужно было снимать сапоги или садиться в седло. В такие моменты офицер обвинял его «в попытке дезертировать» и наказывал. После того как Андраш отбывал наказание, Ковач объяснял, что мера эта была принята в интересах самого денщика, чтобы он не забывал о порядках, существующих в армии. Причем офицер говорил об этом отеческим или даже дружеским тоном, и Андраш не сердился на него. На фронте какой солдат не получает наказания.

Ночные попойки старшего лейтенанта не таили такой опасности. Все ограничивалось пустыми криками и угрозами, и только. И хотя подобные сцены повторялись чуть ли не ежедневно, если Андраша спрашивали об отношении к нему ротного, он утверждал, что господин старший лейтенант никогда не кричал на него.

Витязь Ковач был обязан Андрашу жизнью. Во время бегства из-под Воронежа господина старшего лейтенанта контузило. Андраш в тот момент бежал к окопу и видел, как ротный рухнул в снег. Шапка свалилась у него с головы, и светлые курчавые волосы рассыпались по лицу.

Андраш, не обращая внимания на усилившийся артиллерийский огонь, подскочил к офицеру, взвалил его себе на плечи и потащил в медпункт. Целых три часа, да еще под огнем противника, нес он офицера. В медпункте в тот момент царила страшная неразбериха, так как незадолго до этого был получен приказ об эвакуации. Ковача, который был тогда еще лейтенантом, даже не осматривая, бросили в сани, где валялось несколько умирающих офицеров. Унтер-офицер приказал Андрашу помочь тащить эти сани, в которые уже впряглись трое санитаров, поскольку лошадей под рукой не оказалось.

Они тащили сани с ранеными полдня, пока в одном полуразрушенном крестьянском доме случайно не наскочили на врача. Внимательно осмотрев молодого офицера, врач не нашел следов ранения. Сначала он решил, что офицер контужен, но вскоре ему стало ясно, что ротный командир просто отравился чрезмерной дозой спиртного, а именно рома.

Роту лейтенанта, находившуюся в первой траншее, за то время, пока он спал, почти полностью уничтожил противник, да и не только роту, но и большую часть полка. Поэтому никто офицером не заинтересовался.

Спустя месяц, когда хортистские войска отошли на несколько сот километров, лейтенант Ковач получил другую роту. Командуя ею, он иногда отступал по приказу, а когда рота попадала под сильный огонь противника, он отступал и без приказа, считая, что кто-нибудь из «безответственных» начальников просто забыл отдать ему этот приказ. Одно из таких отступлений командование расценило как «успешный маневр», присвоило Ковачу звание старшего лейтенанта и даже наградило его орденом, который Андраш время от времени драил мелом, разговаривая с ним, как с одушевленным существом.

Само собой разумеется, Андраша офицер оставил в своем распоряжении. Более того, он серьезно подумывал о том, чтобы после войны взять его к себе кучером. Витязь Ковач, безусловно, верил в окончательную победу над противником, был убежден, что после войны за заслуги получит в свое пользование крупный земельный участок в пятьсот хольдов и ему обязательно понадобится собственный кучер. Правда, иногда у него возникали сомнения, и тогда он напивался, а будучи пьяным, снова верил в то, что сидящее наверху начальство прекрасно знает, что делает, и рано или поздно бросит их в бой и доведет до самой Москвы, и чем позже это произойдет, тем в более высоком звании окажется он, Ковач. Однако очень скоро сомнения его стали нарастать. Ковач еще сильнее запил, но поскольку пил он регулярно, то по его поведению нельзя было определить, что он не трезв. Андраш, например, об этом узнавал только по тому, что офицер начинал вдруг ни с того ни с сего на него кричать. «Значит, пропустил стаканчик», — думал денщик. А если Ковач безобразно орал на него, то Андраш понимал, что не обошлось без целой бутылки.

— Интересно, что подумают о нас хозяева? — спросил Андраш, принимаясь за второй сапог, когда первый, начищенный до ослепительного блеска, был отставлен в сторону. — А ведь я говорил им, что мы люди благородные, порядочные. Что же они теперь о нас подумают? — с укоризной спросил он еще раз, нанося на сапог ваксу.

В этот момент дверь в кухню приоткрылась и в узкую щель проскользнула Юлика. Руки Андраша, чистившие сапог, так и замерли на полпути. Взгляд девушки остановился на закрытой двери, за которой находился офицер.

— Спит уже, — шепнул девушке Андраш, вмиг забыв о сапогах.

Девушка сделала несколько шагов к нему. В руках она держала подушку в пестрой наволочке, сшитой из отдельных кусочков материала. Вместо пера, как определил на взгляд солдат, подушка, видимо, была набита различными тряпками, но, несмотря на это, казалась достаточно мягкой.

— Это я вам принесла, — шепнула девушка. — Положите ее под голову.

— Спасибо, Юлика.

— Пожалуйста... Андраш. — Она впервые за весь вечер назвала его по имени.

Андраш опустил глаза, и щетка снова заходила по сапогу.

— Я так испугалась...

— Чего?

— Что он тебя ударит. Он так кричал, что я думала, он и бить будет. Мне казалось, как только он тебя ударит, я сразу же и умру, — произнесла она с такой простотой и непосредственностью, что не поверить в это было невозможно.

Андраш немного задумался, потом затряс головой и сказал:

— Бить он не бьет, только кричит.

— А зачем ему нужно так нехорошо кричать? — Девушка присела на корточки перед солдатом, но так прямо держала спину, будто сидела на удобном стуле. Чуть-чуть наклонив голову, она смотрела на Андраша.

— Ему и не нужно вовсе, а он кричит, — улыбнулся Андраш. — На войне офицеры, унтер-офицеры да и солдаты всегда кричат. Да так кричат, что и во время стрельбы слышно. У нас в роте есть унтер, так тот еще громче кричит. А господин старший лейтенант у нас витязь, может, поэтому... — Андраша так и подмывало погладить девушку по голове, но в одной руке у него была сапожная щетка, а другую он по локоть засунул в сапог.

— Вы тоже солдат, да?

— Да, и я.

— На войне все так кричат?

Андраш пожал плечами и ответил:

— Иногда и мне хочется покричать, но, видно, уж я кричать не умею.

— Это хорошо, — серьезно произнесла девушка. — А он вас завтра не повесит, не расстреляет?..

— Нет. Выспится — может, даже поблагодарит вас, если увидит.

— Не нужна мне его благодарность. Он про меня такое сказал...

— Этого слушать не нужно было.

— Как же не слушать, если говорят?

Андраш уставился взглядом прямо перед собой и тихо произнес:

— Можно и не слушать, только этому надо научиться. — Взяв в руки второй сапог, он поставил его рядом с первым так, что носки обоих находились на одном уровне. — Хочешь взглянуть на себя? Сапоги блестят как зеркало.

Девушка наклонилась и указательным пальцем дотронулась до блестящего носка сапога.

— Вы и я! Мы оба уместились на одном носке! — выдохнула она.

— Вот видишь! — Андраш встал с гордым видом, взял сапоги и на цыпочках отнес их в комнату, где спал офицер.

Когда он вернулся в кухню, Юлика сидела в прежней позе. Андраш, как будто так оно и должно быть, сел на свое место.

— Расскажите что-нибудь, — попросила Юлика.

— Я неважный рассказчик, — ответил Андраш. — Говорю очень мало. За три с половиной года, кажется, не сказал столько, сколько за сегодняшний вечер. Меня словно заколдовали, как это в сказках бывает. Пришел я в темноте, сказал: «Добрый вечер!» — и тут мне словно кто-то невидимый шепнул на ухо: «Тебе повезло... Ты поздоровался со мной — за это я дам тебе ночлег и покажу свое сокровище».

— Сокровище это я, да? — Большие темные глаза девушки чуть сузились.

— Это ты...

Андраш и теперь не погладил девушку по голове, хотя обе руки у него были свободны. Он и сам не знал, почему не смог этого сделать.

— А теперь ты, Юлика, расскажи что-нибудь, — ласково попросил он.

Девушка энергично затрясла головой:

— Я не умею.

— Еще как умеешь!

Юлика задумалась, брови ее сошлись на переносице, рот чуть-чуть приоткрылся. По всему чувствовалось, что ей очень хочется что-то рассказать.

— Наша Бимбо пестрая такая была, — сказала она серьезным тоном, внимательно наблюдая за тем, верит ей Андраш или нет. — Пока дедушка не запрягал ее в плуг, она даже по девять литров молока давала.

— Ого! — удивился Андраш, причем голос у него был таким, будто он впервые в жизни услышал о том, что коровы вообще дают молоко.

— Это точно, — заверила его девушка. — Она у нас очень умная была. В нашем лесу много больших полян. Там мы ее всегда и пасли. Однажды дедушка пас Бимбо и уснул. Бимбо подождала его, подождала, думала, наверное, что он скоро проснется, а потом взяла да и пошла одна домой. У нас в селе огороды с задней стороны без заборов — там она и прошла. Дедушка испуганный прибежал домой и говорит, что корова потерялась, а она в это время стоит себе перед хлевом. Хотите верьте, хотите нет, стоит себе да еще смеется по-своему.

Андраш закивал, давая понять, что верит каждому слову Юлики.

— А сегодня на рассвете ее забрали. В школе у нас солдаты стояли. Рано утром они так неожиданно начали собираться, что мы подумали, может, кончилась война. У одного офицера был автомобиль, а бензина ни капли. Тогда они забрали у сельчан четырех коров и впрягли их в автомобиль. Хоть скорость была мала, но там, в этом самом автомобиле, столько всякого барахла было наложено... Бедняжка Бимбо сначала мычала, а у меня сердце разрывалось от боли. Один унтер-офицер ударил ее палкой, и она пошла. А что ей оставалось делать? — Юлика встала.

Андраш с любовью смотрел на девушку.

— Вы не могли бы сделать так, чтобы нам вернули Бимбо?

Солдат рассмеялся и ответил:

— Почему не могу? Могу. Стоит мне только сказать: «Хип-хоп, верни Юлике корову» — и она тут как тут.

Девушка с удивлением уставилась на солдата:

— Вы шутите со мной.

Андраш встал.

— Нисколечко не шучу, — шепнул он ей игриво. —

Я — сказочный королевич. Загадывай три желания — исполню!

Девушка улыбнулась и покачала головой:

— Никакой вы не королевич.

— А почему бы и нет? Просто я заколдованный.

— Никакой вы не заколдованный, — уже с насмешкой запротестовала Юлика. — Вы — простой солдат.

— Вот меня и заколдовали в простого солдата, — произнес Андраш таким серьезным тоном, что от шутливости девушки не осталось и следа.

— А если вы королевич, тогда вот мое первое желание: пусть приведут обратно Бимбо. — И она бросила на солдата такой взгляд, что ему сразу же захотелось стать волшебником.

— А твое второе желание? — спросил Андраш.

Девушка снова улыбнулась, правда, чуть высокомерно, как улыбаются люди, которые никогда не теряют здравого смысла.

— Сначала нужно выполнить первое желание, — решительно заявила она.

— А что я получу, если выполню его? — Андраш незаметно вытер руки о штаны, так как не был уверен в том, что ему удастся устоять и не обнять девушку, а руки у него после чистки сапог были грязные. — Ну, так что же я получу?

Девушка смело посмотрела ему в глаза и без тени кокетства ответила:

— Нет у меня ничего, что бы я могла вам дать. Мы очень бедны. Да королевичу ничего и не нужно.

— А все же? — слегка дотронулся до руки девушки Андраш, и Юлика не отняла ее.

— Тогда я испеку вам в золе колобушки, — весело сказала Юлика. — Эту подушечку я сама шила, она не очень красивая, но мягкая. Пусть вам на ней приснится хороший сон. Спокойной ночи!

Не успел Андраш что-либо ответить, как девушка выскользнула из кухни. Рука Андраша на мгновение застыла в воздухе...

Он потушил свечу и, забрав вещмешок, вышел из дому. Войдя в хлев, он плотно закрыл за собой дверь, зажег спичку и посмотрел, занавешено ли окошко, и лишь после этого зажег свечку, которую принес с собой.

Хлев оказался довольно просторным, рассчитанным на двух коров. В одном углу стоял топчан с охапкой соломы, накрытой старым рваным одеялом. Андраш сра-

зу смекнул, что все это приготовила для него Юлика. Лошадь, пока находилась в хлеву, съела всю солому и остатки сена, приготовленного для Бимбо.

Андраш набрал в противоположном углу небольшую охапку соломы и бросил ее в ясли Аннуш. Лошадь сразу же сунула в нее свою морду, но, не найдя ничего вкусного, укоризненно посмотрела на денщика. Солома для лошади не еда, она только не позволяет забыть, как нужно пережевывать пищу.

— Я сам одним повидлом поужинал, — словно оправдываясь, произнес Андраш. В другое время он подробно объяснил бы лошади, как трудно сейчас достать корм, а к тюкам прессованного сена в такой обстановке не подойдешь. Обычно лошадь хоть и без особой радости, но с большим пониманием слушала подобные разглагольствования Андраша. Однако сейчас у него имелось более важное дело, и он не мог тратить время на разговоры с лошадью.

Он сел на топчан. Солома была хорошо взбита, чувствовалось, что Юлика постаралась. Он поставил ногу на неструганую доску топчана, обеими руками обхватил колено и положил на него подбородок. Сидел и слушал, как где-то невдалеке раздавался грохот артиллерийской канонады, от которой вздрагивало пламя свечи, как мерно пережевывала солому лошадь. Сидел и смотрел на свои солдатские ботинки.

Заплатка, которую он поставил на ботинок три дня назад, уже настолько загрязнилась, что почти не выделялась на фоне старой кожи. Чуть повыше заплатки виднелась царапина от проволоки, которая со временем становилась все тоньше и тоньше и теперь была еле заметна.

— Ну, старые башмаки, — обратился Андраш к ботинкам, — что вы мне скажете? Не правда ли, красивая девушка? Не очень высокая и не очень низкая. Как раз такая, какая мне нужна...

«Но что будет потом?» — подумал он уже про себя, трогая пальцем ботинок в том месте, где подошва начала расслаиваться.

— Много ли еще нам с вами бегать да отступать? — снова заговорил он вслух. — Хорошо бы посидеть на одном месте, но нельзя. Приказ есть приказ... А ведь такой девушки мы еще нигде не встречали, хотя и обошли чуть не полмира! Вот и подошва начала трескаться. Хоть бы новую достать. Вот поговорю с господином стар-

шим лейтенантом, когда у него будет хорошее настроение... Вы вполне заслужили, чтобы к вам подбили новые подметки. Если бы всю землю, по которой мы с вами прошли, сложить да отдать мне, был бы я самым богатым помещиком! А если бы весь снег, что мы с вами истоптали, сгрести в одну кучу, получилась бы такая гора, что с нее можно было бы съезжать на санках даже летом! А если бы всю воду, в которую мы с вами становились, слить воедино, то получилось бы такое озеро, что я оказался бы самым богатым рыбаком в мире. И подарить бы все это Юлике... А как было бы хорошо идти по ее следам, но нельзя. Завтра, наверное, снова получим приказ отступать. До сих пор всегда приходил такой приказ. В приказах недостатка не было...

Проговорив это, Андраш задумался, а его грубые солдатские ботинки, казалось, ждали, не скажет ли он еще чего-нибудь. Но на сегодня он, видно, уже исчерпал свое красноречие.

Андраш погасил свечку и, подложив под голову подушку Юлики, растянулся на топчане. Заснуть долго не мог. Ему хотелось побеседовать и с подушкой, но он не сказал ей ни одного слова, так как посчитал несколько странным, если вдруг ни с того ни с сего начнет разговаривать в темноте с обыкновенной подушкой в пестрой наволочке.

Утро

Проснулся Андраш от крика, который донесся с дальнего двора и принадлежал чудом уцелевшему в этой военной неразберихе петуху. Денщик вышел во двор. Над головой еще мерцали звезды, хотя небо на востоке уже окрасилось багрянцем. Через дырявый забор можно было видеть все, что происходило во дворе школы: там медленно двигались взад-вперед какие-то тени. Повара, которые, по обыкновению, вставали раньше всех, готовили так называемый кофе; коноводы, тихо переговариваясь, сновали вокруг лошадей. Утром брань звучит всегда несколько приглушенно, она крепчает с восходом солнца и набирает силу к вечеру.

По двору пробежал свежий утренний ветерок. Он скрипнул распахнутой Ковачем еще с вечера калиткой, скользнул по стертым плитам двора, шутя покрутился вокруг неподвижно стоявшего Андраша, освежающе ду-

нув ему в лицо, высек у него из глаз слезы, а затем, ускорив свой бег, с насмешливым свистом понесся в конец двора, где не было никакой изгороди, промчался через небольшое пустое поле и устремился к лесу, раскачивая голые ветки кустов и деревьев.

И вдруг Андрашу показалось, что каменные плиты, которыми были выложены дорожка и часть двора, зашевелились. Не поверив глазам, он протер их рукой. Слезы снова набежали на глаза, но он все же разглядел, что между плитами передвигается что-то белое.

Андраш хмыкнул и потряс головой. Присмотревшись, он понял, что это вовсе не движущиеся камни, а самые обыкновенные листовки, сброшенные, видимо, с самолета, хотя гула мотора Андраш не слышал. Такие случаи бывали и раньше. Андраш никогда не читал листовки, но сейчас, когда белый листочек подлетел прямо к его ногам, он нагнулся и поднял его.

— А ну-ка, бумажка, что в тебе написано? — обратился он к листовке. — Я ведь и писем никогда ни от кого не получал.

Он повертел листовку в руках. На одной ее стороне был напечатан текст, на другой — карта. Текст был на немецком языке, и Андраш сразу понял, что не сможет прочитать его.

— Значит, тебя занесло сюда из Австрии. Стоит нам еще немного отступить, и у нас под ногами уже будет не родная венгерская земля. — Сказав это, Андраш перевернул листовку и углубился в изучение карты, которую можно было понять и не зная языка.

На карте была изображена северо-западная часть Венгрии и восточная часть Австрии. Широкие стрелы рвались к Вене. Между двумя изогнутыми стрелами, которые почти соединились, Андраш отыскал село, в котором они теперь находились. Найти его было совсем не трудно, так как синее пятно озера Ферте занимало как раз середину карты. Андраш почесал в затылке.

— У нас уже совсем нет места: блоха и та свободно перепрыгнет отсюда через границу, — оценил он вслух положение своей армии.—Теперь нам ничего другого не остается, как побыстрее убраться отсюда, или нас здесь окружат русские войска. Правда, такое с нами и раньше бывало. Но отступали-то мы в сторону дома, а в таких случаях руки быстрее собирают свои жалкие пожитки. Два раза за время отступления начиналась такая паника, что я забывал захватить зубную щет-

ку господина старшего лейтенанта. Но тогда было совсем другое время. А сейчас стоишь, так сказать, на краю родной земли и дрыгаешь ногами в пустоте. И если прикажут идти дальше, куда идти-то? Куда?

Задумавшись, он прислонился к стене. Ветерок выхватил из его руки свернувшуюся трубочкой листовку и понес по плитам.

— Хорошо этой маленькой листовке: свернется в трубочку и летит, куда хочет, пока не остановится...

Между тем совсем рассвело — хоть газету читай. Солнце еще не взошло и не осветило своими золотыми лучами окрестности.

В углу двора, куда ветерок только что унес листовку, что-то зашевелилось. Можно было подумать, что листовка увеличилась в размерах и теперь возвращалась обратно к Андрашу. Он плечом оттолкнулся от стены и подался вперед, чтобы получше рассмотреть чудо. Тихо стуча копытами, к нему шла пестрая корова. Подойдя, корова остановилась, повела ушами в его сторону, а затем тихо, как подобает на рассвете, промычала свое привычное «му». Потом снова повела ушами и медленно направилась в хлев.

От изумления Андраш потерял дар речи.

Корова остановилась перед яслями. Склонив набок белую голову, она миролюбиво уставилась на лошадь, которая в свою очередь посмотрела на корову.

Андраш сломя голову бросился к дому. Перед самым его носом хлопнула входная дверь, и на пороге показалась Юлика, чуть заспанная, непричесанная, в большом темном платке матери, наброшенном на плечи.

— Вы привели Бимбо? Правда, привели?! — И, не дождавшись ответа Андраша, девушка бросилась в хлев.

Андраш готов был поклясться, что Юлика не бежала, а прямо-таки летела по воздуху. Накинутый на плечи платок развевался у нее за плечами, как крылья, а шлепанцы почти не касались земли.

Через мгновение она снова оказалась возле солдата. Он и опомниться не успел, как она промчалась мимо, дотронувшись до него, и он так и не понял, то ли она его легонько обняла, то ли просто оттолкнула в сторону.

— Привел обратно! — весело засмеялась она на бегу и в тот же миг скрылась в доме.

Через несколько секунд она снова появилась во дворе. Следом за ней торопливо шла мать. А Андраш все стоял и стоял на месте, поворачивая голову то в одну

сторону, то в другую за бегавшими по двору хозяевами: впереди Юлика, за ней мать, а позади, запихивая рубаху в брюки, старый Бодзаш.

Андраш пошел за ними.

— Привел! — Девушка крепко обняла корову за шею и прижалась лицом к ее белой морде.

Женщина и старик почтительно отступили перед Андрашем — человеком, только что совершившим чудо. Не привыкший к такому почету и уважению, Андраш окончательно растерялся и не знал, что делать дальше. Сначала он гордо выпрямился, но затем скромно опустил плечи. И вдруг его осенило: он подошел к Бимбо с другой стороны, обнял ее за шею, а сам улыбающимися глазами уставился на Юлику.

— А вы и в самом деле волшебник! — восторгалась Юлика. — Вернули нам обратно Бимбо!

— Да что ты! — скромно заметил Андраш. — Она сама вернулась. Ее, наверное, отпустили, потому что она слишком медленно тащила автомобиль, а может, его уже не надо было тащить. Вот она и пришла. Ты же сама говорила, что Бимбо может найти дорогу домой.

— Это вы ее заворожили, вот она и вернулась, — упрямилась Юлика. — А я еще могу загадать два желания. Или вы уже отказываетесь? — Последние слова девушка произнесла шепотом, чтобы их не услышали мать с дедом. — Отказываетесь?

— Я не отказываюсь, — так же шепотом ответил ей Андраш, сообразив, что это их совместная тайна.

— Выполните мое второе желание?

— Выполню.

— Тогда я загадаю что-нибудь очень трудное, — пригрозила девушка. — Хорошо?

— Хорошо.

Так, обнимая с разных сторон за шею Бимбо, они разговаривали несколько секунд, не спуская друг с друга глаз, и, если бы не голова коровы, которая разделяла обоих, их спокойно можно было бы снимать на свадебную фотографию.

Пробуждение господина старшего лейтенанта не принесло никакой тревоги. Больше того, было похоже, что Андраш заворожил и его: выйдя из комнаты, где провел ночь, свежевыбритый офицер, в начищенных до

блеска сапогах, поздоровался, хотя не особенно дружеским, но отнюдь не враждебным голосом.

— Доброе утро! — И тут же отвесил каждому из хозяев короткий, еле заметный поклон, словно предлагал разделить его «доброе утро» поровну между всеми.

— Доброе утро, — ответил ему с поклоном старик.

Тетушка Бодзаш тоже что-то прошептала, но так тихо, что слов ее совсем не было слышно. Она словно боялась, что громкие слова могут обидеть такого важного господина.

— Как изволили отдыхать? — весело спросила Юлика, но офицер, посмотрев куда-то мимо нее, не удостоил девушку ответом.

Юлика испугалась, что теперь может произойти какая-нибудь неприятность, и в первую очередь для Андраша. Чтобы как-то смягчить офицера, она предложила ему кружку парного молока.

Ковач, казалось, и на это предложение не обратил ни малейшего внимания. Он остановился и вопросительно взглянул на денщика: так король смотрит на своего камергера, испрашивая у него совета.

— Очень хорошее молоко, — тут же заверил Андраш офицера, хотя заверение это было лишним, так как в уголках рта солдата застыла молочная пена — когда господин Ковач вышел в кухню, Андраш поставил на стол кружку, из которой пил молоко.

Услышав такое заключение своего денщика, офицер решил принять предложение девушки.

Между тем Юлика уже несла в руках большой ломоть хлеба:

— Правда, хлеб у нас не очень белый, но вкусный. Картофеля и тмина в него добавлено немного. Говорят, он даже вкуснее, чем настоящий белый.

Хозяйка тем временем вытерла единственный в кухне стул и подставила его к столу. Ковач пробормотал что-то невнятное и, поставив на стул одну ногу, откусил большой кусок хлеба и с плохо скрытым выражением брезгливости отпил из кружки глоток молока.

Четверо людей смотрели из четырех углов кухни на то, как изволит завтракать офицер.

Закончив есть, Ковач сунул кружку в руки Андрашу и довольно членораздельно буркнул «спасибо», которое было адресовано, как и «доброе утро», в пустоту, а не конкретно кому-нибудь. И тут же вышел во двор.

Андраш не без гордости оглядел по очереди хозяев, как бы напоминая им: он не раз говорил о том, что господин старший лейтенант Ковач действительно благородный человек.

Через открытую дверь кухни отчетливо слышались отрывистые окрики унтер-офицера Кешерю, доносившиеся со школьного двора. Он носился по двору, как бойцовый петух, который приветствует своим криком отнюдь не наступление нового дня:

— Рота, в направлении высокого тополя повзводно становись!

Дробный топот солдатских ботинок свидетельствовал о том, что рота выполняет полученное приказание. Задание это было, следует признать, не из легких, так как направления, указанного унтером, вообще не существовало, поскольку ни одного тополя, не то что высокого, но даже низенького, во всем селе не было. Однако такая мелочь унтера нисколько не смущала.

В те времена в унтер-офицерском училище при подаче команды на построение всегда указывалось «Направление — на высокий тополь». Унтер усвоил это и с тех пор, где бы они ни находились, строил роту в направлении высокого тополя независимо от времени года или суток, будь это даже кромешной ночью, когда не видно не только тополя, но и собственного носа. Однако отсутствие самого тополя нисколько не мешало подразделениям строиться без всяких осложнений. Когда рота была построена, унтер-офицер доложил Ковачу, что за прошедшую ночь никаких происшествий не замечено.

Само собой разумеется, такой доклад, как и команду на построение в направлении высокого тополя, Кешерю твердо заучил еще в училище. С тех пор он без зазрения совести каждое утро именно так и рапортовал своему ротному командиру независимо от того, где и в каком состоянии находилась рота. Так он докладывал и тогда, когда рота всю ночь отходила, а вернее, панически бежала, когда многие из солдат натягивали на себя штаны уже на ходу и когда всю ночь лежали в глубоком снегу или на дне траншеи, боясь пошевелиться. Точно так же он докладывал, когда рота несла большие потери в живой силе и технике. Как только можно было поднять голову и более или менее свободно вздохнуть, унтер строил жалкие остатки роты в направлении высокого тополя и бодро докладывал ротному, что за такой-то период в роте ничего особенного не произошло.

Юлика не обратила внимания на крики и команды, доносившиеся со школьного двора. Заметив, что у Андраша на верхней губе остались усы от парного молока, она, с трудом подавляя смех, сказала ему:

— Вытрись!

На это Андраш лишь покачал головой. В кухне остались только он да Юлика. Андраш набрался храбрости и начал объяснять девушке:

— В наших краях существует такой обычай: если девушка угощает парня молоком и он его выпивает, а на лице у него остаются молочные усы, девушка должна вытереть их. — Он хитровато улыбнулся, ожидая, какое впечатление произведут его слова на Юлику.

Однако впечатление оказалось не ахти каким. Юлика удивленно вздернула кверху брови: она впервые слышала о таком обычае. Но затем подошла к Андрашу и, взяв в руки передник, вытерла им молочную пену с губ солдата.

— И что хорошего в этом вашем обычае? — с невинным видом спросила она.

Андраш немного опечалился, понимая, что упустил момент и запечатлеть поцелуй на щеке Юлики вряд ли удастся. Однако, чтобы хоть как-то поддержать собственный авторитет, сказал:

— Хорош он уже тем, что это народный обычай. — Он сделал ударение на последних словах, давая девушке понять, что, видимо, она не очень-то в этом разбирается.

Но Юлике некогда было думать об этом: у нее было работы по горло.

Доклад унтер-офицера Кешерю нисколько не успокоил командира роты Ковача, скорее наоборот. Листовки, упавшие во двор школы, унтер приказал собрать все до единой, но ведь все село не подметешь. Ротного больше беспокоило, что из штаба полка не поступило никаких указаний.

Ранее планировалось бросить полк в бой в районе Дьера. До того вся боевая деятельность полка заключалась в том, что он только оборудовал для себя позиции, которые вскоре приказали оставить, а как только они с них ушли, окопы заняли гитлеровские подразделения.

Рота старшего лейтенанта Ковача находилась в полковом резерве, и о ней просто забыли. Полк спешно по-

грузился в эшелоны и отбыл на новое место. Таким образом, Ковач оказался предоставленным самому себе. С большим трудом ему удалось выклянчить эшелон с допотопным паровозиком. Грузовые вагоны были в таком состоянии, что, будь мирное время, их давным-давно выбросили бы на свалку. Единственный вагон третьего класса для офицеров был тоже старым-престарым. Но даже из этого эшелона их вечером того же дня попросили.

Ковач надеялся, что если не ночью, то по крайней мере утром удастся получить новый эшелон или хотя бы новый приказ, и именно поэтому доклад унтера о том, что за ночь ничего не случилось, обеспокоил старшего лейтенанта.

Витязь Ковач верил, что отступление не будет продолжаться вечно, но, пока оно длилось, он страшно боялся, что начальство наверху однажды случайно забудет о его роте и они не получат приказа на очередной отход. А господину старшему лейтенанту очень хотелось отступать вовремя и по приказу старшего начальства.

Ковач прошел на станцию. Дежуривший у телефона Лампар доложил ему, что на рассвете звонили из штаба полка и просили набраться терпения и ждать последующих указаний. Разговор со штабом был неофициальный, так как Лампар разговаривал со своим другом. Однако это было все-таки лучше, чем ничего. Ковач немного успокоился.

На обратном пути он остановился перед домом, принадлежавшим нотариусу. Ему очень хотелось зайти на несколько минут к жандармскому капитану — может, у того осталось что-нибудь выпить, — но он все же не зашел, потому что боялся едких насмешек капитана. Если бы капитан оказался, например, лейтенантом, то Ковач даже не принял бы его вчерашнего предложения. Впрочем, тогда он был бы старшим по званию, занял бы дом нотариуса и даже не подумал бы приглашать его на стакан вина.

Витязю Ковачу очень хотелось хотя бы однажды побывать в роли начальника гарнизона, но события второй мировой войны разворачивались так, что на пути господина старшего лейтенанта не попалось ни одной, даже самой маленькой деревеньки, где он оказался бы старшим по должности или по званию.

Андраш, приведя в порядок лошадь и вещи старшего

лейтенанта, направился в школу, перед которой и столкнулся с Ковачем.

— Принеси мой бинокль! Мы сейчас поднимемся на колокольню.

Андраш пошел за биноклем, который остался в вещмешке в комнате Бодзашей. Когда он проходил через кухню, в ней как раз готовили паприкаш. Из глаз Юлики, которая резала лук, текли слезы, но девушка смеялась.

— И как у вас только ноги не устают бегать туда-сюда? — удивилась она.

— Если бы мы остались в селе, я каждый день прибегал бы сюда, и не один раз. Что вы на это скажете?

— Если бы вы здесь остались, — девушка рукой смахнула слезу со щеки, — тогда бы и узнали мое мнение! — И она гордо вскинула голову, довольная тем, что нашла что ответить.

Достав бинокль, Андраш дал подержать его Юлике, объяснив, что если она посмотрит на самый верх колокольни, то увидит не только каждого воробья, но и каждое перышко на его крыльях.

И хотя Юлика ничего не увидела в бинокль, кроме какой-то пестроты, она сказала, что все кажется очень красивым, когда смотришь в бинокль, и поблагодарила Андраша за любезность, проникшись уважением к солдатам, которым стоит только взглянуть в такое вот приспособление, как они все видят.

Церковь находилась неподалеку от школы. Улица перед школой значительно расширялась, домишки, расположенные один против другого, почтительно отступали назад, образуя треугольную площадь, на широкой стороне которой и стояла церковь. Перед ней лежало небольшое пространство, огороженное проволочным забором. Вдоль него рос невысокий лохматый кустарник, ветки которого просовывались в проволочные ячейки.

Посреди площади был насыпан небольшой холм. На его вершине, на бетонной, потрескавшейся от времени плите, стоял серый гранитный памятник в честь сельчан, павших в годы первой мировой войны. Вокруг памятника разрослись плакучие ивы, которые печально клонили ветки, словно стыдясь того, что не успели надеть свой весенний наряд.

Перед домиками, вдоль придорожных кюветов, росли дикие каштаны, простирающие ветви, украшенные коричневыми, блестящими почками, к весеннему небу.

По обочинам дороги и в крошечном садике перед церковью виднелись кучки прошлогодней травы ржаво-зеленого цвета.

Остановившись перед входом в церковь, Андраш оглядел лежавшую перед ним улицу. Солнце так ослепительно светило, что он невольно зажмурился. В воздухе приятно пахло пробуждающейся землей. Намерзшиеся за зиму воробьи с громким щебетанием дрались на дороге. До прилета ласточек они выступали здесь на главных ролях.

— А солнце уже силу набирает, — обратился Андраш к биноклю и невольно вспомнил, что это уже четвертая по счету военная весна. Вспомнил он и то, что каждой весной солдаты, почувствовав, как пригревает солнце, в беседах друг с другом всегда произносили эту фразу, а сами с завистью думали о том, что вот, мол, солнце опять силу набираст, а они все еще воюют, вместо того чтобы идти домой, и кто знает, до каких пор будет продолжаться эта проклятая война.

У входа в церковь рос дикий каштан. Андраш внимательно посмотрел на ветку с налитыми почками, которые, казалось, чего-то ждали, не осмеливаясь распуститься. Травка еще не пробилась, да и крошечные листики, скрывавшиеся в почках на плакучих ивах, будто задумались: а не посидеть ли им еще несколько дней в своем надежном убежище.

«Пройдет три-четыре дня, и все сразу зазеленеет. Хорошо бы дождаться этого. Интересно, как будет выглядеть Юлика, если украсит волосы цветами?» — размышлял Андраш.

На колокольню вела старая, скрипучая лестница. В церкви было холодно и темно, особенно после яркого солнечного света. На одном из поворотов лестницы, прислонившись к стене, стоял звонарь, он же начальник ПВО, Мозеш Шенталь, и Андраш, неожиданно увидев его, сначала даже испугался.

Узнав солдата, звонарь снял шляпу и поздоровался с ним дрожащим, испуганным голосом — так больные здороваются с врачом или санитаром.

— Добрый день, отец! — дружелюбно ответил Андраш. — Чем вы так напуганы?

— Что вы! Ничем я не напуган, — пробормотал звонарь трясущимися губами.

— Как же не напуганы! У вас лицо стало серым, как стена.

— Скажите, пожалуйста, — начал звонарь взволнованно, — это правда, что вы заберете колокол?

— Заберем колокол?

— Господин старший лейтенант так внимательно его разглядывал, даже рукой потрогал. Откровенно говоря, колокол хорош, из чистой бронзы, отлит сразу после первой мировой войны.

— А зачем нам нужен ваш хороший колокол?

— Я не знаю... Во время войны всегда забирали колокола, а потом отливали из них пушки. Вот я и боюсь, как бы его не забрали, а ведь я за него отвечаю. Как я отчитаюсь за колокол, если его заберут?

Андраш, занятый своими повседневными заботами, не был посвящен во многие тайны военного искусства и, хотя не отличался широтой взглядов, все же чувствовал, что этот колокол им вряд ли понадобится. Они были бы рады, если бы смогли унести или увезти с собой то, что у них было, а тут еще этот колокол! За время отступления они были вынуждены побросать и более ценные вещи...

— Пушки? — переспросил Андраш и задумался. — Вполне вероятно. Знаете, отец, настоящую пушку можно отлить только из колокола. Если стрелять из такой пушки, то и звук-то у нее совсем другой. — И он засмеялся.

Старик растерялся, не зная, чему теперь верить: смеху Андраша или его словам?

— Колокольная бронза не подходит для пушки, — покачал головой звонарь. — Колокол только для того и отливают, чтобы звонить в него, созывая прихожан к заутрене, к обедне, на свадьбу и похороны.

Андраш кивнул, словно соглашаясь с ним, а вид у него был такой, будто он сейчас сделает все от него зависящее, чтобы колокол этой церкви оставили в покое.

Он пошел наверх. Дойдя до ближайшего поворота, посмотрел вниз и увидел, что старик с сомнением смотрит ему вслед, все еще не веря в то, что Андраш может все уладить.

На самом верху колокольни сквозь отверстия для окон свободно задувал ветер. Старший лейтенант Ковач правой рукой придерживал фуражку, чтобы ее не сдуло ветром, отчего был похож на офицера, отдающего честь старшему начальнику. Рядом с ним стояли двое солдат. Им было приказано наблюдать за местностью и немедленно доложить о появлении противника или о приближении его самолетов. Последнюю обязанность ко-

мандир роты не мог возложить только на Шенталя. Ночью солдаты, сидевшие на колокольне, должны были наблюдать еще и за тем, чтобы никто из жителей не зажигал огня, не завесив предварительно окна чем-нибудь темным. Солдатам было приказано докладывать о каждом случае нарушения светомаскировки, но они ни о чем не докладывали.

Ковач взял в руки бинокль и, медленно поворачиваясь, осмотрел окрестности. Андраш тоже осматривался, но без бинокля.

Село окружали невысокие холмы, и разглядеть то, что находилось за ними, нельзя было даже в бинокль. С колокольни было хорошо видно, что село располагалось на склоне одного из холмов. Потому-то все дворы и были покатыми. За селом, вдали, виднелась линия железной дороги, несколько в стороне от нее находилось здание железнодорожной станции и какие-то постройки. По мнению Андраша, до станции можно было добраться пешком за полчаса. По обе стороны от железнодорожной насыпи тянулись луга, исчезавшие за холмами.

Склоны холмов поросли лесом, который, перемежаясь с лугами, окружал село, местами даже вклиниваясь на его территорию, словно деревья из любопытства желали заглянуть в деревушку и выяснить, чем занимаются люди.

В небольших дворах, окаймлявших домики, почти ничего нельзя было рассмотреть, потому что их скрывали высокие заборы. Торчали лишь печные трубы, из которых к небу поднимался дым.

— Господин старший лейтенант! — Голос унтер-офицера, казалось, донесся откуда-то из-под земли, куда его, быть может, затащили черти, решившие за все с ним рассчитаться.

Ковач, Андраш и оба солдата бросились к проемам окон и, облокотившись на серый подоконник, посмотрели вниз, на землю, откуда кричал унтер. Колокольня церкви была довольно высокой, однако, даже если бы она была намного выше, это вряд ли явилось бы препятствием для луженой глотки Кешерю.

Увидев, что старший лейтенант высунулся из окна и смотрит на него, унтер встал по стойке «смирно» и громко доложил:

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, извольте сойти вниз!

При звуке голоса унтера воробьи, гнездившиеся на колокольне, испуганно слетели с крыши.

— Зачем?!

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, по страшно важному делу.

— Что еще за важное дело?!

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, дело секретное! — проорал унтер и неожиданно умолк.

Сверху было видно, как он шевелит губами, но никакие звуки не долетали до старшего лейтенанта.

Унтер Кешерю не привык к тому, чтобы докладывать начальству, задрав голову к небу, когда воротник застегнутого на все пуговицы кителя врезается в шею и обручем сдавливает горло. Он привык докладывать ротному по всем правилам, глядя ему в глаза, а тут воротник так перехватил горло, что унтер чудом не задохнулся.

Ковач сразу же подумал, что в село прорвались русские, и кубарем скатился вниз. Андраш едва поспевал за ним.

«Напрасно я выложил зубную щетку», — мелькнуло у Андраша в голове, когда он пробегал по лестнице мимо Мозеша Шенталя, который по-прежнему стоял у стены, сторожа колокол.

Когда офицер и денщик сбежали вниз, унтер Кешерю уже обрел свой обычный вид и голос.

— Что случилось? — спросил запыхавшийся от быстрого бега Ковач.

Унтер Кешерю пытался говорить как можно тише, чтобы его доклада не слышал Андраш, но это давалось ему с большим трудом: шепот унтера был таким, что его спокойно услышали бы даже сквозь грохот боя.

— Покорнейше докладываю: жандармский капитан арестовал всю роту!

— Кешерю, да вы, никак, пьяны! Или спятили?!

Унтер был сделан не из такого материала, чтобы обидеться на замечание ротного. А впрочем, не было командира, на которого он мог бы обидеться.

— Покорнейше докладываю, капитан арестовал всю роту! Двор школы оцеплен взводом жандармов. Рота обезоружена.

Ковач быстрым шагом направился к школе, затем на миг остановился и спросил:

— А почему?

— Докладываю, из-за дозорных.
— Из-за каких таких дозорных?
— Покорнейше докладываю, двое не вернулись из дозора в казарму.
— Так почему же вы не доложили мне об этом утром?! — потеряв терпение, уже не проговорил, а проорал Ковач и побежал к школе.
Кешерю с трудом поспевал за ним, продолжая на ходу:
— Покорнейше докладываю, утром я об этом ничего не знал. Покорнейше докладываю, вечером я выслал их в дозор на четыре часа, оба вернулись, отдохнули, а потом опять ушли в дозор и уже не вернулись.
— А господин капитан каким образом узнал об этом? Почему ему это стало известно раньше, чем мне, ротному командиру?!
— Покорнейше докладываю, — перешел Кешерю на быстрый шаг, — господин капитан вошел во двор, прошелся взад-вперед, а потом приказал провести проверку личного состава, чтобы дать солдатам почувствовать, что за ними следят. Я обнаружил, что нет двоих.
— А что же господин капитан?
Унтер не сразу понял, какого ответа добивается от него ротный, и доложил:
— Покорнейше докладываю, господин капитан очень строг. Когда я строил роту, он обозвал меня скотиной только за то, что при построении я указал направление на высокий тополь. Потом он еще раз обругал меня скотиной, сказав, что я не умею считать. Кричал, что он проучит эту вшивую банду, что он не нянька, а настоящий венгерский офицер. Он так и сказал. На что он намекал, я не знаю, но он так и сказал.
— Так, может быть, я нянька?!
Кешерю от испуга начал хрипеть:
— Покорнейше докладываю, вы ни в коем случае не нянька!
Ковач ускорил шаг и разразился отборной бранью, не забыв упомянуть и господа бога, и всех святых, и унтера Кешерю, и всех его ближайших родственников, и проституток, и псов, и ангелов, и всех чертей в аду. Причем ругался он так громко, что ветки деревьев, мимо которых они проходили, начинали качаться. Так казалось Андрашу, который не был верующим, но несколько раз оглядывался и смотрел, на месте ли церковь.
Гнев господина старшего лейтенанта по мере про-

движения вперед нарастал. Направлен он был, однако, не в адрес дезертиров, с которыми он знал, как поступить. Его бесило то, что какой-то жандармский капитан посмел так грубо вмешаться в дела его роты, да еще при этом оскорбил армейский офицерский корпус, не соизволив поставить в известность его, ротного командира. Этот тип со злорадной улыбкой на губах был способен изловить дезертиров силами своих жандармов и казнить их, а потом доложить выше, что был вынужден вмешаться в дела роты, так как командир ее, старший лейтенант Ковач, не проявил в данном деле достаточной активности, точнее, растерялся в создавшейся обстановке. А это не могло не сказаться на карьере ротного командира, и именно сейчас, когда он должен был получить капитанское звание.

По уставу, как известно, командир подразделения нес полную ответственность за личный состав и ни при каких обстоятельствах не должен был допускать ни одного случая дезертирства, имея право применить для пресечения подобных действий любые меры. Своими действиями в отсутствие командира роты жандармский капитан лишал его, витязя Ковача, возможности проявить себя и показать, на что он способен. И Ковач сразу решил, что придется пренебречь вчерашним знакомством с капитаном, скрепленным попойкой, поговорить с ним официально, даже потребовать предоставить ему право самостоятельно заняться расследованием инцидента и принять необходимые меры. Он даст понять капитану, что рассматривает его действия как недопустимые и оскорбительные по отношению ко всему офицерскому корпусу.

— Кто дезертировал? — рявкнул Ковач.

— Докладываю, рядовые Йожеф Шюте и Пал Гуяш.

У ворот, которые вели во двор школы, стоял вооруженный жандармский ефрейтор. Увидев Ковача, он сначала застыл по стойке «смирно», а затем предупредительно распахнул перед ним ворота.

Ковач не ответил на приветствие часового. Последовав примеру ротного, не отдал честь часовому и унтер Кешерю. Андраш, сообразуясь с обстановкой, решил, что и ему, видимо, тоже не следует козырять часовому, но поскольку шел последним, то, закрыв за собой ворота, невольно оглянулся на жандарма, вид у которого был такой, что денщик сразу понял: пожалуй, было бы лучше, если бы они отдали ему честь.

Вся рота была выстроена посреди двора. Солдаты стояли молчаливые и угрюмые. По выражению их лиц, по положению рук, ног и прочим мелким деталям нетрудно было догадаться, что они стоят в таком положении давненько.

В конце двора, под стареньким навесом, стояла полевая кухня. На рассвете повара зарезали худого барана, которого удалось достать четверо суток назад. Пахло душистой бараниной. Перед котлом по стойке «смирно» замерли трое поваров. Котел же с варевом был брошен на произвол судьбы.

Перед строем, в козлах, стояли винтовки, охраняемые двумя жандармами.

Задняя часть школьного двора, как и все дворы в селе, не была огорожена, и там можно было свободно выйти в поле. Сейчас ее охраняли четыре жандарма, находившиеся на одинаковом расстоянии один от другого. Со стороны террасы стояли два жандарма, со стороны двора Бодзашей — четыре.

Жандармский капитан неподвижно застыл сбоку от строя роты, широко расставив ноги. Петушиные перья, украшавшие его фуражку, победно трепетали. Чувствовалось, что и капитан стоит в такой позе давно.

Солдаты хорошо знали, что стоит капитану повести глазами, как жандармы моментально зашевелятся, по первому его знаку набросятся на них и начнут избивать прикладами, колоть штыками, а то и просто стрелять в них.

«Солнце уже набирает силу, — думали солдаты, — в такую пору можно постоять даже по стойке «смирно» подольше...»

Когда Ковач вошел во двор, жандармский капитан ожил и превратился из изваяния с петушиными перьями на голове в обычного офицера. Он козырнул вошедшему Ковачу, а затем отнюдь не дружески протянул ему руку.

Ковач не ожидал такого, и ему не оставалось ничего другого, как пожать протянутую руку. Не успел он открыть рот, как капитан, опередив его, заговорил:

— Господин старший лейтенант, не сердись на меня за то, что я в твое отсутствие был вынужден принять кое-какие неотложные меры, которые ты, видимо, одобришь. Думаю, что в мое отсутствие ты поступил бы точно так же.

— Разумеется, господин капитан, — угодливо произнес Ковач.

— Дезертировали двое солдат. Полагаю, ты одобряешь мои действия?

— Разумеется, господин капитан. За мою долголетнюю фронтовую службу подобный случай у меня в роте произошел впервые, и я обещаю, что это больше никогда не повторится!

— Я временно разоружил твоих солдат. В подобных ситуациях иногда бывают нежелательные осложнения.

— Разумеется, господин капитан. Если ты позволишь, я в своем донесении в штаб упомяну о твоей помощи.

В глазах капитана снова мелькнули злорадные огоньки.

— Разумеется, ведь доносить о случившемся положено тебе, господин старший лейтенант.

— Благодарю, господин капитан. Может, пройдем в здание и там все детально обсудим?

Унтер Кешерю, стоявший до сих пор на почтительном расстоянии от офицеров, сделал несколько шагов вперед и произнес:

— Господин капитан, разрешите распустить роту?

Жандармский капитан бросил на унтера такой уничтожающий взгляд, будто перед ним был не унтер, а какая-то тварь, которую немедленно следовало раздавить, но он не хочет пачкать о него подошву сапога. Так тихо, что унтер с трудом расслышал его, капитан сказал:

— Когда прикажут, тогда и будете распускать. А если до того хоть один солдат пошевелится, я сам с вами расправлюсь, унтер-офицер. Понятно?

— Так точно, понятно! — во всю силу легких гаркнул Кешерю.

— И не орите мне в лицо! — прошипел капитан. — Из-за таких скотов, как вы, мы и проиграли войну!

Кешерю провожал жандармского капитана взглядом, насколько ему позволяло положение «смирно», в котором он находился. Его нисколько не удивило, что капитан в третий раз обозвал его скотом, а вот о том, что они проиграли войну, унтер услышал впервые.

Андраш все это время находился между строем роты и воротами. Поскольку ему никто ничего не приказывал, он почувствовал себя нейтральным лицом. Когда же до него дошло, что случилась беда, он, чтобы не по-

пасть на глаза унтеру, встал в строй, где чувствовал себя гораздо увереннее.

Между тем аромат варившейся в котле баранины проник во двор. Сначала он распространялся только вблизи кухни, но постепенно благоухающее облако окутало двор, который через несколько минут превратился в поле боя, причем рвущиеся снаряды и бомбы противника были начинены вареной бараниной.

Солдаты, которые замерли в строю, уставившись на здание школы, куда вошли капитан и ротный, обратили взоры в противоположный конец двора, откуда доносился дразнящий запах. Но повара, которых не обманывало тонкое профессиональное чутье, забеспокоились. Старший повар, имевший звание ефрейтора и работавший до армии мясником, набрался смелости и громко закашлял, чтобы обратить на себя внимание, а когда это не возымело действия, громко прокричал унтер-офицеру Кешерю, стоявшему на другом конце двора:

— Господин унтер-офицер, покорнейше докладываю, мне необходимо подойти к котлу, а то мясо сгорит!

— Кто пошевелится, изобью как собаку! — заорал Кешерю без промедления, даже не повернув головы в сторону ефрейтора.

Однако ефрейтор не собирался отступать. Он осторожно обернулся в сторону жандарма, который стоял ближе к нему, решив, что тот разрешит подойти к котлу, а стоящий по стойке «смирно» унтер Кешерю не сможет этому воспрепятствовать. Подумав так, ефрейтор несколько раз кашлянул в сторону жандарма, а затем тихо зашептал:

— Покорнейше докладываю, господин жандарм, мне необходимо помешать мясо в котле. Если оно сгорит, нечем будет кормить солдат...

— Приказа болтать не было, — спокойно и без тени злобы проговорил жандарм.

— Покорнейше докладываю, я это понимаю, — не сдавался ефрейтор, — я только помешаю в котле и опять встану на то же место...

Жандарм смерил повара взглядом, словно желая понять, что он за человек, однако по выражению его бесстрастного лица ничего нельзя было определить.

Повар решил, что жандарм раздумывает над тем, как ему поступить.

И вот жандарм пошевелился. Вид у него был такой, будто он не видел повара, не слышал его просьбы, одна-

ко он сошел с того места, где только что стоял, подошел к котлу, понюхал и, довольный, кивнул. Возле котла, сбоку, лежали поленья дров. Жандарм наклонился и, взяв в руки полено, подбросил его в огонь, потом еще одно, а когда огонь разгорелся — еще и еще. Старший повар насчитал, что жандарм подбросил в огонь под котлом двенадцать поленьев. Такого количества дров вполне хватило бы для того, чтобы поджарить целого быка.

После этого жандарм как человек, который сделал свое дело, вернулся на место и уставился прямо перед собой, даже не улыбнувшись собственной шутке.

Под котлом пылал настоящий пожар. Аромат баранины словно по мановению волшебной палочки испарился, и вместо него распространился неприятный запах горелого лука и мяса.

А рота по-прежнему стояла неподвижно.

Полдень

Если бы не было войны, то звонарь Мозеш Шенталь как раз готовился бы к тому, чтобы ровно в полдень звонить в колокол. Под горячими солнечными лучами солдаты, застывшие в строю, начали потеть. Из-под фуражек по уставшим морщинистым лицам катились крупные капли пота.

Большинству солдат роты было под пятьдесят и лишь немногим под сорок. Человек десять из них находились на действительной военной службе, большинство же солдат прибыли в роту как пополнение из запаса. Преимущественно это были крестьяне из сел и хуторов, разбросанных по Альфёльдской низменности, или землекопы.

На лица этих людей наложили свой отпечаток как нищета предвоенных лет, так и мучения и ужасы войны. Натруженные, узловатые руки, привыкшие к плугу, косе или тачке, никак не хотели застывать по команде «Смирно», отдавать честь и тому подобное, а больные ноги и изношенные легкие затрудняли бег, и часто солдаты были не в состоянии выполнить тот или иной приказ унтера Кешерю. Лица у солдат были худющие, во рту у многих не хватало зубов, грязное, бывшее в употреблении обмундирование висело на них, как на чучелах, в глазах застыл беспредельный страх. Причем это

был страх не перед противником, которого они в глаза не видели, а перед различными издевательствами, которым они подвергались в течение нескольких лет, — страх перед нечеловеческими криками Кешерю, страх перед наказаниями, страх перед дурацкими шутками унтера, но в особенности страх перед полевыми жандармами, поскольку они слышали, что эти намного опаснее обыкновенных жандармов.

В душе солдаты проклинали собственную судьбу, господа бога и тот нелепый случай, который свел их с полевыми жандармами, да еще в тот самый момент, когда каждый из них интуитивно почувствовал, что вот-вот наступит конец всем нечеловеческим страданиям и мучениям, длившимся все эти военные годы; когда их, к счастью, ссадили с эшелона, отняли у них состав; когда у командования, видимо, уже не будет времени, чтобы отправить их дальше; когда солнце стало набирать силу...

А эти жандармы были способны буквально на все. Они могли сделать что угодно даже в самый последний момент.

Постепенно запах горелого мяса проник за границы школьного двора, достиг соседских дворов, пересек улицу и добрался до церковной колокольни, где сидели дозорные, а затем начал подниматься к небу, словно хотел пожаловаться ему на то, что на этой грешной земле творится.

Дозорные сначала решили, что один из них спустится вниз и доложит ротному о том, что где-то что-то горит, но передумали, придя к выводу, что лучше быть подальше от того места, где случилась беда, а то и самим беды не миновать, — это они прекрасно знали по собственному горькому опыту.

Запах горелого почувствовали и местные жители. Самые боязливые отреагировали на это тем, что закрылись в своих домах на все запоры, менее боязливые подошли к своим заборам и, припав к щелям, пытались что-нибудь разглядеть, а более смелые отважились даже выглянуть на улицу. Более того, нашлись смельчаки, которые дошли до здания школы, чтобы узнать, что горит.

От запаха горелого пришли в неистовство собаки: то тут, то там раздавался их лай, сопровождаемый сначала небольшим подвыванием. Наверное, так они сообщали друг другу об ужасной новости. Затем подвывание

сменилось скулежом и диким, не прекращающимся ни на секунду воем. И вскоре над селом несся слившийся воедино дикий собачий вой.

Между тем котел все больше и больше раскалялся, из него, как из кратера огнедышащего вулкана, валил столб густого дыма, а временами вырывались мелкие кусочки горящего мяса.

Юлика, почувствовав запах горелого, подошла к забору. К своему удивлению, она увидела, что все солдаты неподвижно стоят в строю, а прямо перед строем, словно важный генерал из инспекции, в такой же неподвижности застыл Андраш.

Увидев у забора девушку, Андраш незаметно, на сантиметр переставляя ноги, повернулся к ней лицом. Он хотел сделать ей знак рукой, чтобы она отошла от забора и не смотрела на них, но не успел, так как девушку заметил жандарм, стоявший неподалеку. Он что-то сказал ей, чего Андраш не расслышал, однако Юлика сразу же скрылась в кухне.

В это время со стороны железной дороги донесся шум движущегося поезда. С утра до самого полудня там было тихо-тихо, будто все вымерли. Но стоило роте застыть на школьном дворе, как железнодорожная станция ожила, паровозы, словно учуяв запах горелого, энергично задвигались по путям, засвистели и, тяжело отдуваясь, потащили тяжелые грузы дальше на запад. И пока состав не скрывался за холмами, отчетливо слышался перестук вагонных колес.

По удаляющимся звукам солдаты определили, что все эшелоны движутся с востока на запад, более того, они даже разбирали, что эшелоны идут тяжело нагруженные танками или пушками.

Вдруг до их слуха донесся звук проходившего поезда, перестук колес у которого был звонче и выше, чем у предыдущих.

— Пустой эшелон, — заметил Кешерю. — Пропустили пустой эшелон.

Через несколько минут промчался еще один эшелон, а за ним — еще, и все в направлении Австрии.

Солдаты незаметно повернули головы вправо, откуда доносились звуки движущихся составов. Все внимательно слушали перестук вагонных колес и гадали, что бы это могло означать, но всем хотелось знать что-либо конкретное. Если с востока на запад шли пустые эшелоны, это означало, что не было времени загрузить их, вот

и пустили порожними, чтобы сохранить подвижной состав. А из того факта, что ни один из порожних составов не остановился, чтобы забрать их, вытекало предположение, что для этого уже нет времени или просто нет командования, которое хотело бы заниматься этим.

После того как проследовал третий по счету эшелон, стало тихо. На какое-то мгновение замолкли даже собаки. В наступившей тишине слышалось лишь жужжание большой мухи, которая кружилась возле полевой кухни, поблескивая своим ядовитым зелено-черным брюшком, напоминавшим по цвету петушиные перья на фуражках жандармов, однако вполне возможно, что муха эта в империи мух была просто-напросто мушиным жандармом.

Первым из школы во двор вышел жандармский капитан и чуть не упал в обморок от вони.

— Хочу вас заверить, господин капитан, что я незамедлительно наведу в роте идеальный порядок и дисциплину, — сказал старший лейтенант Ковач, как бы отвечая на жест капитана, который вдруг схватился за нос.

— Унтер-офицер, что это за вонь такая?!

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, в котле сгорел наш обед! — прокричал унтер зычным голосом, будто подавая команду.

— Через две минуты чтобы никакой вони не было и в помине, понятно?!

— Слушаюсь! Через две минуты вони не будет и в помине!

Повернувшись кругом, унтер подбежал к поварам и отдал им приказ, чтобы через минуту вони не было и в помине.

Трое поваров бросились с ведрами за водой и в тот же миг исчезли вместе с унтером и стоявшим поблизости от них жандармом в огромном облаке дыма. Они одновременно заливали и огонь под котлом, и сгоревшее в котле мясо. Все шипело, стреляло, трещало — короче говоря, стоял такой шум, перекричать который был в состоянии только унтер Кешерю.

Работали повара споро, а холодная вода сделала свое дело: огонь быстро погас. Над кухней поднялось огромное облако пара, а через несколько секунд унтер Кешерю уже стоял перед ротным. На его лице и на обмундировании чернели жирные пятна. Позади него выстроились трое поваров — пожарники поневоле.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, вонь уничтожена!

— Поваров строго наказать! — распорядился ротный.

— Слушаюсь!

Старший повар сделал шаг вперед:

— Покорнейше докладываю... — однако закончить доклад ему не удалось.

— Этого наказать еще строже, — перебил его властный голос ротного, — за болтовню!

— Слушаюсь! — успокоил унтер ротного.

Никто из поваров не проронил больше ни слова.

Затем господин старший лейтенант отдельно построил командный состав роты. Состав был небольшим — Ковач был единственным офицером в роте. Кроме него в строй встали унтер-офицер Кешерю, четыре командира взводов в звании унтер-офицеров и шесть ефрейторов. Эти люди руководили личным составом роты как в бою, так и в период отступления.

Было время, когда Ковач имел под своим началом двоих, а однажды даже троих офицеров. Разумеется, все они были из запаса, но после двух-трех недель пребывания в роте, самое большее, после одного-двух месяцев их откомандировывали в другие подразделения, назначив на должности павших геройской смертью или раненных на поле боя офицеров.

— Забрать оружие! — приказал Ковач своим верным помощникам.

Жандармский капитан, словно скучая, прохаживался за спиной ротного. Кивком и глазами он приказал Андрашу встать в строй, чтобы не торчать перед ним.

Ротный вынул из кармана небольшую бумажку. Прочистил горло легким покашливанием. Чувствовалось, что сейчас он произнесет что-то очень важное, причем не для солдат, а в угоду жандармскому капитану, который, как видно, оказался настоящим другом и совсем не собирался пожинать лавры единолично. Он не отказал Ковачу в добром совете, который в подобных ситуациях ценится на вес золота. И Ковач старался действовать так, чтобы оправдать доверие, оказанное ему жандармским офицером.

А случай был из ряда вон выходящий. Жандармский капитан утром вернулся в расположение роты совсем не для того, чтобы проверить наличие личного состава. Дело в том, что на рассвете два жандарма, патрулировав-

шие на дороге, ведущей из села в лес, нашли две винтовки, воткнутые штыками в землю. Это рядовые Шюте и Гуяш бросили свое оружие. Ковач не помнил, как выглядели эти два солдата, но его до глубины души возмутило их дезертирство, их измена родине. Он был полностью согласен с капитаном: необходимо немедленно принять самые строгие меры, чтобы спасти личный состав роты в его же собственных интересах от чего-либо подобного.

— Солдаты! — выкрикнул Ковач и посмотрел на строй, чтобы солдаты почувствовали не только смысл его слов, но и тяжесть взгляда. — Солдаты, сегодня наша рота переживает самый большой позор, какой может выпасть на долю армейского подразделения. Сбежали два подлых предателя родины, запятнав своим поступком всех нас. Но я смою это позорное пятно! Приказываю вам поймать дезертиров! Мы уничтожим их перед строем роты! Тот из вас, кто окажет дезертирам какую бы то ни было помощь или, узнав место их нахождения, не доложит без промедления об этом мне, будет считаться предателем родины и подлежит немедленному расстрелу. А чтобы другим было неповадно совершать то же самое, приказываю наказать каждого десятого солдата! Рядовой состав в виде наказания лишается на сегодня обеда и ужина. Приказываю каждого десятого солдата подвесить за руки и за ноги на три часа! Унтер-офицер, выполняйте приказ! — Ротный аккуратно сложил бумажку и засунул ее за отворот рукава шинели.

Унтера Кешерю не нужно было учить, что он должен делать, получив такое распоряжение. Он прекрасно зная, какие команды следует подавать.

Сначала он приказал солдатам рассчитаться на первый — десятый. По этой команде солдат, стоявший правофланговым, поворачивал голову налево и громко кричал своему соседу в ухо: «Первый!» Второй солдат, повернув голову налево, кричал своему соседу слева: «Второй!» Так пересчитывались до десяти. Тот, кто оказывался десятым, делал три шага вперед.

Через несколько секунд перед строем роты уже стояло одиннадцать солдат. Андраш стоял в третьей шеренге последним. Прежде чем счет дошел до него, он попытался, подавшись вперед, определить, каким же по счету окажется, однако, кроме стоящего справа товарища, никого не увидел, так как соседа интересовало то

же самое и он тоже подался вперед, заслонив собой стоящего справа.

— Восьмой! — наконец крикнул Андрашу в ухо стоящий справа от него солдат.

— Девятый! — по всем правилам прокричал Андраш, повернув голову налево, где уже не было никого, и с облегчением, чуть ли не с гордостью вздохнул, будто стоял не в строю, а перед трибуналом, который только что объявил во всеуслышание о его абсолютной невиновности.

— Последний был десятым!

Андраш повернулся на голос. Позади него стоял жандарм, который охранял ворота, когда они с Ковачем и унтером проходили через них. Сейчас жандарма, видимо, сменили, и он, подойдя поближе, встал за спиной у Андраша.

— Этот был десятый! — строго повторил он.

— Покорнейше докладываю, я был девятым, — с отчаянием в голосе произнес Андраш. — Стоявший справа от меня был восьмым, а я — девятым. Можно еще раз пересчитаться.

— Этот был десятым! — упрямо твердил жандарм, слегка выталкивая Андраша штыком из строя. — Ну, шевелись!

Андраш растерянно посмотрел на солдат, которые стояли справа от него, словно призывая их в свидетели, но все до одного стояли неподвижно, уставившись взглядом в пустоту. Андраш подождал еще несколько секунд в надежде, что старший лейтенант заметит его и не допустит несправедливости, но Ковач даже не смотрел в ту сторону, где стоял его денщик. В душе Андраша теплилась слабая искорка надежды, что и жандармский капитан, который вчера вечером так великодушно угостил его вином, не допустит, чтобы его подвесили для наказания, тем более что он как раз смотрел в его сторону, но жандармский капитан сделал вид, что ничего не заметил. За денщика мог бы заступиться и унтер Кешерю, который, собственно, отдал команду: «На первый — десятый рассчитайсь!» — но Андраш знал, что после заявления жандарма унтер ни за что на свете не решится на такой шаг.

Андраш вышел из строя и стал двенадцатым в небольшой группе солдат, над которыми должно было вершиться «правосудие».

Унтер Кешерю, остановившись перед группой, громким голосом скомандовал:

— Особое отделение, в направлении высокого тополя... — Тут унтер сделал паузу, которая продолжалась дольше обычного, и вовсе не потому, что он хотел этим подчеркнуть всю серьезность момента, отнюдь нет. Просто он вспомнил, как жандармский капитан прошлый раз обругал его скотиной, услышав слова «в направлении высокого тополя», и испугался, что сейчас повторится то же самое. Однако, к счастью, для унтера, капитан на сей раз не пожелал вмешиваться во внутренние дела роты. — Становись!

Команда эта была абсолютно лишней, так как двенадцать человек и без того стояли в строю, и как раз фронтом в ту сторону, куда ткнул рукой унтер, но где, как и следовало ожидать, не было ни высокого, ни низкого тополя. Все же солдаты немного потоптались на месте, чтобы унтер, чего доброго, не подумал, что они не хотят выполнять его команду.

Пока унтер Кешерю несколько раз прокрутился вокруг своей оси, чтобы оказаться напротив ротного командира и доложить ему, один из жандармов с силой протолкнул в ворота Мозеша Шенталя, но уже не в качестве звонаря, а в качестве начальника ПВО. И когда Кешерю открыл рот, чтобы доложить Ковачу о том, что особое отделение построено и ждет наказания, господин старший лейтенант как раз отвернулся от него.

— Даю вам сроку десять минут. Чтобы через десять минут все жители села были на площади! Вам понятно, Шенталь? — приказал Ковач Мозешу, в настоящий момент самому высокому представителю местной гражданской власти.

— Господин старший лейтенант, я вас очень уважаю, но это просто невозможно, — взмолился старик. — Не могу же я обегать все село, чтобы созвать жителей!

— Это меня не касается. Ударьте в колокол!

— Колоколом жителей не соберешь. В колокол разрешается бить только во время налета самолетов противника, а если сейчас ударить в колокол, они не только не соберутся, а, напротив, разбегутся по своим дырам, — плачущим голосом сказал Шенталь и, как всегда в ответственный момент, переместил тяжесть тела на короткую ногу, отчего чуть не упал.

— Барабан в селе есть? — спросил жандармский капитан, решив прийти Мозешу на помощь.

— Шенталь, есть в селе барабан? — строгим тоном повторил вопрос Ковач, тем самым давая начальнику ПВО понять, что капитан лишь советует, а настоящим начальником, которого следует бояться, является он, Ковач.

— Барабан есть, — дрожащим голосом ответил старик, который на самом деле боялся и Ковача, и капитана.

— Тогда бейте в барабан, но чтобы через десять минут все жители были на центральной площади!

— Понятно, только, извольте знать, у нас в селе нет центральной площади. Село у нас маленькое, всего одна улица, и если я начну кричать, чтобы все собирались на центральной площади, то никто не поймет, куда нужно идти.

— Тогда объявите, что собраться нужно перед церковью, черт бы побрал вас и ваше паршивое село!

— Слушаюсь! Понял! — закивал Шенталь и побежал к воротам, сильно припадая на короткую ногу, отчего стал похож на старого матроса, бегущего по палубе корабля в сильную бурю.

Подождав немного, унтер Кешерю доложил ротному о готовности выполнить его дальнейшие приказания. Он ломал голову над тем, как изловчиться и подвесить двенадцать человек сразу на единственном поперечном бревне, которое было во дворе школы и на котором уже висели наказанные за распространение вони три повара. Другого приспособления для подобной экзекуции во дворе не было.

— Подождите! — загадочным тоном бросил Ковач унтеру, который расценил этот окрик как своеобразное проявление недоверия к нему и сразу помрачнел, поскольку недоверие было для него обиднее любого оскорбления, а он за сегодняшний день подвергался им уже не раз.

Мозеш Шенталь оказался совсем не опытным барабанщиком, вернее, вообще не умел барабанить. Сам барабан как средство оповещения населения о чем-нибудь чрезвычайном и своеобразный символ власти, данной ему, Шенталь хранил в сарае, где без труда и отыскал его. Неприятность, однако, случилась с барабанными палочками, которые он, боясь, как бы они не затерялись, спрятал в потайное местечко. Но груз повседневных забот и сразу двух ответственных должностей оказался столь велик, что он забыл, куда их спрятал. Что

же делать с барабаном без палочек? Ведь время не ждет. Повесив барабан на грудь, Мозеш вышел на улицу и, шагая короткой ногой по насыпи кювета, а нормальной ногой по обочине дороги, что есть силы колотил по барабану, пытаясь сохранить ритм какого-то церковного псалма.

Местные жители, заслышав непонятный стук, долго не могли уяснить, что же он означает. Многие подумали, что это у нотариуса выбивают пыль из ковров, но, вспомнив, что он вместе со своими коврами находится где-то далеко, начали выглядывать в окна. То, что они увидели, очень удивило их. И они, видимо, сочли, что Мозеш сошел с ума от своих обязанностей, но все же стали выходить на улицу, чтобы поближе посмотреть на это потешное зрелище.

Любопытство жителей было вполне законным, так как единственный на все село дурачок умер еще до войны и вопрос о том, кто будет его преемником, не мог их не волновать.

Когда Мозеш перестал колотить в барабан, почти все взрослое население высыпало на улицу. Заметив это, старик вытер пот, текущий у него по лицу, и без всякой бумажки, просто по памяти объявил:

— Приказано собраться перед церковью. Господин старший лейтенант хочет что-то сказать всем!

Толпа не пошевелилась, так как и без того уже стояла перед церковью.

Через несколько минут вооруженные жандармы вывели из ворот школы двенадцать солдат.

Жители гадали, зачем же их позвали: чтобы объявить о том, что война наконец кончилась, чтобы забрать то, что еще не забрали, или чтобы объявить о новой тотальной мобилизации, согласно которой в армию призываются и старики, и хромые, и даже слепые. Увидев солдат, сопровождаемых вооруженными жандармами, толпа притихла.

Двенадцать арестованных не смотрели по сторонам. Выражение лиц у них было такое, что по ним невозможно было понять, куда и зачем их гонят, однако сам факт, что их сопровождали жандармы, говорил о том, что положение их хуже некуда.

— Ах, боже мой! — вырвался невольный крик у седой старушки в черном платке.

Двенадцать солдат остановили перед церковью, лицом к садику. Затем из ворот школы вышли еще шесть

жандармов, которые оттеснили толпу на противоположный тротуар, под ветви диких каштанов. Вслед за жандармами на площади появился старший лейтенант Ковач, рядом с ним — жандармский капитан, а позади, на почтительном расстоянии, шел, затаив в душе обиду на ротного, унтер Кешерю, рассерженный тем, что ротный принял предложение капитана и поручил провести экзекуцию на глазах у мирного населения жандармам, а не ему, унтеру Кешерю, который мог бы выполнить это нисколько не хуже.

Остановившись посреди дороги, Ковач отрывисто сообщил собравшимся, что из роты сбежали два предателя. По его предположению, дезертиры не могли уйти далеко, и потому он призвал всех жителей оказать ему помощь в скорейшей поимке преступников.

— Я ожидаю от вас... — продолжал Ковач, вытолкнув изо рта верхнюю губу, которую только что вобрал внутрь, — я ожидаю от каждого из вас выполнения патриотического долга. Надеюсь, что вы примете все меры, чтобы проклятые предатели получили по заслугам. Тот же, кто хоть каким-то образом будет способствовать укрывательству дезертиров, будет расстрелян! Расстрелу подлежит и тот, кто предоставит негодяям убежище или покормит их! Расстрелян будет и тот, кто, зная о местопребывании мерзавцев, немедленно не доложит об этом командованию!

За позорное преступление, совершенное дезертирами, — продолжал Ковач, — приказываю наказать каждого десятого солдата роты подвешиванием на три часа! Это наказание провести публично, с тем чтобы мирное население могло видеть собственными глазами, какими мерзавцами являются бежавшие, которые способны своим преступным поведением навлечь беду на своих же товарищей! Выполнять! — Последнее слово старший лейтенант крикнул жандармскому унтер-офицеру, который командовал жандармами.

Жители, оттесненные жандармами на тротуар, затаив дыхание ждали, что будет дальше. Из истеричной речи офицера они не очень хорошо поняли, что же, собственно, случилось, и еще меньше представляли, что должно произойти теперь. Они видели только, что жандармы охраняют солдат. Откормленные, выхоленные жандармы в почти новой форме охраняют исхудавших донельзя солдат в старом и грязном обмундировании, а истерично кричащий офицер через каждое слово гро-

зит всем расстрелом. Этого было вполне достаточно, чтобы все замерли и с расширенными от страха глазами ждали, что же последует.

Многие из жителей не имели ни малейшего представления о том, что такое подвешивание. Были среди них такие, кто считал, что подвешивание равнозначно казни, и такие, кто считал, что подвешивание не что иное, как привязывание солдата к дереву, ну, например, как привязывают к дереву скотину, чтобы она не убежала.

Жандармы ногами раскрыли старенькие, и без того всегда наполовину открытые ворота, которые вели в садик, и загнали туда арестованных. Садик был крошечный, и солдатам не досталось даже по отдельному дереву — пришлось у каждого дерева оставить по три солдата.

Жителям было хорошо видно, как жандармы заученными движениями связывали солдатам ремнями руки за спиной. Затем послышались стоны, вздохи, треск веток, и вот уже стало трудно определить, кто стонет: люди или деревья.

За четырьмя деревьями с подвешенными на них солдатами следили двое жандармов. Остальные жандармы вышли из садика за ограду и встали около нее в готовности помешать каждому, кто захочет ворваться в садик.

В толпе кто-то зарыдал.

— Причин для слез нет, — резко сказал жандармский капитан. — Если кому-то что-то не нравится, можете спокойно заявить об этом. В саду есть еще пустые деревья, а если и нет, то мы освободим для вас занятые.

Двенадцать солдат уже висели на деревьях, болтая ногами в воздухе, словно пытаясь найти опору. Головы у всех свесились на грудь, волосы, у кого темные, у кого седые, упали на лица.

Андраш в глубине души до самого последнего момента надеялся, что Ковач не позволит подвесить его. Он думал о том, что раз уж при расчете была допущена несправедливость и ротный не вмешался, то, когда их поведут, он переговорит с капитаном и объяснит, что денщик ему нужен каждую минуту, а для роты довольно устрашающее зрелище представят и одиннадцать подвешенных солдат, хотя, конечно, двенадцать — число более удобное.

Андраша не оставляла надежда даже тогда, когда

жандарм связал ему ремнем руки и подтянул его к дереву. И в таком положении денщик постарался повернуться лицом к ротному, чтобы тот, закончив речь, увидел его. Быть может, тогда до старшего лейтенанта наконец дойдет, что нельзя позволять издеваться над собственным денщиком.

Надеялся Андраш и тогда, когда уже висел на дереве, стараясь не опустить головы, чтобы господин старший лейтенант заметил его. Потом он подумал, что Ковач чуть позже сам зайдет в садик посмотреть, как выполняется его приказ, и тогда наверняка заметит Андраша, а Андраш что-нибудь скажет ему. Ну хотя бы просто позовет: «Господин старший лейтенант!» Но позовет тихо, так, чтобы не услышал жандармский капитан. И тут Ковач наконец поймет, какая вышла ошибка, и прикажет немедленно снять его с дерева.

Однако вскоре голова Андраша опустилась на грудь, а фуражка упала на землю так, что кокарда с королевской короной оказалась у него прямо перед глазами.

— Умираю, — простонал Адам Берке, портной с Альфёльдской низменности, которого однажды уже демобилизовали, так как он был ранен в живот, но вскоре снова призвали, как только стало ясно, что без него венгерской армии эту войну не выиграть. Он висел так, что его лицо почти касалось лица Андраша.

— Умираю я...

— Не надо стонать, — прошептал Андраш, — не стоит на это тратить силы.

— Умираю я...

— Не шуми, — пробормотал Андраш. — Видишь, никто ничего не говорит. Меня вон совсем незаконно связали... ведь я был только девятым.

— А если я десятый, так ты считаешь, что это законно? — простонал бывший портной.

— Цыц! — прикрикнул на него жандарм. — Что вам здесь, казино, что ли? Может, прикажете подать вам колоду карт?!

Андраш смотрел на листья, которые лежали вокруг его фуражки, — они были наполовину желтыми, наполовину коричневыми — и думал о том, что же такое справедливость, но ни до чего не додумался: в голове у него зашумело, и казалось, что в позвоночник ему воткнули острый железный прут.

Другим соседом Андраша был Лайош Мюллер, грузный бакалейщик лет сорока.

— Господин жандарм! Господин жандарм! — взмолился он. — У меня же грыжа! У меня большая грыжа!

Эта грыжа и то, что Лайош состоял членом «Фолькcбунда», долго спасало его от призыва в армию. Но в конце концов обстановка на фронте осложнилась и отечеству потребовался даже Мюллер вместе со своей грыжей. А теперь он висел на дереве.

— Цыц! — заорал на Лайоша жандарм.

— У меня же грыжа! — И Мюллер заплакал как ребенок. — Снимите меня, пожалуйста... Я всегда был верным... У меня грыжа...

Жандарм недоуменно пожал плечами, показывая тем самым, что он бы ни во что не вмешивался, но раз кто-то стонет, то на него надо прикрикнуть, чтобы замолчал. Он подошел к Мюллеру и ткнул его прикладом карабина. Не ударил, а просто ткнул прикладом, отчего тот закачался, как на качелях.

Юлика стояла в толпе. Заслышав звук барабана, она первой выбежала из дома, затем заскочила в кухню, чтобы позвать мать, — пусть и она увидит, что звонарь свихнулся.

Заметив Андраша среди подвешенных, она пробилась в первый ряд, но, даже стоя там, подалась всем корпусом вперед в надежде, что солдат что-нибудь скажет. Когда Юлика поняла, что Андрашу не до разговоров, она протиснулась обратно к матери и, положив голову ей на плечо, закрыла глаза, чтобы ничего не видеть. Однако долго стоять в таком положении она не могла, поэтому время от времени бросала беглый взгляд на Андраша, с каждым разом все сильнее ужасаясь тому, что творилось на ее глазах.

Под конец она уже не могла отвести взора от несчастных. Ей стало казаться, что ее взгляд поддерживает их и стоит ей только отвернуться, как они лишатся последних сил. Дочь и мать как бы поменялись ролями: и если мать не могла глядеть на подвешенных, то дочь, напротив, не отрывала от них взгляда, поддерживая мать за плечи, чтобы она не упала.

Прошло немного времени, и толпа несколько ожила, зашевелилась. Кроме матери и дочери Бодзаш, ни у кого из жителей не было знакомых среди солдат. И хотя сначала один вид несчастных приводил жителей в дрожь, постепенно они стали отходить. Нашлись даже такие, кто захотел уйти с площади и сделал несколько шагов,

решив: они услышали и увидели все, что им хотели рассказать и показать. Но как только смельчаки попытались выйти за ограду, к ним приблизились жандармы и жестами приказали встать на свои места.

Жандармский капитан, сцепив за спиной руки, подошел к садику.

— Я еще не разрешил вам расходиться! — бросил он, спокойно прохаживаясь перед собравшимися, стараясь повнимательнее рассмотреть тех, кто стоял в первом ряду.

Однако взгляда капитана никто не выдерживал: все начинали смотреть в землю.

— Даю вам десять минут на размышление! Всего десять минут! Если кто-нибудь из вас за это время скажет, где скрываются дезертиры, мы не станем его наказывать! Если кто-то из вас укрыл преступников и сейчас, не сходя с места, признается в этом, даю честное слово офицера, что не стану отдавать его под суд! Всего десять минут! Но после этого горе тому, кто попробует нас обмануть!

Капитан расхаживал между группами жителей, сверля их своим неприятным взглядом, заглядывая некоторым в глаза. Иногда он останавливался и, резко обернувшись, впивался в кого-нибудь таким взглядом, что беднягу начинало трясти от страха. Люди настолько боялись жандармского капитана, что, когда он смотрел на них, им начинало казаться, будто они действительно в чем-то виноваты.

— Ну что ж, хорошо! — проговорил капитан через некоторое время зловещим тоном, и все сразу почувствовали, что ничего хорошего ждать не приходится. — Ну хорошо, сейчас все вы останетесь здесь, а мы как следует прочешем село. И пеняйте на себя!

Со стороны садика к капитану подошел жандарм и что-то тихо зашептал ему на ухо. Офицер только кивнул в ответ.

— Ведро воды! Быстро! — крикнул жандарм, обращаясь к толпе.

Юлика первой встрепенулась, как испуганная птица, и, прежде чем кто-либо пошевелился, со всех ног бросилась к дому. Через несколько минут она появилась, неся в руке эмалированное ведро с водой. Она очень спешила, вода плескалась и заливала ей подол и ноги, но девушка, казалось, ничего не замечала.

Жандарм жестом разрешил Юлике войти в садик.

— А тряпки с собой никакой не захватила? — спросил у девушки другой жандарм.

Юлика на миг задумалась, а потом без единого слова сняла с себя старенький фартук в красный горошек и опустила его в ведро с водой.

— Вытри им всем физиономии, — ткнул в сторону подвешенных жандарм. — По уставу каждые четверть часа им разрешается вытирать морды. А если кто раньше потеряет сознание, тому можно и раньше вытереть. Поняла?

Юлика не рискнула ответить и только кивнула.

— Ну, давай! — Жандарм ткнул ее в плечо, ткнул совсем не больно, но девушке показалось, что ее обжег огненным дыханием семиглавый змей.

Слегка отжав тряпку, чтобы с нее не текла вода, она осторожными движениями начала обтирать ею потное лицо первого несчастного, затем второго, третьего... Она очень бережно прикасалась к лицам солдат, которые стонали, хрипели, вздыхали, ругались, так как любое прикосновение, даже самое легкое, причиняло им боль.

— Поторапливайся! — крикнул Юлике один из жандармов. — Не на прогулке ведь!

Девушка оглянулась на кричавшего.

— Нечего их там разглаживать! — не успокаивался жандарм. — Окуни тряпку в ведро, ткни ею в морду разок, и баста! Понятно?

— Да.

Отвернувшись от жандарма, Юлика поднесла ведро к следующему дереву. И хотя она не последовала совету жандарма, но все же начала вытирать лица несчастных солдат быстрее, боясь, что ее прогонят прочь и она не успеет обойти всех.

Дерево, на котором подвесили Андраша, оказалось с самого края — он и тут был последним.

Вытирая лицо очередному солдату, Юлика заглядывала несчастной жертве в глаза, словно надеялась получить в награду благодарный взгляд или хотя бы одно-единственное доброе слово за свою смелость и помощь, но ее никто не благодарил. Солдаты лишь тяжело вздыхали.

Держа эмалированное ведро с водой, в котором плавал вместо тряпки ее передник, она передвигалась от одного дерева к другому, похожая на фею в заколдованном саду.

Когда девушка подошла к Андрашу, он сначала увидел ведро с тряпкой, а затем сандалии со сбитыми носками. Юлика погладила рукой уставшее лицо солдата, а затем обтерла его влажной тряпкой.

— Волшебник-королевич, что же ты сейчас не поколдуешь? — нежно прошептала она.

Андраш даже не был уверен, что Юлика произнесла эти слова, он думал, что это ему только показалось. При словах «волшебник-королевич» он улыбнулся такой вымученной улыбкой, что глаза девушки наполнились слезами.

— Мое второе желание: чтобы тебя немедленно сняли с этого дерева, — быстро прошептала она.

Голова Андраша поникла. Юлика не поняла отчего: то ли у него уже не было сил держать ее, то ли он кивнул ей, давая понять, что согласен, что пусть, мол, исполнится и второе ее желание.

Девушка не отошла бы от последнего дерева, если бы стоявший неподалеку жандарм не рявкнул на нее:

— Пошла прочь!

Из ее груди вырвался тяжелый вздох. Схватив ведро, она побежала к выходу. Она плакала, но не хотела, чтобы ее слезы заметил жандарм.

Добежав до ворот садика, она остановилась, не зная, куда идти дальше. Слезы туманили глаза, впереди мелькало что-то очень пестрое и подвижное. Мелькало до тех пор, пока слезы не покатились по щекам. Она закрыла глаза, а когда открыла, то снова увидела перед собой жандармов, позади которых толпились односельчане.

Старший лейтенант Ковач как ни в чем не бывало стоял на прежнем месте, к огромному неудовольствию воробьев, которые так хотели полакомиться конскими яблоками, лежащими на дороге у самых ног офицера. Взлетев на ветки ближайшего дерева, воробьи подняли ужасный гвалт, надеясь рано или поздно напугать господина старшего лейтенанта.

Жандармский капитан стоял в кювете, переводя взгляд с людей на часы и обратно на людей. Перешагнув через кювет, Юлика подошла к матери и остановилась возле нее. Капитан бросил на девушку пронзительный взгляд, но ничего не сказал ей и, обращаясь к толпе, прокричал:

— Осталась одна минута! Если я и сейчас ничего

не услышу о дезертирах, то переверну все село вверх дном!

Заслышав голос жандармского капитана, угомонились воробьи. Жители стояли молча, а подвешенные солдаты даже перестали стонать.

И вдруг с колокольни раздался громкий крик:

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

В небе послышался гул самолета.

Старший лейтенант мгновенно бросился на землю, накрыв собой воробьиное лакомство.

Жандармский капитан уставился на небо.

— Все к стене! — крикнул он и сделал широкий жест, будто хотел загнать всех под церковную крышу. — Снять их! — крикнул он, обернувшись к садику, и в тот же миг сам упал на дно кювета.

— Видите ли, мне сейчас положено звонить в колокол, — обратился Мозеш Шенталь к одному из жандармов, но тот вместо ответа толкнул его к стене.

Самолет летел со стороны железнодорожной станции, и люди, стоявшие возле церкви, не могли его видеть. Заметили они его только тогда, когда он пролетел низко-низко над их домишками.

— Русский, — шепнул кто-то, различив на хвосте самолета красную звезду.

Некоторые из жителей провожали самолет взглядом, другие же побоялись, что их взгляд перехватят жандармы и тогда им придется худо.

Юлика не спускала глаз с сада, где жандармы снимали солдат с деревьев. Все двенадцать тут же, под деревьями, легли на землю, а рядом с ними и жандармы.

— Мамочка! — прошептала обрадованная Юлика. — Мамочка моя, он освободил себя! Стоило мне пожелать этого, как он тут же освободил себя! Освободил...

— Да ты, никак, спятила, — испуганно зашептала Юлике мать, прикрывая ей рот рукой.

Лицо девушки осветилось радостной улыбкой.

Гул самолета стал постепенно стихать и вскоре превратился в жужжание шмеля, однако ни солдаты, ни жители не смели пошевелиться.

Первым поднялся с земли унтер Кешерю, который прятался под кустом. Он отряхнул пыль с кителя и, подойдя к распростертому посреди улицы старшему лейтенанту, щелкнул каблуками:

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, разрешите снять поваров?

Услышав голос унтера, Ковач сначала еще плотнее прижал голову к земле, но через несколько секунд приподнял ее, затем вскочил и, сделав огромный прыжок, залег на дно кювета, откуда крикнул унтеру:

— Пошли вы все к чертовой матери!

Унтер Кешерю так и застыл с открытым ртом. Потом — это был первый случай за всю вторую мировую войну, когда он не сделал уставного поворота кругом, — бросился сломя голову к школе, крича на ходу:

— Снять поваров! Снять! Воздушная тревога!

Некоторое время еще доносилось жужжание русского самолета. Жандармский капитан и Ковач подняли головы. Капитан, повернувшись на бок, подозрительно осмотрел небо.

И в тот же миг снова послышалось жужжание самолета. С каждой секундой оно все усиливалось и усиливалось. Все думали, что самолет еще далеко, а он уже летел над их головами. Тень от него скользнула по земле, но не поперек улицы, как в первый раз, а вдоль нее. Через некоторое время самолет появился над колокольней.

— Лишь бы не летал над нашими головами, — выдохнул Адам Берке, лежавший рядом с Андрашем.

Самолет несколько раз пролетел над селом, описал два круга над железнодорожной станцией и лишь после этого скрылся за горизонтом.

Наблюдатели, находившиеся на колокольне, еще немного полежали на животах, а когда поняли, что шум мотора совсем стих, набрались смелости и, высунув головы, внимательно осмотрели горизонт. Небо было чистым, русский самолет исчез, будто его никогда здесь и не было. Для пущей безопасности наблюдатели подождали еще немного, а затем один из них, сложив руки рупором, поднес их ко рту и громко закричал:

— Отбой воздушной тревоги! Отбой!

Больше всех радовался Мозеш Шенталь, который всегда охотнее возвещал своим колоколом отбой, чем воздушную тревогу. По сигналу тревоги он должен был бить в колокол часто-часто, а по сигналу «Отбой» звонил не спеша, как и подобает звонарю. Правда, это был не тот трезвон, которым он в доброе старое время созывал народ к заутрене или обедне, но все же это был приятный колокольный звон, который напоминал людям о мирной жизни.

Первым поднялся с земли жандармский капитан. Отряхнул с одежды пыль, поправил головной убор с перьями и через секунду как ни в чем не бывало, с гордым видом встал возле кювета, на то самое место, где стоял до воздушной тревоги.

Витязь Ковач почувствовал себя несколько лучше, очутившись в кювете. Когда он лежал на дороге, уткнувшись лицом в пыль, ему казалось, что именно в этот момент русский пилот нажимает на гашетку пулемета, он уже чувствовал, как пулеметная очередь прошивает его насквозь. От страха его затошнило, и как только он немного пришел в себя, то моментально переместился на дно кювета. Здесь его начала бить нервная дрожь. Когда он встал, зубы у него все еще стучали, руки и ноги дрожали, фуражка свалилась на землю. Он с трудом поднял ее. Дрожащей рукой нащупал карман и вынул из него пачку сигарет. С грехом пополам ему удалось сунуть сигарету в рот. Сигарета прыгала у него во рту, и со стороны могло показаться, что он что-то быстро-быстро говорит.

Капитан поднес ему огня и, пока Ковач пытался прикурить, тихонько шепнул:

— Господин старший лейтенант, не накладите от страха в штаны, тем более на глазах у толпы. — Свободной рукой он достал сигарету и прикурил ее от той же спички.

Витязь Ковач не проронил ни слова, но если бы мог, то, вероятно, застрелил бы капитана.

Отворилась дверь школы, и из нее выглянул унтер Кешерю. Посмотрел налево, потом направо, одернул китель и вышел на улицу, еще не зная, что же происходит за пределами школьного двора. Он подошел к старшему лейтенанту, чтобы спросить у него разрешения на дальнейшие действия.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, что делать с поварами? По тревоге мы сняли их. Теперь опять подвесить?

Ковач глубоко затянулся:

— Унтер-офицеру иногда надо шевелить собственными мозгами, а не приставать к командиру с вопросами, что да как! Вам понятно, Кешерю?! — И офицер сделал еще одну затяжку.

Унтер щелкнул каблуками и крикнул:

— Так точно! — но даже не пошевелился.

— Чего же вы ждете?! — заорал на него Ковач.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, что делать с поварами? — спокойно переспросил Кешерю, подобострастно глядя на ротного.

Унтер прекрасно понимал, что иногда необходимо действовать так, как подсказывает собственный ум, но создавшаяся, обстановка меньше всего подходила для этого, и в данном случае было вряд ли целесообразно проявлять самостоятельность. Унтер-офицеру, более того, рядовому было ясно, что в сложившейся ситуации подвешивание поваров равносильно безумию, а повторенное безумие равносильно катастрофе. И унтер-офицер, будь у него даже куриные мозги, не посмел бы взять на себя ответственность за такое безумие. Именно поэтому Кешерю и сделал вид, будто не слышал окрика Ковача, и продолжал стоять, ожидая указаний ротного, глядя с собачьей преданностью ему в глаза, в то время как сам ротный ждал помощи от унтера.

— Разумеется, начатую акцию необходимо закончить, — произнес жандармский капитан, подходя к ротному и унтеру. — Если над нами пролетел какой-то русский комар, это еще не причина для того, чтобы мы потеряли голову. Надеюсь, ты согласен со мной?

— Да-да, конечно. Я думаю точно так же, — быстро согласился Ковач.

— А то, чего доброго, местные жители подумают, что мы испугались какого-то самолета-разведчика. Да и ваши солдаты,—ткнул пальцем в сторону садика капитан,— решат, что мы наклали в штаны. — Капитан произнес слово «наклали» с ударением на букву «к», бросив его в лицо Ковачу.

Нервная дрожь у старшего лейтенанта моментально прошла, уступив место злобе.

— Что вы тут торчите?! Не слышали разве, что я вам приказал?! — снова заорал он на унтера. — Продолжать акцию!

— Слушаюсь! — ответил унтер, но таким тоном, будто хотел сказать: лично он ничего против не имеет, но разумен ли такой приказ?

Унтер все не уходил, ожидая, что Ковач одумается и отменит приказ. Но Ковач молчал. Тогда унтер повернулся кругом и пошел. Но едва он сделал два шага, как случилось нечто неожиданное. И причиной этому был не кто иной, как Меньхорт Лампар, который до последнего

момента нес службу у телефона в кабинете начальника железнодорожной станции.

Услышав жужжание самолета, он вместе со стрелочником залез под стол, считая, что надежнее места им не найти. И не ошибся: с ними действительно ничего не случилось.

Когда зазвенел телефон, стрелочник схватил трубку и ответил по всем правилам железнодорожной этики, однако на другом конце провода происходило что-то непонятное: оттуда донеслись какие-то слова, которые он никак не мог разобрать. Мизинцем правой руки (в левой железнодорожник держал телефонную трубку) он прочистил ухо и приложил к нему трубку, однако и эта манипуляция не дала желаемого результата. Тогда он подозвал к телефону Лампара и передал трубку ему — так обычно поступают повара, передавая половник снимающему пробу с обеда.

И хотя Лампар до призыва в армию работал на почте и разносил адресатам телеграммы, он тоже ничего не понял. Немного поразмыслив, он ткнул железнодорожника в бок и решительно заявил:

— Это не венгерская речь!

— Может, немцы?

— Немецкую речь я бы отличил. По-немецки я понимаю даже тогда, когда они болтают между собой, не вынимая изо рта сигареты. И я вот что думаю: раз это не венгры и не немцы, это могут быть только русские. Откуда же они говорят?

— С соседнего полустанка, — ответил стрелочник.— Сюда можно звонить только оттуда.

Лампар так и подпрыгнул от страха:

— А сколько до него километров?

— Четыре.

Лампар решил бежать в роту, но железнодорожник, до которого наконец дошло, насколько серьезно создавшееся положение, признался, что в запертой на замок уборной есть велосипед для служебного пользования. Ключ от уборной у него, так что велосипедом можно воспользоваться и поскорее сообщить в роту неприятную новость.

Лампар невольно подумал о том, что никогда в жизни не ездил на велосипеде, даже разносил телеграммы пешком, но охваченный патриотическим порывом стрелочник помог ему оседлать машину и несколько метров

подталкивал ее сзади, так что Лампару оставалось только усердно нажимать на педали да держать руль.

Он отважно катил вперед, однако, увидев посреди дороги обоих офицеров и Кешерю, вдруг испугался. Испугался, потому что хорошо знал: ни остановить велосипед, ни проехать мимо, не задев офицеров, не сможет. И действительно, когда унтер Кешерю, получив приказ ротного, повернулся кругом и сделал два шага, то как раз угодил под велосипед Лампара.

Лампар в ужасе развел руки в стороны (что же еще оставалось делать бедняге?), словно собирался принять в свои объятия весь мир, но тут же обхватил ими шею унтера — так детишки, вернувшись домой после каникул, обнимают родную матушку.

Велосипед, повинуясь законам физики, как ни в чем не бывало покатился дальше и так ударил старшего лейтенанта, что тот упал на колени и стоял в таком положении, пока унтер Кешерю с повисшим у него на шее Лампаром не свалился на него и не сбил его, как кеглю.

Все это произошло в мгновение ока. Не успели Ковач и унтер оправиться от удара и встать на ноги, не успели они открыть рот и разразиться ругательствами, как связной, тяжело дыша и заикаясь, произнес те волшебные слова, которые спасли его от наказания:

— Русские!..

Ковач, которому до этого казалось, что он сломал ногу, вскочил с земли. Подняв связного, вскочил и унтер. И тогда Лампар, жадно хватая ртом воздух, рассказал все, что знал.

— Что же теперь делать, господин капитан? — растерянно спросил Ковач, начисто забыв о только что нанесенном ему оскорблении.

Капитан, которому посчастливилось не попасть в эту аварию, смачно выругался, не разжимая крепко сжатых зубов. Правда, слов невозможно было разобрать, зато гнев его был более чем очевиден.

Ковач нервно втянул сначала нижнюю, а затем и верхнюю губу, потом выпустил ту и другую, потер ушибленный бок и, признавая свою полную беспомощность, еще раз спросил:

— Что же теперь делать, господин капитан?

Жандармский капитан наконец разжал зубы и небрежно бросил:

— Посмотрим, старший лейтенант, — умышленно не назвав Ковача господином.

Сказал и пошел к садику, где что-то приказал жандармам, которые тут же, словно хорошо выдрессированные псы, подбежали к нему, а затем, разделившись на небольшие группы, бросились к дому нотариуса. По дороге один из жандармов сапогом пнул калитку школьного двора и что-то крикнул находившимся там жандармам, которые проворно присоединились к ним.

Когда Ковач окончательно пришел в себя, жандармов и след простыл. Посреди дороги остались лишь он, унтер и Лампар. И вдруг старшего лейтенанта осенило, что в столь сложной обстановке он может опереться лишь на одного-единственного человека — на унтера Кешерю с его богатым военным опытом.

— Покорнейше докладываю, — неожиданно заговорила эта единственная «опора», — значит, вы приказываете продолжать акцию?

— Боже мой! — Ковач закрыл лицо ладонями, а сам через пальцы посмотрел на то место, где стоял унтер, в надежде, что под ним, быть может, разверзлась земля и поглотила его. Однако унтер твердо стоял на том же месте, вперив свой верноподданнический взгляд в офицера, и ожидал его дальнейших указаний. — Строиться! Через десять минут выступаем!

— Слушаюсь! — заорал Кешерю и, не повернувшись даже на сантиметр, крикнул в сторону сада: — Строиться! — затем спросил, кивнув в сторону двенадцати солдат: — А с ними что делать?

Ковач лишь пожал плечами, как это только что сделал жандармский капитан, и, ничего не сказав, пошел прочь.

Лицо унтера окаменело: видимо, он обиделся на офицера за то, что тот не дал ему более точных указаний, не проявил к нему должного уважения. Повернувшись спиной к уходящему Ковачу, унтер ждал, пока двенадцать несчастных выйдут из садика.

— Особое отделение...

Солдаты, заслышав зычный голос унтера, замерли, ожидая последующей команды.

— В направлении впереди растущего высокого тополя, — Кешерю рукой показал в сторону Мозеша Шенталя, — становись!

Двенадцать пар ног подняли на дороге облако пыли. Выстроились, и, хотя на этот раз строй не был безукоризненным, Кешерю не обратил на это внимания. Более

того, он даже не стал ждать, пока за его спиной прекратится шарканье солдатских ботинок.

— За мной бегом — марш! — Слово «марш» Кешерю выкрикнул уже на бегу, даже не посмотрев, в ногу ли бегут солдаты.

Кешерю бежал к школьному двору. Позади отделения, сильно припадая на ушибленную ногу, бежал, несколько отстав от солдат, Меньхорт Лампар. На какое-то мгновение в его голове промелькнула мысль, что надо бы сказать кому-нибудь из жителей, чтобы они забрали поломанный велосипед и отнесли его в мужскую уборную при станции, но, сообразив, что они находятся на пороге более важных событий, решил бросить велосипед на произвол судьбы.

Жители по-прежнему стояли на месте, но только до тех пор, пока не убедились, что их не охраняют ни жандармы, ни солдаты, а как только они это поняли, то бросились по домам.

Мозеш Шенталь с барабаном на груди поднял брошенный посреди дороги велосипед и поковылял к церкви. Идти ему было трудно, так как барабан мешал вести велосипед, а когда он наступал на короткую ногу, то чуть не падал, рискуя накрыть себя этой чертовой машиной. Однако старик дотащил и барабан и велосипед до церкви, где укрыл то и другое в надежном месте.

Село, казалось, вымерло, и лишь одни воробьи, подняв невообразимый гвалт, купались в дорожной пыли.

Шумно было только на школьном дворе. Все куда-то торопились, бежали, сновали, звенели котелками и крышками, сворачивали одеяла, громко ругались. Повара выбрасывали из котла жалкие остатки сгоревшего обеда.

Спустя десять минут унтер Кешерю заявил, что рота готова к построению. Это было не совсем верно, так как Андраш, например, не стоял в строю, а отправился за вещами господина старшего лейтенанта, но Кешерю знал, что если ему приказано доложить о готовности через десять минут, то он обязан это сделать ни в коем случае не позже указанного срока. Остальное же утрясется само собой. И в этом унтер был абсолютно прав.

Рота стояла на месте, держа равнение в направлении высокого тополя. К строю подбежал жандармский капитан.

— Распустите роту! — крикнул он Кешерю. — Немедленно распустите роту, вы поняли?

— Рота, разойдись! — скомандовал унтер, ничего не понимая.

— Всем зайти в здание школы, под навес или в конюшню, — приказал капитан, — чтобы во дворе не было видно ни солдат, ни лошадей — никого! Противник может наблюдать за нами не только с самолета, но и в бинокль! Быстро! Разбегайсь кто куда!

Последние слова капитана скорее напоминали просьбу, чем приказ, а голос его стал похож на голос строгого учителя, разговаривающего с учениками после занятий.

Передавая команду капитана, Кешерю решил несколько усилить эффект.

— Разойдись! — заорал он. — И чтобы ни одного не видел!

Капитан пересек школьный двор и, взяв Ковача под руку, чему тот очень удивился, вежливо подвел его к лестнице, ведущей на террасу, и усадил на ступеньки.

— Прошу прощения, господин старший лейтенант, если я вас обидел, но порой и у меня нервы сдают...

— Ну что вы! — Не вставая с места, Ковач щелкнул каблуками. — Стоит ли об этом говорить? — В душе у ротного появилось чувство благодарности к этому испытанному в боях офицеру, который так щедро делился с ним и своим опытом и своей дружбой.

— Не люблю я излишние формальности, — сразу же перешел к делу капитан, — но в данный момент я, как старший в нашем гарнизоне, чувствую необходимость взять на себя командование боевыми действиями, ибо сейчас это вопрос жизни и смерти...

— Как это нужно понимать?

— Тебе нужно это понимать следующим образом: если с данной минуты кто-нибудь посмеет ослушаться моего приказа, того я сам пристрелю или прикажу пристрелить.

Витязь Ковач сглотнул слюну. Спросить, распространяется ли данная угроза на офицеров, ротный не осмелился.

— А вы, господин капитан, как намерены поступить?

— В первую очередь необходимо проверить, действительно ли русские близко. Если они еще не очень близко, мы останемся здесь на ночь, а на рассвете начнем отход. Пока рассветет, мы уже будем в лесу. Выходить из села засветло ни в коем случае нельзя, тем более с вашей ненадежной бандой.

— Простите, господин капитан, конечно, из моей ро-

ты сбежали двое солдат, однако я попросил бы вас не считать вверенных мне людей ненадежными. — Старший лейтенант, не вставая, чуть заметно выпрямил спину.

— Я рад, что ты так считаешь, но будь осторожен, смотри, чтобы во время соприкосновения с противником кто-нибудь из твоих солдат не пустил тебе пулю в спину. — И капитан чуть заметно улыбнулся.

Увидев эту улыбочку, витязь Ковач в душе решил, что после победы не потерпит, чтобы капитан говорил с ним на «ты», больше того, после демобилизации он перестанет с ним здороваться. Однако жандармского капитана нисколько не интересовало, что думает о нем Ковач. Жестом подозвав к себе унтера Кешерю, он приказал ему взять трех толковых солдат и отправиться на станцию, чтобы посмотреть, что там происходит.

— Понятно?

— Так точно! — гаркнул унтер, хотя ему было абсолютно непонятно, зачем для этого нужны толковые солдаты.

— Только смотрите, если встретите противника, не ввязывайтесь в бой, а быстро отойдите и доложите обо всем замеченном лично мне.

— Слушаюсь! В бой ввязываться мы не станем, — заверил унтер капитана таким тоном, словно давал честное слово, что, как бы ему ни хотелось сразиться с противником, он сдержит себя и, если потребуется, хоть бегом, но вернется обратно и доложит обстановку.

— К станции вы должны подойти незаметно, — предупредил унтера капитан. — По улице двигайтесь так, чтобы вас не могли увидеть в бинокль. Русские наверняка наблюдают за селом, так пусть думают, что здесь никаких солдат нет. Вы поняли меня, унтер-офицер? Отвечайте, но только тихо: поняли вы меня или нет?

— Так точно, понял!

Получив указания, унтер Кешерю начал подбирать толковых солдат. Первым в число толковых попал Меньхорт Лампар, так как лучше других знал путь от станции до школы, а следовательно, можно было предположить, что и от школы до станции он доведет группу. Вторым оказался бывший бакалейщик Лайош Мюллер. Унтер не знал, толковый он или нет, но ненавидел Лайоша уже за одно то, что он, какой бы приказ ни получил, обязательно начинал жаловаться, что у него грыжа, а Кешерю терпеть не мог солдат, которые жаловались, и вдвойне не

выносил тех, у кого была грыжа, хотя не имел ни малейшего представления о том, что же это такое. Третьим в эту маленькую разведывательную группу попал Элемер Златина, и попал только потому, что Кешерю любил Златину, любил за то, что тот превосходно исполнял на расческе, если под рукой была папиросная бумага, народную песню «Аллея акаций».

— За мной! — через плечо кинул унтер и в приливе воодушевления выскочил из ворот на улицу.

Перебежав через дорогу, он плюхнулся в придорожный кювет и пополз вперед. Вслед за ним по этому же кювету пополз Лайош Мюллер, не преминувший упомянуть о своей грыже. Лампар и Златина ползли по кювету, который находился с другой стороны дороги, стараясь держаться на одной линии.

Вскоре на дороге появилась крестьянка с ведрами в руках — она шла к колодцу за водой. Она двигалась навстречу солдатам и согласно неписаному крестьянскому обычаю вежливо поздоровалась. Солдаты же, не ответив на ее приветствие, продолжали ползти дальше. Женщина недоуменно пожала плечами: видно, решила, что они сошли с ума. Набрав в ведра воды, она пошла той же дорогой обратно и вскоре обогнала ползущих по дну канавы солдат.

Через два с половиной часа Кешерю и его люди наконец доползли до железнодорожной станции. По дороге Лайош дважды начинал жаловаться: первый раз, когда унтер нечаянно пнул бакалейщика по ноге, и второй раз, когда Лайош вдруг почувствовал острую боль в паху. Правда, через несколько секунд, когда он отполз метра на два, боль утихла — оказалось, что он лежал на большом камне.

Так они подползли к зданию станции, где Кешерю принял решение сосредоточиться под стеной мужского туалета, а сам отправился посмотреть, что делается в станционном здании.

Напротив вокзала находился небольшой садик, откуда неожиданно послышался женский голос:

— Вы изволите искать ключ от туалета? Его унес с собой стрелочник.

Кешерю не удостоил женщину ответом и даже не поблагодарил ее за столь важные сведения. Однако Лайош Мюллер почему-то не поверил женщине на слово и начал что было силы трясти дверь: то ли хотел разве-

дать, не сосредоточился ли за ней противник, то ли по какой другой причине.

После небольшого замешательства солдаты ворвались в вокзал, который оказался абсолютно пустым. Ни одной живой души не было ни в зале ожидания, ни в кабинете начальника станции. Телефон, висевший на стене, непрерывно трезвонил. Лампар сделал движение, чтобы снять трубку, но Кешерю остановил его словами:

— А если это опять русские?

И Лампар тут же отказался от подвига.

— Куда делся стрелочник?—удивленно спросил Кешерю. — Ему положено снимать трубку...

— Покорнейше докладываю, я уже два раза дежурил у телефона, когда русские садились нам на шею, — начал делиться своим богатым опытом Лампар, — и должен вам сказать, что настоящая беда тогда и приходит, когда стрелочники бегут со станции. Они ее на расстоянии чувствуют.

— А может, он вышел по нужде? — предположил Златина.

— Как он мог выйти, когда туалет заперт на замок?— неуверенно возразил ему Кешерю.

— Русских тут нет, вот он и ушел, — высказал предположение Мюллер.

— Домой он ушел, — заявил Лампар, увидев, что ящик с повидлом, который вчера выторговал у него железнодорожник, исчез из кабинета.

Обратно, пренебрегая опасностью, они шли уже во весь рост. Благополучно добрались до кустов, росших по соседству с туалетом, как вдруг музыкальные уши Элемера Златины уловили какой-то шум. Элемер остановился и, прислушавшись, сказал:

— Поезд идет!

Все застыли на месте. Сначала никто ничего не услышал, и унтер Кешерю хотел было обозвать Элемера скотиной, как вдруг рельсы начали издавать какое-то странное гудение: это действительно шел поезд.

— Вопрос в том, откуда он идет, — вслух подумал унтер.

Златина склонил голову набок и, подобно дегустатору, смакующему глоток вина во рту, как бы разложил гудение у себя в голове, а уж потом высказал свое мнение:

— Поезд идет оттуда, откуда прибыли мы.

Унтер задумчиво потер подбородок:

— Это хороший знак: если оттуда пускают поезда, то русских там быть не может. По крайней мере, на соседнем полустанке. — Вздернув брови, он сурово посмотрел на Лампара: — Какой черт тебя дернул прикатить на велосипеде со своей новостью?

— Покорнейше докладываю...

— Не докладывайте ничего! Сбили нас с толку своими ложными сведениями! Да знаете, что за это положено? Еще и ногу господину старшему лейтенанту чуть не переломили! Это вам так не пройдет, Лампар! Да-да, не пройдет!

Вскоре послышалось неровное пыхтение паровоза, а спустя несколько минут он показался на повороте. Паровоз этот имел более внушительные размеры, чем тот, который сутки назад тащил их состав. Эшелон увеличивался на глазах — видимо, шел на большой скорости.

Солдаты спрятались за кустами. Дойдя до стрелок, паровоз свистнул, несколько сбавил ход, однако не остановился.

— Это русские!—удивленно проронил Златина, который, вероятно, обладал не только отличным слухом, но и отличным зрением.

Все мгновенно припали к земле.

— Я же говорил: стоит уйти стрелочнику, как... — снова заговорил Лампар, но унтер оборвал его на полуслове:

— Кто тявкнет еще хоть раз, получит в морду... — И, подождав, когда состав подойдет поближе, добавил: — Даже если война закончилась...

Состав тем временем уже подходил к перрону. Унтер и солдаты ждали, когда он затормозит. Однако паровоз не только не сбавил скорость, а, напротив, увеличил ее, сильно рванул цепочку вагонов, которые стукнулись один о другой тарелками буферов.

Перед глазами лежавших за кустами ни живых ни мертвых солдат с унтером во главе промчался на всех парах эшелон. Вагоны были чужие, на их стенках вместо знакомого сокращения «MAV» [1] были нарисованы серп и молот с тремя большими буквами «С» и одним «Р», что, по мнению унтера, означало то же самое, что и «MAV», только по-русски. На ступеньках тормозных будок сидели солдаты в ватниках и меховых шапках. На открытых платформах стояли громадные танки. На од-

[1] Сокращение, обозначающее «Венгерская железная дорога». — *Прим. ред.*

ной из платформ сидел молодой солдат и, глядясь в зеркальце, пристроенное на гусенице, спокойно брился.

Повсюду танки, танки, ремонтные летучки, пушки, а вокруг всей этой техники сидели, лежали или стояли в самых непринужденных позах солдаты. Казалось, они ехали на обыкновенную прогулку и вовсе не боялись, что в этом маленьком селе расположена целая рота солдат во главе с замечательным унтер-офицером, которые, стоило им только захотеть, голыми руками могли бы изменить ход войны.

В столь трудный момент унтер Кешерю продемонстрировал перед подчиненными свой боевой опыт и блестящее понимание боевой обстановки. Никто из солдат не смог так плотно прижаться к земле, как он. Не изменила унтеру и выдержка: он не пошевелился до тех пор, пока последний вагон эшелона не скрылся за холмом. Больше того, он, не теряя мужества, выждал еще несколько минут, потом встал и, вытерев со лба пот, осмотрел солдат беспомощным взглядом.

— Как же это могло случиться, господин унтер-офицер? — спросил Лампар шепотом, словно боясь, что русские в эшелоне услышат его и двинутся в обратном направлении.

— На войне всякое случается, — произнес унтер, которого страх заставил вести себя тише и даже мудрее.— Нам повезло в том, — кивнул унтер в сторону скрывшегося за холмами эшелона, — что мы получили приказ не ввязываться в бой.

Трое солдат не стали спорить. У них тоже было такое чувство, что им здорово повезло.

— Пошли! — коротко бросил унтер после недолгого раздумья и, выскочив из кустов, побежал в таком темпе, что остальные смогли догнать его лишь на развилке, где он остановился, чтобы перевести дыхание.

Последним на развилку прибежал Лайош Мюллер.

— Моя грыжа! — простонал он, тяжело дыша.

Лампар и Златина ожидали, что унтер, как всегда, когда слышал слово «грыжа», разразится руганью. Однако Кешерю не сделал этого, а дружески похлопал Мюллера по плечу:

— Сейчас пройдет. Это что-то похожее на понос, да? Потерпи немного, пройдет. — И, похлопав Мюллера по плечу еще раз, снова бросился бежать.

Все трое солдат на деле зарекомендовали себя толковыми, так как быстро сообразили, что случилась боль-

шая беда, и потому бежали за унтером, стараясь изо всех сил. Кто делал большие прыжки, кто быстро-быстро семенил ногами.

Андраш по опыту знал, что сборы в дорогу не бывают скорыми и до отправления у него наверняка будет еще немного свободного времени. Когда рота уже выстраивалась, если позволяла боевая обстановка, господин старший лейтенант всегда пересчитывал личный состав каждые пять минут, проверяя, все ли на своих местах. Ранее не раз случалось и такое: ротный насчитывал нужное количество, как вдруг приходило еще человек пять, и тогда не оставалось ничего другого, как считать сначала. Постепенно внимание ротного притуплялось и дисциплина в строю падала. Солдаты начинали разговаривать, сначала тихонько, но, осмелев, говорили все громче — кто о погоде, кто о женщинах, кто о теплом обмундировании. Находились даже такие, кто потихоньку закуривал, если был табачок.

Потом раздавалась команда «Разойдись!» и начиналось ожидание, которое порой длилось час-два, иногда полдня, но бывали случаи, когда оно затягивалось на целую неделю. Правда, в период крупных отступательных операций о готовности к маршу речь не заводили: не было времени даже для того, чтобы унтер Кешерю прокричал слова приказа. Уже было не до построения, не до проверки личного состава и снаряжения — все бежали сломя голову, пока не падали от усталости.

Сейчас рота не строилась, чтобы не демаскировать себя, но солдаты прекрасно понимали, что пребывать долго в состоянии полной готовности к маршу они не смогут. И действительно, прошло четверть часа, и тишина была нарушена. Напряженность, с которой ждали приказа на новый отход, исчезла. А когда унтер Кешерю и трое толковых солдат уползли по кювету на железнодорожную станцию для разведки, все поняли, что до тех пор, пока они не вернутся, вряд ли будет отдан приказ на выступление.

Вот почему Андраш не торопился со сборами. Сначала он побродил возле поваров, которые уже доложили о готовности к маршу, но, почувствовав, что до выхода еще далеко, кое-что распаковали и начали чистить все тот же обгоревший котел.

Бродя по школьному двору, Андраш все время поглядывал на соседний дом, в котором жила Юлика. Ему

хотелось забрать вещи и лошадь так, чтобы не встретиться с хозяевами, а главное — с Юликой. Прислонившись к забору, он разглядывал старенькие доски, которые неизвестно какими молитвами держались на поперечных рейках. Присмотревшись к полусгнившему деревянному столбу, Андраш увидел одинокий, печально торчащий гвоздь, который не забили до конца и согнули, так что шляпка оказалась опущенной вниз. Андраш потрогал гвоздь пальцами и заговорил с ним:

— И тебя время хорошо потрепало. Вот ты и склонил голову, как подвешенный к дереву солдат. Видел я тех, кто ходит с опущенной головой, больше им ее уж никогда не поднять. Я вот тоже не могу. И не потому, что она у меня болит, нет: я ведь и четверть часа не провисел на дереве, как прилетел русский самолет. Рука у меня болит немного, да и плечо тоже, но ничего, пройдет скоро, а вот голову вверх я действительно поднять не могу. И теперь я никогда не посмотрю ей в глаза: все будет казаться, что она видит, как я повис на дереве вниз головой.

И я ей ничего не смогу сказать, ничего не смогу пообещать: ведь она знает, что человек я ничтожный, которого в любой момент подвесят на дереве, как убитого зайца, стоит только кому-нибудь захотеть этого. Она уже ни за что не поверит, что у меня сильные руки, раз видела, как я без звука позволил связать себя. Не поверит ни за что на свете, если я скажу ей, что могу защитить ее ото всех бед и бурь. Она же рассмеется мне прямо в глаза: а как же иначе, от того, кто не сумел самого себя защитить, ждать нечего. А что может сделать в подобной обстановке человек? Да ничего, уронит голову на грудь, вот так, как ты, и молчит...

Андраш попытался выпрямить гвоздь рукой, но он был толстый и не поддался, лишь оставил ржавый след на его пальцах.

Поговорив с гвоздем, Андраш через дыру в заборе пролез во двор Бодзашей. Сначала он хотел пройти в хлев, собрать там вещи и заодно поделиться своими мыслями о случившемся с лошадью. Но едва он пролез в дыру, как хозяйка позвала его:

— С полдника осталось кое-что, поешьте, если не брезгуете.

Андраш стоял перед хозяйкой опустив голову. Он коротко вздохнул, словно хотел что-то сказать женщине, но не сказал ничего и отвернулся — так ему было стыдно.

В кухне царил приятный полумрак. Андраш в растерянности остановился на пороге. Юлика стояла у плиты и накладывала в тарелку картофельный паприкаш. Поставив тарелку на стол, она тихо проговорила:

— Приятного аппетита, — показала на стул, однако, прежде чем Андраш подошел, быстрым и ловким движением стерла с сиденья невидимую пыль.

Андраш, не поднимая глаз от пола, смущенно пробормотал:

— Спасибо, — и, сев к столу, начал есть.

Картофель был горячий и вкусный. Андраш отламывал куски хлеба от внушительной краюхи, которая лежала рядом с тарелкой. В этот момент раздался стук двери. Андраш понял, что хозяйка вышла из кухни.

Юлика стояла у стола как раз напротив Андраша, но он не смел поднять на нее глаза. Он видел только ситцевый передник девушки, темный передник, который она подвязала вместо того, в красный горошек, которым обтирала лица солдат.

Съев все до последней крошки, он вытер тарелку кусочком хлеба.

— Спасибо, — поблагодарил он еще раз, обращаясь к тарелке, словно она, а не девушка угощала его.

Юлика молчала. Андраш не знал, что все это время она смотрела на белые, выскобленные ножом доски стола, на его тарелку и на ложку, которую он держал в руке, а не на него.

Андраш встал. Он знал, где стоит кружка. Попив воды, он прошел в комнату господина старшего лейтенанта, решив, что, раз уж попал сюда, нужно сначала сложить вещи ротного. Он положил зубную щетку в круглый пластмассовый футляр, сложил бритвенные принадлежности. Начал сворачивать одеяло.

— Сердитесь?

Руки Андраша так и застыли на одеяле. Он впервые взглянул на девушку, которая так тихо вошла в комнату, что он даже не заметил этого.

— А почему я должен сердиться? — спросил он и от растерянности машинально положил одеяло обратно на диван. — Почему я должен на тебя сердиться?

— Потому что я все видела, — печально сказала Юлика, кивнув головой в сторону окна, за которым виднелся садик.

Андраш выпустил из рук кончик одеяла:

— Вон ты о чем! — Он покачал головой. — Ты все знаешь... Ты обо мне все знаешь...

— Вы на меня не сердитесь? Знаете, сколько бы человека ни связывали, он все равно свободен...

Андраш улыбнулся такой улыбкой, что на глазах у девушки показались слезы. Толстыми, неуклюжими пальцами он осторожоно провел по лицу Юлики — так бережно влюбленные рисуют на запотевшем стекле сердечко.

— Как я могу сердиться на тебя?

Лицо Юлики немного просветлело.

— Когда папу кто-нибудь обижал, он всегда после этого обедал молча, слова из него не вытянешь. Мама стояла возле него, смотрела, как он ест, и ждала, когда злость с него сойдет.

Андрашу вдруг захотелось сказать девушке что-нибудь очень приятное, и он спросил:

— Картошку ты готовила?

— Я.

— Очень вкусная.

Юлика повела плечами и сверкнула от радости белозубой улыбкой:

— Не такое уж это трудное дело. — И она мигом отскочила к двери: — А у меня еще одно желание есть. Вы же обещали выполнить три моих желания... — Она засмеялась и исчезла.

Сворачивая одеяло, Андраш довольно долго рассказывал ему сказку о трех желаниях.

Собрав все вещи в мешок и поставив наготове кожаный чемодан Ковача, Андраш вышел из комнаты, не забыв, однако, аккуратно сложить хозяйскую простыню и, слегка взбив, положить сверху подушку: пусть хозяева видят, что солдат умеет обращаться и с такими вещами, которые считаются сугубо гражданскими.

Во дворе старый Бодзаш рубил дрова. В этот момент он как раз взобрался на самый верх аккуратной поленницы, которая была выложена возле забора. Увидев Андраша, старик, словно нашкодивший ребенок, хотел быстро слезть на землю, но сделать это было не так-то просто. Тогда старик решил остаться на поленнице, поглядывая на Андраша сверху.

— Какой-то поезд, — почти шепотом сообщил он, хитро прищурив глаза и украдкой наблюдая за солдатом.

Андраш заглянул на школьный двор, где под навесом, не выходя из тени, стояли на цыпочках солдаты и,

вытянув шеи, слушали перестук вагонных колес. Спрятавшись за полевую кухню, стояли жандармский капитан и Ковач и в бинокли наблюдали за поездом. Капитан снял головной убор.

— Странный какой-то поезд, — неуверенно заметил Андраш.

— И я тоже смотрю... — согласился с ним старик. — Длинный очень, да и... по-моему, это не немецкий состав.

— Нет, это не немецкий состав.

— Но и не венгерский. Шапки у солдат совсем другой формы, а?

— Другой... — согласился Андраш, а сам так напряг зрение, что на глазах выступили слезы.

— Буквы прочитать не могу, хотя вдаль вижу хорошо. — Старик покачнулся и спрыгнул на землю при помощи солдата. — А ты как думаешь, сынок?

— Это русские! — шепнул ему Андраш.

— Если они и сюда дошли, то не нужно их больше трогать, — высказал свои стратегические соображения старик. — Наше маленькое село не имеет никакого военного значения: его нужно сдать русским без боя. Жаль разорять то, что еще осталось... Уж если до сих пор остались живы... Может, ты скажешь об этом господину офицеру?

Андраш молчал, наблюдая за длинным эшелоном, а сам невольно думал о том, как было бы хорошо, если бы этот поезд сейчас опоясал своими вагонами все село. Тогда не потребовалось бы больше ни складывать офицерские вещи, ни отступать. Но поезд промчался мимо и вскоре скрылся за холмами.

— Что же теперь будет?—спросил старик Андраша.

— После такого обычно бывает отступление, — ответил солдат и полез через дырку в заборе на школьный двор.

В этот момент жандармский капитан быстро выбежал со двора, согнувшись в три погибели, чтобы быть для противника менее заметным; свой головной убор с петушиными перьями он по той же причине держал в руке. Господина старшего лейтенанта Андраш нашел в общем зале школы — он склонился над картой.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, разрешите подавать лошадь?

Это были первые слова, произнесенные денщиком после наказания. По совести сказать, у Андраша не было ни

малейшего желания заговаривать с Ковачем, но в его обязанности входило во время отступления подавать офицеру лошадь. Как и подобает хорошему денщику, он добросовестно выполнял свои обязанности в любой обстановке.

Витязь Ковач выпрямился, выпустил закушенную нижнюю губу, но тут же закусил верхнюю, потом выпустил ее с такой силой, что на голубую краску, которой на карте было обозначено озеро Фртё, попало несколько капелек слюны.

— Лошадь пусть будет наготове, — сказал офицер.

— Но сюда приводить ее не нужно? — не отступал Андраш.

— Сюда не нужно, но чтобы она была наготове.

— Слушаюсь. А каску?

— И каска пусть будет наготове.

В глазах Андраша застыл вопрос:

— В бой пойдем?

— К черту на рога! — прорычал Ковач. — Переждем здесь ночь, а на рассвете войдем в лес. Нам здорово повезет, если русские не атакуют сегодня село.

— Так точно! — ответил Андраш, приученный на все сказанное офицером, если не требовалось давать ответ по существу или вообще не нужно было отвечать, говорить «Так точно!».

— Сейчас ужин раздают, так ты получи и на меня.

— Сюда принести?

— В комнате поставь, я туда приду. Если не последует нападения русских, я немного посплю.—Ковач сдвинул фуражку на затылок, пальцем растер виски.

Андраш ждал, не будет ли еще каких указаний. Но Ковач больше не сказал ни слова и лег животом на разостланную на столе карту, внимательно изучая район Дьёра.

Во дворе раздавали хлеб, который был испечен трое суток назад, и все, что было на складе: повидло, патоку, маргарин. Дело в том, что капитан посоветовал Ковачу по случаю приближения противника произвести своеобразную амнистию и вместо сгоревшего обеда выдать личному составу сухой паек — пусть солдаты чувствуют, что отец-командир печется о них. К тому же в условиях непосредственного соприкосновения с противником возиться со складскими запасами продовольствия было некогда— это могло сковать маневренность роты. Гораздо удобнее, если солдаты сами позаботятся о еде. Более того, капи-

тан даже посоветовал выдать всем по чарке рому, но такового в роте, к сожалению, не оказалось.

Голодные солдаты обрадовались двойному ужину. За долгие годы войны они поняли, что неожиданно выданный паек ничего, кроме пользы, не принесет, даже в том случае, если командование раздаст его в страхе перед противником.

Жандармский капитан, как начальник гарнизона, разработал своеобразный план боевых действий на случай, если противник в течение дня не предпримет наступательных действий на село. Капитан и Ковач, как положено, сверили часы. Было решено, что на рассвете, ровно в три часа, подразделение полевых жандармов и регулярная рота двинутся по дороге к лесу. Принимая во внимание пересеченность местности, офицеры рассчитали, что за полтора-два часа пешего марша им удастся дойти до австрийской границы, которая согласно карте проходила с севера на юг по местности, поросшей лесом. При благоприятных условиях на следующий день к обеду они должны присоединиться к какой-нибудь крупной воинской части.

На случай, если русские все же предпримут наступление на село, жандармский капитан не разработал никакого плана.

Андраш получил ужин на себя и на господина старшего лейтенанта. Для лошади он раздобыл полтюка прессованного сена, который попросту перебросил через забор.

Вскоре во двор школы ворвались унтер Кешерю и сопровождающие его солдаты. Унтер принес новость, которая, однако, ни для кого не была новостью.

Когда Андраш вошел в кухню, в ней уже собрались хозяева. Старик сидел возле печки на старом табурете, Юлика — у стены на стуле. Стояла лишь одна хозяйка, облокотившись на единственный в кухне стул с высокой спинкой. Хозяева дома по неписаному обычаю собирались в кухне, как только начинало темнеть. Собирались и молча ждали, когда совсем стемнеет или кто-нибудь случайно зайдет в дом с улицы.

— Тарелочку какую-нибудь не дадите? Хочу положить ужин господина старшего лейтенанта, а то растает все и потечет. — Тон у Андраша был просительный, но делал он это как-то просто, по-домашнему.

Юлика подала ему тарелку, расписанную зелеными листьями и красными тюльпанами.

Старик несколько раз кашлянул, хмыкнул и, немного постонав, встал.

— Ну, какие новости? Ушли ваши? — с надеждой в голосе спросил он.

Чистая салфетка, которой Юлика собиралась накрыть ужин офицера, застыла на полпути.

— Скоро уйдем, — хмуро ответил Андраш.

— Слава богу! — с облегчением вздохнул старик. — Я не против тебя, но зачем попусту погибать тем, кто еще остался в живых?

Юлика взяла тарелку с ужином офицера и отнесла ее в комнату старшего лейтенанта.

Свой собственный паек Андраш положил в шапку, в которой он обычно и носил его от места раздачи до вещмешка.

— Скоро корову доить буду, — сказала Юлика, обращаясь к уходившему Андрашу, который понял это как приглашение выпить на ужин кружку парного молока, которую Юлика сама принесет ему в хлев, где он будет кормить лошадь.

Андраш два раза кивнул: первый раз — в знак того, что принял предложение, второй — что рад увидеть ее наедине. Осторожно взяв шапку за края, чтобы не превратить в месиво повидло, маргарин и хлеб, он вышел во двор и направился к хлеву.

Вечер

Андраш подобрал полтюка сена, переброшенного им во двор, и принес в хлев. Быстрыми, ловкими движениями он взбил его, как подушку, и разделил на две равные кучки.

— Ты хорошая, Аннуш, — обратился он к лошади и потрепал ее по шее, — и не нужно завидовать. Бимбо пустила нас в хлев, а мы поделимся с ней сеном.

Лошадь недовольно зафыркала и, когда денщик опустил поводья, вытянула шею и выхватила из порции Бимбо небольшой клок сена.

— И не стыдно тебе?! — Андраш слегка щелкнул лошадь по уху.

Аннуш подняла голову и, блеснув белками глаз, с удивлением уставилась на денщика.

— Завистливая свинья! — обругал ее Андраш.

В знак протеста лошадь затрясла головой, а затем, желая показать, что она не собирается вступать в дис-

куссию, сунула морду в собственное сено и, довольно похрапывая, принялась за еду.

Андраш взбил подушку в пестрой наволочке, скатал одеяло в трубу и приладил сверху на вещмешке. Поправил солому на топчане: если кому придется спать здесь после него, пусть ему будет мягко. Солома шуршала в его руках. Но странное дело: Андраш опустил руки, а шорох все не прекращался.

— Гм... — удивился солдат и уставился на топчан. Немного подумав, он понял, что шорох доносится из-под него.

«Курица, наверное, — решил он. — Может, там несушка сидит на яйцах».

Но солома все шуршала и шуршала, и, как показалось Андрашу, слишком громко для курицы. Может, это крыса или кошка?

— Брысь! — громко крикнул он и пнул ногой солому под топчаном.

И лошадь, и корова повернули в его сторону головы, чтобы посмотреть, что там случилось.

Шорох стих, но Андраш не успокоился, наоборот, еще больше разозлился. Если бы это было какое-нибудь животное, оно наверняка выскочило бы из-под топчана, испугавшись сильного пинка.

Поразмыслив, Андраш решил все-таки выяснить, что там происходит. Он встал на колени и заглянул под топчан, но ничего, кроме соломы, не увидел. Тогда, засучив рукав кителя, словно собираясь месить тесто и боясь испачкаться, он сунул руку в солому. Андраш догадывался, что может там что-то обнаружить, но то, что он нащупал, оказалось совсем неожиданным — это была человеческая рука.

— Черт возьми! — испуганно воскликнул он. — Кто тут? Выходи, а то как пырну штыком!

В ответ на этот окрик солома пришла в движение и даже топчан задрожал. Из-под топчана вылез человек, похожий на соломенное чучело.

— Йошка Шюте! — воскликнул Андраш, узнав солдата, а тот нервно стряхивал с себя солому: сначала с головы, затем с обмундирования, потом снова с головы, но солома не хотела стряхиваться. Наконец это ему надоело, он опустил руки и стал с беспокойством поглядывать то на Андраша, то на открытую дверь хлева.

— Как ты сюда попал?

— Спрятался. Подумал, что здесь искать не станут.—

Кадык ходил у Йошки вверх-вниз под воротником кителя.

— Ты что, с ума сошел? — Андраш был вне себя. — Да знаешь, что тебе за это будет?!

— У меня дома остались жена и дети. Я не хочу больше воевать! — с трудом выговорил Йошка, почесывая то одно, то другое место, так как солома, попавшая под рубаху, колола тело.

— Ты думаешь, тебе это сойдет? Сколько человек пытались бежать до тебя, а чего добились?! — Андраш несколько сбавил тон, боясь, что их услышат.

— Чего бы ни добились, а находились новые, которые и после них бежали.

— Их всех расстреляли! Думаешь, ты удачливее? Объявлен приказ: любой солдат, с которым ты встретишься, обязан застрелить тебя как бешеную собаку!

В глазах у Йошки мелькнул страх.

— Первый человек, который меня встретил, не стал в меня стрелять. — И, вопросительно посмотрев на Андраша, он добавил: — Пока...

Только теперь Андраш понял, что этим человеком оказался он. Сообразив, что в соответствии с приказом так надлежало поступить и ему, Андраш ужаснулся:

— Мне по приказу положено донести о тебе... — Он сглотнул слюну и растерянно посмотрел на Йошку.

— Знаю, — сказал тот.

— Но тогда тебя расстреляют...

— Знаю, — повторил Йошка. — А если ты не доложишь обо мне, тогда и тебя расстреляют. Таков порядок. Им бы только расстреливать!

— Черт бы тебя побрал! Ты всегда думаешь только о себе. Остальные для тебя ничего не значат. Нет, чтобы подумать наперед. Ты считаешь, нам было приятно висеть из-за вас на дереве вниз головой? А все потому, что тебе да старому Гуяшу надоело воевать. Ты думаешь, нам не надоело?! А если из-за вас двенадцать человек не подвесили бы, а взяли да в расход пустили? Такие случаи уже бывали. Тебя это, конечно, не волнует. А если тебя найдут здесь, то еще и хозяев расстреляют. И только за то, что вам двоим опротивела эта проклятая война!

Йошка молчал.

— Ну, чего молчишь? Что мне с тобой делать?! Ну скажи...

— Доложи, что я здесь. — Йошка пожал плечами: — Я ведь не хочу, чтобы из-за меня...

— «Доложи, что я здесь»! — взорвался Андраш. — Думаешь, это так просто сделать?!

Дезертир немного помолчал, а потом сказал:

— Тогда забудь, что ты меня видел. Когда стемнеет, я уйду отсюда. Доберусь до железной дороги и по рельсам пошагаю на восток. Далеко идти не придется: километров десять, а там уже русские... А до вечера я спрячусь, а?

Андраш растерянно посмотрел направо, налево, на корову, на лошадь, не смея заглянуть Йошке в глаза:

— А если кто-нибудь увидит, как ты отсюда выходишь?

— Тогда пошли вместе, — не столько предложил, сколько попросил Йошка.

— Я?

— А почему бы и нет? До каких пор ты будешь портянкой у своего старшего лейтенанта? Тебе разве не опротивела нищета, в которой ты прозябаешь, вся эта жизнь на побегушках, ругань, вши? Что тебя ждет? В лучшем случае — пуля. И это в последние дни войны!

— А старый Гуяш где? — неожиданно спросил Андраш и подозрительно посмотрел на то место, откуда вылез Йошка.

— Не бойся, нет его здесь, — успокоил Йошка. — Он в другом месте спрятался, тоже ждет не дождется темноты.

Андраш задумался, потом сказал:

— Если бы вы не повтыкали винтовки штыками в землю, вас, может, и не искали бы в этой неразберихе.

— Не хотели мы с винтовками бежать. Если переходить к русским, то лучше без оружия. Уж больно нам хотелось воткнуть их в землю. Я бы еще записку унтеру написал: «Вот и поори теперь, Кешерю» или «Вот теперь можешь ржать, Кешерю».

Андраш улыбнулся, невольно остановил взгляд на своей винтовке, будто на ней уже болталась такая записка, покачал головой:

— Я с тобой не пойду. Жандармы могут из-за меня расстрелять несколько человек и хозяев тоже... — Андраш описал рукой большой круг в воздухе, охватив дом Бодзашей и их двор. — Не могу я уйти...

Йошка потянулся, расправляя затекшие члены:

— С самого утра здесь лежу. Меня ни одна душа не видела, а знаешь, как трудно лежать не шевелясь...

— Ты что-нибудь ел?

Йошка только улыбнулся в ответ.

Андраш достал из вещмешка жестяную коробку и, открыв ее, отдал Йошке свой ужин. Тот с жадностью набросился на хлеб с повидлом — кадык энергично задвигался у него под воротником.

Андраш, прислонившись к косяку двери, наблюдал за двором. Йошка съел половину хлеба, когда из кухни вышла Юлика с подойником в руке.

— Спрячься, — шепнул Андраш.

Пока Юлика дошла до хлева, Йошка вместе с остатками ужина успел уползти в свое убежище и прикрыться соломой.

Подоив корову, девушка налила Андрашу кружку парного молока, которую тот выпил чуть ли не залпом. Девушка налила ему еще одну кружку. Однако Андраш пить молоко не стал, а поставил кружку на край топчана, объяснив Юлике, что выпьет позже.

В кухне тем временем появился Мозеш Шенталь. Он сел за стол, положив короткую ногу на длинную.

— Слышали, — загадочным шепотом начал он, — стрелочник сбежал со станции. Сказал, утром здесь обязательно будут русские.

— Наши солдаты говорили, что они проехали дальше. Хорошо бы, если бы без боя обошлось.

— Достать бы белую простыню...

— Простыню? — переспросила хозяйка.

— Я бы вывесил ее на колокольне. — Мозеш часто заморгал, полагая, что после ухода солдат вся ответственность за дальнейшую судьбу села полностью ляжет на его плечи.

— С пятнами не подойдет? — спросила хозяйка.

— Нет, — замотал головой сельский стратег, — нужна абсолютно белая.

— Это верно, — вмешался в разговор старый Бодзаш. — На войне в белое не стреляют.

— Простыня с пятнами и у нас есть, но она не годится: противник может подумать, что мы над ним насмехаемся.

Все трое беспомощно переглянулись.

— К другим мне не хочется идти, — не отступался Мозеш, — а то еще продадут жандармам. Пока они в селе, за это могут и расстрелять.

— А скатерть не подойдет? — озабоченно спросила хозяйка.

Мозеш и старый Бодзаш, нахмурив брови, задумались.

— А какого размера скатерть-то? — поинтересовался звонарь, при этом короткая нога его съехала с длинной и глухо стукнула о ножку стола.

— Довольно большая... — Хозяйка руками показала примерный размер скатерти. — От матери своей получила в приданое.

— Но без кружева по краям? — уточнил Мозеш. — С кружевом не пойдет. Сразу будет видно, что это не флаг, а какая-то вещь. Стрелочник говорил — черт знает, откуда ему это известно, — что жители села за холмами вывесили настоящее шелковое знамя. Мы ведь тоже не последние какие...

Тем временем хозяйка вышла в большую комнату, где вынула из комода скатерть. Двое мужчин подошли к открытой двери, чтобы лучше рассмотреть скатерть и решить, подойдет ли она. Хозяйка боялась их просвещенного мнения, так как скатерть, хотя на ней не было кружев, от долгого хранения сильно пожелтела. К счастью, мужчины в надвигающихся сумерках этого не заметили.

— Какой-то рисунок на скатерти выткан, — недовольно пробормотал Шенталь, но потом махнул рукой: — Ничего, с большой высоты этого не будет видно.

— Но вы ее мне обратно отдадите? — неожиданно спросила женщина.

— Отдадим, отдадим, — закивал звонарь. — Как мир установится, так сниму и отдам. — С этими словами он сложил скатерть и небрежно сунул ее за пазуху.

— Если можно, то не очень ее мните, — тихо попросила хозяйка.

Когда Юлика и Андраш вошли в кухню, все внезапно замолчали.

— Добрый вечер, — дружелюбно поздоровался Андраш со звонарем. — Не бойтесь, ваш колокол мы не заберем.

Старый звонарь пробормотал то ли «спасибо», то ли «хорошо». Юлика тем временем разлила молоко. Время, когда Бимбо давала по десять литров, давно миновало. Бедная корова, видно, с трудом перенесла оскорбление, заключавшееся в том, что ее вместе с другими коровами запрягли в упряжку и заставили тащить автомобиль, да и путь до дома оказался нелегким. Сейчас она давала

всего-навсего несколько кружек молока. Причем Андрашу на сей раз перепало больше других. Хозяйка спросила Юлику, почему она не попотчует молочком солдата, и девушка не решилась признаться, что уже наливала ему молока. Оглянувшись, она заговорщически улыбнулась Андрашу, давая понять, что у них теперь есть тайна, и налила еще одну кружку.

Во дворе послышался стук сапог. Через секунду дверь кухни с шумом, будто по соседству разорвалась мина, распахнулась и на пороге показались два жандарма. В темноте были видны лишь их силуэты.

Все, кто находился в кухне, онемели. Те, кто сидел, сразу встали.

— Вы Бодзаши? — спросил один из жандармов.

Он не кричал, но тон у него был требовательный. Чем требовательнее, тем эффективнее — так их всегда учили.

— Это мы, — плаксивым голосом ответил старик. Хотя с тех пор, как его сына угнали на фронт, все более или менее важные дела решали женщины, он почувствовал, что в данный момент ему придется представлять семью. — Это мы, — повторил он еще раз.

— Это они, — подтвердил Шенталь, с одной стороны желая показать, что не имеет никакого отношения к этой семье, с другой — желая засвидетельствовать, что является в некотором роде представителем местной власти.

— Чужие есть в доме?

— Господин старший лейтенант, — быстро ответил старик, надеясь, что при упоминании об офицере жандармы без промедления покинут его дом.

Однако жандармы не испугались, а, напротив, еще больше обнаглели.

— А еще кто?! — грубо спросил один из них, в то время как другой молчал, и по его поведению чувствовалось, что он не собирался играть здесь ведущую роль, а пришел только для того, чтобы придать больший вес своему коллеге.

— Здесь больше нет чужих, — снова заверил Шенталь и сделал шаг вперед, наступив на более короткую ногу, отчего сильно пошатнулся. Полицейский же испугался, решив, что старик хватается за пистолет, и быстро уперся ему штыком в грудь:

— Не двигаться!

Шенталь от страха попятился назад.

— Прошу прощения, я начальник ПВО в этом селе, — попытался он успокоить жандармов.

— Приходилось нам и начальников ПВО вздергивать, — ответил жандарм.

По спине звонаря пробежал холодок, и он сделал еще один шаг назад.

— Так есть в доме посторонние?

— Нет, — ответила хозяйка.

— А мы сейчас произведем обыск и посмотрим!

Хлопнула калитка, и через несколько секунд на пороге появился господин старший лейтенант Ковач. Он не сразу заметил, кто находится в кухне, а жандармы, стоявшие к двери спиной, не видели, кто именно вошел в дом, хотя слышали стук двери.

— А это что за скотина явилась? — спросил более словоохотливый жандарм.

— Пристрелю! — завопил старший лейтенант, хватаясь за пистолет. — Пристрелю!

Все затаили дыхание. Жандармы и те, казалось, растерялись.

— Андраш! — Ковач взвел курок.

В ответ на столь грозный призыв голос денщика прозвучал так тихо, что витязь Ковач чуть было не спустил курок.

— Что это за митинг?! — со злобой зарычал офицер, но уже более сдержанно.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, это полевые жандармы.

Стоило Андрашу произнести «Господин старший лейтенант», как оба жандарма, щелкнув каблуками, застыли, словно каменные изваяния.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю... — начал более разговорчивый жандарм.

— Меня ваш доклад не интересует! — оборвал его офицер. — Этот дом занимает старший лейтенант витязь Ковач, — продолжал он, делая ударение на каждом слове, — и ступить сюда без моего разрешения не имеет права ни один человек! Андраш!

— Слушаюсь!

— Передай этим, чтобы убирались к чертовой матери! — И, не дожидаясь, пока Андраш выполнит его приказание, Ковач прошел в свою комнату, так хлопнув дверью, что с потолка отвалилось несколько кусков штукатурки.

У Андраша не было особого желания выступать посредником между старшим лейтенантом и жандармами, которые, казалось, не слышали того, что сказал офицер.

Ни один из них даже не пошевелился, ожидая, когда денщик начнет выполнять приказание своего командира.

Андраш между тем явно тянул время. Он прекрасно знал, что Ковач сейчас бросится на диван и, быть может, моментально заснет. Значит, с этой стороны ему не будет угрожать опасность. Он надеялся также, что жандармы, сообразив, что обругали офицера, испугаются и уйдут. А если старший лейтенант не заснет, то сам может выйти в кухню и сказать жандармам пару таких слов, что их словно ветром сдует.

И хотя Андраш не был тонким знатоком жандармского этикета, он все же понимал, что до тех пор, пока господин старший лейтенант не разрешит обыскать дом, жандармы не решатся на это.

— Тогда мы сейчас приступим к обыску, — после долгой паузы сказал один из жандармов и направился в комнату хозяев.

— Покорнейше докладываю, — зашептал Андраш, — господин старший лейтенант приказал, чтобы... Гм... Вы и сами изволили все слышать...

— Заткнись! — оборвал Андраша другой жандарм, который до того и рта не раскрывал. У него был сильный баритон, которому мог позавидовать даже унтер Кешерю.

В этот момент Ковач, вскочив с дивана, рывком распахнул дверь и с силой швырнул на пол глиняную кружку.

— Вон отсюда!.. — завопил он.

Оба жандарма мгновенно застыли по стойке «смирно» и стояли так до тех пор, пока Ковач не перестал ругаться. Каких только святых, домашних и диких животных он не упоминал, пересыпая это перечисление словами, вошедшими в матерный язык! Причем все это старший лейтенант выпалил без единой паузы. Жандармы слушали с таким видом, будто это была не отборная брань по их адресу, а обычный приказ, которые им зачитывают каждый день. Ни один из них даже не пошевелился.

— Поняли?!

Жандармы не ответили на вопрос офицера. Разумеется, они все прекрасно поняли, так как господин старший лейтенант говорил достаточно громко и достаточно ясно. Более опытный жандарм, после того как Ковач замолчал, сосчитал до трех, а затем легким покашливанием прочистил горло, как бы давая этим понять, что не собирается спорить с офицером, но хочет что-то сказать.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, нам отдан приказ...

— Меня не интересует чей-то приказ! Здесь я приказываю! Марш отсюда! Понятно?!

— Так точно, — ответил жандарм, но не пошевелился.

— Я сказал, марш отсюда! — завопил Ковач и указал на дверь.

Жандармы снова щелкнули каблуками, давая понять, что все поняли, но не сдвинулись с места.

Снова хлопнула калитка во дворе. Под окном послышались быстрые шаги, а в следующее мгновение на пороге кухни появился жандармский капитан. Казалось, в этот вечер все сколько-нибудь выдающиеся личности, находящиеся в селе, стремились попасть в дом старого Бодзаша.

Капитан лучом карманного фонарика быстро обвел лица присутствующих и, прежде чем Ковач успел открыть рот, подошел к нему и, положив руку на плечо, заискивающим голосом сказал:

— Господин старший лейтенант, боюсь, как бы мои люди не натворили здесь глупостей. Нет нужды объяснять, что их приход не имеет никакого отношения к тебе. Я предупреждал этих скотов, чтобы они ни в коей мере не сердили тебя, но боже мой... — Неожиданно капитан схватился обеими руками за голову, затем, повернувшись к жандармам, скороговоркой перечислил всех святых, всех домашних животных, не забыв упомянуть и некоторых диких. Этот довольно длинный перечень завершали имена состарившихся проституток из полевых борделей времен первой и второй мировых войн.

Оба жандарма с большим вниманием, стоя по стойке «смирно», выслушали все сказанное капитаном.

Закончив отчитывать подчиненных, он взял Ковача под руку и вежливо спросил:

— Где твоя комната, господин старший лейтенант?

— Прошу... — Ковач пошел первым и открыл дверь в свою комнату.

Уже стоя на пороге, капитан, на миг повернувшись к жандармам, приказал:

— Никого из дома не выпускать!

Жандармы снова щелкнули каблуками, понимая, что самое важное для них не ругань, а именно этот приказ.

Пока Ковач не зажег свечу, капитан освещал его комнату карманным фонариком.

— Господин старший лейтенант, ты должен меня про-

стить. Мои люди очень послушны, но они самые что ни есть скоты. По крайней мере, манеры у них просто скотские. Что поделаешь, воспитывают их не в пансионе для благородных девиц и не в монастыре. Я приказал им обыскать дом, заранее надеясь на твое согласие.

— Но почему?

Ковач стоял посреди комнаты, держа в руке наполовину сгоревшую спичку. Капитан медленно описал вокруг него несколько кругов:

— У меня принцип: работать до самого последнего момента. Русские совсем рядом, но мне это нисколько не мешает. В ходе войны они все время были рядом, и это лишь налагало на меня еще большую ответственность за порученное дело. В такие моменты солдаты склонны к дезертирству, а мы обязаны доказать им, что и в этой неразберихе способны обеспечить порядок, что предатели родины не уйдут от наказания даже тогда, когда им кажется, что все страшное для них уже позади. В своей работе я всегда руководствуюсь двумя принципами: во-первых, выполняю свои прямые обязанности, а во-вторых, не люблю, когда надо мной смеются. А если кому-то удастся бежать, тот наверняка будет смеяться надо мной. Если удастся, конечно...

— Не сердись, господин капитан, я не совсем ясно понимаю связь...

— Мы поймали одного из дезертиров.

Старший лейтенант наконец бросил обгоревшую спичку:

— Это же великолепно! Где он сейчас?!

— Но я хочу поймать и другого! — не удостоил ответом Ковача капитан.

— Я с вами полностью согласен, — кивнул старший лейтенант, — и, разумеется, готов помочь...

— Вот об этом-то и поговорим, господин старший лейтенант. Я понимаю, твоя нервозность вызвана грубостью моих подчиненных, но, как мне кажется, в самый трудный момент мы обязаны собрать волю в кулак даже в том случае, если придется поступиться кое-какими правилами вежливости.

— Разумеется, господин капитан...

— Именно поэтому, как я полагаю, тебе не стоило оскорблять моих жандармов.

— Но, господин капитан... — беспомощно пробормотал Ковач.

— В конце концов, мы разыскиваем твоих дезерти-

ров, хотим хоть в какой-то степени поднять твой авторитет, если его еще можно поднять. И не следовало кричать на них так, что через три дома слышно, будто они собаки, а не солдаты самого надежного подразделения...

— Но...

— Старик, фамилия его, кажется, Гуяш, прятался в хлеву нотариуса, — продолжал капитан, не желая даже выслушать старшего лейтенанта. — Он считал, что мы не станем обыскивать дом, где квартируем. После нескольких оплеух он сознался, что второй мерзавец хотел спрятаться здесь — в доме или в хлеву.

— Здесь? — Ковач растерянно смотрел прямо перед собой, покусывая кончик уса. — Андраш! — заорал он вдруг так громко, что пламя свечи метнулось в сторону, а на стене качнулись две тени.

Андраш появился тотчас же.

— Ты когда был в хлеву?

— Покорнейше докладываю, полчаса назад.

— Заметил что-нибудь подозрительное?

— Покорнейше докладываю, ничего подозрительного я не заметил.

Капитан внимательно слушал их разговор, а затем, осторожно оттолкнув Ковача в сторону, подошел вплотную к Андрашу и спросил:

— Ты кого видел в хлеву?

От капитана несло вином и одеколоном. Когда он раскрывал рот, там поблескивал золотой зуб. На шее у него висела металлическая пластинка на цепочке. Все это Андраш увидел лишь мельком, так как старался смотреть капитану в глаза. Ему казалось: стоит только отвести взгляд в сторону, как жандарм сразу же уличит его во лжи. И хотя Андраш не видел букв на пластинке, он и без того знал, что там выбито два слова: «Полевая жандармерия».

— Кого ты видел в хлеву?

— Девушку, — ответил Андраш, показав локтем в сторону кухни. — Корову она доила.

— А еще?

— Больше никого. — Андраш смотрел капитану в глаза, чувствуя, что долго его взгляда не выдержит. Он с трудом сглотнул слюну и чуть не задохнулся — так у него пересохло в горле.

— Ты сегодня висел на иве?

— Висел, — хриплым шепотом ответил денщик.

— Еще хочешь?

— Покорнейше докладываю, больше не хочу.
— Тогда говори, кого видел в хлеву?!
— Покорнейше докладываю, — сделал вдох Андраш, — никого больше не видел.
— Знаешь дезертиров?
— Да. — Ресницы у Андраша слегка вздрогнули, он перевел взгляд на усики жандарма.
— Старика мы поймали, а второй скрывается где-то здесь. Если старик соврал, мы с него живого шкуру сдерем, а если ты врешь, сдерем шкуру с тебя!
— Никого я не видел... — Взгляд Андраша остановился на орденских планках капитана.
— Смотри в глаза, когда с тобой говорят! — Жандармский капитан кулаком приподнял подбородок Андраша и повернул его так, что взгляды их встретились.— Врешь!
— Покорнейше докладываю, не вру.
— Сейчас увидим. Знаю я таких, как ты. На словах «покорнейше докладываю», а на деле норовят подставить ножку командиру. — Капитан схватил денщика за грудки и оттолкнул в сторону: — Пошли в хлев!
По двору Андраш шел первым, следом за ним — два жандарма, позади жандармов — капитан. Замыкал шествие Ковач, который то и дело спотыкался на скользких плитах.
Лошадь и корова, стоявшие в хлеву, были очень удивлены неожиданным визитом столь важных господ, однако ни та, ни другая не высказали возражений. Бимбо почтительно воздержалась от мычания, а лошадь не стала ржать. Они молча сунули морды в ясли. Бимбо с безучастным видом стала жевать свою жвачку, а вечно голодной Аннуш не оставалось ничего другого, как приняться за солому.
Капитан первым делом заглянул в ясли, хотя там никто не мог спрятаться. Посвечивая фонариком, он хорошо видел, что ни в тех, ни в других яслях нет ничего, чем можно было бы прикрыться.
Тем временем один из жандармов нашел огарок свечи и зажег его. Теперь обыск продолжался при свете. Старший лейтенант Ковач стоял у двери, держа правую руку поближе к кобуре.
— Вылезай! — громко крикнул жандармский капитан сначала прямо перед собой, в пустоту, а затем в сторону чердака, на котором не хватало нескольких досок и нескольких бревен перекрытия, отчего он был похож

на пустое сито. В доброе старое время там держали сено, теперь же у хозяев ничего не было, кошке и той негде было спрятаться, не то что человеку. Затем капитан подошел к топчану и, заглянув под него, крикнул: — Вылазь!

Тишина. Тогда он взял у одного из жандармов карабин и начал штыком тыкать в солому, лежавшую под топчаном. Однако там ничто не шелохнулось.

Андраш побледнел как полотно и посмотрел на пустую кружку, стоявшую на краю топчана.

— А это что такое?!

— Покорнейше докладываю, кружка. Я пил из нее молоко. Хозяйская дочка угощала.

Капитан на миг задумался, затем наклонился и снова начал тыкать штыком в солому под топчаном. Солома шуршала — капитан слушал, склонив голову набок. Жандармы отступили на два шага. Ковач достал пистолет из кобуры:

— Вылазь!

Послышался шорох. Капитан еще раз ткнул штыком в солому. И тут из-под топчана с отчаянным кудахтаньем выскочила курица, до полусмерти напугав сидевшего на корточках жандармского капитана. Несушка подбежала к яслям и опять торопливо закудахтала, словно жалуясь корове и лошади.

Лошади не понравилось, что несушка так близко подбежала к ней со своими жалобами, она отступила назад и уперлась крупом в жандарма, который был вынужден толкнуть своего товарища. В результате оба упали, корова печально замычала, капитан смачно выругался, а несушка все кудахтала и кудахтала.

В мгновение ока хлев превратился в ад накануне светопреставления. Офицеры и солдаты поспешили уйти и уже шагали по двору, а курица все никак не могла успокоиться и продолжала кудахтать.

Двое жандармов обошли двор, заглянули в пустой свинарник, штыками прокололи в нескольких местах кучу валявшегося в углу хвороста, но Йошки Шюте так нигде и не нашли.

Андраш не знал, что и думать: не мог же Йошка превратиться в наседку. В первую минуту он с перепугу был готов поверить в то, что свершилось настоящее чудо, а затем, немного придя в себя, понял, что Йошка выпил молоко и ушел — ушел раньше, чем пожаловали жандармы. Что касается наседки, то она, возможно, сидела

на яйцах и раньше — обычно они ведут себя тихо, если их не начинают колоть штыком.

«Хорошо еще, что у жандармов нет собак, — подумал Андраш, — а то они в два счета догнали бы беднягу».

На середине двора жандармский капитан неожиданно остановился.

— Если бы у нас была ищейка, даю слово, мы за час поймали бы и этого мерзавца, — сказал он, обращаясь к Ковачу.

У Андраша от страха зубы начали выбивать дробь. «Боже мой! — подумал он. — Эти жандармы умеют мысли угадывать на расстоянии!» И он прижался поближе к забору, словно ища убежища.

Оставшиеся в кухне хозяева и хромой звонарь столпились возле двери. Выйти во двор они не осмеливались и стояли у двери, полагая, что отсюда скорее узнают, что там творится. Как бы то ни было, но этот визит жандармов не сулил ничего хорошего.

Капитан вошел в кухню первым. Звонарь отскочил от двери, пропуская его. За офицером вошли жандармы и по знаку своего начальника прошли в комнату хозяев. Правда, на этот раз они не стали переворачивать все вверх дном. Тот, что помоложе, стоя посреди комнаты, зажигал спичку за спичкой, а другой обошел комнату, не забыв заглянуть под кровать. Он открыл даже платяной шкаф, хотя вряд ли верил в то, что дезертир может лежать на полке рядом с постельным бельем.

— В комнате никого нет, — доложили жандармы капитану, выйдя в кухню.

— Мы ищем дезертира! Кто-нибудь из вас видел его?!

Мозеш, придерживая одной рукой скатерть, которая лежала у него за пазухой, замотал головой, показывая этим, что никого не видел.

Выяснив, что Мозеш не имеет никакого отношения к этой семье, капитан приказал ему убираться вон.

— Ты кого видела? — спросил капитан Юлику.

Девушка испуганно вздрогнула и, потеряв дар речи, покачала головой.

— Не ври мне, а то получишь оплеуху! — Капитан подошел к девушке и угрожающе вскинул руку.

Юлика втянула голову в плечи, как будто это могло ее спасти.

Андраш, стиснув кулаки, следил за каждым жестом капитана, мысленно измеряя расстояние: он решил прыгнуть на капитана, если тот ударит Юлику. Что будет по-

том, он не знал, но расстояние на всякий случай все же прикинул.

Однако капитан не ударил девушку, а повернулся к старику:

— Вы тоже никого не видели?

— И я не видел.

— Вы здесь живете и, наверное, распространяете ложные слухи, как и остальные? За распространение ложных слухов — расстрел!

— Да, я здесь живу. Это мой дом, — дрожащим голосом ответил старик.

— Знаете местность вокруг? — Голос у капитана стал не таким грубым.

— Знаю.

— В лесу все дороги и тропки знаете?

— Много там хаживал в свое время, — осторожно ответил Бодзаш.

— Ночью не заблудитесь?

— Если хоть чуть месяц будет светить, пойду как днем. Вопрос в том, в какое время нужно идти и куда.

— Когда прикажут, тогда и пойдешь, и туда, куда потребуется родине!

Хозяйка, стоявшая возле шкафа, в испуге смотрела то на жандармов, то на капитана.

— Не забирайте его! — запричитала она. — Старый он. Из нашего дома один на фронт уже отправился. Вот, пожалуйста, у нас и бумага имеется. — И она полезла за извещением о смерти Мартона Бодзаша-младшего, но жандармский капитан жестом остановил хозяйку.

Ковач и капитан снова прошли в комнату. Капитан поручил Ковачу выслать пеший дозор в сторону железнодорожной станции, чтобы гарантировать себя от всяких неожиданностей.

— Поймал я одного мерзавца, — добавил капитан великодушно. — Передаю его тебе. Поступай с ним, как считаешь нужным.

— Он будет немедленно осужден, — почти торжественно заявил Ковач, — и разумеется, на смерть.

— Само собой, но только не расстрел. Стрельбой мы привлечем к себе внимание противника.

— Нет, не расстрел, — успокоил его Ковач, а сам подумал о том, что охотнее всего расстрелял бы дезертира.

Это несколько расстроило господина старшего лейтенанта, но он ни слова не возразил жандармскому капитану.

Ночь

Ночь заполнила все дворы и все уголки села. Даже звезды на небе и те не блестели, а лишь отливали синим цветом, словно желали притушить свою яркость, опасаясь новых налетов самолетов противника. Село окутала такая темнота, что посторонний не мог пройти и нескольких шагов, чтобы не споткнуться.

Андраш, совершавший по необходимости прогулки от комнаты старшего лейтенанта до хлева и обратно, два раза чуть не упал. Он решил вычистить пистолет Ковача, а поскольку хозяева после обыска все еще сидели на кухне, то, чтобы не пугать их, он отправился в комнату офицера.

Ковач вернулся в школу, а Андраш, оставшийся в его комнате, мог преспокойно беседовать хоть с пистолетом, хоть с масленой тряпкой, которой он протирал канал ствола.

Посмотрев через ствол на пламя свечи, Андраш сказал, обращаясь к пистолету:

— Если бы капитан ударил девушку и если бы в тот момент у меня был пистолет, я всадил бы в него пулю, будь он хоть сто раз капитаном! — Он опустил пистолет и еще раз почистил ствол. — Плохо только, что, когда человек опускает руку в карман, он вместо пистолета находит там масленую тряпку. Когда я вижу где-нибудь тряпку, всегда кладу ее в карман в надежде, что она может пригодиться. А сама тряпка разве думает об этом? — спросил Андраш, накручивая тряпку на палец. И поскольку тряпка не отвечала, пришлось говорить самому. Он даже головой покачал. — Иногда я думаю, а хорошо ли мне будет у господина старшего лейтенанта в кучерах? Правда, это произойдет после войны, когда солдат уже не станут наказывать подвешиванием, сажать под арест, но черт их знает, этих господ, они наверняка что-нибудь придумают. — Он собрал пистолет и еще раз осмотрел его. — Вот сейчас, господин капитан, подняли бы на меня руку, — угрожающим тоном проговорил Андраш и, вложив пистолет в кобуру, положил на самое видное место, на середину дивана, чтобы Ковач увидел.

После чистки оружия Андраш пошел в хлев и, присев на бревно, стал беседовать с лошадью:

— Как ни смотри, а этот Йошка Шюте не выходит у меня из головы. — Он положил руку на белое пятно на лбу Аннуш. — Удалось ли ему уйти?

Лошадь то смотрела на стену, то переводила взгляд на Андраша, но оставалась безучастна.

— Под топчаном его нет, это уж точно. Не мог же он превратиться в наседку. Хотя в этой войне каких только чудес не было... — И он снова задумался.

Переделав все свои дела, он зашел сначала в кухню, но, увидев, что хозяева уже легли спать, взял табурет, поставил его возле двери, сел, прислонившись спиной к стене, и поднял глаза к звездному небу. Он ждал возвращения старшего лейтенанта.

Было тихо. Правда, прислушавшись, все же можно было уловить осторожные шаги патрулировавших жандармов, временами приглушенный разговор. Удивляло то, что унтер Кешерю этой звездной весенней ночью не орал.

Старший лейтенант Ковач тоже разговаривал шепотом. Он принял от жандармов пойманного ими Гуяша, написал приказ, в котором выносил бедняге смертный приговор. Этот приговор он собирался зачитать перед строем роты.

Выставив дозоры, Ковач приказал унтеру Кешерю поднять роту по тревоге и построить во дворе. Затем пошел в дом, где у входа чуть не столкнулся с денщиком.

— Ты что здесь делаешь?

— Покорнейше докладываю, жду вашего прихода.

— Сложил вещи?

— Так точно.

Ковач вошел в дом. Дверь он открывал осторожно, словно боялся, что русские услышат скрип и сразу же пойдут в атаку.

Хотя у Андраша не было часов — ни ручных, ни карманных, ни даже будильника, ему не составляло труда разбудить ротного в назначенный час: когда нужно было, он спал очень чутко. Правда, иногда он вставал на час раньше или на час позже. В таких случаях Ковач спросонья подолгу смотрел на свои часы, полагая, что они идут неверно после русских морозов. Солдаты никогда не обижались за это на своего ротного, они предпочитали приспосабливаться к господину старшему лейтенанту.

Сейчас Андрашу почему-то не хотелось ложиться. Поставив локти на колени, он подпер голову руками и задумался. Сначала вспомнил Мозеша Шенталя, которого вчера впервые увидел на станции; потом мысли его перескочили на Йошку Шюте, который так ловко превра-

тился в наседку; потом на полицейского, который заставил его выйти из строя двенадцатым; потом на капитана; потом на боль в плечах. Хорошо было бы растереть плечи полотенцем или сделать компресс из какой-нибудь целебной травы! Он вспомнил вчерашнюю тишину, когда вел лошадь под уздцы, направляясь в этот дом.

— Юлика... — вдруг тихо пробормотал он себе под нос.

В этот момент дверь из хозяйской комнаты тихо отворилась. Андраш подумал, что это Юлика решила выйти к нему, но ошибся. Это был старый Бодзаш, который в темноте чуть не столкнул его с табурета:

— Ты здесь? А я думал, ты в хлеву.

— Здесь так хорошо, — заметил Андраш. — Спать что-то неохота.

— Мне тоже, — быстро проговорил старик. — Я вот подумал... — Бодзаш сделал паузу, надеясь, что солдат спросит его, о чем именно, но Андраш молчал. — Подумал, раз уж наша коровенка вернулась к нам обратно, то нужно поберечь ее, чтобы опять не увели... — Старик смутился: — Не потому, что я тебя опасаюсь, нет, но ведь вас вон сколько, вдруг кто решит увести...

— Ложись, старый, и спи себе, — успокоил его Андраш.

— Мне и в хлеву хорошо будет.

Старик сделал два шага, потом остановился. В темноте Андраш не видел его, но чувствовал, что он повернулся к нему лицом.

— Ты говорил, что был кузнецом, так?

— Да, так.

Старик постоял, раздумывая, продолжать разговор или не продолжать.

— У нас в селе был свой кузнец... — начал он, но тут же остановился, — да забрали его на войну. — Продолжил он после небольшой паузы: — Какие плуги делал, какие бороны! А как колеса обивал железом: хоть по какой дороге езжай, выдержит...

— Гм!

— А теперь вот кузня пустая стоит...

Последняя фраза старика прозвучала еле слышно. Так опытный, но скромный картежник называет козырь, когда хочет пощадить самолюбие своих партнеров. Старик подождал, пока значение его слов дойдет до Андраша, а потом направился в хлев, бросив уже на ходу:

— Ну, спокойной тебе ночи.

— Спокойной ночи, — ответил Андраш.

Долго сидел Андраш и мысленно представлял себе пустую кузницу. Ему даже показалось, что он слышит, как бьет по наковальне молот, большой молот, а с ним перекликаются маленькие молотки. Ему казалось, он чувствует, как пахнет окалиной, слышит, как свистит воздух в мехах.

— Юлика, — прошептал он тихо-тихо.

— Андраш, — так же тихо отозвалась девушка.

Оказалось, что она стояла совсем рядом: подошла неслышно, он даже не заметил. Однако он нисколько не удивился ее приходу, встал и посмотрел в ее сторону, словно мог увидеть в такой тьме.

— Ты звал меня, правда? — По тону Юлики чувствовалось, что она улыбается.

— Звал, только тихо очень.

— А я все равно услышала.

Андраш и не знал точно, то ли он притянул к себе девушку, то ли она сама прижалась к нему. Он погладил ее по голове. Мягкие тонкие волосы текли между пальцами, застревая в глубоких трещинах.

— Ты не боялась? — спросил Андраш, помолчав.

— Жандармов?

Андраш уже пожалел, что задал Юлике вопрос: чтобы ответить, она подняла голову. Правда, через мгновение она снова положила ее ему на плечо и продолжала говорить в таком положении.

— Да.

— Немного боялась. Но если бы он до меня дотронулся, я бы так вцепилась ногтями ему в лицо, что у него борода бы перестала расти.

— Если бы он тебя хоть пальцем тронул, я бы ему так влепил, что он и на ногах не удержался бы. А потом схватил бы за волосы, выволок во двор, прижал к забору да исколошматил так, как одеяло офицерское выбиваю. Забору и тому больно бы стало. На куски бы его разорвал, чтобы собрать никто не смог.

Девушка прижалась к груди Андраша, который сделал для себя вывод, что, видимо, говорил не так уж плохо.

— И ты можешь быть таким жестоким? — В голосе девушки слышались радостные нотки, будто она заранее знала, каким именно будет ответ.

— Таким я буду всякий раз, — буркнул Андраш, — когда тебя попробуют обидеть.

— Хорошо, когда тебя защищает сильный человек.

— Все кузнецы — сильные люди, — задумчиво произнес Андраш, неловко целуя девушку в голову, как это могут делать только сильные люди, когда пытаются быть нежными. Андрашу хотелось сказать Юлике что-то очень приятное. Он посмотрел на звездное небо и невольно вспомнил несколько песенок, в которых говорилось о звездах и о любви, но у него язык не поворачивался произнести эти слова. Глупо как-то взять да и заговорить с Юликой о звездах. О любви тоже не хотелось говорить — о ней, казалось, нельзя говорить обычными словами. Андраш задумался, но на ум ничего не приходило. Тогда он поправил платок на плечах девушки и с участием спросил:

— Не замерзла? Ветер дует.

— Я не замерзла.

— Как хорошо пахнет!

— Это от земли... — объяснила Юлика. — Весна скоро...

— Солдаты тоже часто так говорят. Помню, и в прошлом году так говорили, и в позапрошлом, а может, и раньше еще. Я тогда над ними только смеялся. «Земля так пахнет... Солнце уже силу набирает...» Я приметил: так обычно говорят те, у кого дома семья осталась — жена, дети...

— И сейчас бы смеялся?

— Сейчас не смеялся бы... — Андраш взял в ладони девичье лицо.

Юлика смущенно отвернула голову в сторону и тихо проговорила:

— Давно я уже здесь. Мама заметит — ругаться станет. — Она словно просила у Андраша прощения: — Мне пора...

— Проститься нам нужно... — с горечью вырвалось у Андраша.

— Уходите... — Девушка опустила голову.

— Такова солдатская доля.

Юлика высвободилась из его объятий и посмотрела на небо.

— Если эта звезда упадет с неба, то уже в Австрии: Венгрия здесь кончается.

— Да, — кивнул Андраш с серьезным видом, — дальше Австрия.

— Вы умеете говорить по-ихнему?

— Нет.

— Тогда что же вы там будете делать? — Девушка приблизилась к Андрашу и вложила свою руку в широкую ладонь солдата. — Что делать будете?

Андраш не ожидал такого вопроса:

— Что делать? Что прикажут...

— И вы с охотой туда идете?

— Нет, без охоты, — ответил Андраш, и рука его дрогнула: он догадался, что скажет сейчас Юлика.

— А если я попрошу, чтобы вы не ходили с ними?

— Это невозможно, Юлика, — затряс он головой. — Просто невозможно. Завтра утром повесят дядюшку Гуяша. И Йошку повесят, если найдут. Эти жандармы всех находят...

— А если я спрячу тебя так, что никто не найдет? И кормить буду тайно... — неожиданно перебила его она.

— Спасибо тебе, Юлика. — Андраш рукой провел по волосам девушки. В глазах у него застыла неописуемая печаль. — Господин старший лейтенант говорит, что солдат не должен цепляться за бабью юбку. Это дело гражданских. — Он тяжело вздохнул и продолжал: — Но что бы ни говорил господин старший лейтенант, я всегда буду думать о тебе, где бы ни был — хоть в Австрии, хоть за тридевять земель. Если будет ночь, я вспомню вот эту ночь. Если будет ветерок, я вспомню этот ветерок. Если наступит весна, я скажу: «Как хорошо пахнет земля! И солнце уже набрало силу...»

Андраш недоговорил — сильно хлопнула дверь, и из дома выбежала тетушка Бодзаш:

— Что ты здесь делаешь? Немедленно иди спать! И как только тебе не совестно?! — испуганным голосом проговорила она. От кротости тетушки не осталось и следа.

Юлика, не говоря ни слова, побежала в дом. Хозяйка, словно не желая замечать Андраша, повернулась и пошла вслед за дочерью. Может, она боялась солдата, а может, считала неприличным ругать при дочери ее кавалера.

Андраш встал на ее пути:

— Не смейте обижать дочку! Мы просто поговорили, и все.

— На это и дня хватило бы, — со злостью сказала женщина.

Андраш нисколько не обиделся и как можно спокойнее сказал:

— Я ее и пальцем не тронул, да никогда и не смог

бы обидеть. Я вам вот что скажу: если мы отсюда уйдем, я все равно рано или поздно вернусь и заберу ее. Хоть с того света, но вернусь, обязательно вернусь! Вот что я хотел вам сказать...

Тетушка Бодзаш несколько смягчилась:

— Ваше дело солдатское, придете, наобещаете с три короба — и поминай как звали. Я не люблю, когда не успеют как следует рассмотреть мою дочь, а уже говорят такие вещи.

— Бывает так, что день и ночь оказываются длиннее целой жизни.

Женщина не знала, что ответить на это.

— Спокойной ночи, — сказала она почти дружелюбно и пошла в дом.

— Спокойной ночи.

Андраш не спеша опустился на табурет. Снова подпер голову руками, поставив локти на колени, и задремал.

По ночному небу время от времени скользили лучи прожекторов, где-то далеко гудел самолет, а с севера доносился приглушенный гул то ли артиллерийской канонады, то ли моторов танков и грузовиков. Неожиданно совсем близко раздалась автоматная очередь. Андраш поднял голову и, вскочив на ноги, осмотрелся. Из школьного двора выскочили встревоженные, заспанные солдаты, стараясь понять, где стреляли. Но стрельба больше не повторилась. Видимо, какой-то часовой с перепугу нажал на спусковой крючок.

Вскоре после автоматной очереди, нарушившей тишину в селе, во дворе Бодзашей появились два жандарма. На этот раз они пришли без шума, в ворота сапогами не били, калитку открыли так тихо, что она даже не скрипнула. Двигались они быстро — так обычно крадутся за своей добычей кошки.

Когда Андраш вырос перед ними, словно из-под земли, жандармы опешили от неожиданности. Они чуть не закололи денщика своими штыками и, только узнав его, несколько успокоились.

— Где господин старший лейтенант? — На сей раз жандарм не говорил, а шептал.

— Господин старший лейтенант лег отдыхать. Приказал разбудить в половине третьего. Уже время?

— Нет еще.

— Разбудить его?

— Не надо. Мы ищем старика-хозяина.

Андраш задумался, что им сказать: что хозяин в хлеву — это нехорошо, что он в доме — тогда они перевернут все вверх дном и перепугают женщин. Что же делать?

— Старика нет дома, — шепнул Андраш.

— Куда его нелегкая унесла?

— Туда пошел, — ткнул в темноту Андраш.

— В хлев?

— Нет, он не сказал куда, — соврал Андраш без зазрения совести, так как обмануть жандарма не считал зазорным.

Жандармы беспомощно переглянулись.

— Точно, что его нет в доме?

— Точно, — ответил Андраш. — Можете сами посмотреть, только тихо: если господин старший лейтенант проснется, большой скандал будет, кричать начнет...

Со стороны улицы послышался тихий свист, заслышав который, жандармы не пошли ни в дом, ни в хлев. Так же бесшумно, как и появились, они исчезли.

Андраш задумчиво смотрел им вслед, в темную дыру калитки, которую они не закрыли. Ему показался очень странным и этот загадочный приход, и не менее загадочное исчезновение жандармов. Он никак не мог понять, почему они не стали искать Бодзаша, если он им так нужен. Наверное, это был единственный случай, когда два полевых жандарма поверили солдату на слово и ушли.

— Мир перевернулся вверх тормашками, — тихо проговорил Андраш, обращаясь к табурету, на котором сидел. Он вытянул ноги, прислонился спиной к стене и уснул.

Андраш мог спать в любых условиях: сидя, стоя и даже на ходу. Если нужно было, он мог спать скрючившись, как вопросительный знак, или вытянувшись, как палка. Однажды он уснул стоя по стойке «смирно» — это случилось в тот момент, когда унтер Кешерю отчитывал его за оторванную пуговицу.

Сейчас Андрашу приснилось, будто унтер миновал калитку и, спотыкаясь в темноте, похожий на большой шар, подкатился прямо ему под ноги.

Денщик проснулся и открыл глаза. Вот чудеса! В калитку как раз вошел унтер Кешерю, он действительно двигался так, как будто видел сон Андраша и хотел, чтобы все соответствовало этому сну.

— Спит! — доложил Андраш.

Кешерю направился в сторону дома.

— Немедленно разбуди его — произошли ужасные события!

Однако денщик решил сразу не сдаваться.

— Мне приказано разбудить его ровно в половине третьего.

— Уже четверть третьего! — Унтер готов был сам разбудить старшего лейтенанта, лишь бы денщик показал ему, где он спит.

— Он очень не любит, когда его будят и пугают, — предупредил Андраш унтера. — Пистолет он всегда держит наготове. Когда его будят, он хватается за него и может выстрелить. Трясти его, например, ни в коем случае нельзя, кричать тем более...

— Тогда разбуди его сам, но только побыстрее. Произошли ужасные события... — Голос унтера дрожал, и, хотя Андраш в темноте не видел Кешерю, по тому, как унтер трещал суставами пальцев, денщик понял: унтер сильно нервничает.

Они вошли в комнату, где спал Ковач. Андраш зажег свечку, чтобы, проснувшись, ротный сразу узнал их и не испугался. Старший лейтенант спал одетым. Рот у него был открыт, кончики рыжих усиков еле заметно подрагивали, лицо опухло и при свете свечи казалось особенно бледным. Унтер Кешерю подумал, что если бы ротный не храпел во сне, то его можно было бы принять за мертвого.

Андраш со знанием дела дотронулся до плеча Ковача. Старший лейтенант открыл глаза и отсутствующим взглядом уставился на потолочную балку, затем несколько раз моргнул и только после этого пришел в себя.

— Господин старший лейтенант, произошли ужасные события... — не свойственным ему страшным шепотом произнес унтер.

— Докладывайте! — приказал ротный.

Приказ подействовал на унтера успокаивающе, вернув ему прежнюю веру в мир и в самого себя. Как и подобает настоящему солдату, он щелкнул каблуками и встал по стойке «смирно»:

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, что в роте в течение ночи никаких происшествий не случилось! — Кешерю почувствовал, что к нему вернулась прежняя уверенность. Слова собственного доклада, произнесенные в положении «смирно», подействовали на него, как глоток палинки на человека, упавшего в обморок.

— Тогда что же такое «ужасные события»?! — заорал Ковач.

Но унтер уже чувствовал себя в своей тарелке: теперь его невозможно было сбить ничем, он уже ничего не боялся. Беда существовала для него только тогда, когда он знал о ней один. Стоило ему доложить об этом, как все становилось на свои места, потому что после его доклада следовал приказ, который надлежало передать дальше, а спустя некоторое время он уже мог докладывать о том, что выполнил его.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, два дозорных, а всего шесть человек, не вернулись в подразделение!

— Не вернулись в подразделение?! — удивленно переспросил ротный, произнося каждое слово раздельно.

— Нет! — чуть ли не с гордостью сказал унтер, упоенный тем, что он лично докладывает ротному о столь важном происшествии.

— Они вступили в бой с противником?

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, они дезертировали.

— Что та-кое?! — заорал офицер.

— Докладываю, унтер-офицер Пап передал, что они сложили оружие.

— Сложили оружие?! Дезертировали?! — Ротный схватил унтера за грудки и потряс его: — Передал? Мне передают такие новости?

Кешерю не имел ни малейшего представления о том, как еще можно доложить об этом. В глубине души он был убежден, что лучше его никто не сумел бы доложить о происшествии.

— А эта скотина, командир отделения, почему не перестрелял их? Почему не перестрелял на месте, когда они побросали оружие?!

— Покорнейше докладываю, унтер Пап, как положено, арестовал их, но они прошили его автоматной очередью и сбежали.

— Прошили очередью?! Тогда, выходит, они вовсе не побросали оружие!

— Выходит, так, — вздохнул Кешерю, освободившись от цепких рук Ковача, — выходит, не сложили.

— Немедленно известите об этом случае господина жандармского капитана! Постройте роту! Я сейчас приду...

Унтер повернулся кругом, оставив на полу след от каблуков, и вышел. Через две минуты его голос уже слышался на школьном дворе:

— Рота, в направлении высокого тополя становись!

Андраш налил в тазик воды для умывания и подал господину старшему лейтенанту. Поскольку подставки не было, тазик с водой на нужной высоте держал перед офицером денщик. Держал до тех пор, пока продолжалась процедура умывания, а она заключалась в следующем: старший лейтенант окунал лицо в тазик, погружая его по самые уши, и оставался в таком положении, пока в легких хватало воздуха. Ковач очень гордился этим умывальным трюком, считая его чуть ли не главным показателем стойкости и мужества настоящего венгерского офицера. Каждый раз, когда ротному приходилось вставать раньше обычного, он, как правило, заменял настоящее умывание именно этим трюком.

— Хватит! Выливай воду!

Однако Андраш почему-то медлил:

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, у меня к вам просьба.

— Какая именно? — Ковач, вытирая руки платком, пытался втянуть кончики усиков в рот. — Какого черта тебе надо?

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю... — В тазике, который Андраш все еще держал в руках, задрожала вода. — Я хочу остаться здесь...

Руки старшего лейтенанта внезапно остановились на полпути. Он даже забыл о своих усиках:

— Ну, говори, говори смелее, что бы ты хотел.

— Я думаю: что мне там, за кордоном, делать? Здесь венгерская земля, родина, а там что? Языка их я не понимаю, война идет к концу... И что со мной тогда станет? Не буду же я всю жизнь чистить вам сапоги. Я на вас не жалуюсь, господин старший лейтенант, вы были добры ко мне... А теперь дезертировать я не хочу, а бросить вас без разрешения не могу. Не извольте на меня сердиться, но дальше я с вами не пойду. Вот я и прошу вас отпустить меня подобру-поздорову.

Ковач сунул мокрый носовой платок, которым вытирал лицо и руки, в карман и приблизился к денщику с таким видом, будто узрел настоящее чудо и никак не мог поверить своим глазам:

— Что ты городишь?

Андраш все еще держал в руках тазик с водой

— Я почти четыре года честно служил вам, господин старший лейтенант, но всему приходит конец.

— Других просьб у тебя нет? — Голос у Ковача был тихий и добродушный.

— Только эта, — недоверчиво сказал Андраш. — Не могу я идти дальше.

И в тот же миг офицер влепил денщику такую оплеуху, что тот полетел к дверям и ударился лицом о косяк. Тазик, описав большую дугу, отлетел в другую сторону, обдав стену фонтаном брызг.

— Идиот! — заорал Ковач. — Если ты хоть раз еще об этом вспомнишь, шкуру сдеру с живого прямо перед строем роты! Понял, свинья ты этакая?

Андраш сжался, закрыл лицо руками и почувствовал боль, но не от оплеухи офицера, а от удара о косяк. В глазах у него плясали черные звезды. Андраш даже не предполагал, что звезды могут быть черными. Он не понимал, что там кричит ротный.

— Я спрашиваю, ты понял?!

— Да, — простонал Андраш, не отдавая себе отчета в том, что говорит.

— Если ты, свинья, на марше отстанешь или сделаешь хоть одно подозрительное движение, я пристрелю тебя как собаку! — снова заговорил Ковач. — Я не потерплю, чтобы мой денщик стал дезертиром! Никаких поблажек делать тебе я не собираюсь! Я отстраняю тебя от обязанностей офицерского денщика: будешь делать то, что и остальные солдаты. И когда рота пойдет в атаку, я первым выгоню тебя из окопа. Понял?

— Так точно.

— Быстро собери вещи и доложи мне, а уж тобой займется унтер-офицер Кешерю. Может, ему удастся сделать из тебя человека.

Ковач ушел в роту.

Андраш знал, что все сказанное ротным следует воспринимать самым серьезным образом. Он прекрасно понимал, что отстранение от должности денщика и передача в прямое подчинение унтер-офицеру Кешерю делает его положение более ужасным, чем положение крохотной мышки в лапах голодной кошки.

Такая перемена в судьбе была гораздо страшнее смертного приговора, так как приговор приводят в исполнение один-единственный раз, после чего наступает вечный покой, а унтер Кешерю заставит несчастного

солдата умирать каждый день, и, будь у этого бедолаги сто жизней, он бы его сто раз и убивал.

Рассвет

Заслышав шум в комнате офицера, Юлика тихонько приоткрыла дверь и стала наблюдать за происходившими там событиями. Когда старший лейтенант ушел из дома, она бросилась к Андрашу. Теперь она уже знала, как обтирать лицо пострадавшему. Намочив платок, она чуть прикасалась к лицу Андраша.

— Очень больно? — спросила она.

— Я хотел остаться здесь, — с печальной улыбкой прошептал Андраш. — Хотел остаться, но нельзя... Нельзя, Юлика, пойми...

— Я спрячу тебя.

Андраш покачал головой:

— Нет, они и вас убьют.

Он пошел в хлев, где, к своему удивлению, не нашел хозяина. Поинтересовался у лошади, что она думает по этому поводу и что это за хлев, откуда люди исчезают, словно духи, — сначала Йошка, а теперь вот хозяин. Аннуш беспокойно стригла ушами, затем с трудом, потому что было тесно, повернулась и, вытянув шею, достала чуть ли не до самой двери.

Андраш подумал, что, может, старик вообще не заходил в хлев, а ушел куда-нибудь к соседям, испугавшись, что жандармский капитан сдержит свое слово и заставит его в качестве проводника провести их через лес.

Андраш вывел лошадь во двор. Она шла, цокая подковами по каменным плитам. На плече у денщика висел вещмешок, в руках он нес чемодан ротного.

У калитки его поджидала Юлика.

— Прощай, — тихо сказал Андраш.

Головка девушки выделялась светлым пятном в темноте.

— Пусть ваши ноги превратятся в корни, которые вам не удастся вытащить из нашей земли, — вот мое третье желание.

— Прощай, — вместо ответа произнес Андраш.

Лошадь пригнула голову к земле и покорно пошла за денщиком. Андраш слышал, как калитка тихо закрылась за ним, словно молитвенник по окончании обедни.

Господина старшего лейтенанта мучили подозрения. Он стоял посреди школьного двора перед строем роты. Было так темно, что, идя вдоль строя, он несколько раз натыкался на солдат. Один раз даже вскрикнул от охватившего его ужаса. Ротному было страшно стоять перед собственными солдатами и слушать доклад унтера Кешерю, который бегом помчался в дом нотариуса, чтобы выполнить приказ Ковача и рассказать о случившемся жандармскому капитану. На школьный двор унтер вернулся вскоре после Андраша.

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю... — начал хриплым и таким тихим голосом унтер, что солдаты подумали, уж не ранило ли его по дороге. — Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, рота построена в готовности совершить очередной марш. В полном составе, никаких происшествий не случилось... — В этом месте унтер сделал передышку, сглотнул набравшуюся во рту слюну и потерял голос.

— В полном составе? — недоуменно спросил Ковач. — А дезертиры?

— Покорнейше докладываю, я их уже вычеркнул из списка личного состава, так что все в полном порядке, — скромно объяснил унтер и снова сделал паузу, ожидая, что ротный похвалит его за проявленную инициативу и оперативность, но ротный не собирался этого делать. Тогда унтер продолжал, но уже не командирским голосом, а как-то по-граждански: — Господин старший лейтенант, извольте узнать, что жандармы исчезли!

— Что вы говорите, черт возьми?! — взорвался Ковач.

— Они бросили нас... — шепнул Кешерю. — Господин старший лейтенант, они бросили нас на произвол судьбы, решили, пока мы будем сражаться с противником, дать драпака...

— Заткните пасть! — зашипел на унтера ротный, которому вдруг показалось, что земля под ним заколебалась. От волнений и страха его начало мутить и чуть не вырвало. Однако когда первый страх прошел, господин старший лейтенант витязь Ковач понял, что ситуация на самом деле не такая уж безнадежная.

Офицер глубоко вздохнул: наконец-то он остался совсем один и может распоряжаться солдатами как хочет — над ним нет заносчивого начальника, и его слово для всех теперь закон. Правда, Ковач немного сожалел,

что момент этот наступил сейчас, когда положение далеко не стабильно, но в то же время был уверен: никто не сможет отнять у него всей полноты власти.

Он подал команду:

— Смирно! — и торжественно начал: — Солдаты! То тяжелое положение, в котором мы временно оказались, требует от нас исключительной дисциплины и порядка. Поэтому я, как старший по званию, объявляю себя начальником гарнизона. Начиная с этой минуты все вопросы боевой деятельности и быта решаю только я. Надеюсь, что все вы, как подобает венгерским солдатам, без промедления и точно будете выполнять мои приказы и распоряжения, а тот, кто откажется их выполнять, будет строго наказан: его ждет расстрел на месте!

Ковачу казалось, что речь его решительна и в то же время достаточно лаконична.

Вслед за тем он как и подобало начальнику гарнизона, отдал приказ унтеру Кешерю привести в исполнение приговор по делу о дезертирстве Пала Гуяша. Но тут обнаружились серьезные трудности. Унтер Кешерю высказал опасения относительно того, можно ли почью дать залп по приговоренному. В ответ на это Ковач приказал заменить расстрел казнью через повешение. И тогда, по-видимому впервые за все время службы в армии, Кешерю возразил ротному:

— Так не пойдет, господин старший лейтенант.

— Не пойдет? — изумился Ковач.

— Покорнейше докладываю, — зашептал унтер, — в уставе есть команда «Залпом — пли!» и я могу ее подать, но на повешение уставной команды нет. Да и кто будет вешать? У нас нет специалистов...

— Хорошо, — сказал ротный, немного подумав, — приговоренного к смерти связать и под охраной вести в роте. Днем на первом же привале приговор привести в исполнение — расстрелять в лесу. Сейчас, в темноте, никто из солдат не увидит его смерти, а для нас важен эффект устрашения.

И новоиспеченный начальник гарнизона отдал приказ двигаться в западном направлении.

Старший лейтенант уверенно вел роту до самой церкви. За церковью дорога раздваивалась, что несколько сбило ротного с толку. Он скомандовал: «Рота, стой!» — вынул карту и при свете горящей спички, прикрывая ее пламя рукой, чтобы противник не заме-

тил, начал внимательно изучать. На карте, однако, не были обозначены ни дороги, ни сама церковь, а все село уместилось в крошечном кружочке.

С колокольни были вызваны два наблюдателя. Один из них посоветовал идти по левой дороге, сославшись на то, что через несколько километров дорога эта — днем с колокольни это хорошо было видно — углублялась в лес.

Ковач согласился. Не прошли они и ста метров, как со стороны железнодорожной станции или откуда-то по соседству с ней в небо взлетела белая осветительная ракета.

— Ложись! — приказал унтер Кешерю.

Ракета медленно поднялась, а затем чуть ли не над их головами замерла и, словно волшебная лампа, залила все вокруг ярким светом. Потом она медленно полетела к земле, оставляя за собой длинный, хорошо видимый в ночной тьме след, и рассыпалась на сотни мелких звезд.

— Встать! Бегом — марш! — скомандовал витязь Ковач, вскакивая в седло, и, подавая пример подчиненным, пришпорил Аннуш и поскакал по дороге.

Однако смелый галоп Ковача в голове роты оказался самой короткой скачкой за всю войну. Возможно, он продолжался столько времени, сколько бывалому солдату нужно для того, чтобы пришить оторванную пуговицу. Лошадь, хотя и не очень охотно, могла бы скакать и дальше. Силенок у нее, правда, было не ахти, но ей было полезно немного поразмяться. Да только господин старший лейтенант, проскакав несколько сот метров, почувствовал себя в темноте как-то неуверенно. На какое-то мгновение он испугался, что, быть может, за ним никто не бежит. Потом это чувство сменилось другим, еще более страшным: мало того, что подчиненные могли отстать от своего командира, навстречу ему или откуда-нибудь со стороны могли выйти не свои, а русские солдаты. Тогда ему пришлось бы принять бой одному, а все потому, что он оторвался от собственной роты.

Подумав об этом, Ковач не стал подстегивать лошадь. Правда, он и не остановил ее, словно боялся, что она может его выдать. Короче говоря, он предоставил ей право действовать по своему лошадиному разумению.

У Аннуш разум был: она пробежала галопом еще

несколько метров, чтобы всадник мог насладиться всеми прелестями тряски в седле, но очень скоро перешла на шаг, а затем, не получив никакого импульса, остановилась. Ковач готов был поклясться, что Аннуш по собственной воле через секунду повернула обратно, но, если бы лошадь могла говорить, она под присягой заявила бы, что хорошо почувствовала, как всадник развернул ее в обратном направлении и даже пришпорил несколькими ударами каблуков.

Как бы то ни было, лошадь уже шла в обратном направлении, и шла до тех пор, пока не заслышала топот солдатских ног. Тогда она остановилась посередине и без того узкой дороги, чтобы ненароком не наскочить на кого-нибудь. Зато на нее наскочил бежавший во главе роты унтер Кешерю.

— Ой! — закричал унтер.

— Фрр! — захрапела лошадь.

И тут началось столпотворение: солдаты наскакивали друг на друга, спотыкались и падали, отовсюду слышались ругательства, стук и звон котелков, кружек и бог знает чего еще.

Аннуш, сообразив, что явилась причиной стольких несчастий, спокойно и медленно, чтобы не затоптать упавших, повернулась в тесном кольце солдат, опрокинув при этом на землю всех, кто попал в радиус ее разворота, — так вращающаяся дверь модного отеля валит с ног ватагу школьников или гостей, приглашенных на свадебное пиршество в ресторан, когда они пытаются пройти через нее разом.

Разумеется, бежавшие в хвосте роты солдаты не имели ни малейшего представления о том, что произошло в первых рядах. Одни предполагали, что произошло нечто из ряда вон выходящее, другие — что унтер Кешерю вошел в непосредственное соприкосновение с противником. Стрельбы, правда, никто не открывал, потому что на это не последовало приказа унтера, а без него никто из солдат не рискнул бы вступить в бой.

Спасло положение лишь то, что приказ унтера «Рота — бегом марш!» не все солдаты восприняли серьезно. Пробежав несколько метров, многие перешли на шаг, а задние вообще едва переставляли ноги. В хвосте роты двигались конные повозки, и кучера совсем не собирались заставлять исхудавших, измученных животных бежать по незнакомой дороге, когда кругом тьма

хоть глаз выколи. Они больше оглядывались назад, давно свыкнувшись с мыслью, что, если в тылу у них окажется хотя бы один русский солдат, они мгновенно сдадутся в плен превосходящим силам противника.

Во всяком случае, факт остается фактом, что если бы солдаты в полном смысле слова выполняли приказ своего ротного и бежали за ним со всех ног, то при создавшейся ситуации катастрофа была бы неизбежна.

Прошло довольно много времени, пока в роте был восстановлен порядок. Господин старший лейтенант слез с лошади и, бросив поводья денщику, отдал необходимые распоряжения относительно обеспечения дальнейшей безопасности марша, поручив ефрейтору Тоту, возглавлявшему группу из двух человек, принять ночной бой в случае столкновения с противником.

Обязанности денщика при ротном с этого момента начал исполнять Лайош Мюллер. Получить столь ответственную должность увальню Лайошу помог унтер Кешерю. Он смягчился и, забыв о своей неприязни к солдату, страдавшему грыжей, решил, что это пойдет Мюллеру на пользу. Лайошу ничего не оставалось, как взять вещи ротного и тащить их на своих плечах. И хотя довольно скоро ему удалось пристроить их на одну из повозок, а потом и самому вскарабкаться на козлы, такая барская жизнь длилась недолго. Заслышав голос ротного, Лайош был вынужден соскочить с повозки и броситься со всех ног в голову колонны, чтобы принять у Ковача поводья.

На беду, новый денщик ротного не только страдал грыжей, но и панически боялся лошадей, поэтому общение с Аннуш очень скоро превратилось для него в сплошное мучение. Лошадь сразу почувствовала чужую руку и то, что уход за ней поручен черствому человеку, который никогда не заговорит с ней о мировых проблемах, и потому дергала головой в самый неподходящий момент. И тогда поводья выскальзывали у Мюллера из рук и ему приходилось бежать за Аннуш, а догнать ее было не так-то легко.

Мюллер пошел на хитрость: он так крепко наматывал поводья на руку, что Аннуш не могла вырваться, зато, когда она поднимала голову, Лайош невольно отрывался от земли, словно пытался научиться летать по воздуху. И чем дальше шла рота, тем больше Мюллер убеждался, что новый метод лечения грыжи, изобретен-

ный унтером Кешерю, не является единственно надежным.

Андраш плелся в самом хвосте ротной колонны. Позади него ехали только повозки. Рядом с ним, тяжело переставляя ноги, шел Лампар, который даже не спросил, почему Андраш вдруг оказался не впереди, а позади. За время службы у телефонного аппарата он привык принимать массу самых различных по содержанию известий, но никогда не интересовался, что да как. Андраш же не думал о том, что ему следует что-то объяснять. Так они и шли долгое время рядом, не говоря ни слова, вцепившись в ремни вещмешков, опустив вниз головы, словно для того, чтобы, несмотря на темноту, разглядеть собственные ноги.

Время от времени Андраш осторожно ощупывал свое лицо. Оно уже болело не так, как сразу после удара. Он надеялся, что, быть может, оно даже не распухло и солдаты ничего не заметят. Он старался ни о чем не думать: ни о старшем лейтенанте, ни о его лошади, ни о селе, что осталось позади, ни о Юлике. Однако стоило ему прикоснуться к краешкам губ, как он невольно вспомнил носовой платок Юлики, смоченный в холодной воде, и все происшедшее мгновенно всплыло в его памяти, да так ясно, что даже желудок свело судорогой.

— Что с тобой? — спросил его Лампар.

— А что?

— Да ты стонал сейчас.

— Бывает, что и застонешь.

Из них двоих Лампар казался более разговорчивым, но в этом не было ничего удивительного. Андраш привык разговаривать с вещами, которые не могли ему ответить: с ботинками, с сапогами, с пистолетом, с лошадью. Лампар же всегда держал у уха телефонную трубку, из которой ему что-то говорили, так что он разговаривал не сам с собой, а с другими людьми.

— Куда идем, ты, случайно, не знаешь?

Андрашу было приятно, что, несмотря на то, что его отстранили от должности офицерского денщика, Лампар проявляет к нему живой интерес и доверяет его осведомленности. К сожалению, Андраш не знал, куда они идут, поэтому чувствовал себя перед Лампаром несколько неудобно.

— Куда идем? — повторил Андраш вопрос Лампара

и продолжал: — У нас в селе поют одну песенку. Ее каждый ребенок знает:

Морковка, пастернак,
Куда гонят солдат?
Гонят недалече,
На край света...

Вот и нас туда же гонят. — И, сделав два шага, Андраш добавил: — Туда мы и идем.

Лампар отнюдь не считал это невероятным, поэтому он нисколько не обиделся и не ответил ему грубостью. И вид у него был такой, будто он серьезно обдумывал, за сколько дневных переходов они доберутся до края света, если будут проходить в день по тридцать — сорок километров.

Дорога незаметно пошла вверх: стало труднее идти. Несмотря на свежий предрассветный ветерок, пришлось сдвинуть фуражки на затылок. Сначала это сделали пожилые солдаты, а затем и молодые, но, чем дальше они шли, тем чаще мозолистые солдатские руки тянулись вытирать выступивший на лбу пот.

Лошади тоже пошли медленнее, чаще всхрапывали, а от их крупов поднимался горячий, пахнущий потом пар.

Во время марша их еще раз остановила белая ракета, которую выпустили оттуда, откуда и первую ракету. В ее свете были хорошо видны и церковная колокольня, и луг на склоне холма, и дорога, исчезавшая за поворотом в лесу, до которого было не более четверти часа ходьбы.

Как только ракета погасла, двинулись дальше. Небо на востоке начало сереть.

Лампар, видимо, правильно оценил сообщение Андраша и, как только рота вошла в лес, дернул бывшего денщика за рукав шинели:

— Умотать бы отсюда, а?

Андраш не стал делать вида, что не понял предложения Лампара, и высказался без обиняков:

— Расстреляют же...

— Если поймают.

— Поймают, — решительно заявил Андраш. — Спроси об этом у дядюшки Гуяша.

Старый Гуяш со связанными за спиной руками шагал за одной из повозок, сопровождаемый вооружен-

ным часовым. Оба они, старик и часовой, хорошо знали, что во время первого привала Гуяша расстреляют. Знали об этом и все солдаты в роте.

— В лесу это сделать легче, — не отступал Лампар, все же бросив беглый взгляд на старика.

— Попытайся в одиночку, — спокойно посоветовал Андраш.

— В одиночку нельзя.

— Почему?

Лампар задумался, а потом сказал:

— Не знаю. Вдвоем хоть поговорить можно, когда страшно станет.

В предрассветном лесу уже летали птицы. Черные дрозды громкими голосами приветствовали друг друга и занимающееся утро. Пережившие суровую зиму синицы с веселым щебетанием раскачивались на тонких ветках. От земли поднимался густой, тяжелый пар. Текли ручьи талой воды. От спин утомленных переходом солдат тоже поднимался пар.

Однако туман окутывал землю недолго, вскоре он рассеялся, не оставив следа. Когда рота вышла на поляну, тумана уже не было. Серое небо очистилось от облаков, а с восходом солнца оно сразу же поголубеет.

На краю поляны виднелся пограничный столб — это была граница Германской империи. Солдаты понимали, что сейчас будет привал, но им не удастся присесть, так как земля мокрая, а с голых ветвей все время срываются тяжелые дождевые капли.

Объехав строй роты, Ковач остановился и заговорил:

— Солдаты! — Он не кричал, поскольку не был уверен, что поблизости нет противника, но говорил все-таки так, что его могли слышать все солдаты роты.

Андраш тоже прервал свои наблюдения за белкой и прислушался к словам ротного.

— Солдаты! Сейчас мы сделаем небольшой привал, а затем пойдем дальше. Настал торжественный момент! Еще несколько шагов, и мы окажемся на территории нашего великого союзника, на земле Германской империи. Я верю в мужество венгерского солдата. Надеюсь, что каждый из вас будет строго соблюдать воинскую дисциплину и порядок. Но прежде чем пересечь границу, мы должны восстановить честь нашей роты. Дезертиры и изменники родины не ступят вместе с нами на

землю нашего великого союзника. А сейчас я зачитаю вам приказ...

Старший лейтенант вытащил из кармана листок бумаги и зачитал приказ с таким пафосом, будто ораторствовал с высокой трибуны перед огромной толпой. Огорчало ротного только одно — что никто из вышестоящих начальников не видит его сейчас и не слышит этой речи, а ведь он витийствовал как старший по званию офицер. Будь здесь жандармский капитан, он наверняка чем-нибудь да испортил бы ему это торжество.

Приказ, зачитанный Ковачем, целиком относился к дезертирам, бежавшим из роты. В первой его части говорилось о том, что личный состав роты до самого последнего времени беспрекословно выполнял все приказы командира и что именно поэтому любую, даже малейшую заразу необходимо беспощадно выжигать каленым железом. Далее Ковач разделил дезертиров на две группы. К первой он отнес тех, кому удалось дезертировать из части. О них он сказал следующее:

— Те, кому до сегодняшнего дня удалось сбежать из роты, рано или поздно будут пойманы. В этом нет никаких сомнений. Как начальник гарнизона и ротный командир, в точном соответствии с законом я приговариваю их к смертной казни через повешение!

Ко второй группе был отнесен рядовой Пал Гуяш. Учитывая преклонный возраст преступника и наличие у него многодетной семьи, ротный заменил смертную казнь через повешение расстрелом.

— Настоящий приговор немедленно привести в исполнение перед строем роты! Унтер-офицер Кешерю!

— Слушаюсь!

— Выполняйте!

— Слушаюсь!

Ковач шепнул что-то унтеру на ухо, но что именно, никто не расслышал. Только сразу же после данного шепотом указания унтер вызвал к себе Андраша, Меньхорта Лампара и еще двух солдат. Построив их в направлении одиноко стоящего высокого тополя, унтер крикнул:

— Вы являетесь отделением, которому выпала честь привести приговор в исполнение!

При этих словах унтера у всех четырех солдат по коже пробежал мороз.

Нужно признаться, что должного опыта в выполнении подобного приказа у унтера Кешерю не было. Правда, когда-то его учили командам, которые следует подавать в таких случаях, но он их давным-давно позабыл и теперь не знал, в какой последовательности они должны подаваться.

Для начала он скомандовал четырем солдатам:

— До кормушки шагом—марш!—и тут же вспомнил, что самого приговоренного к смерти оставили в ротном обозе. И тогда он скомандовал: — Отставить!

Пала Гуяша отвязали от повозки, а уж затем Кешерю приказал отвести его к кормушке.

Отделение построилось следующим образом: посередине Лампар и Андраш, а по бокам по одному солдату. Унтер Кешерю кругами бегал около них.

Рядовой Пал Гуяш медленно шел на указанное ему место. Он сильно горбился, фуражка съехала ему на лоб, но он не мог поправить ее, так как руки у него были связаны за спиной, а может, в данный момент его волновали более серьезные вещи, чем съехавшая на лоб фуражка.

Расстояние между арестованным и особым отделением было не более десяти метров. Унтер довел Гуяша до столба, поставил спиной к нему и вернулся к роте.

Ротный, поручив лошадь заботам Мюллера, встал позади отделения, которому было приказано расстрелять старика Пала.

Унтер уже хотел было скомандовать: «Огонь!» — но что-то вспомнил и побежал к столбу.

— Есть у тебя носовой платок? — спросил он у старика. — Положено завязать тебе глаза платком.

— Есть, но очень грязный, — шепнул Гуяш, словно стесняясь, что для столь торжественной церемонии у него не оказалось чистого платка.

Унтер колебался — он не любил нарушать уставные правила. Он полез в карман и вытащил красивый платок, который вряд ли был чище платка дядюшки Пала, но это нисколько не смутило унтера, тем более что, по его мнению, именно грязный платок подходил для таких целей: через него приговоренный к смерти действительно ничего не увидит. Завязав этим платком глаза Гуяшу, унтер побежал назад.

Однако не успел он добежать до особого отделения, как осужденный упал на колени и взмолился:

— Господин старший лейтенант, не расстреливайте меня! Просто я хотел увидеть своего внука! Не убивайте меня... — И тут голос изменил старику, хотя губы продолжали шевелиться.

Андраш искоса посматривал на солдат, которые растерянно переглядывались.

— Чего вы медлите?! — заорал Ковач на солдат. — Стреляйте!

— Слушаюсь! — гаркнул унтер. — Цель — дезертир, стоящий у столба! По цели...

Четыре человека нехотя оторвали винтовки от земли и приложили их к плечу. Эти четверо прошли всю войну, но ни одному из них до сих пор так и не довелось ни единого раза выстрелить из своей винтовки по ясно видимой цели. Теперь же перед ними стоял живой человек, им нужно было нажать на спусковой крючок и убить его.

Винтовка ходила ходуном в руках Андраша. С большим трудом он поймал цель на мушку. «Словно белка скачет», — подумал он и, прежде чем Кешерю успел подать следующую команду, повернулся кругом, оказавшись лицом к лицу с Ковачем:

— Господин старший лейтенант, покорнейше докладываю, мы стрелять не станем!

Никто не уполномочивал Андраша говорить от лица других солдат, но те, к ужасу унтера, тоже опустили винтовки и повернулись кругом.

Рота затаила дыхание. Лошади в обозе и те превратились в изваяния, замолкли птицы в лесу, и даже дождевые капли, скатывавшиеся с листьев, словно пренебрегая законами физики, казалось, задерживали свое падение. Стало тихо-тихо. И только со стороны долины доносился гул колес тяжело груженного поезда.

— Не станете стрелять?! — прохрипел Ковач и схватился за пистолет.

Андраш увидел перед собой ствол пистолета, и в тот же миг грохнул выстрел. Пуля прошла рядом с его головой, но не задела.

— Не попали, господин старший лейтенант! — радостно выкрикнул Андраш. — Из этого пистолета вам меня не убить, ведь я сам всегда его чистил.

— Расстрелять и этих четверых! — заорал Ковач, поворачиваясь лицом к унтеру.

Унтер замер в положении «смирно» так, как, видно, еще никогда не замирал.

— Слушаюсь, расстрелять и этих четверых! — повторил он приказ ротного, но даже не пошевельнулся.

Где-то вдали послышалась пулеметная очередь.

— Расстрелять! Расстрелять всех предателей! — орал офицер.

— Слушаюсь! — гаркнул унтер и опять не пошевелился.

Андраш сделал шаг вперед:

— Нас уже нельзя расстрелять, господин старший лейтенант! — И он взял винтовку на изготовку.

Его примеру последовали и трое его товарищей.

— Что такое?! — испуганно спросил ротный. — Мятеж?!

Солдаты, стоявшие под деревьями, только сейчас, из слов ротного, поняли, что здесь происходит. До этого момента они испуганно следили за тем, что творится у них на глазах, и пытались понять, в чем, собственно, провинились четверо их товарищей. Но стоило только старшему лейтенанту произнести одно-единственное слово «мятеж», как всем мгновенно стало ясно, что случилось то самое, чего всегда так боятся офицеры и за что карают самым беспощадным образом, даже когда мятежа еще нет, а есть лишь намек на него.

И они сразу поняли, как следует поступить. Строй, стоявший за спиной старшего лейтенанта, вздрогнул и зашевелился.

Ковач услышал этот шум.

— Вы с ума сошли! — попытался он утихомирить четверых подчиненных, застывших перед ним с винтовками наперевес. — Разумеется, мы не станем расстреливать каждого... — Офицер быстро повернулся лицом к строю роты: — В путь! Продолжать марш!

— Не будет никакого марша! — решительно проговорил Андраш, почти касаясь штыком груди офицера. — Не будет никакого марша, господин старший лейтенант! Хватит с нас ваших окриков, оплеух и наказаний! Хватит!

— Андраш!

— Четыре года я вам служил, господин старший лейтенант, но всю жизнь служить не собираюсь. Мы жить хотим — для этого нас наши матери на свет родили. Никуда мы дальше не пойдем!

Строй роты придвинулся ближе.

Ковач бросил беспомощный взгляд на унтера Кеше-

рю, который, словно мумия, застыл в положении «смирно», уставившись отсутствующим взглядом в пустоту, как бы ожидая дальнейших приказов ротного, но в то же время весь его вид говорил о том, что сейчас бесполезно что-либо приказывать.

Офицер испуганно поворачивался то к унтеру, то к к ослушавшимся его приказа четверым солдатам, то к роте, то снова к унтеру, будто надеясь, что, пока он так крутится, какая-то незримая сила восстановит дисциплину и порядок в его роте. Офицера обуял панический ужас.

— Лошадь мне! — крикнул он вдруг Мюллеру и, не дожидаясь, пока ему подадут лошадь, сломя голову бросился в глубь леса.

Никто не помешал ему. Вслед за ним бросились лишь унтер Кешерю да Мюллер с лошадью.

Тем временем кто-то развязал руки старику Гуяшу. И он, пошатываясь, словно пьяный, шагнул навстречу роте. На какое-то мгновение все замерли, словно боялись, что стоит им пошевелиться, как все изменится.

Первым нарушил тишину солдат, который стоял рядом с Андрашем:

— Мы так и замерли. Казалось, ноги наши превратились в корни и вросли в землю, — весело сказал он.

— Да ну? — удивился Андраш и засмеялся.

— Кто бы мог поверить, что все так обойдется! — заметил кто-то из солдат.

— Жаль, что раньше этого не случилось, — произнес другой.

— А как быстро побежал наш господин старший лейтенант! — смеясь, проговорил Лампар.

— Вот так же закончилась и первая мировая война, — сказал Пал Гуяш, вытирая платком унтера пот со лба.

Почувствовав важность наступившего момента, все вопросительно уставились на старого Пала Гуяша, которому довелось пережить конец первой мировой войны и который, как всем казалось, должен был знать, что надо делать теперь.

Когда все голоса смолкли, старик спокойно, как-то очень просто и в то же время торжественно произнес:

— Добрый день, люди!

И эти его слова прозвучали как заветная молитва. Сказав это, старик снял с головы фуражку и поднял ее

над головой так, как в доброе мирное время поднимают шляпу, встречая друга, как приветствуют односельчанина в первый день жатвы.

Через несколько минут солдаты неторопливо, словно прогуливаясь, двинулись обратно к селу.

Выйдя на опушку леса, они на миг остановились. На церковной колокольне развевался большой белый флаг. Навстречу солдатам из долины плыл мирный колокольный звон, и казалось, что это сама венгерская земля приветствует своих блудных сыновей, возвращающихся из дальних далей, где им довелось хлебнуть горя горького.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Геза Мольнар *В конце войны*	5
Геза Мольнар *В конце войны и после...*	113
Арпад Тири *Вероника*	192
Имре Добози *Мятежная рота*	277
Дьердь Шош *Перед рассветом*	308

В конце войны.: Сб. повестей/Пер. с венг. В. По-
В11 ходуна. — М.: Воениздат, 1987. — 458 с.

В пер.: 3 р.

В настоящий сборник вошли повести венгерских писателей — Г. Мольнара «В конце войны», «В конце войны и после...», А. Тири «Вероника», И. Добози «Мятежная рота», Д. Шоша «Перед рассветом», в которых рассказывается об участии хортистской армии во второй мировой войне, об освобождении Венгрии Советской Армией, о борьбе венгерского народа за свободу и о той симпатии, с которой простые люди встречали своих освободителей.

Книга предназначена для массового читателя.

В $\frac{4702140100-205}{068(02)-87}$ 156-87 ББК 84.4Вн

В конце войны

СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ

Перевод с венгерского В. Походуна

Редактор *Г. Г. Афанасьев*
Редактор (литературный) *Г. В. Казнина*
Художник *Е. Х. Гамза*
Художественный редактор *Н. Я. Богданова*
Технический редактор *О. В. Рыбина*
Корректор *А. В. Сивкова*

ИБ № 2726

Сдано в набор 24.02.87. Подписано в печать 04.05.87. Г-10326.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обыкн. нов. Печать высокая.
Печ. л. 14 1/2. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр. отт. 24,58. Уч.-изд. л. 26,68.
Тираж 65 000 экз. Изд. № 10/1716. Зак. 310. Цена 3 р.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
1-я типография Воениздата.
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3.

ВЫЙДУТ В 1988 году

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

СЕМЕРДЖИЕВ А. **...И погибали несломленными:** Повесть/Пер. с болг. — 24 л. — В пер.: 2 р. 70 к.

В повести видного болгарского военачальника и писателя рассказывается о вооруженной борьбе болгарского народа против монархо-фашистской диктатуры.

Начальник генерального штаба БНА генерал-полковник Семерджиев, являясь активным участником описываемых событий, воссоздает одну из героических страниц партизанского движения в Болгарии в годы второй мировой войны — славный боевой путь партизанского отряда имени Антона Иванова.

Книга, написанная в яркой художественной форме, привлечет внимание широкого круга читателей.

ВАЙЯН Р. **Странная игра:** Роман/Пер. с франц. — 13 л. — В пер.: 1 р. 70 к.

В романе известного французского писателя, публициста и драматурга Роже Вайяна раскрывается широкая панорама борьбы французских патриотов против гитлеровских захватчиков и местных коллаборационистов.

Автор говорит о решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма и освобождении народов Европы от нацистской тирании.

С большим художественным мастерством писатель дает бытовые зарисовки жизни французского общества в тяжкие годы оккупации.

Книга представит интерес для широкого круга читателей.

АЛЬ-АЛИ М. **Произвол:** Роман/Пер. с араб. — 20 л. — В пер.: 2 р. 30 к.

Роман сирийского автора посвящен жизни и борьбе арабского народа Сирии в первой половине 40-х годов, накануне ликвидации французского колониального режима.

Герои романа — простые крестьяне, самоотверженно борющиеся против самоуправства и жестокости колониальных властей и происков сионистов.

Динамичность повествования и красочность языка романа привлекут внимание широкого круга читателей.

Летучие мыши появляются ночью. Сборник: Романы/Пер. с болг. — 24 л. — В пер.: 2 р. 70 к.

В книгу включены произведения современных болгарских писателей — роман Б. Райнова «Умирай только в крайнем случае», посвященный работе органов государственной безопасности НРБ, и роман П. Вежинова «Летучие мыши появляются ночью», в котором рассказывается о становлении народных правоохранительных органов и их полной героики деятельности.

Напряженный сюжет романов привлечет внимание массового читателя.

ЗИНКЭ Х. **Неизбежный финал**: Повести/Пер. с рум. — 24 л.— В пер.: 2 р. 70 к.

Хараламб Зинке — известный румынский писатель, автор многих произведений приключенческого жанра.

В сборник включены три повести. «Неизбежный финал» и «Дело одинокого летчика» посвящены самоотверженному труду сотрудников органов госбезопасности, раскрывших и обезвредивших группу агентов империалистических разведок. В повести «Отважный» показано, как румынским разведчикам удалось сорвать контрудар немецко-фашистских полчищ в районе Бухареста, когда румынская армия вела боевые действия против гитлеровских войск.

Книга представит интерес для широкого круга читателей.

«Белые линии». Сборник: Повесть и рассказы/Пер. с чешск.— 25 л. — В пер.: 2 р. 80 к.

В сборник включены произведения современных чехословацких писателей — документальная повесть Р. Шулига «От расплаты не уйти» и рассказы И. Прохазки о работе инспектора службы безопасности Яна Земана.

В повести и рассказах на богатом фактическом материале раскрывается история органов безопасности ЧССР, их мужественная борьба против врагов социалистического строя.

Произведения сборника отличаются напряженностью сюжета и вызовут интерес широкого круга читателей.

ФЕЛИЗАТТИ М., САНТИНИ А. «Агава»: Роман/Пер. с итал.— 13 л. — В пер.: 1 р. 50 к.

Книга итальянских авторов представляет собой политический детектив, в котором раскрываются негативные стороны современной итальянской действительности.

«Агава» — одна из тайных организаций военно-промышленного комплекса. Роман позволит читателю понять размах и цели преступной антинародной деятельности реакционных кругов Италии, их связи с международным милитаризмом.

Напряженный сюжет романа привлечет внимание широкого круга читателей.

Пын Дехуай. **Воспоминания**: Пер. с кит. — 25 л. — В пер.: 1 р. 80 к.

Автор книги — бывший министр обороны КНР, член Политбюро ЦК КПК.

В воспоминаниях китайский маршал дает глубокий анализ событий «культурной революции», приводит обширный фактический материал.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

СОВЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГАЙДАР А. П. **У переднего края:** Повести, киносценарий, рассказы. — 15 л. — (Библиотека юного патриота). — 50 к.

Известный советский писатель Аркадий Гайдар вошел в советскую литературу «командиром», определив себе «боевую задачу» — воспитывать новое поколение бойцов за коммунизм. За пятнадцать лет своей литературной работы он создал ряд замечательных книг о жизни детей в Советской стране. Книги эти вошли в золотой фонд советской литературы.

В издание включены повести, киносценарий, рассказы и фронтовые очерки: «Р. В. С.», «Военная тайна», «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» и др.

Книга рассчитана на массового читателя.

МАТЕ ЗАЛКА. **Избранное.** — 26 л. — В пер.: 2 р. 30 к.

В «Избранное» венгерского и советского писателя-интернационалиста Мате Залки включены его антивоенный роман «Добердо», повести и рассказы о первой империалистической войне и гражданской войне в России.

Сборник в настоящем виде издается впервые в авторском переводе.

Книга рассчитана на массового читателя.

ПИКУЛЬ В. С. **КРЕЙСЕРА:** Романы. — 41 л. — В пер.: 2 р. 90 к.

В сборник вошли романы «Крейсера» и «Три возраста Окини-сан». Их объединяет общая тема — разоблачение агрессивных устремлений милитаристских сил Японии, показ мужества русских людей при обороне Дальнего Востока от захватчиков в 1905 году.

Книга рассчитана на массового читателя.

АНАНЬЕВ А. А. **Танки идут ромбом:** Роман.— 11 л.—(Межиздательская серия «Тебе, юность»). — 50 к.

Роман Анатолия Андреевича Ананьева «Танки идут ромбом» повествует о трех днях Курской битвы. Герои этого произведения воспринимаются как наши современники, потому что их мысли и чаяния в суровое время Великой Отечественной войны были озарены светом завтрашнего дня, обращены в будущее.

Книга рассчитана на массового читателя.

ИВАНКИН А. В. **Конец «Гончих псов»:** Роман-хроника. — 20 л. — В пер.: 1 р. 60 к.

Роман посвящен событиям предвоенной и военной поры. Готовясь к внезапному нападению на соседние страны, фашистская Германия создавала мощный воздушный флот — люфтваффе для нанесения первого удара, вскармливала его на ниве разбойничьих войн. Много бед и разрушений принесли народам порабощенной Европы гитлеровские асы — «гончие псы», но в небе России нашли они свой бесславный конец.

В центре романа образы-антиподы: советского летчика Андрея Рогачева и фашистского пилота Карла фон Риттена. Их судьбы волею войны скрестились в непримиримом поединке.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

САВЕЛЬЕВ-СОЛОВЕЙЧИК Л. И. **Дом сержанта Павлова:** Документальная повесть. — 15 л. — В пер.: 65 к.

В книге рассказывается о незабываемых событиях Великой Отечественной войны, о героизме советских воинов в боях за Сталинград, об эпизоде, который вошел в историю войны как пример бесстрашия и мужества советского солдата. Пятьдесят восемь дней удерживала группа воинов дом, который уже в ходе боев был назван по имени ее командира — сержанта Якова Павлова, удостоенного за этот подвиг звания Героя Советского Союза.

Книга рассчитана на массового читателя.

ПОЛЯНСКИЙ А. Ф. **Право на риск:** Роман, повести. — 25 л. — В пер.: 1 р. 80 к.

Книга включает отмеченный дипломом Министерства обороны роман «Право на риск», связанную с романом общими героями повесть «Единственный шанс» — об отважной борьбе чекистов с врагами Советской власти, а также впервые публикуемую повесть «Плацдарм», посвященную воинам-десантникам.

Красной нитью через всю книгу проходит тема преемственности поколений в защите Родины.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

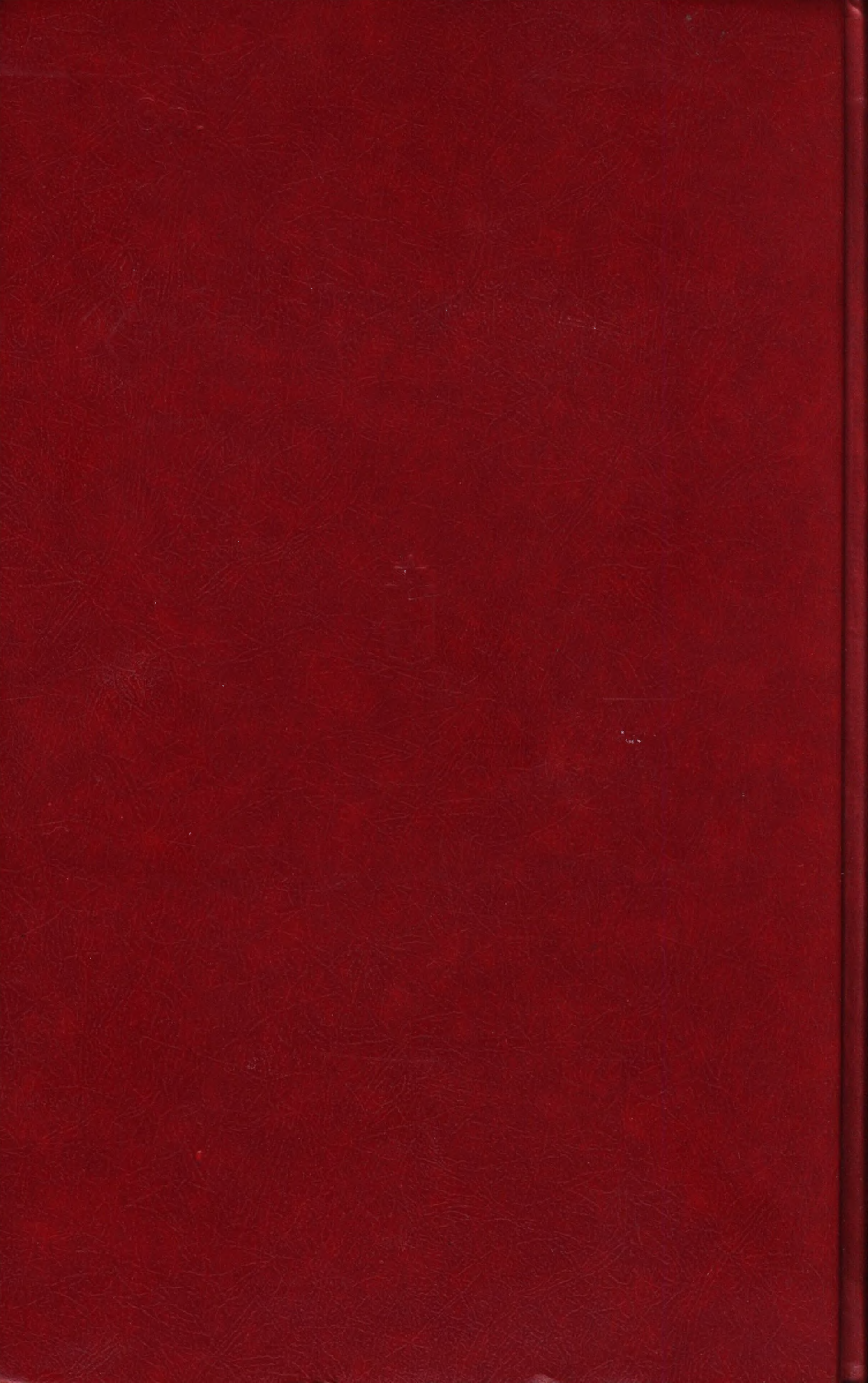
КАРАСИК А. Ю. **Допустить к исполнению...:** Роман. — 20 л. — В пер.: 1 р. 40 к.

Действие романа происходит в годы становления Ракетных войск стратегического назначения. В книге рассказывается о военных строителях, возводящих жилой городок и боевую позицию. В центре повествования образ подполковника Шагина, знающего, энергичного инженера, много лет работающего на военных стройках. Его стремление выполнить план любыми путями, нередко в ущерб качеству, встречает противодействие главного инженера. Жизнь заставляет Шагина изменить стиль руководства. Нелегко складываются у Шагина и отношения с любимой женщиной.

Книга рассчитана на массового читателя.








В КОНЦЕ ВОЙНЫ